

ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ

РАДИЙ ПОГОДИН

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

95 коп.





РАДИЙ ПОГОДИН

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Ленинград
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1974

Р2 ср.
П 43

Рисунки С. СПИЦЫНА

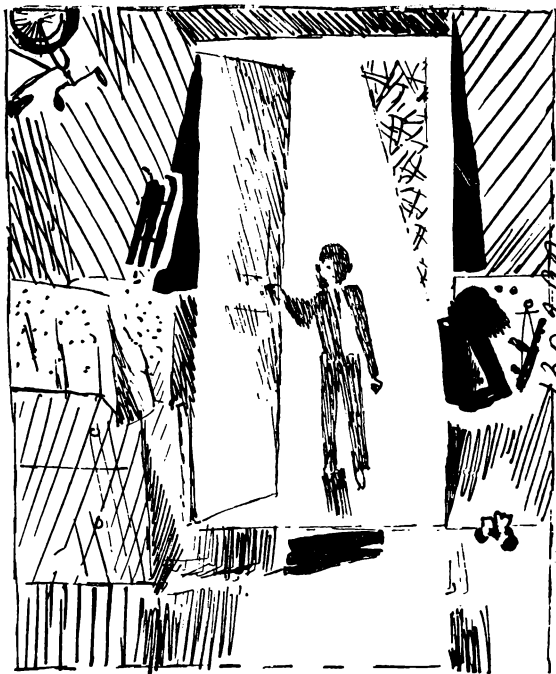
© ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1974, СОСТАВ, ИЛЛЮСТРАЦИИ

П $\frac{70803-146}{М101(03)-74}299-74$

КИРПИЧНЫЕ ОСТРОВА



Рассказы
про Кешку
и его друзей



КАК Я С НИМ ПОЗНАКОМИЛСЯ

Есть у меня друг — замечательный человек и хороший геолог. Работает он на Севере, в Ленинград приезжает редко, писем совсем не пишет — не любит. От людей я слышал, что семья моего приятеля переехала на другую квартиру. Я поспешил по новому адресу: авось узнаю что-нибудь о товарище, а повезет, так и его самого повидать.

Дверь мне открыл мальчишка лет восьми-деяти. Он показался мне немного странным, все время поеживался, на меня не глядел, прятал глаза. Мальчишка сказал, что друг мой ушел утром и еще не приходил. Говорил он не разжимая рта, сквозь зубы, и очень торопился. Наверное, я оторвал его от интересной игры. Ну, а мне торопиться некуда. Я вошел в комнату, сел на диван и стал читать книгу. Прочитал страничку, прочитал другую, слышу, за стенкой кто-то запел:

Шли лихие эскадроны
приамурских партизан...

Поет человек и пусть себе поет, если ему весело. Я сам люблю петь. Только я это подумал, как за стеной снова раздалось:

Шли лихие эскадроны
приамурских партизан...

Теперь он пел громче, почти кричал, а на словах «лихие эскадроны» подвывал немного и захлебывался. Потом запевал опять и опять... и все про партизан. Я пробовал читать

книгу, но у меня ничего не получалось. Певец так завывал, что я не вытерпел, вышел в коридор и постучал в соседнюю дверь. Песня раздалась еще громче. Я даже удивился, как это можно так петь. Я постучал еще раз, еще и еще... Наконец пение прекратилось, за дверью раздалось шмыганье ногом и глухой голос сказал:

— Чего?

— Послушайте, не можете ли вы петь потише?

— Ладно, — согласился певец и тут же заорал так громко, что я попятился от двери:

Шли лихие эскадроны
приамурских партизан...

Потом началось что-то совсем непонятное: «Шли лихи-и... Шли лихи-и... Шли лихи-и...» — выкрикивал певец не своим голосом.

Я совсем растерялся. Может быть, за дверью сумасшедший? И тогда надо звать на помощь докторов, санитаров. Может быть, это очень опасный сумасшедший, и на него нужно надеть смирительную рубашку. Я осторожно приоткрыл дверь и увидел: лежит на оттоманке тот самый мальчишка, что впустил меня в квартиру, кусает подушку, бьет ногами по валику и горланит песню. А из глаз его бегут слезы.

— Чего это ты орешь? — спросил я.

Мальчишка стиснул зубы, сжал кулаки.

— Ухо болит. — Потом лягнул ногой и снова запел: — Шли лихи-и...

— Вот смешной! — начал было я. — Ухо болит, а ты поешь. — Но мальчишка посмотрел на меня такими глазами, что я прикусил губу. Я догадался.

Когда я был солдатом, у меня тоже однажды заболело ухо, ночью в казарме. Плакать солдатам нельзя ни за что. Я ворочался с боку на бок, так же вот грыз подушку и сам не заметил, как раздвинул прутья на спинке кровати и сунул между ними голову. Потом боль утихла, и я уснул. А когда проснулся, то не мог встать, не мог вытащить обратно голову. Пришлось двум солдатам разжимать прутья, а ночью я разжал их один. Вот какая была боль.

Я с уважением глянул на мальчишку, а он на меня — залитым слезой глазом. Он молчал, и ему это было очень трудно.

Я бросился звонить по телефону в поликлинику. Меня долго расспрашивали, что болит, у кого болит... Наконец сказали: «Будет доктор».

Я ходил по комнате, и, как только за стеной раздавалось про партизан, я начинал подпевать. Вот так мы и пели: он в одной комнате, я — в другой.

Скоро приехал врач — молоденькая чернобровая девушка в белом халате. Она сразу спросила:

— Где больной?..

Я показал на мальчишкину дверь. А он там снова загорланил про своих партизан.

— Как вам не стыдно обманывать? — рассердилась девушка доктор. — Какой же это больной, если он песни распевает таким диким образом?

— Доктор, это настоящий больной, это такой больной.. — И я рассказал все как есть. Девушка вошла в комнату к мальчишке и твердым голосом сказала:

— Смирно!.. Прекратить пение!

Мальчишка затих, сел на оттоманке. Сидеть смирно ему было трудно, у него все время дергались ноги.

Девушка доктор налила ему в ухо пахучей желтой камфары, обложила ухо ватой и завязала бинтом. А меня заставила вскипятить воду для грелки.

Пока мы возились, мальчишка молчал, только губы у него шевелились: он потихоньку — про себя — пел свою песню.

Девушка доктор скоро ушла к себе в поликлинику. Больной уснул. А я сидел в комнате рядом, ждал своего друга и думал: «Что это за мальчишка, который умеет петь в такие минуты, когда взрослые и те подчас плачут?..»

Позже я узнал, что имя у него очень веселое — Кешка, и услышал много всяких рассказов о нем и его товарищах.

Вот они.

КТО НАГРЕЛ МОРЕ

Когда Кешка был совсем маленьким, он ездил с мамой далеко на Черное море, в Крым.

Кешкина мама работала на заводе и училась в вечернем институте. На заводе ей дали путевку, чтобы отдохнула как

следует, загорела. Мама решила взять Кешку с собой. Все ленинградские знакомые говорили: «Черное море не такое, как наше — Балтийское. Оно громадное и очень теплое». Еще они говорили, что по Черному морю проходит государственная граница с Болгарией, Румынией и Турцией... Кешка был страшно горд оттого, что все это увидит своими глазами.

Приехал Кешка в Крым поздно вечером и едва дотерпел до утра — так ему хотелось увидеть Черное море.

Рано утром мама велела Кешке надеть сандалии, и они отправились на пляж.

Море действительно было очень большое. По краям густо-синее, а посередине сверкало золотым, розовым и серебряным. Кешка сразу захотел купаться. Он скинул сандалии, майку и даже трусики. Но мама сказала:

— Подожди, нужно воду попробовать. — Она немного походила по краешку моря, у самого берега, и покачала головой. — Холодная вода, Кешка. Купаться еще нельзя.

Кешка тоже попробовал воду ногой. Конечно, мама немного преувеличивала, но вода все-таки холодная. Зато круглые камушки, которыми усыпан весь пляж, были теплые. Эти камушки назывались смешно: галька.

Солнце висело еще низко, там, где море с небом сходится, у горизонта. Но мама разделась, постелила свой халат и предложила Кешке:

— Ложись загорай, утром загар самый лучший.

Кешка лежать не захотел. Он ходил по пляжу и все смотрел на море. Хотел увидеть болгарскую, румынскую и турецкую границы. Но так ничего и не увидел, кроме белых ленивых чаек. Мама скоро уснула, а Кешка принялся собирать гальку. Камушки были очень красивые и все, как один, теплые.

«А что, — подумал Кешка, — если эти камушки побросать в море, оно нагреется, и тогда можно будет купаться». Он пошел к берегу и бросил в море камень. Потом еще и еще.

На пляже стал собираться народ, все смотрели на Кешку и думали, что он просто балуется — пускает блинчики. А Кешка никому не говорил, какое он делает нужное дело.

Солнышко поднималось все выше. Камушки становились все горячее. А Кешка кидал и кидал их в воду один за другим.

Маленькие волны, которые тоже смешно назывались —

«барашки», — закатывались на берег и тихо, одобрительно шуршали: «Пррравильно, малышшш-ш...»

Потом проснулась мама, посмотрела на солнышко, подошла к воде.

— Ну вот, — сказала она, — теперь вода в самый раз, можно купаться... Солнышко постаралось.

Кешка засмеялся, но спорить с мамой не стал. Мама спала и, конечно, не видела, кто нагрел море. Можно ведь ей ошибиться.

НЕПРИЯТНОСТЕЙ НЕ ОБЕРЕШЬСЯ

Утром Кешку разбудили мамины холодные руки. Кешка ежился, залезал поглубже под одеяло. Но руки настигли его и там.

Мама приговаривала:

— Вставай, соня, зима!.. Белые мухи прилетели.

Кешка высунул голову из-под одеяла.

— Обманываешь, белых мух и не бывает.

Мама повернула его голову к окну, и он увидел, что за стеклом медленно летят белые хлопья. Они кружатся, обгоняют друг друга, садятся на голые ветки большой липы.

Кешка в одних трусах побежал к окну. Улица белым-бела. И трамваи, и автобусы, и «победы», и ЗИМы — все в белых накидках. У прохожих, которые остановились почитать газету, появились на плечах пушистые белые воротники.

— Снег!.. — закричал Кешка. А мама засмеялась.

* * *

Было воскресенье, и Кешка сразу же после завтрака пошел во двор поводить Мишку, главного своего друга, который учился на два класса старше. И еще надо было поговорить с Круглым Толиком, но... Первой, кого Кешка встретил во дворе, оказалась Людмила. По правде сказать, Кешка не очень-то хотел с ней встречаться. Она вечно дразнилась: «Кешка-Головешка...» А попробуй за ней погнаться, — пулей влетит в свою парадную и заорет на весь дом: «Маа-маа!!»

В другой день Кешка прошел бы мимо Людмилки, не стал бы с ней даже разговаривать. Он так и хотел сделать, но язык сам по себе взял и сказал:

— Людмила, я все про снег знаю! Что!..

— Я тоже знаю, — ответила Людмила и поймала на варежку большую снежинку. — Снег — это такие звездочки.

— А вот и нет!.. Снег — это замерзлая вода. С теплых морей к нам прилетают облака, туманы и здесь от мороза превращаются в снег.

— Врешь, — насупилась Людмила, — все врешь.

Кешка взял Людмилину руку и поднес к своему лицу. Звездочка дрожала на длинных шерстинках, вот-вот улетит. У нее было много лучей, некоторые напоминали копья, а некоторые — еловые ветки.

— Кто же из воды такую сделает? — победно прошептала Людмила.

Тогда Кешка широко открыл рот и легонько, чтобы звездочка не улетела, стал дуть... Острые концы у копий затупились, еловые ветки начали вянуть, опадать... Звездочка съежилась, подобрала свои лучи под себя и вдруг превратилась в блестящую круглую каплю...

— Вот, не верила.. — подняла голову Кешка.

Глаза у Людмилки стали синими, как вода, в которой подсиняют белье. Она топнула ногой и закричала:

— Ты зачем на мою варежку наплевал?!

— Ты что? — возмутился Кешка. — Просто снежинка растаяла.

Людмила и сама это видела, но что поделаешь, характер у нее был такой никудышный.

— Нет, наплевал, — твердила она. — Хулиган...

— Это я хулиган? — рассердился Кешка. — Тогда ты... ты... — Он еще не придумал, что сказать, а Людмила уже выпалила:

— Кешка-Головешка!..

Кешка был мальчишка такой, как и все. И ему пришла в голову мысль такая, как и всем мальчишкам, когда их дразнят или оскорбляют. Он сжал кулаки и шагнул вперед.

— Ах так, Людмила... Вот я тебе сейчас задам...

Но не тут-то было. Людмила, словно мышь, юркнула в свою парадную и, задрав голову, заголосила:

— Ма-а-ма-а!.. Меня Кешка бьет!..

На крик к парадной прибежали Мишка и Круглый Толик.

— Ты ей правда поддал? — спросил Мишка.

— За что? — поинтересовался Толик.

— Не успел еще, — огорченно признался Кешка. — Дразнится все время.. И еще врет...

Тут Людмила высунула голову из парадной и скучным голосом прокричала:

— Хулиган!.. Ты зачем мне на варежку наплевал?..

Мишка и Толик посмотрели на Кешку. Оба удивленно подняли брови.

— Опять врет... Ничего я не плевал. — И Кешка рассказал про снежинку.

— Н-да... — произнес Мишка и посоветовал: — Слышишь, ты с девочками лучше не связывайся, с ними всегда неприятностей не оберешься...

— Ну уж... — возразил Толик, — есть, ведь, наверно, хорошие девочки на свете.

— За всю жизнь не встречал, — заявил Мишка.

— А все мальчишки хулиганы!.. — прокричала Людмила из своей парадной. Но мальчишки сделали вид, будто это их не касается.

СНЕЖИНКА

Кешка играл один у поленницы и уже собирался домой, когда увидел Мишку. Мишка выскочил во двор в старых, разбитых валенках. Шея у него была как попало замотана шарфом, зато расстегнутое пальто он туго запахнул и даже придерживал рукой. Мишка был чем-то расстроен. Он часто подносил руку в пестрой варежке к лицу, сердито сопел и тер у себя под носом. Заметив у поленницы Кешку, Мишка подошел к нему и, глядя себе под ноги, угрюмо произнес:

— Кешка, ты правильный человек... Хочешь, я тебе подарок сделаю?

— Хочу, — живо согласился Кешка.

— А не откажешься? — не отрывая глаз от своих валенок, спросил Мишка.

— Кто же от подарков отказывается? — простодушно удивился Кешка. Его друг не любил бросать слова на ветер и, если заговорил о подарке, — значит, подарит. Только что?..

Кешку ужасно мучило любопытство, но в таких случаях нужно сохранять абсолютную невозмутимость и спокойствие. А Мишка между тем посопел немного, преодолевая последнее жестокое сомнение — отдавать или нет? — и решительно произнес:

— Ладно... Только смотри — береги и заботься... Я тебе ее как лучшему другу дарю. — Мишка оттянул воротник и тихо позвал: — Шкряга... Шкряга... — И вдруг из-под Мишкиного шарфа высунулась белая мордочка, дернула острым носом, метнула туда-сюда красными глазками и спряталась.

— Что это за чудо? — спросил Кешка.

Мишка усмехнулся и сообщил, что это вовсе не чудо, а обыкновенная белая крыса.

— Очень умная, — убеждал он. — У вас в квартире ни одной мыши не будет, — всех пожрет. А чистоплотная — ужас... Шкряга, Шкряга, — позвал он снова ласковым голосом.

Крыса опять высунулась, только теперь из рукава. Осмотрелась и вылезла вся. Была она большая, с ладонь, только гораздо уже, очень красивая — вся белая как снег. Правда, длинный хвост немного портил ее: он был розоватый и весь голый.

— Шкряжечка, — приговаривал Мишка, — ты не бойся, у Кешки тебе хорошо будет: он добрый... Ты слышишь, Кешка? Колбасой ее иногда корми.

— Ладно, — согласился Кешка; ему не терпелось скорее заполучить крысу. Смущало его только крысиное имя — Шкряга. — Мишка, а почему ее так чудно зовут?

— Это ее моя мамаша так прозвала; у нее к животным никакой симпатии нет. Хочешь, выдумай другое имя Шкряге, все равно. — Мишка погладил крысу по снежной шкурке, вздохнул и сунул подарок в Кешкины руки.

Кешка осторожно принял зверька. А Мишка крепко потер варежкой под носом и молча пошел к себе в первый этаж.

Так началась эта история, немножко смешная и немножко печальная.

Первым делом Кешка дал Шкряге новое имя; теперь она называлась Снежинкой. Потом Кешка накормил Снежинку колбасой, как велел Мишка, постлал в коробку из-под ботинок вату.

— Теперь это твой дом, — сказал он. — Спи, Снежин-

ка, — и засунул коробку с крысой под мамину кровать. Кешкина постель была на оттоманке.

Утром Кешка проснулся первым; мама еще спала. Кешка сразу же полез смотреть Снежинку. В коробке ее не оказалось. Тогда Кешка забрался под кровать глубже, — может, Снежинка спряталась там среди старых игрушек. Но крысы не было видно. Кешка выбрался обратно, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить маму, и тут он увидел Снежинку. Она сидела у мамы на груди столбиком — умывалась. Кешка так и замер.

Неприятности могут случаться в любое время суток, но самое плохое, когда они случаются утром, — считай, что весь день испорчен.

Кешка сидел у кровати ни жив ни мертв. А мама открыла глаза, мигнула, потом крепко зажмурилась и потрясла головой. Крыса по-прежнему усердно вылизывала шерстку и добродушно поглядывала на маму красным, как огонек, глазом.

— Кешка, что это значит? — спросила мама шепотом.

— Ничего... Это Снежинка...

Мама взяла крысу двумя пальцами за загривок и бросила ее на Кешкину постель.

— Очень остроумно, — сказала мама сухо, потом встала, накинула халат и принялась поправлять у зеркала свои пушистые волосы. Кешка заметил, как мама незаметно смочила пальцы одеколоном и вытерла их об халат.

— Сегодня ты крысу принес, а завтра притащишь жабу...

— Я ее еще вчера принес, пока ты в кино была. А жабы зимой не водятся.

Снежинка тем временем перебралась с Кешкиной постели на стул, со стула по скатерти на стол и принялась выкатывать с большой фарфоровой тарелки румяное яблоко.

— Сними ее сейчас же со стола! — крикнула мама, поморщилась и добавила: — Если бы не этот ужасный хвост!..

Утром мама всегда очень торопилась: опаздывать на работу нельзя. Она на скорую руку завтракала и подчас даже не успевала убрать постель — это входило в обязанности Кешки.

Сегодня мама, по обыкновению, села за стол, не дожидаясь сына. Только поднесла сосиску ко рту, как тихо охнула... Выронила вилку. У нее на плече сидела Снежинка и поводила своей лукавой мордочкой. Мама стряхнула ее, поднялась из-за стола и сказала ледяным голосом:

— Чтоб сегодня же крысы не было!
— Ма... — начал было Кешка.
— Никаких «ма»... — Мама ушла, напомнив в дверях: — Слышал, что я тебе сказала?..

В приоткрытую дверь тянуло холодком из коридора. Расстроенный Кешка застелил постели, потом пошел в кухню мочить веник. Там он застал такую картину.

Посреди кухни, на табурете, стояла соседка тетя Люся в длинном халате и растерянно шептала:

— Не лезь на меня... Слышишь, не лезь! — А по ее халату спокойно взбиралась Снежинка. Тетя Люся, должно быть, не нравилась ей. Стоило халату шевельнуться, как Снежинка поднимала острую мордочку и начинала фыркать.

— Еще фыркает! — осторожно возмущалась тетя Люся. — Я тебе говорю?.. Не лезь!.. — Но Снежинка не обращала на протесты никакого внимания. Тетя Люся беспомощно закатывала глаза, трясла в воздухе полными белыми руками. Увидев Кешку, она скривила побелевшие губы. — Кешка, сними с меня это... В обморок упаду!..

Кешка испугался: падать с табурета все-таки высоко. Он подбежал к тете Люсе, снял Снежинку и сунул ее к себе под майку.

— Что ты делаешь? — ахнула тетя Люся. — Выброси ее сейчас же на помойку.

Но Кешка унес Снежинку в свою комнату.

— Снежинка, Снежинка, не любят тебя здесь, — угрюмо рассуждал он. — И обратно тебя отдать нельзя — ты подарок.

Снежинка сидела на подушке, чесала передней лапкой за ухом, — наверно, тоже думала, как тут быть.

Кешка подмел пол, посадил Снежинку за пазуху и понес мусор в ведро. У дверей кухни стояла тетя Люся со шваброй в руках. Она просунула голову в кухню и ласково звала:

— Крыс, крыс, крыс... Иди сюда, маленькая.

— Ее зовут Снежинка, — хмуро сообщил Кешка.

Тетя Люся смутилась.

— Подумаешь, принцесса, — проворчала она.

Потом пришел тетин Люсин знакомый, дядя Боря. Они всегда вместе ходили на работу. Дядя Боря строго посмотрел на Кешку и сказал:

— Кешка, я всегда считал тебя серьезным человеком, а ты с крысами возишься... Позор!

— Чего она вам сделала? — не выдержал Кешка. — Чего вы ее ненавидите?

Дядя Боря поправил очки, поднял плечи.

— Как чего?... Она же крыса...

Этого Кешка не понял. Он прижал Снежинку к своему боку и молча зашагал в ванную умыться. Пока он умывался, Снежинка шмыгала у него под ногами, залезала под тазы, под ванну. Но, когда Кешка вытерся полотенцем и стал звать ее, она не выбежала к нему. Кешка облазил всю ванную. «Снежинка, Снежинка!» — звал он ее и на кухне, и в коридоре — крыса не появлялась.

Через час, а может быть и через два, Кешка услышал под кроватью возню. Он, конечно, бросился туда. Снежинка вытаскивала из коробки вату, и не успел Кешка ничего сообразить, как она помчалась в коридор с ватой в зубах. Кешка бросился вдогонку. Снежинка метнулась в ванную и пропала вместе со своей ношей. Кафельная плитка была разбита, на ее месте темнела небольшая круглая дыра.

Вечером в кухне собрались все жильцы. Тетя Люся рассказывала, как ее чуть до смерти не защекотала какая-то мерзкая крыса. Все укоризненно поглядывали на Кешку, а мама переставляла на плите кастрюли так, что они гремели на всю кухню. Тетя Люся кончила рассказывать и направилась в ванную мыться. И вот тут Кешка увидел Снежинку в последний раз. Сначала в ванной раздался истошный визг, затем крик: «Не тронь, бессовестная!!!» Все бросились в ванную, Кешка — первый.

Тетя Люся стояла в ванне, подобрав полы халата; перед ней на табурете сидела Снежинка и преспокойно отгрызала с красивой тетиной Люсиной туфли меховой помпон. Помпона на второй туфле уже не было.

Дядя Боря схватил кочергу, но Кешка загородил ему дорогу, а Снежинка спрыгнула с табурета и потащила помпон к дырке. Там она остановилась. Кешке показалось, что она посмотрела на него и подмигнула. Потом крыса засунула помпон в дырку и скрылась.

После этой истории тетя Люся целую неделю ходила в кухню, а особенно в ванную, со шваброй. Дядя Боря здоровался с Кешкой очень холодно. А Мишка, встречая своего приятеля, ожесточенно тер под носом и говорил:

— Ладно, Кешка, не расстраивайся... Она там, наверно, гнездо свила.

Несколько раз до ребят доходили слухи, будто в соседних квартирах среди дня появляется отважная белая крыса и на глазах у людей таскает разные продукты. Мишка и Кешка очень боялись, что Снежинка попадет в крысоловку. Но скоро слухи о ней прекратились: наверно, Снежинка навсегда ушла из этого дома.

ПИРАТ

Вечером мама шила Кешке новый костюм, а сам он сидел в коридоре и строгал себе саблю. На завтра была назначена игра в пиратов. Мишкин отряд решил захватить в плен сурового ангорского кота Горыныча. Горыныч был бродяга и бандит. Он уже несколько лет обитал на чердаках, в подвалах, неизвестно чем питался и ужасно выл по ночам на верхних площадках лестниц.

Так вот, Кешка строгал себе саблю и вдруг услышал, что в дверь кто-то потихоньку скребет.

— Кто там? — шепотом спросил Кешка.

За дверьми раздалось повизгивание. Кешка отодвинул задвижку, приоткрыл дверь. На площадке сидел маленький, дымчатого цвета щенок, тихо скулил и умоляюще глядел на Кешку.

— Ты чей? — шепотом спросил Кешка.

Щенок поднялся на толстые лапы, подошел к Кешке и легонько твякнул, словно хотел сказать: «Можно?»

Не мог Кешка допустить, чтобы щенок замерзал на лестнице.

Щенок просунул в щелку толстые, словно надутые бока, встряхнулся и стал обнюхивать мамины боты, Кешкины каалоши, метелку в углу. Потом он хитро посмотрел на Кешку и неуклюже подпрыгнул сразу на четырех лапах. Но Кешке было не до игры. Он размышлял, как бы узаконить пребывание щенка в квартире. Кешка решил начать с мамы. Дело нетрудное — взять да спросить. Но это только так кажется. Кешка долго мялся у маминого стула, потом сказал:

— Мама, а что, если бы нам с тобой щенка завести?..

— А еще что? — не отрывая глаз от машины, спросила мама.

— Нет, больше ничего... Знаешь, щенка. Он бы нам комнату стерег.

Мама отложила костюм и посмотрела Кешке в глаза. Сын стоял с независимым и безразличным видом.

— Где щенок? — спросила мама.

— Щенок?.. Какой щенок?.. — Кешка притворился, что не понимает, а сам опустил глаза и посмотрел к маме под стул. Там сидел щенок и вилял хвостом-баранкой. Щенок, наверно, подумал, что уже все в порядке, весело тявкнул и потянул маму за юбку. Мама вытащила его за загривок из-под стула, подняла в воздух и, надув губы, сказала, как говорят маленьким детям:

— Вот мы какие...

«Понравился», — догадался Кешка. Но мама опустила щенка на пол и с сожалением покачала головой:

— Нет, Кешка, не проси... В одной комнате собаку держать нельзя.

— А мы в коридоре, — живо предложил Кешка.

Мама опять покачала головой.

— Коридор общий, соседи будут возражать.

Кешке не хотелось сдаваться так сразу. Он пошел к тете Люсе, к соседке.

— Тетя Люся, можно мне в коридоре щенка держать?

— Зачем тебе щенок? — Тетя Люся пожала плечами и посмотрела на дядю Борю. Дядя Боря, он был у тети Люси в гостях, захотел посмотреть щенка.

— Люблю собак... Моя мечта — завести собаку, овчарку или сенбернара.

А Кешка пошел к другому соседу — молчаливому шоферу пятитонки, Василию Михайловичу.

— Василь Михалыч, — постучал он. — Василь Михалыч, можно мне щенка в коридоре держать?

Василий Михайлович, высокий, до притолоки, открыл дверь, загородив своей широченной фигурой весь проход.

— Стоящий зверь? — спросил он глухим басом.

Кешка задрал голову — иначе на Василия Михайловича смотреть было нельзя.

— Хороший щенок, — кивнул он, — пузатый, и хвост колесом.

— Хвост — это не доказательство, — прогудел Василий Михайлович. — Пойдем обзирать...

Кешка побежал впереди, Василий Михайлович бухал тяжелыми ботинками за ним.

В Кешкиной комнате уже сидели тетя Люся и дядя Боря.

— Собака — моя мечта, — говорил дядя Боря, — особенно сенбернар.

Тетя Люся тискала щенка и приговаривала:

— Куси, Мурзик, куси... Ну-у, куси, — и совала щенку свой палец с красным ногтем.

— Это и не Мурзик вовсе, — обиделся за щенка Кешка. — Это... это Пират.

Василий Михайлович присел на корточки, осмотрел щенка.

— Такого зверя на улицу выбрасывать преступление, — наконец сказал он. — Овчарка чистой породы.

— Овчарка — моя мечта, — снова сказал дядя Боря.

— Пусть остается, — согласилась тетя Люся, — если не будет гадить... Смотри у меня!.. — погрозила она щенку. А он вильнул хвостом, — мол, согласен и... пустил лужу.

Мама засмеялась, тетя Люся поморщилась, дядя Боря вдруг начал протирать очки, а Василий Михайлович посмотрел на щенка с ухмылкой и сказал:

— Серьезный зверь... Живи.

Таким образом, щенок был водворен в квартире. Кешка весь вечер кормил его, чистил, даже позабыл про свою саблю. Мечтал вырастить из Пирата грозного пограничного пса.

На следующий день Кешка вышел со щенком во двор. Старенькая дворничиха, тетя Настя, подметала большой метлой щепки. Кешка важно водил щенка на веревочке, поджидая Мишку.

Мишка пошел со своим третьим классом на экскурсию в железнодорожный музей. Кешка ждал терпеливо, — пусть Пират воздухом дышит — закаляется. Наконец Мишка появился, еще издали помахал Кешке портфелем.

— Это твой?..

И полез щекотать щенка за ухом.

— Хороший пес... Как его зовут?.. Давай из него ищейку воспитаем, а?

— Ладно, — согласился Кешка.

Подоспел и Круглый Толик.

— Надо ему испытание сделать, — сказал он. — Дайте ему что-нибудь понюхать.

Мишка поставил под нос Пирата свою ногу.

— Нюхай, Пират... Ну, нюхай...

Но, вместо того чтобы нюхать, Пират вцепился Мишке в штанину и начал мотать головой во все стороны и рычать. Мишка кое-как вырвался от него и быстро спрятался за поленницу.

— Ищи, Пират! — скомандовал Кешка. Щенок натянул веревку и бросился к дровам. Ребята бежали за ним. Пират обогнул поленницу, где спрятался Мишка, и понесся дальше.

— Не туда! — кричал Кешка.

Вдруг с поленницы прямо на Пирата свалился Горыныч. Кешка выпустил поводок. Потом они с Круглым Толиком бросились было спасать щенка, но Горыныч так громко зашипел и так распушил свой хвост, что столкновение с ним грозило кончиться плохо. Пират пустился бежать, но Горыныч одним прыжком настиг его и повалил. Щенок жалобно заскулил, а кот стал над ним, покатав его лапой, словно клубок ниток, и уселся рядом.

— Мишка! — закричал Толик. — Горыныч Пирата заест!

Мишка вынырнул из-за поленницы мгновенно. Он замалнулся на кота портфелем, но тот не подумал бежать, только припал к земле, выпустил когти и забил хвостом. Ребята чуть отступили. А кот присел и нетерпеливо подтолкнул Пирата лапой. Щенок, подвывая от страха, встал и заискивающе вильнул хвостом. Кот довольно заурчал. Щенок заработал хвостом еще энергичнее, даже тявкнул легонько.

Мальчишки глазам не верили: беспощадный Горыныч и щенок выделяли такое, что ребята покатывались со смеху. Когда щенок особенно расхотелся и позволял себе непочтительно куснуть Горыныча за хвост, тот валил его своей сильной лапой и показывал острые клыки.

Мальчишки подталкивали друг друга локтями, а Мишка то и дело восклицал:

— Чудеса!.. Расскажи — не поверят. — Он повертел головой, высматривая, кого бы пригласить на это удивительное зрелище... Но во дворе была только дворничиха тетя Настя, да еще шли из магазина к своей парадной Людмила с матерью.

У Людмилки любопытства на целый класс. Она подскочила к ребятам, спросила:

— Чего это вы смеетесь? — и вдруг закричала: — Мама, смотри, этот кот нашего щенка треплет!

— Как это вашего? — возмутился Кешка.

— А так нашего, — передразнила его Людмила, — из нашей квартиры.

Подроспевшая Людмикина мать поставила сумку на чистую сосновую плаху и возмущенно заговорила, обращаясь к подметавшей двор тете Насте:

— Как вам понравится?... Этот щенок сорок рублей стоит, а они его с котом стравили.

Тетя Настя глянула на щенка.

— А-а... ничего с ним не сделается, — и хмуро добавила: — Деньги людям давать некуда.

— Нет, вы рассудите здраво, — не унималась Людмикина мать. — За щенка большие деньги отдали, а они его этому чудовищу бросили на растерзание... Отберите сейчас же щенка! — топнула она ногой.

Но у ребят не было никакого желания связываться с котом, к тому же Горыныч не сделал щенку ничего плохого.

— Позови Николая Петровича, — приказала Людмикина мать дочке.

Людмила со всех ног бросилась на лестницу. Ребята стояли и недружелюбно поглядывали ей вслед.

«Отберут теперь щенка», — думал Кешка.

Скоро во дворе появилась Людмила в сопровождении худощавого мужчины в макинтоше. Это был Людмикин сосед, не то артист, не то инженер, ребята толком не знали.

— Что здесь происходит? — спросил мужчина.

— Ваш щенок, — ответила Людмикина мать. — Мы вчера обыскались, а он вот, щенок... Его это чудовище грызет.

— И вовсе не грызет, — поправил ее Мишка. — Это они играют... Пират и Горыныч.

— Нечего сказать, компания, — сердито проворчал мужчина. — Какой он вам Пират?.. — Мужчина шагнул вперед, и кот не мог с ним спорить. Кот отступил. А Людмикин сосед подхватил щенка на руки. Он гладил его и приговаривал: — Обидели тебя, Валет... Мы им... — Потом повернулся к ребятам: — Если вы еще раз коснетесь его, уши оборву!

Хозяин щенка и Людмикина мать пошли к лестнице. Людмила показала мальчишкам язык.

Друзья сели на сосновую плаху.

Уши у Кешки горели, словно их и в самом деле оттрепала чья-то грубая рука.

Круглый Толик ковырял ногой кору на полене.

— Может, в пиратов сыграем... — предложил он равно-

душно. Но играть в пиратов у ребят не было уже никакой охоты.

Напротив, на поленице, стоял Горыныч. Одичавший бродяга-кот печально смотрел в сторону лестницы, и его отмякшее на минуту сердце, наверное, снова заполнялось злостью.

— А у него раньше другое имя было, — сказал вдруг Мишка, — Барсик... — и уважительно добавил: — Барс...

ЧИЖИ

Случилось это так. Вечером прибежал Мишка. Он постучал, потому что побаивался Кешкиной мамы. Значит, Мишка постучал, просунул в дверь голову, обвел комнату глазами и сказал:

— Кеш... Ты один?

Кешка соскочил с оттоманки: он читал «Р.В.С.»

— Один.

Мишка был уже в комнате.

— Кешка, выручи до завтра!

— А как тебя выручить?

Мишка извлек из-под пальто картонную коробку с дырками, проткнутыми гвоздем.

— Подержи до утра чижей, а то моя мамаша говорит: «Выгоню вместе с чижами...» Я завтра их в школе выпускать собираюсь, завтра. День птиц, понимаешь?..

— Понимаю.

— Я уж у матери просил-просил. — Мишка прижал к груди коробку и заговорил ноющим голосом, каким по обыкновению выпрашивал что-нибудь у своей матери: — Не можешь еще одну ночь потерпеть... — потом добавил с тревогой: — Может, и твоя мать не захочет?

— Ее нет дома, — успокоил его Кешка. — Она сегодня в вечернюю смену. — Кешке очень хотелось посмотреть чижей. Он заглядывал в дырочки, но в коробке было темно и тихо. — Мишка, может, они задохнулись?..

— В том-то и дело, — серьезно подтвердил Мишка. — В коробке им воздуху мало, их надо между рам пустить... А моя мамаша, знаешь?

— А моя ничего, — заторопился Кешка, — она чижей любит. — Ему очень хотелось, чтобы птицы побыли у него.

Мишка подумал чуточку и пошел обследовать окно. Расстояние между стеклами было большое, в самый раз.

— Крупа у тебя есть? — спросил он.

Кешка с готовностью полез в буфет.

— Есть, есть... Какую надо?..

— Пшена лучше всего.

Кешка достал железную банку с пшеном, прыгнул со стула и протянул ее Мишке. Мишка заглянул в растворенную дверку буфета.

— А в тех банках что?

— Рисовая, гречневая, манная, перловая...

— Ишь ты, — Мишка покачал головой и улыбнулся. — Давай чижам ассорти дадим.

— Такого нет, — сказал Кешка.

Мишка никогда не смеялся и не сердился, если Кешка чего-нибудь не знал.

— Такого отдельно и не бывает. Ассорти — это когда всех сортов понемногу.

— Понял, — закивал головой Кешка и полез в буфет за остальными банками.

Мишка насыпал между рамами всех круп по горсточке, добавил даже толстой разноцветной фасоли для красоты. Потом плотно закрыл окно, проверил форточки. Все было как надо. Мишка развязал нитку на коробке, приподнял крышку и засунул туда руку. Кешка не отрываясь, затаив дыхание следил за ним. Мгновение — и из Мишкиного кулака уже выглядывает удивленная взъерошенная головка чижа. Первый чиж очутился между рамами. Кешка бросился смотреть его. А Мишка уже доставал другого. Скоро за стеклами сидели все четыре чижа. Серенькие, маленькие, с зеленоватыми грудками. Они порхали вверх, вниз, поднимали невесть откуда взявшуюся пыль. Скакали по крупяному ассорти, совсем не обращая на него внимания, словно это был не корм, а уличный песок.

— Мишка, почему они не едят?

— Сытые, — ответил Мишка. Они еще несколько минут постояли у окна, поглядели, как порхают и возятся за окном шустрые чижи. Потом Мишка схватил шапку, заторопился домой. — Арифметику еще надо доделать, — сказал он на прощание. — Значит, до завтра... Я рано приду, утром...

Когда Мишка ушел, Кешка поставил к окну стул и смотрел на чижей, пока они не утомонились и не уснули, спрятав носы в перья. Птицы ложатся спать гораздо раньше людей... Зато и встают они... Но об этом дальше.

Кешка сквозь дрему видел, как пришла мама с работы, как легла спать. Потом ему стало душно; он проснулся, встал с постели, хотел открыть форточку и вспомнил про чижей. Мама спала чуть приоткрыв рот; щеки ее разругались, — наверно, и ей было душно. Но ведь форточку открывать нельзя — чижи улетят. Кешка подумал-подумал, что ему делать, и уселся у окна, решил сторожить форточку до утра. Кто знает, усни он, мама встанет и откроет. Что тогда Мишке скажет? Кешка долго смотрел на спящих птиц, на серое небо, на яркую зеленоватую звезду Вегу. Потом все это закружилось и куда-то пропало, словно на окно накинута плотную штору. А под утро Кешка увидел сон. Будто идет он с Мишкой в школу выпускать чижей. Чижи поют песни, Мишка поет, и он, Кешка, подпевает. Такое веселье вокруг, и вдруг мамин голос: «Безобразие!»

Кешка открыл глаза. В комнате светло и стоит такой гвалт, хоть уши затыкай. Чижи горланили в четыре глотки, и даже удивительно: маленькие птахи, а шумят, будто целый птичий базар.

Они били крыльями, лущили крупу и долбили носами в стекла.

Над домами плыли розовые облака; солнце, должно быть, еще едва поднялось над землей.

Мама закрыла уши подушкой и просила, не размыкая глаз:

— Кешка, прогони птиц с окна... Чего это они у нашего окна раскричались?..

Кешка растерялся.

— Ма, их нельзя прогнать, — наконец пробормотал он, — сегодня День птиц.

Мама села на кровати и увидела, что Кешкина постель пуста.

— Опять твои фокусы?.. Должна я отдохнуть или нет?..

— Должна, — согласился Кешка.

— Тогда прогони птиц... сейчас же!

— Нельзя ведь, — упавшим голосом запротестовал Кешка.

— Тогда я сама прогоню!

— Мама, — закричал Кешка, — чужие чижи!.. — Но мама потянула на себя первую раму и тут же отскочила от окна. Чижи, как ошалелые, ринулись в комнату. Они садились на абажур, на картины, скакали по столу, пищали и пели.

— Гони их! — кричала мама.

— Лови! — кричал Кешка.

Мама гоняла чижей полотенцем, как мух... Вдруг в прихожей тихонько звякнул звонок. Мама вопросительно посмотрела на Кешку и пошла открывать.

— Кого еще в такую рань несет? — ворчала она.

За дверью стоял Мишка.

— Здравствуйте, тетя Лиза... Я за чижами. — Мишка уставился в пол и добавил едва слышным шепотом: — Проспал я маленько.

Мама молча отступила, пропустила Мишку в комнату.

Чижи немного уgomонились; они скакали по шкафу, по карнизу. А один раскачивался на занавеске и тревожно чирикал.

— Проспал маленько, — еще раз пробормотал Мишка. — Их надо было сонными хватать.

— Ну, ну, хватай, — сказала мама.

Ловля чижей возобновилась. Только теперь мама сидела на кровати и устало смотрела, как Мишка и Кешка, крадучись, подбираются к чижам. Те подпускают их совсем близко и вдруг — порх!..

— Чижи, чижи... чиженьки, — шептал Мишка, хищно глядя на птиц. — Куда же вы улетаєте?.. — Он бросался на какого-нибудь чижа, опрокидывая при этом стулья. Ушибал себе колени или локти и грозил неразумным птицам: — Дураки безмозглые!.. Я ж вас зачем ловлю?? Чтобы выпускать. Чижа, чижа... Чиженька...

У Кешки была другая тактика. Он стоял на валике оттоманки, кричал, размахивал руками, а когда перепуганная птица пролетала мимо, бросался на нее, как вратарь. Чижи носились по комнате как сумасшедшие, с размаху бились о стекла, падали, взлетали снова и опять ударялись о невидимую преграду... В воздухе кружились легкие перья и пыль.

В дверях стояли заспанные тетя Люся и шофер Василий Михайлович.

— Что происходит? — испуганно спросила соседка.

— Птицы, — понимающе сказал сосед. — Летают... Ты, Кешка, их простыней лови.



Наконец мама не выдержала. Встала, открыла вторую раму. В комнату сразу ворвалась струя свежего весеннего воздуха. Чиж, который был поближе к окну, прыгнул на подоконник и выпорхнул на улицу.

— Держи! — завопил Мишка.

— Хватит птиц мучить, — сказала мама. — Пусть и остальные летят.

Мишка опустил на стул совсем расстроенный.

— Тетя Лиза, что вы наделали!.. Мне же их сегодня выпускать надо в школе... Ведь День птиц.

— Вот и пусть летят.

— Да, они сами улетают, а надо организованно...

Чиж, почувствовав свежий уличный воздух, ринулся к окну. Два вылетели сразу, а один ударился о занавеску и запутался в ней. Тут Мишка его и схватил.

— Не расстраивайся, — успокаивал друга Кешка. — Одного выпустишь организованно.

— Да, я их специально ловил... — бубнил Мишка. А мама подошла к окну и откинула занавеску.

— Вон твои чижи на дереве сидят... Радуются... Приятеля поджидают... Каково ему?..

Мишка посмотрел на Кешку, ища у него поддержки. Но Кешка опустил глаза.

— Мишка, давай и этого... А, Мишка?..

Мишка шумно засопел, потом подошел к Кешкиной маме и сунул ей в руки чижа.

— Нате... Выпускайте... Все равно это не по правилам.

Мама посмотрела на маленькую серую птичку в своей руке, подула ей на взъерошенное темя и раскрыла ладонь.

— Лети, чижик. Миша разрешил.

ПРОСТО ИСТОРИЯ

Неподалеку от Кешкиного дома протекала речка. Пахло от нее пенькой, водорослями, смолой, рыбой. И это был удивительный запах — лучше, чем аромат конфет и пирожных, — речка дышала морем.

Неуклюжие баржи навозили сюда целые горы морского песка и желтых камней. А в начале лета крикливые буксиры забили всю речку лесом. Намокшие за долгое путешествие бревна жались к берегу, как стадо усталых молчаливых тюленей. Ребята постарше придумали игру, даже не игру, а просто так — занятие. Они перескакивали по бревнам с одного на другое. Бревна под ногами тонули, но в этом и был весь интерес. Сколько великолепного, сосущего под ложечкой страха, сколько хвастливой гордости доставляла прыгунам эта затея! Всякий раз она кончалась благополучно, если, конечно, не считать мокрых штанов и ботинок. Чемпионом на бревнах считался Мишка. В этой истории на его долю выпала немаловажная роль, но всему свое время.

Однажды на берегу играли Кешка, Круглый Толик и Людмила. Мальчишки ходили по бревнам у самого берега. Людмила сидела на песке и поддразнивала:

— Слабо дальше!.. Слабо дальше!..

Мальчишки не очень-то слушали, что она там кричит, и скоро ей надоело их дразнить. Она стала переплетать свои маленькие, с мизинец, косы. Налетел ветер, вырвал у нее из рук белую шелковую ленточку и отнес на самые дальние бревна.

Людмила заревела:

— Моя ленточка!.. Теперь мне от мамы попадет... И все из-за вас!.. Зачем меня на речку позвали?..

Никто Людмилу не звал. Она сама пришла. Кешка видел, что ветер вот-вот сбросит ленточку в воду. Крику будет на весь двор!.. Не раздумывая, он прыгнул на бревно подалее, потом на следующее. Добрался до ленточки; только наклонился, чтобы ее поднять, как бревна расступились и он провалился в воду. Не успей Кешка вовремя расставить руки, случилась бы непоправимая беда.

— Кешка утонул! — вскрикнула Людмила.

Толик, чувствующий себя на бревнах очень неустойчиво, прыгнул на берег и что есть мочи припустил к дому. Людмила, воя от страха, неслась следом.

— Мама!.. Никому не скажешь? — выпалила она, врываясь в квартиру. — Кешка утону-у-ул!..

— Да что ты! — всплеснула руками Людмилиной мать, заперла дочку на ключ, быстро выскочила на лестницу и застучала по ступенькам тонкими каблуками.

Кешка тем временем держался за бревна, болтал ногами

в воде, стараясь закинуть хоть одну наверх. Но либо ботинки стали тяжелыми, либо сил у Кешки осталось совсем мало, — выкарабкаться ему не удавалось. Волнами поддавало соседние бревна. Они били Кешку по рукам. Пальцы немели. Плечи опускались все ниже. Вода уже щекотала подбородок. А над речкой спокойно кружились чайки.

— Держись, Кешка!

От забора, перескакивая через камни, размахивая руками для равновесия, мчался Мишка. За ним, пыхтя, катился Круглый Толик.

Мишка кричал:

— Держись!

Кешка крепче вцепился в скользкую кору, а Мишка вскочил на бревно, прыгнул раз, другой... лег на живот и схватил Кешку за ворот.

На берегу Кешку подхватил Толик. Ребята вели его медленно, осторожно.

Мишка рассказывал:

— Прибегает Толик, кричит: «Кешка тонет!..» Я ходу!..

Круглый Толик застенчиво отворачивался, — все-таки не он спас Кешку.

Кешка едва переставлял ноги и скоро без сил повалился в теплый песок. Ему казалось, что песок колышется под ним, расплзается. Кешка запустил в него пальцы и закрыл глаза. Ребята стащили с Кешки ботинки, брюки, рубашку, разложили на камнях сушить.

— Теперь искусственное дыхание надо, — заявил Мишка.

— Он ведь и так дышит. — Толик неловко погладил Кешкино плечо. — Кешка, ты дышишь?

— Дышу...

— Мало ли что... «Дышу»... А может, у тебя полная внутренность воды. По правилам обязательно искусственное дыхание полагается. — Мишка схватил Кешку за руку, Толик взял за другую.

— Довольно! — кричал Кешка.

Мишка ворчал строго:

— Терпи, я сам знаю, когда довольно.

Кешка терпел, а его друзья старательно пыхтели, нажимая ему на живот, на грудь. Остановились они внезапно. Толик даже приподнялся, собираясь задать стрекача. От забора к речке бежали Кешкина мама, Кешкин сосед — шофер Василий Михайлович, соседка тетя Люся. Позади всех, осто-

рожно пробираясь между камнями и досками, поспешала мать Людмила.

Сразу стало шумно. Тетя Люся принялась тормозить Кешку, будто сомневаясь, он ли это. Василий Михайлович стоял, сурово сдвинув брови. А Кешкина мама опустила на желтые камни и заплакала. Ребята прижались друг к другу; они почти оглохли от шума, оторопели от такого яростного внимания... А Кешка посмотрел на маму и сказал:

— Ну чего ты, ма?.. Ну чего?.. Я ведь не утонул, а ты плачешь!..

ВЗРЫВ

Напротив дома, в котором жил Кешка, стоял высокий забор. За ним лязгали машины, шипела электросварка. А вечерами прожекторы, укрепленные на столбах, вонзались лучами в землю, будто плавили ее. За забором была глубокая яма — котлован. До дна ямы не доставали даже экскаваторы; рабочие поднимали землю лебедками. Вот туда, на самое дно котлована, и свегили прожекторы. Ребята привыкли к яме за забором и перестали заглядывать в щели.

Однажды ребята увидели, что над забором возвышается бетонная башня. Не очень высокая, правда. Через несколько дней над башней выросла пара долговязых подъемных кранов. Рабочие день и ночь плели по стенам башни редкую сетку из толстых железных прутьев, обивали стены досками. А краны выливали большие бочки жидкого бетона на железную сетку между досками. Бетон затвердевал. Башня лезла вверх. Она поднималась, громадная, серая, без окон, без дверей.

— Что же это будет? — гадали ребята. Гадать было трудно: никто из ребят за всю свою жизнь не видел еще такой башни. Наконец все сошлись на том, что за забором строят атомную электростанцию. Это было очень любопытно.

Как-то вечером в Кешкину квартиру позвонила дворничиха тетя Настя.

— Не закрывайте на ночь окон, — предупредила она. — Взрыв будет.

— Что, война? — высунулся из-за мамы Кешка. Но мама сердито топнула ногой, а тетя Настя замахала руками.

— Что ты, господь с тобой!.. Такие слова говоришь. Даже подумать страшно. Взрыв на строительстве будет. Вон за забором.

Тетя Настя ушла, ворчливо напомнив еще раз о том, чтобы не закрывали плотно окон, не то стекла вылетят. А мама привела Кешку в комнату и велела ему сесть на стул.

— Кешка, дай честное слово, что не будешь торчать у окна.

Кешка не любил разбрасываться честным словом. Честное слово — как клятва. А разве легко человеку спать, если за окном произойдет самый настоящий взрыв?

Кешка сопел, глядел на маму умоляющими глазами. Мама была непреклонна.

— Кешка, дай честное слово.

Кешка посмотрел на маму самым жалостным взглядом. Не помогло. Наконец он со вздохом прошептал:

— Ладно... Честное обыкновенное.

Не мог же он дать честное-пречестное или честное ленинское. Взрыв как-никак.

Мама дежурила на заводе в ночную смену. Пока она собиралась, Кешка ровно и глубоко дышал, притворялся спящим. Но только она закрыла за собой дверь, Кешка сел на оттоманке.

За окном тревожно дребезжали трамваи. Голубой свет метался по комнате. Люди за забором готовили взрыв.

Неожиданно в передней раздался звонок. Кешка соскочил с оттоманки, сунул ноги в мамины шлепанцы, побежал открывать. Наверно, мама чего-нибудь забыла.

— Это ты, мам?..

— Открывай, чего там! — раздался на площадке Мишкин голос. — Давай быстрее!

Кешка живо распахнул дверь, и в переднюю ввалился Мишка, в одних трусах, в ботинках на босу ногу. С Мишкиных плеч свисало серое байковое одеяло. К голому животу он прижимал подушку.

— Ночевать к тебе. Сейчас твоя мать заходила... Говорит, нам вдвоем не так страшно будет.

Кешка покраснел, пробормотал:

— А мне и не страшно вовсе. Заходи, будем вместе на оттоманке спать.

— Ты ложись, а мне нельзя, — заявил Мишка. — Мне надо у окна сидеть; мало ли что случиться может.

Кешке тоже необходимо было сидеть у окна, но он дал честное слово не слезать с постели.

Мишка, закутавшись в одеяло, сел к окну.

— Вокруг башни темно, — сообщил он. — Людей не видно.

Кешка подпрыгивал на оттоманке, старался хоть так рассмотреть, что делается около башни. Наконец он догадался, сложил все три подушки одна на другую, по бокам подставил валики и взобрался на это неустойчивое сооружение.

Башня возвышалась угрюмой громадой. Отвернув от нее узкие стрелы, настороженно замерли краны. Проекторы не светили, лишь красноватая, со слабым накалом, лампочка покачивалась на ветру.

Прошло много времени, томительного и напряженного. Чтобы не уснуть, ребята обменивались короткими репликами.

— Мишка, спишь?

— Нет... Сейчас, уже скоро...

— Мишка, а все-таки зачем взрыв будет?

— Я думаю, испытывают. Чтобы потом, когда атом пустят туда, никаких трещин не было.

Кешка пытался представить себе таинственное нутро башни и сложные машины, которые приведет в движение легендарное чудовище — атом.

Ребята надолго замолкали, свирепо боролись с дремой, заволакивающей глаза. И вдруг над башней возник трепещущий фиолетовый свет. Ударило по ушам гулким крутым ревом. Грохнуло, раскатилось по улицам эхо. Зазвенели на тротуарах лопнувшие стекла.

Кешка упал на пол со своего наблюдательного поста. Барахтался, выбирался из-под подушек.

Мишка закричал:

— Зажигай свет!

Когда в комнате вспыхнула лампочка, Мишка подскочил к зеркалу, принялся рассматривать лоб.

— Кешка, чего это у меня на виске?

Кешка подошел поближе. Вдоль виска у Мишки тянулась неглубокая розовая царапина.

— По-моему, рана...

Мишкины губы расплылись в блаженной улыбке. Он даже глаза закрыл.

— Раненый... Кешка, я раненый!..

— Ну да, — подтверждал Кешка с завистью. — Это из

форточки стекло вылетело и кусочком тебя поцарапало. — Но Мишка не слушал; он приплясывал около зеркала и самозабвенно повторял:

— Раненый, раненый!.. — Потом он спохватился, спросил: — Кешка, у тебя бинты есть?

— Ну, есть.

— Давай перевязывай.

Кешка засмеялся.

— Чего там перевязывать! Йодом смазать — и все.

— Если хочешь знать, — круто повернулся Мишка, — по правилам медицины тут операцию делать надо. Это тебе не рогаткой и не деревянной саблей, а настоящим взрывом. — Мишка расслабленно повалился на стул и запрокинул голову.

Кешка бросился к мамину туалету, достал из тумбочки бинт и вату. Смазал Мишкину рану йодом — Мишка даже не поморщился — и стал делать перевязку. Мишка то и дело поворачивался к зеркалу, придирчиво осматривал голову и говорил:

— Мотай больше... Ваты не жалея...

Когда голова стала похожа на большой снежный ком, он удовлетворенно кивнул.

— Вот теперь в самый раз. Довольно. — Вдруг Мишка ударил себя по забинтованной голове. — Эх ма!.. Может, на улице еще раненые; может, кому помощь нужна?..

Мальчишки бросились к окну.

Уже начался рассвет, голубовато-серый, прозрачный и гулкий. Дворники сметали с тротуаров стекла в большие железные совки. А башня, мрачная бетонная башня, исчезла.

Ребята стояли, раскрыв рты от изумления.

— Начисто, — выдохнул Мишка. — Даже кусков не осталось.

На следующий день ребята во дворе были потрясены. Атомная станция рассыпалась почти что у них на глазах от самого обыкновенного взрыва. Тут было над чем подумать. Забинтованный Мишка мрачно вещал:

— Как грохнет!.. Осколок как зажужжит!.. И прраз — прямо мне в висок... Кешка, скажи...

Кешка все время пытался сказать, что никакого осколка не жужжало, что Мишку, по его, Кешкиному, мнению, поцарапало кусочком стекла из форточки. Но Мишка говорил так убедительно и при этом смотрел на всех с такой просто-

душной радостью и превосходством, что Кешка поверил. Может, и был осколок. Он ведь под подушками барахтался, мог не заметить. И Кешка согласно кивал головой.

— Ага, прямо в висок.

Ребята с завистью смотрели на забинтованную Мишкину голову, легонько дотрагивались до повязки и сочувственно спрашивали:

— Больно?.. Очень?..

Потом толпой двинулись к серому забору и прильнули к широкому щелям в дощатых воротах.

На строительной площадке было пустынно. словно при-
встав на цыпочки, тянулись к небесам башенные краны. Они
будто не успели еще опомниться, прийти в себя. Деревянные
подмостки, окружавшие башню, были разобраны и лежали
теперь штабелями на земле. И никаких следов разрушения.
Только от самой башни остался торчать ровный круг метра
в полтора высотой, как будто башню аккуратно спилили у
самого основания. И было чисто. Вероятно, взрыв унес все
обломки куда-то далеко за город.

Нет, взрыв не был обыкновенным.

— Что вы, огонь до неба!.. — захлебывался Мишка. —
Я сам видел, башня подлетела — и в пыль!..

— Да ну?! — раздался вдруг за спинами ребят густой бас.

Ребята отхлынули от забора. Но страшного ничего не
оказалось. У ворот стояла зеленая пятитонка, груженная
большими бумажными мешками с цементом. Из кабины вы-
глядывал шофер с широким смуглым лицом.

— Василь Михалыч! — закричал Кешка. — Здравствуй-
те, Василь Михалыч!.. Ребята, не бойтесь — это Василий Ми-
хайлович, наш сосед.

— А это кто? — показал шофер на Мишку. — Что это за
чучело?

— Да это Мишка же... Вы его видели. Он еще ко мне
ходит.

Василий Михайлович подозрительно оглядел забинтован-
ную Мишкину голову.

— Ну ты, приятель, врать...

Мишка набычился.

— А я врал, да?.. Взорвали башню, каждый знает. Мы
с Кешкой лично видели. — Мишка кивнул на закрытые во-
рота и упрямо повторил: — Даже кусков не осталось, все
разнесло.

Василий Михайлович усмехнулся и покачал головой.

— А зачем, по-вашему, ее взрывать?.. Незачем ее взрывать, она громадных денег стоит.

— А куда же она делась тогда? — с подковыркой спросил Мишка. — Может, в землю ушла?

Василий Михайлович положил на баранку тяжелые, перепачканные маслом руки и засмеялся:

— В землю... А ну, Кешка, поехали со мной, сам увидишь.

Кешку упрашивать не понадобилось. Он живо забрался в кабину. Василий Михайлович поманил пальцем Мишку.

— И ты, герой, голова с дырой, садись. — Он подождал, пока ребята устроятся на черном промятом сиденье и нажал сигнал.

Ворота открыл вахтер в брезентовой куртке. Поздоровался.

— Привет, Михалыч, цемент привез?.. А это что у тебя за пассажиры?

— Мои, — односложно ответил шофер и медленно въехал в ворота.

Рабочие быстро разгрузили бумажные мешки с цементом под деревянный навес. Василий Михайлович подогнал пустую машину к самой башне, но, кроме глухой шероховатой стены, с земли ничего не было видно.

— Придется лезть в кузов, — сказал Василий Михайлович. Он помог взобраться ребятам и сам ловко перемахнул через борт.

Серые стены башни уходили глубоко вниз, образовав громадный бетонный колодец.

Мишка потер под носом.

— Чего она?

— Осела, — подсказал Василий Михайлович. — Это ведь не башня.

— Мы знаем... Атомная станция, — вмешался Кешка.

Василий Михайлович расхохотался.

— Вот чудачки!.. Это бассейн. Водоочистная станция, никакая не атомная. Видели глубокую яму — котлован?.. Эту башню-бассейн нужно было строить глубоко в котловане. А работать там неудобно, тесно... Вот инженеры и придумали. Соорудили на дне котлована сваи и бассейн стали строить на сваях, а когда довели его до нужных размеров, сваи подорвали... Он в яму и опустился, бассейн-то, стал на свое место. Скоро сюда по специальному тоннелю грязная вода

побежит со всего города. Здесь ее очищать будут. Реки в городе прозрачные станут, как в лесу на природе. Вот, например, в моей деревне, где я, значит, родился. Там в реке все камешки на дне видать... И раки, и плотица...

— А осколки от взрыва были? — с надеждой спросил Мишка.

— Никаких осколков.

Мишка потрогал свою забинтованную голову и, сопя, полез обратно в кабину.

— Ты куда? — схватил его за руку Василий Михайлович. — Ты, это... того. Ты, это, не огорчайся... Я ведь не досконально знаю. Может, и был какой осколок... Может ведь... Да вон у главного инженера спросим. — Шофер замахал рукой высокому человеку в аккуратной брезентовой куртке.

— Ты что, Михайлович, сынов на экскурсию привез? — спросил инженер, подойдя к машине.

— Я бездетный. Это сосед мой с дружкой, — прогудел шофер. — Дружка-то, видишь, осколком поранило. А уж какие тут осколки...

Кешка умоляюще посмотрел на инженера. Тот усмехнулся, потом деловито нахмурил лоб и вытащил из кармана блокнот.

— В каком доме живете?

— Вон, наискосок.

Инженер принялся что-то писать в блокноте. Он бормотал слова, похожие на заклинания: логарифмы, синусы, котангенс, траектория, теория вероятности... Наконец он закрыл блокнот и потрепал Мишку по плечу.

— Был осколок. Вон туда полетел. — Его рука приподнялась и показала на Кешкин дом.

Мишкино лицо просветлело на миг. Но, когда они сели в кабину, Мишка забился в самый угол и отвернулся.

— Чего ты? — утешал его Кешка. — Раз главный инженер сказал, значит, все... По котангенсу и по траектории...

Мишка только плотнее сжимал губы.

Шофер Василий Михайлович молчал. А когда они выехали за ворота, он высунулся из окна и сказал окружившим машину ребятам:

— Был осколок-то... Вот ведь дело какое.

Прятели вылезли из машины.

— Ну что?.. Куда башня делась? — допытывались ребята, преданно заглядывая Мишке в глаза.

— Никуда она не делась. На месте ваша башня, — отмахнулся Мишка. Он опустил голову и угрюмо зашагал к дому.

Кешка потоптался около ворот, начал было рассказывать ребятам про удивительную башню, но не выдержал и бросился догонять Мишку.

Дома Мишка размотал бинты, снял вату и швырнул все это в помойное ведро.

Кешка попытался успокоить его:

— Чего ты, Мишка?.. С ума сошел?.. Ведь по этой, как ее?.. По теории, ты осколком раненный.

— По этой самой теории он меня за дурака считает, да?.. — огрызнулся Мишка. Он густо замазал царапину на виске чернилами и подошел к окну. — А еще синус... главный инженер!..

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Есть у каждого человека один замечательный день — день рождения. И подарки тебе, и сласти. Даже шалости в этот день прощаются.

У Кешки день рождения в конце лета. Мама всегда покупает астры, столько штук, сколько лет Кешке исполнилось. Ставит их в вазочку и говорит: «Вот, Иннокентий, стал ты теперь на целый год старше. Пора тебе начать новую жизнь, серьезную». И Кешка всегда эту новую жизнь начинал. По крайней мере, он каждый раз говорил: «Ну вот сегодня я уж обязательно начну...»

Он проснулся, когда мама уже ушла на работу. В комнате красиво убрано. На столе в вазочке девять белых пушистых цветков, завтрак и записка: «Дорогой мой, поздравляю тебя с днем рождения. Мама».

Кешка быстро убрал постель, умылся, позавтракал, подмет пол и помчался во двор.

Во дворе солнце. Под водосточными трубами из щелей в асфальте торчит сухая пыльная трава. Листья на старых корявых липах жесткие и шершавые — скоро начнут желтеть.

Мишка с Круглым Толиком сидят возле выросших за лето полениц, похваляются, кто лучше провел лето.

— А у меня сегодня день рождения, — объявил им Кешка. — Приходите вечером в гости!

Мишка схватил Кешку за уши, стал тянуть, приговаривая:

— Расти большой, расти большой...

Толик тоже немного потянул. Потом оба сказали: «Придем».

Мама отпросилась с работы пораньше, с обеда. Ей нужно было испечь пирог, приготовить для гостей всякие вкусные вещи.

Кешка помогал ей изо всех сил: расставлял тарелки, резал сыр, колбасу, рыбу, раскладывал ножи и вилки. Он все время прислушивался, когда же зазвонит звонок и пойдут гости.

Первыми пришли Мишка с Толиком. Они были какие-то очень чистенькие и неловкие. По очереди пожали Кешке руку, сказали: «С днем тебя рождения» — и подарили Кешке большую коробку, завернутую в бумагу.

— Пользуйся.

Потом пришла тетя Люся с дядей Борей. Они подарили Кешке портфель с блестящим замком. Потом пришла мамина сослуживица. Потом мужчина — сослуживец... И пошли один за другим мамины знакомые. Все улыбались, давали Кешке подарки, говорили: «Расти большой, слушайся маму».

— Не люблю я эту канитель, — ворчал Мишка.

— Нас за общий стол посадят или куда-нибудь? — спрашивался Толик и шептал: — Чего-то есть охота...

Посадили их за общий стол, даже дали по рюмке и налили в рюмки лимонад.

Гости заулыбались: «Расти большой!.. Умный!.. Слушайся маму!..» Потом они стали маму поздравлять, потом друг друга, потом каких-то своих общих знакомых. Белые астры, стоявшие посреди стола, переключались на подоконник.

Толик, Кешка и Мишка пили лимонад, накладывали себе всякой еды, а когда наелись, полезли к столу с подарками. Кешке и Толику очень хотелось посмотреть, что принесли, но Мишка презрительно махнул рукой.

— Ничего там толкового нет. Дребедень — шоколадки какие-нибудь. Толька, доставай нашу игру. Сразимся.

Толик (он проковыривал во всех пакетах дырочки) бросил свое занятие и из груды подарков извлек коробку, которую они с Мишкой принесли.

— Игра «Кто быстрее». Для смекалки, — пояснил Мишка.

В коробке лежала расчерченная на линии и кружочки картонка. Каждому игроку полагалось по три деревянные фишки. Нужно было кидать пластмассовый кубик, смотреть, сколько выпадет очков и на столько кружков передвигать свою фишку. Еще нужно было убегать от идущего сзади, чтобы не сбил. Если συμβуют, начинай сначала.

Ребята двигали фишки, смеялись и поддразнивали друг друга. Первым шел Кешка. Мишка все время слетал и начинал снова. Мишка не злился, говорил, будто Кешке везет потому, что у него день рождения. В другой день он обязательно бы его обставил.

— Смотрите!.. Это же «Рич-Рач»! — изумленно воскликнул дядя Боря, вылезший из-за стола. — Великолепная игра. Я ею в детстве увлекался. Елизавета Петровна, Люся, идите сюда! — Мама и тетя Люся подошли к ребятам. За ними потянулись и остальные.

— «Рич-Рач»!.. Это же подлинный «Рич-Рач»! — восторгался дядя Боря. — Ребята, у вас три фишки лишние. Можно мне?

— Пожалуйста, — великодушно разрешил Мишка и зашептал: — Ну что, видели, какая игра!.. Это не шоколадки разные, не всякие там тренди-бренди. — А дядя Боря уже кидал косточку и шагал фишкой по полю.

Толик тоже хотел ходить, была его очередь, но это сделала за него тетя Люся. Кешкину очередь отобрала мама. Ребят оттеснили, и Мишка, оставшись один, тоже вскоре выбрался из окружения.

— Тоже мне взрослые!.. В детскую игру занялись, — ворчал он.

— Мы не им подарили, — тосковал Толик, — Кешке подарили.

— Здесь не только вперед сбивать можно, — высоким голосом объяснял дядя Боря. — Здесь еще и лягаться можно, если кто сзади окажется вплотную... Вот смотрите, Елизавета Петровна, я вас сейчас лягну.

Кешка насупился. Толик протолкался к игре, посмотрел исподлобья на дядю Борю и угрюмо произнес:

— Вы, пожалуйста, свою тетю Люсю лягайте, а Кешкину маму не смейте. И вообще мы не вам игру подарили, Кешке подарили... — Толик сгреб картонное поле с фишками и стал, пятясь, протискиваться к ребятам. Но тетя Люся схватила его за руку.

— Что тебе, жалко, что ли?..

— Ишь, какой шустрый! — кисло улыбнулась мамина са-
сауживица.

Кто-то захохотал. Дядя Боря начал краснеть и протирать
очки. Мама растерялась от неожиданности.

— Толик, как тебе не стыдно?..

Через минуту ребята уже сидели в коридоре на старом
тетинном Люсином сундуке. Из комнаты доносился смех.
Дядя Боря объяснял еще какие-то новые правила игры в
«Рич-Рач».

— «Рич-Рач» какой-то придумал, — ворчал Мишка. —
Сам он Рич-Рач.

— Жалко, — бормотал Толик, — рано выгнали... Тарту
бы хоть попробовать... А то все сами съедят.

Кешке было стыдно перед ребятами. «Вот пригласил дру-
зей на свой собственный день рождения...» Он вздыхал, ду-
мал, чем бы занять своих гостей, наконец предложил:

— Пойдемте в кухню, там у нас лампочка шипит.

Лампочка на самом деле шипела. Вернее, она тихонько
звенела, потрескивала и еще как будто произносила все вре-
мя букву «С». Так: «С-с-с-с!..»

— Ни у кого такой лампочки нет, — похвастал Кешка. —
Мишка, скажи, почему она такая?

Мишка задрал голову, начал кружиться под лампочкой.
Он глубокомысленно хмыкал, щурился, чесал нос. Потом
заявил:

— Наверно, в нее воздух проходит. Дырка, наверно, есть.

— Лампочка с дыркой не загорится, — возразил Толик. —
Из нее электричество выскакивать будет.

Мишка хотел что-то растолковать Толику, но в эту ми-
нуту в кухню вошла мама. Лицо у нее было уже не сердитое.
Она обхватила ребят руками.

— Ладно, будет дуться. Идите в комнату. Никто бы вашу
игру не съел... Идите, я вас тортом накормлю.

— Не пойдем мы в комнату. Нам здесь веселее, — сказал
Кешка.

Мама погрустнела, улыбнулась растерянно.

— Ладно, тогда я вам сюда торта принесу.

Она принесла им три больших куса с кремовыми заго-
гулинами, бутылку лимонада и конфет.

Ребята уселись к тетиному Люсиному столу. Они ели
торт и конфеты.

Потом в кухню выбежала тетя Люся.

— Ну, как вы тут?... Торт едите?... Хотите, селедочки принесу? После сладкого селедка очень хорошо. Хотите? — И, не дожидаясь ответа, убежала.

Селедка после торта и конфет оказалась действительно очень вкусной. Ребята ели селедку и слушали, как шипит лампочка.

— Я догадался, почему шипит, — вскочил вдруг Мишка. — Контакт слабый... У нас однажды такое было. Отец сразу починил.

— А ты можешь? — спросил Кешка.

— Пустяки, делать нечего... Давайте табуретки и ножик.

Мишка подставил под лампочку табурет, взгромоздил на него другой и с помощью товарищей взобрался наверх. Схватился за лампочку, отдернул руку.

— Фу-у.. Горячая...

Кешка подал ему тряпку.

Мишка обмотал тряпкой лампочку, повернул — и в кухне стало темно. Лишь на потолке желтым облачком покачивался отсвет уличного фонаря. Мишка засунул лампочку в карман вместе с тряпкой.

— Теперь нож давайте!..

Кешка приподнялся на цыпочки, вложил в Мишкину ладонь широкий кухонный ножик.

— Сейчас... Сейчас... — бормотал Мишка. — Контакт отогнем — и все. Без звука работать будет. Как надо... — Мишка сунул ножик в патрон. Посыпались голубые искры. Раздался сухой треск. Мишка вскрикнул, выронил нож, пригнулся — и потерявшие равновесие табуретки загремели на пол. Все это случилось в одну секунду.

Мишка лежал у стола, за которым они только что ели торт и селедку. Он удивленно кряхтел, растирал ушибленные бока, тряс рукой. А в коридоре уже раздавались голоса:

— Что случилось?!. Почему свет погас?!. Замыкание, наверно... Всегда, как только люди соберутся, как только за стол...

В кухню вбежали дядя Боря и мама. Дядя Боря чиркнул спичку.

— Конечно, замыкание!.. Видите, они что-то с патроном сотворили.

Ребята поднимали Мишку. Он шепотом оправдывался:

— Эх, забыл выключатель повернуть!..



В кухне уже горела свеча.

— Что вы наделали? — допытывалась мама. — Где лампочка?..

— Вот она... — Мишка вытащил из кармана тряпку. На пол посыпался звонкий стеклянный дождь.

— Осторожнее! — бросилась к нему мама. — Неужели вы спокойно сидеть не можете?..

— Мы ее починили, — бормотал Кешка. — Чего она шипит? — А про себя Кешка думал: «Ну вот, всегда, как только новую жизнь начнешь, все не так получается...»

Мамин сослуживец и еще один знакомый полезли ввинчивать пробки. А тетя Люся стояла посреди кухни и возмущенно отчитывала Кешку:

— Что это у тебя за мода, не понимаю... Людей пригласили на день рождения, а ты свет портишь.

— Ну, ничего страшного не произошло, — убеждала ее мамина сослуживица. — Они ведь дети еще.

Кешкина мама стояла у плиты, смотрела на притихших ребят.

Мишка и Толик подталкивали Кешку в бока: извинись — и дело с концом. Но мама не стала ругать Кешку. Она даже потрепала его по голове. Она, наверно, простила ему: ведь у Кешки был день рождения, а в этот день наказывать ребят не принято.

КОПИЛКА

Круглый Толик был невысок и, мягко выражаясь, полноват. Стриженная под машинку голова очень напоминала волейбольный мяч, к которому прилепили вздернутый любопытный нос, приладили шустрые глаза и два чутко оттопыренных уха. Ребята любили его за доброту, за незлобивый, покладистый характер.

Родители Круглого Толика были геологи. Еще прошлой осенью они уехали в Казахстан, в пустыню — искать олово. Толик просил: «Возьмите меня...» Но родители отвечали, что не могут этого сделать: живут в очень трудных условиях. И вот этим летом, когда почти все население двора разбегалось по дачам и пионерским лагерям, родители все-таки

забрали его к себе в пустыню и правильно сделали, потому что с Толиком приключилась беда.

Беда стала подкрадываться с того самого дня, когда в доме появилась тетя Рая. Тетя Рая — старшая сестра Толикова отца; ведь, как ни говори, оставлять мальчишку одного — рискованное дело.

Родители уехали. Тетя Рая сразу же навела в доме свои порядки. Она постелила всюду вышитые салфеточки, поставила на книжных полках фарфоровые безделушки, которых навезла с собой великое множество. На письменный стол, где Толик готовил уроки, тетка водрузила большущую толстобокую собаку с прорезью на спине.

— Зачем мне такое чучело? — отпихнул собаку Толик. Тетя Рая возмущилась.

— Как тебе не стыдно?... Я украсила комнаты художественными изделиями, а ты недоволен. На что была похожа квартира?... Сарай! Никакого уюта!...

— Я не про уют говорю... Я про собаку, про вот эту, — Толик ткнул пером в блестящий собачий бок.

— Что ты делаешь? — Тетя поблуднела... — Это английский фаянс!.. — Она беззвучно пошевелила губами, потом показала на прорезь острым, как карандаш, пальцем.

— Вот сюда ты можешь класть свои деньги... А если ты будешь хорошо учиться и слушать меня, я тоже стану опускать в твою копилку монетки. — На тетиных губах восстановился прежний синеватый оттенок; она даже улыбнулась чуть-чуть. — Когда копилка будет полная, купишь себе какую-нибудь хорошую вещь. Копилка очень организует детей.

Тетя Рая проследовала на кухню готовить обед, и лицо у нее было такое важное, словно она прочла лекцию в университете.

Толик долго сумрачно пыхтел, двигал ежиком на голове, наконец выкрасил собачий нос фиолетовыми чернилами. А во дворе пожаловался ребятам:

— Собаку какую-то мне на стол поставила... Уродину.

— Да пусть стоит, не ругаться же с теткой из-за собаки, — посоветовал обстоятельный Мишка. — Кормит-то она тебя как?

— Кормит хорошо, вкусно, — признался Толик.

— Не дерет?

— Нет.

Ребята решили, что с такой теткой жить можно. А если

начнешь с ней ссориться, — напишет родителям, чего доброго

Тетка серьезно взялась за воспитание «бедного мальчика». Она проверяла у него уши после мытья. Заставляла подвязывать салфетку за обедом. Не разрешала класть локти на стол и свистеть. С этим бы Толик смирился. Но тетка запретила ему громко петь, бегать по коридору и, самое унижительное, прикалывала к его воротнику белый шелковый бант. Толик, выходя гулять, еще на лестнице снимал его и прятал в карман. Тетя запретила Толику говорить: «Мишка, Кешка».

Каждый день тетя проверяла Толиков дневник. Толик учился вполне прилично. Двоек у него никогда не было, тройки изредка попадались. Зато за каждую хорошую отметку тетя Рая опускала в копилку двухкопеечные монеты. За четверку — четыре, за пятерку — пять. Делала она это важно и со вкусом. Медленно выпускала монетки из пальцев и прислушивалась к звуку, который они рождали в темной глубине фаянсового уродца. А когда Толик принес табель за первую четверть, тетя подняла копилку и потрясла ее около Толикова уха. В животе у собаки глухо зазвенели монеты. Тетя улыбнулась значительно и поставила собаку на место. Толик подождал, пока тетя вышла в кухню, и принялся шарить в своем столе, в карманах, даже в старом папином пальто, которое висело на вешалке в коридоре. Он разыскал несколько медяков, немного серебра, бумажный рубль и запищал все эти деньги в копилку. Поднял ее и потряс, как тетя, около уха. Ему показалось, что монеты звякнули веселее и громче.

— Рубля два, наверное. Всех ребят в кино сводить можно... Тетя Рая! — закричал он. — Тетя Рая!..

Тетя Рая возникла в дверях, держа на весу перепачканные в муке руки.

— Тетя Рая, пора уже ее разбивать... Деньги доставать... Брови у тети Раи поползли вверх, а уголки губ — вниз.

— То есть как это пора?

Толику не хотелось говорить, что он поведет всех ребят в кино. Он подумал минутку и заявил:

— Я кирзовую покрывку покупаю... для футбола.

Тетя скривила губы.

— Откуда у ребенка может быть фантазия!.. Покрывку!.. Какие-то дикие желания... Копилку мы разобьем торжествен-

но, когда она наполнится вся. В ней будет рублей десять или двадцать. Что можно купить на такие деньги?

— Ружье! — выпалил Толик.

— Можно и ружье, — согласилась тетя. — Можно, но не нужно. Ты еще мал, и ружье тебе ни к чему... Хороший фотоаппарат, например...

Об этом стоило подумать. Фотоаппарат — вещь безусловно дельная: можно всех ребят во дворе фотографировать.

Толик решил копить деньги.

Кроме завтраков, бутербродов, завернутых в вощеную бумагу, тетя давала Толику каждый день по десять копеек на молоко. Толик честно ходил в столовую и выпивал стакан молока за шесть копеек, а на остальные покупал конфет. Однажды Толик заигрался на большой перемене и забыл про молоко. А когда вспомнил, то уже пора было идти домой. В этот день его сбережения пополнились сразу на гривенник. Толик опустил его в копилку, и тут его осенила блестящая мысль: можно прожить и без молока. Зато денежки.

Теперь Толик каждый день осторожно, чтоб не видела тетка, запихивал гривенники в свою копилку... Он даже по улице стал ходить с опущенной головой. Бывает ведь: находят люди деньги. Вот Мишка один раз целый рубль нашел. Все тогда так наелись мятных конфет, — даже язык щипало и щеки изнутри словно облезли.

Толик и учиться стал лучше, чтобы тетя побольше клала в копилку монет.

Нет ничего позорного в том, что человек честно копит деньги на фотоаппарат. Ребята даже поощряли Толикову затею. Правда, Мишка ворчал, что Толик берет от тетки деньги за хорошие отметки.

— Ты смотри, не очень-то уж перевоспитывайся... А то будешь гога с бантом.

После Октябрьских праздников, когда на улице выпал первый крепкий снежок, Кешка позвал Толика на угол к лоточнице, купить конфету. Кешка долго выбирал, глотая слюну.

— Купи вот эту с белым мишкой, — подталкивал его Толик. — Она, смотри, большая, из чистого шоколада.

Кешка купил конфету, прочертил ногтем посередине полоску. Половину откусил сам, половину дал Толику.

— С вафлями, — шептал Толик. — Вот бы такие каждый день!..

Кешка молчал, боялся упустить изо рта хоть капельку растаявшего шоколада; наконец он облизал перепачканные, сладкие пальцы.

— Ну, покупай теперь ты.

Толик проглотил сладкую слюну, шагнул к лоточнице. Под стеклом лежали всякие конфеты: и толстые, и тонкие, и шоколадные, и леденцовые. Толик выбрал самую дорогую, с петухом на фантике, храбро вытянул из кармана двугривенный, но, когда подавал его продавщице, в груди что-то сжалось, и он чуть слышно пробормотал:

— Мне вот эту... за две копейки.

Кешка посмотрел на Толика исподлобья, растерянно и удивленно. Потом вздохнул и, ничего не говоря, пошел в подворотню.

Свертел Толик дома из бумаги трубку, сплющил ей конец и подул. Трубка загудела. «Изобрел!.. Надо ребятам показать!..» Толик выскочил во двор, повертелся возле поленниц. Но никого, кроме Людмилки да самых маленьких малышей, во дворе не было.

— Людмилка, смотри, что я изобрел!.. — Толик сунул трубку в рот и загудел. — Здорово!.. Сидел-сидел и изобрел.

Людмилка посмотрела на трубку, попросила погудеть, а потом сказала:

— Давай, Толька, меняться. Ты мне трубку, а я тебе какую-нибудь вещь. — Людмилка вытащила из кармана ломаную точилку, зубочистку, кусок синего стекла и копеечную монету с дыркой.

Толик осмотрел разложенные на Людмилкиной ладони богатства. Взял монетку.

— Будет считаться, что ты у меня купила.

Людмилка кивнула.

Толик отдал Людмилке трубку и побежал домой. Дома он нарезал плотной бумаги и начал крутить на карандаше трубки. Одни он делал потолще, другие потоньше. Одни гудели басом, другие тонко, как мышь. Толик накрутил полную коробку из-под ботинок и вышел во двор.

— Последнее изобретение! Музыкальные флейты!..

Маленькие ребятки окружили Толика.

— По копейке, ребята... Вы мне копейку, я вам две трубки... Дешево. Даром отдаю...

Малыши принялись рыться в карманах. Предлагали Толику ломаные брошки, детали заводных игрушек, формочки для

песка. Толик не брал. У одного мальчика нашлось в кармане четыре копейки.

— Сколько на эти деньги? — спросил он.

Толик деловито отсчитал ему восемь штук.

Мальчишка засунул в рот сразу несколько трубок. Остальные ребятишки помчались домой за деньгами, и скоро Толик бойко торговал, расхваливал свой товар, давал наставления, как пользоваться.

Торговля была нарушена, когда у Толика осталось всего три трубки. К поленице подошли Мишка с Кешкой.

— Мишка, смотри, что я изобрел!.. — закричал Толик, оттолкнув покупателя в красном башлыке. — Смотри, сидел-сидел и изобрел...

— Изобретатель! У малышей копейки выманиваешь, жаба!.. — Мишка вызывающе сплюнул Толику под ноги. — Мы с Кешкой из парадной смотрели... Кулак ты! Капиталист! Буржуйская морда!

Мишка с Кешкой гордо отвернулись и пошли прочь. А Толик, задыхаясь от обиды, помчался домой.

— Завидно, что я изобрел... — Толик ожесточенно накручивал бумагу на карандаш, намазывал швы гуммиарабиком. — Завидно, что я аппарат покупаю... А еще товарищи были... — Второпях Толик совал перепачканные клеем пальцы в рот. Язык у него щипало от соленого гуммиарабика. Глаза щипало тоже. — Ладно, ладно... Попросите еще аппарата...

Когда Толик снова вышел с полной коробкой трубок, весь двор гудел. На бревне у поленицы сидели Мишка и Кешка и смеялись.

— А ну, подходи!... Последнее изобретение Круглого Тольки—музыкальная флейта!... Раздается бесплатно!.. А ну, кому?

Мишка и Кешка доставали из тетради цветной листок и ловко скручивали трубки. Они отдавали их малышам взамен намокших.

— А ну, подходи!..

— Вы не имеете права, — запротестовал Толик. — Это мое изобретение.

— А мы и не говорим, что наше, — ответил Мишка и закричал еще громче: — Последнее изобретение великого изобретателя — Тольки Круглого!.. Музыкальная флейта! Бесплатно!!

Толик побежал домой, бросил все трубки в печку и поджег их.

«Ладно, — думал он, глядя на огонь, — я им еще отомщу. Запрыгают».

И случай отомстить вскоре представился.

Толик шел из школы и увидел Мишку. Мишка вытаскивал из подвала целый мешок старых обоев. Рядом стоял Кешка и допытывался:

— Чего это, Мишка?..

— Вторсырье. Ты помоги, Кешка, ладно?... У нас в школе бумагу собирают, и бутылочки, и железный лом еще.

— Это зачем? — Кешка сунулся в мешок, словно он никогда не видал старых обоев.

— Чудак смешной! Это же государству, понимаешь, помощь... Вторсырье. Такое очень важное сырье... Из старой бумаги можно сделать новую и не нужно деревья спиливать. А бутылки только хорошо помыть, и все — снова наливай в них духи и лекарства... А из металлолома даже трактор можно настоящий сделать. Ну так чего?... Поможешь?..

— Ладно, — согласился Кешка. — И для моего класса тоже... Пошли собирать!..

— Завтра начнем.

В школе, где учился Толик, тоже собирали бумагу и бутылочки. Некоторые ребята из их класса уже принесли утильсырье, а Толик все откладывал. Но теперь!..

Он помчался домой, нашел старую кошелку.

«Все с носом останетесь... Я первый все бутылочки и всю бумагу в доме соберу... Вы у меня побегаєте по лестницам...» Толик наспех проглотил суп и макароны с сосисками, наврал тетке, что торопится в школу на мероприятие и что он скоро придет.

На шестом этаже на лестнице было светлее, чем внизу. Стены домов не загораживали небо.

Толик осмотрелся и неуверенно нажал кнопку звонка.

Дверь открыла пожилая женщина в переднике.

— Чего тебе, мальчик?..

— Бумага и флакончики у вас есть?

Женщина удивленно наклонила голову, будто не расслышала.

— Это для государства надо. Сырье, понимаете?... Сейчас школы собирают.

Женщина улыбнулась.

— Пойду посмотрю, может, и найдется что-нибудь. — Она прикрыла дверь. А Толик уже звонил в другую квартиру.

— Бумага и флакончики у вас есть?.. Государству помошь.. Ценное сырье для промышленности...

Он сразу заметил, что слова «в помощь государству» удивительно действуют на людей. Все начинают улыбаться, хвалят его и несут всевозможные бутылки, бумагу, старые подсвечники, лампы, тарелки, кастрюли, мятую, позеленевшую, но очень ценную для промышленности медь.

Толик обходил лестницу за лестницей. Он уже два раза бегал домой, выгружал на кухне кошелку. Хорошо, что тетя Рая ушла в магазин; чего доброго, еще заставила бы все выбросить. Толик любовался на пыльную кучу, бормотал:

— Во у меня сколько вторсырья!... Мишка от зависти лопнет. — И мчался за новой добычей.

Дверь одной из квартир ему открыл молодой парень в вязаной безрукавке, с сеткой на волосах. Глаза у парня были маленькие, с легким прищуром и какой-то затаенной усмешкой. Выслушав Толиковы объяснения, парень спросил, удивленно приподняв брови:

— Ты что, в самом деле все это добро в школу понесешь?

— Ага, — кивнул Толик.

Глаза у парня еще больше сощурились.

— В самом деле?

Толик, не зная почему, вдруг начал краснеть.

— Понятно, — протянул парень и засмеялся. — Правильно, пацан, так и действуй. С бумагой не возись, тащи ее в школу — гроши стоит. А вот флаконы и медяшка — деньги. И государству польза, и тебе хорошо, и школа довольна будет... — Парень подмигнул и закрыл дверь.

Толик поставил кошелку на ступеньку, почесал затылок. «Вот это голова!»

Обход лестниц Толик закончил поздно вечером. Дома разобрал добычу, разложил на кучки; бумагу связал бечевой, флаконы помыл. Медь сложил в старый, еще детсадовский, мешок из-под калош.

На следующий день Толик отнес бумагу в школу и сразу же после занятий отправился сдавать бутылочки и медь: большие бутылки — в продуктовый магазин, маленькие — в аптеку. Мешок с медью потащил на берег реки. Там стоял ларек утильщика.

Вокруг голубого фанерного домика были навалены ро-
говые мешки с костями, бумага и тряпье.

Утильщик взвесил медь на ржавых весах и такими ржавы-
ми гилями, будто они пролежали года четыре на свалке. То-
лик тоскливо подумал, что и деньги утильщик даст ему не
иначе как ржавые.

— Полтинник, — кратко определил старик утильщик.

Толик заспорил. Но у старика было такое безразличное
лицо и такой скучный голос, что Толику стало даже не по
себе. Он забрал деньги и, ругая про себя утильщика старым
хрычом и обжималой, побежал домой. В кармане куртки, за-
стегнутом булавкой, были три новеньких рубля и полтинник.
Настроение Толика по мере приближения к дому все под-
нималось. Ему стало совсем весело, когда он вбежал во двор.
У поленницы Мишка с Кешкой расправляли здоровенный ме-
шок. Они вытрясли из него щепки, опилки и пошли на лест-
ницу, даже не взглянув на Толика.

«Идите, идите, голубчики... Шиш вам вместо сырья...» То-
лику очень захотелось посмотреть, какие лица будут у ребят,
когда они возвратятся несолоно хлебавши.

Ребята выскочили из парадной буквально через три ми-
нуты и прямехонько направились к нему.

— Ты и тут успел? — свирепо спросил Мишка.

Толик сделал наивное лицо.

— Не отопрешься, нам Людмила сказала. И еще одна
тетка...

Толик боялся, что Мишка огреет его сейчас кулаком. Но
Мишка только зубами скрипнул.

— Что с тобой, жабой, разговаривать!.. Пошли, Кешка, в
соседний дом.

Толик спохватился, — чего стоять, надо тоже бежать по
соседним домам; там небось тоже бутылочки есть. Он было
бросился со двора, но тут его окликнули.

— Слышь, активист!..

Толик обернулся. Неподалеку стоял вчерашний парень
в пальто нараспашку.

— Хочешь дублон заработать?

— Какой дублон?..

— Ну, гривенник...

— Хочу, а чего делать надо?

— Сбегай в киоск за папиросами. Скажешь, Владик про-
сит.

Толик взял протянутые парнем деньги и помчался за угол к табачному киоску. Инвалид, торговавший папиросами, сначала ни в какую не давал, но когда Толик сказал, что он от Владика, продавец сунул ему «Беломорканал» и коробок спичек. Обратного Толик бежал на последней скорости. В одной руке он крепко сжимал папиросы, в другой — сдачу, двадцать семь копеек. Парень взял папиросы, сказал: «Молодчик» — и протянул ему всю сдачу.

— Бери, шкет, уважай мою доброту.

Дома Толик пересчитал сегодняшний доход и осторожно, подправляя пером, запихал рубли, серебро и медь в узкую прорезь копилки.

Каждый день, приготовив уроки, чтобы тетя не делала ему выговоров, Толик брал кошелек и отправлялся в соседние дома за бутылочками и медью. Бумагу Толик по-прежнему носил в школу. О нем даже в классной газете написали. Даже картинку нарисовали. На большой куче бумаги стоит Толик и держит в руке пачку тетрадей. Внизу надпись: «Из бумаги, которую собрал Толик Смирнов, можно сделать тетради для всего класса».

Несколько дней Толик крутился возле газеты; ему было приятно, когда спрашивали: «Где ты столько бумаги берешь?..»

Мишка и Кешка с Толиком не разговаривали. Они его просто не замечали. Лишь один раз за последнее время они повернули головы в его сторону, посмотрели на него. И как посмотрели!.. Он получал от утильщика деньги за дырявый латунный таз, а они, мокрые, перемазанные в ржавчине, выковыривали из льда железную кровать, старую, искореженную, пролежавшую здесь, наверно, с самой блокады.

Толиком в этот день завладела тоска.

В комнате над диваном висела картина, даже не картина, а, как говорил отец, этюд очень знаменитого художника Авилова. На полотне был нарисован конный стрелец. Собственно, и коня-то там целиком не было, только большая свирепая голова, изо рта пена, ноздри раздуты... А стрелец поднес к глазам руку в кожаной рукавице, натянул удила, и все ему нипочем. И лицо у него веселое, открытое, смелое. Папа отдал за нее всю зарплату и долго не решался сказать об этом матери. Он вздыхал и подмигивал Толику: мол, будет нам на орехи.

Мать не ругалась. Повесили картину на самом видном

месте, над диваном... Почти месяц ели они одну картошку с постным маслом. Стрелец на картине смеялся, и они смеялись, глядя на него.

Зато тетя Рая прямо возненавидела стрельца.

— Эта мазня меня раздражает, — кривилась она. — Искусство должно успокаивать, ласкать взгляд. Как можно жить, когда у тебя за спиной кто-то скалит рот?..

Толик одно время даже собирался снять картину, чтобы угодить тете. Сейчас он сидел за столом, смотрел на веселого стрельца и думал: «Все от меня отвернулись, все друзья. А что я плохого сделал — на аппарат коплю». Стрелец сдерживал своего сумасшедшего коня, в глазах у него полыхало буйное озорство и насмешка. «Вот если бы я картину снял, от меня бы и родители отвернулись», — подумал Толик. Ему стало еще тоскливее.

Парень, которому Толик бегал за папиросами, часто останавливал его во дворе, спрашивал:

— Ну как, активист?.. Живешь?

Толик почему-то спешил улыбнуться.

— Ага... Живу...

— Ну, живи... Слетай-ка мне за колбасой. Сдача, как водится, за работу.

Толик бегал. Парень давал ему гривенники. А однажды Толик заработал у него сразу рубль. Случилось это просто. Парень, как обычно, с ухмылкой предложил:

— Слушай, активист, слетай к цирку. Там к тебе мужчина подойдет. Вот отдашь ему пакет. Это очень важный пакет, а мне, понимаешь, некогда. На ответственное совещание тороплюсь. Целковый за работу, понял?.. — Парень вытащил из кармана гривенник, протянул его Толику. — Командировочные на дорогу.

— Хорошо, дяденька, я мигом.

— Не зови меня «дяденька»... Мы ведь приятели? Зови просто Владик.

Толик порозовел от удовольствия. Поспешно сунул мягкий пакет под мышку и помчался на остановку трамвая. У цирка Толика одолела тревога. Перед фотовитринами толпилось много народа. Из трамваев то и дело выходили пассажиры. Дворники сгребали грязный снег в кучи. «Кому же отдать?..» Толик растерянно бродил у ярко освещенного подъезда. Вдруг к нему подошел высокий мужчина в серой каракулевой шапке.

— Что Владик велел передать для меня? — спросил он, приветливо улыбаясь.

— Вот этот пакет, — ответил Толик и испугался: вдруг это не тот мужчина! Он покрепче прижал к себе пакет, проворчал: — А это, может, не вам вовсе?..

— Мне, — засмеялся мужчина. — Ты мне — пакет, я тебе — рублевку. Так ведь?..

— Так, — ответил Толик и покраснел.

Мужчина вытащил из кармана серебряный рубль.

— Сходи в кино, купи себе чего-нибудь вкусного. А сейчас поезжай домой.

Мужчина говорил совсем по-домашнему, словно был родным дядей. Даже в трамвай посадил и помахал рукой на прощание.

— Владику привет передай!..

— Передам, — высунулся с площадки Толик.

«Хороший дяденька, — подумал он, — наверно, артист какой-нибудь».

Владика Толик встретил в подворотне.

— Ах, активист!... Видишь, как удачно: возвращаюсь с вещания, и ты тут как тут. Передал?..

Толик торопливо закивал головой.

— Ага... Каракулевая шапка... Хороший такой дяденька... И рубль мне дал.

— А как же!.. Труд нужно вознаграждать.

Толик еще несколько раз ездил по поручению Владика в разные районы города. Передавал свертки, записки. Привозил Владику тоже свертки и записки.

Копилка наполнялась быстро. Тетя по-прежнему опускала в нее медяки за хорошие отметки; кроме этого, она стала премировать Толика и за хорошее поведение. Все молочные деньги тоже находили себе приют в темном собачьем нутре.

Перед самым Новым годом Владик пригласил Толика к себе. Он заметно нервничал, рылся в шкафу, писал что-то очень поспешно и сердито на столике с гнутыми ножками.

— Хочешь трояк заработать? — спросил он вдруг присевшего на стул Толика. И тут же ответил сам: — Понятно, хочешь... На вот слетай к тому, в каракулевой шапке. Ясно?.. — Он сунул Толику в руки пакет, завернутый в плотную бумагу, и записку...

— Здесь важные образцы. Одна нога здесь, другая там...

— Я только портфель отнесу.

— Срочно надо... Жми с портфелем. Во весь дух давай! — Владик назвал улицу возле цирка и подтолкнул Толика к двери.

Толик пулей выскочил во двор. В подворотне налетел на Мишку и Кешку, ловко перепрыгнул через подставленную ногу и помчался к трамвайной остановке.

— Утиль побежал сдавать, хапуга!.. — Мишка вдруг со-
рвался с места. — Отнимем, чтоб не задавался.

Приятели дружно затопали вслед за Толиком.

Толик бежал не оглядываясь и только в сквере заметил погоню. Но было уже поздно. Мишка с налету ткнул Толика кулаком в спину. Сверток мягко упал на асфальт... Кешка поддал его ногой. Бумага лопнула, и на чистом, чуть тронутым влагой снегом распластались четыре дымчатые шкурки. Ребята опешили.

Мех на шкурках шелковисто лоснился, переливался мягкими волнами...

— Говори, где украл?! — вцепился в Толика Мишка.

— Мне Владик дал, — испуганно захныкал Толик.

— Врешь, гога несчастный!..

Около ребят остановились прохожие. Седая проворная старушка подошла совсем вплотную и укоризненно погрозила Мишке:

— Я вот тебе, разбойник!.. И не стыдно маленьких бить? А еще красный галстук носишь!..

Мишка хотел огрызнуться, но над его ухом раздался грозный бас:

— Это что у вас происходит?..

Мишкин воротник оказался в сильной пятерне.

Мишка скосил глаза: «Милиционер...»

Милиционер оглядел ребят и ухватил свободной рукой Кешку. Шкурки Кешка уже подобрал; они у него были накручены на руках, как женская муфта.

— Дяденька, это мои шкурки... Мне Владик дал... и записку вот... — залопотал Толик.

Милиционер покрепче зажал ребячьи воротники и кратко приказал:

— Следуйте за мной!..

Мишка ухитрился ухватить Толика за рукав.

— Попробуй убеги, гога несчастный... жаба... Я тебе...

Но Толик и не пытался бежать; он покорно семенил рядом с Мишкой.

В дежурной комнате отделения милиции пахло карболой и мытыми полами. Не рискуя сесть на стулья, ребята примостились на полу возле батареи парового отопления.

Толик снова захныкал.

— Ревни... Еще не так заревешь!.. — Мишка ударил себя по лбу. — Я знаю!.. Этот гога связался с браконьерами или с контрабандистами. Я читал, бывает такое...

Кешка придвинулся ближе, с любопытством посмотрел на Толика.

— Правда связался?

Толик захныкал еще громче.

— Перестань, — сердито сказал Мишка. — Надо было раньше соображать. В общем, крышка тебе теперь.

В дверях появился милиционер.

— Заходите!

Ребята очутились в светлом просторном кабинете. У окна стоял высокий плотный майор милиции. Шкурки лежали на столе. Офицер смотрел на ребят и молчал.

— Товарищ начальник, — выступил вперед Мишка. — Он не гад. Он просто запутался. Он на деньги жадный стал.

— Кто запутался? — строго спросил майор.

— Как кто?... Вот, гога с бантом... — Мишка подтолкнул Толика к столу.

Майор подошел ближе и теперь смотрел на Толика сверху, большой и угрюмый.

— Ну что ж, Гога.. Поведай, откуда у тебя выдра. Вот эти шкурки.

Толик переминался с ноги на ногу. Ему хотелось уцепиться за Мишкин рукав. Но Мишка смотрел отчужденно. Толик сделал два робких шага и уцепился за стол.

— Я... Я не украл... Это Владик попросил отвезти пакет к тому. К каракулевой шапке... А они вот напали...

Майор наморщил лоб, кивнул Мишке и Кешке.

— Посидите в дежурной комнате.

Сидеть пришлось долго. Наконец из кабинета вышел майор.

— Молчать умеете?

— Как гробы!..

— Так вот... Где были, что делали — никому. Ясно?..

— А с Толиком что будет? — спросил Кешка... — Неужели его...

— Да если хотите, мы его во дворе на сто процентов от-

лупим. Он же ведь не гад какой... — пробасил Мишка. — Да мы ему!..

Майор насупился.

— Уговор помните?

— Помним.

— Все... Бегите домой.

Через несколько минут ребята сидели в своем излюбленном месте, на бревне между поленницами, молчали и думали.

А Толик тем временем шагал к цирку. Он прижимал к боку мягкий пакет, завернутый в серую плотную бумагу.

Он часто оглядывался, смотрел на номера домов. Наконец остановился около старого, с облупленным фасадом здания, вошел в подворотню. Почти в тот же момент к дому подкатила черная «победа»...

Всматриваясь в полустертые номера квартир, Толик медленно поднимался по лестнице. Наконец он отыскал дверь, обитую белой медицинской клеенкой, и, привстав на цыпочки, позвонил.

Дверь неожиданно распахнулась. На площадку шагнул мужчина в домашних туфлях и толстой шерстяной куртке:

— Ты зачем здесь?..

Толик торопливо проглотил слюну.

— Я... Меня Владик прислал... Вот это вам... И записка.

Мужчина взял записку, быстро пробежал ее глазами, нахмурился и почти вырвал пакет из рук Толика.

— Ты чего такой?.. Моченый... Случилось что-нибудь?..

Внутри у Толика похолодело.

— Не... У меня голова болит. Я отказывался, а Владик говорит — срочно... Вот я и поехал.

— Пойдешь мимо аптеки, купи пирамидон, — мужчина достал из кармана пятнадцать копеек, протянул Толику и ласково провел ладонкой по Толиковой щеке.

«Вот он какой хитрый! — думал Толик, спускаясь вниз по лестнице. — Добрым притворяется, паразит... Недаром майор говорил, что это опытный и осторожный спекулянт».

На площадке первого этажа мимо Толика прошли четверо мужчин. Он посторонился, пропуская их наверх.

* * *

От всех передраг и переживаний Толик позапустил уроки, и его теперь частенько оставляли в школе заниматься. Тетка ворчала, допытывалась, не заболел ли.

Однажды, когда он поздно возвращался из школы, его еще в подворотне встретили Мишка с Кешкой.

— Толька... Тут к тебе майор приходил. Хотел тебя видеть, — наперебой выкладывали они. — Велел зайти к нему. Вот бумажку оставил, чтобы тебя пустили.

Толик положил бумажку в карман и, понутив голову, побрел домой. Через несколько минут Толик снова появился во дворе с тяжелым, завязанным в материн платок предметом в руках.

Толик развязал платок в просторном кабинете майора и поставил на стол большую фаянсовую собаку с глупыми блестящими глазами.

— Это что еще за фигура? — спросил майор. — Зачем ты ее сюда приволок?..

— Вещественное доказательство, — пробормотал Толик. — Там деньги, которые они мне давали.

Майор покачал головой.

— И не жалко?.. Ведь там у тебя и за утиль, — он улыбнулся, сощурил глаз. — И за хорошие отметки...

Толик покраснел.

— Откуда вы знаете?..

— Мы все про тебя знаем. — Майор постучал по собаке карандашом. — Английский фаянс. Попадет тебе от тетки!

— Попадет, — согласился Толик. — А я все равно обратно не возьму.

СИМА ИЗ ЧЕТВЕРТОГО НОМЕРА

Был мальчишка высок и худ, непомерно длинные руки держал глубоко в карманах. Голова на тонкой шее всегда немного клонилась вперед. Ребята прозвали его Семафором.

Мальчишка недавно переехал в этот дом. Он выходил во двор в новых блестящих калошах и, высоко задирая ноги, шагал на улицу. Когда он проходил мимо ребят, то опускал голову еще ниже.

— Ишь, воображает! — злился Мишка. — Знаться не хочет... — Но гораздо чаще Мишка кричал: — Семафор, поди сюда, поговорим!..

Ребята тоже кричали вдогонку мальчишке разные насмешливые, а подчас и оскорбительные слова. Мальчишка только ниже опускал голову и ускорял шаг. Иногда, если ребята подходили к нему вплотную, он смотрел на них голубыми, очень большими, чистыми глазами и молча краснел.

Ребята решили, что Семафор для такого хлипка слишком хорошая кличка, и стали звать мальчишку просто Сима, а иной раз — для верности — Сима из четвертого номера. А Мишка все злился и ворчал при виде мальчишки:

— Надо этого гуся проучить. Ходит тут!..

Однажды Сима исчез и долго не появлялся во дворе. Прошел месяц, два... Зима стала слабеть и хозяйничала на улице только по ночам. Днем дул с Финского залива теплый ветер. Снег на дворе посерел, превратился в мокрую грязную кашу. И вот в эти по-весеннему теплые дни опять появился Сима. Калоши его были такие же новые, будто он и не ходил в них вовсе. Шея еще плотнее обмотана шарфом. Под мышкой он держал черный альбом для рисования.

Сима посмотрел на небо, сощурился, словно отвык от света, замигал. Потом он направился в дальний угол двора, к чужой парадной.

— Эге, Сима вылез!.. — удивленно присвистнул Мишка. — Знакомство никак завел.

По лестнице, куда шел Сима, жила Людмила.

Сима подошел к парадной и стал медленно прохаживаться взад-вперед, нерешительно поглядывая в темный проем лестницы.

— Поджидает, — усмехнулся Круглый Толик, — Людмилку свою...

— А может быть, вовсе и не Людмилку, — вставил Кешка. — Чего ему с Людмилкой связываться?

Толик посмотрел на Кешку хитро, — мол, знаем, не маленькие, и сказал:

— Чего он тогда там делает?.. Может, воздухом дышит?..

— Может, — согласился Кешка.

Мишка слушал, как они пререкаются, и о чем-то размышлял.

— Пора действовать, — неожиданно вмешался он. — Пойдем поговорим с этим Симой.

Мишка и Круглый Толик плечом к плечу тронулись вперед. Кешка тоже пристроился к ним. В решительный момент оставлять товарищей нельзя, — это называется честь. К трем

приятелям пристроилось еще несколько ребят. Они шли по бокам и сзади.

Заметив надвигающуюся на него армию, Сима поднял голову, как всегда покраснел и улыбнулся робко.

— Ты чего?.. — начал Мишка. — Чего тут?.. Ну, че?

Сима покраснел еще гуще. Пробормотал:

— Ничего... Хожу...

— Он, оказывается, ходит, — засмеялся Круглый Толик.

Мишка подался вперед, заложил руки за спину, повернулся к Симе немного боком и заговорил медленно, угрожающе:

— Ты что, может, нас за людей не считаешь?.. Да?.. Может, ты храбрый?.. Пойдем перекинемся...

Сима обвел всех ребят своими большими глазами, слегка приоткрыл рот.

— А я разве вам сделал что?

— А мы тебя бить не собираемся, — разъяснил ему Мишка, — мы это всегда успеем... Я говорю, перекинемся, пойдем один на один... Посмотрим, что ты за страус такой необыкновенный, что к нам подходить не желаешь.

— С тобой? — переспросил Сима.

Мишка выпятил губу, кивнул.

Сима посмотрел под ноги и совсем неожиданно возразил:

— Так ведь грязно очень.

Ребята дружно захохотали. А Мишка презрительно оглядел Симу с ног до головы.

— Может, тебе персидский ковер постелить?

Сима прижал к себе черный альбом, потоптался на месте и попросил:

— Обождем, а... когда солнце будет?

Ребята захохотали.

Когда насмеялись вдоволь, Мишка шагнул вперед, рванул из Симиных рук альбом.

— Солнце ему надо... Ну-ка, дай поглядеть!

Сима поблуднел, вцепился было в Мишкину руку, но его тут же оттеснили.

А Мишка уже раскрыл черную коленкоровую обложку. На первой странице альбома красивыми цветными буквами было выведено:

«Учительнице Марии Алексеевне от Григорьева Коли».

— Подхалимством занимается... Ясно! — Мишка произнес это таким тоном, будто ничего другого и не ожидал.

— Отдайте альбом, — просил за спинами ребят Сима. Он пытался растолкать толпу, но мальчишки стояли плотно. Некоторые посмеивались, а Мишка кричал:

— Ты, подхалим, не очень, а то я и солнышка дожидаться не стану, отпущу тебе порцию макарон по шее!

Кешка уже не жалел Симу, он стоял рядом с Мишкой и торопил его:

— Переворачивай дальше, чего ждешь?..

На следующей странице был нарисован парусный корабль, бригантина, как определил Мишка. Бригантина неслась на всех парусах. Нос ее зарывался в кипящую густосинюю волну. На палубе у мачты, скрестив руки, стоял капитан.

— Ух, здорово!..

Ребята надели на Мишку.

Каравеллы, фрегаты, крейсера, подводные лодки рассекали упругие волны. Бушевали акварельные штормы, тайфуны... А на одном рисунке был даже изображен гигантский смерч. Моряки с небольшого суденышка били по смерчу из пушки. После кораблей пошли разные пальмы, тигры...

Кешка подпрыгивал от восторга. Он толкал Мишку под локоть, просил:

— Мишка, дай картиночку?.. Ну, Мишка, же...

Все забыли, что альбом принадлежит Симе, забыли даже, что Сима стоит здесь рядом.

Мишка закрыл альбом и посмотрел через головы ребят на художника.

— Ты, подхалим Сима, слушай... Поступим по чести и по совести. Чтобы ты не подлизывался к учителям в другой раз, раздадим твои картинки всем, кто захочет. Понятно? — И, не дожидаясь ответа, закричал: — А ну, подходи!.. Красивые картины из морской жизни!..

Листы в альбоме были связаны белой шелковой лентой, Мишка распустил бант на обложке, скомкал первую страницу с надписью и принялся раздавать картинки.

Кешка получил четырехтрубный крейсер «Варяг», фрегат с черным пиратским флагом. По палубе фрегата бегали быстрые человечки с громадными саблями и пистолетами... Вы просил еще обезьяну на пальме и высокую гору с белой сакарной вершиной.

Раздав все картинки, Мишка подошел к Симе и толкнул его в грудь.

— Проваливай теперь!.. Слышишь?

Губы у Симы задрожали, он закрыл глаза руками в серых вязанных перчатках и, вздрагивая, пошел к своей лестнице.

— За солнышком следи! — крикнул ему вдогонку Мишка.

Ребята хвастали друг перед другом трофеями. Но их веселье было неожиданно нарушено. В дверях парадной появилась Людмила.

— Эй вы, дайте мне картинок, а то все расскажу про вас... Расскажу, что вы бандиты... Зачем Симу обидели?

— Ну, что я говорил? Они друг с другом заодно, — подскочил к Кешке Круглый Толик. — Сейчас бы они пошли к учительнице под ручку... — Толик изогнулся, сделал руку кренделем и прошел, вихляясь, несколько шагов.

Людмила вспыхнула.

— Хулиганы, и вовсе я с этим Симкой не знакома...

— Ну и убирайся, нечего тогда нос совать! — сказал Мишка. — Пошла, говорю! — Он топнул ногой, будто собрался броситься на Людмилку.

Людмила отскочила в сторону, поскользнулась и шлепнулась в снежное месиво у порога лестницы. На розовом пальто с белой меховой оторочкой затемнело громадное мокрое пятно. Людмила заревела.

— И про это т-тоже скажу-у-у... Вот увидите!..

— У, пискля! — махнул рукой Мишка. — Пошли, ребята, отсюда...

У поленицы, в излюбленном своем месте, мальчишки снова стали рассматривать рисунки. Один Мишка сидел по-нурясь, тер ладошкой под носом и собирал лоб то в продольные, то в поперечные морщины.

— Это какая учительница Мария Алексеевна? — бормотал он. — Может, которая по Людмилкиной лестнице живет?..

— Придумал... Она уже третий год в школе не работает. На пенсию ушла, — беспечно возразил Круглый Толик.

Мишка посмотрел на него равнодушно.

— Где так ты умный, когда не надо... — Он поднялся, в сердцах пнул полено, на котором только что сидел, и, оборотясь к ребятам, стал отбирать картинки. — Давайте, давайте, говорю...

Кешке не хотелось расставаться с кораблями и пальмой, но он без слов отдал их Мишке. После того как ушел Сим, ему стало не по себе.

Мишка собрал все листы, вложил их обратно в альбом. Только первая страница с посвящением была безвозвратно испорчена. Мишка разгладил ее на коленях и тоже сунул под обложку.

На другой день в небе хозяйничало солнце. Оно распустило снежную жижу и веселыми потоками погнало ее к люкам посреди двора. В водоворотах над решетками ныряли щепки, куски бересты, раскисшая бумага, спичечные коробки. Всюду, в каждой капле воды, вспыхивали маленькие разноцветные солнца. На стенах домов гонялись друг за другом солнечные зайчики. Они прыгали ребятам на носы, щеки, вспыхивали в ребячьих глазах. Весна!

Дворничиха тетя Настя сметала с решеток мусор. Ребята проковыривали отверстия палками, и вода с шумом падала в темные колодцы. К обеду асфальт подсох. Только из-под поленниц продолжали бежать реки грязной воды.

Мальчишки строили из кирпичей плотину.

Мишка, прибежав из школы, повесил свою сумку на гвоздь, вбитый в большое полено, и принялся сооружать водохранилище.

— Давайте быстрее, — надрылся он, — не то из-под поленницы вся вода убежит!

Ребята носили кирпичи, песок, щепки... и вот тут они заметили Симу.

Сима стоял неподалеку от ворот с портфелем в руках, словно раздумывая, куда ему идти — домой или к ребятам.

— А, Сима!.. — закричал Мишка. — Солнышко на небе. Сухо, смотри, — Мишка показал на большую подсохшую плешину. — Ну, что скажешь?

— Может, подушку принести? — съязвил Толик.

Ребята смеялись, наперебой предлагали свои услуги: ковры, половики и даже солому, чтобы Симе не было жестко.

Сима немного постоял на прежнем месте и двинулся к ребятам. Разговоры тотчас смолкли.

— Давай, — просто сказал Сима.

Мишка поднялся, вытер мокрые руки об штаны, сбросил пальто.

— До первой крови или на всю силу?

— На всю силу, — не слишком громко, но очень решительно ответил Сима. Это значило, что он согласен драться до конца, пока поднимаются руки, пока пальцы сжимаются

в кулак. Здесь уже неважно, течет у тебя из носа кровь или нет. Победленным считается тот, кто скажет: «Хватит, сдаюсь...»

Мальчишки стали в кружок. Сима повесил свой портфель на один гвоздь с Мишкиной сумкой, снял пальто, завязал шарф вокруг шеи потуже.

Толик шлепнул себя пониже спины и сказал: «Бем-м-м! Гонг!»

Мишка поднял кулаки к груди, заскакал вокруг Симы. Сима тоже выставил кулаки, но по всему было видно, что драться он не умеет. Как только Мишка приблизился, он сунул руку вперед, пытаясь достать Мишкину грудь, и тут же получил удар в ухо.

Ребята думали, что он заревет, побежит жаловаться, но Сима поджал губы и замахал руками, как мельница. Он наступал. Месил кулаками воздух. Иногда его удары доставали Мишку, но тот подставлял под них локти.

Сима получил еще одну затрещину. Да такую, что не удержался и сел на асфальт.

— Ну, может, хватит? — спросил Мишка миролюбиво.

Сима помотал головой, поднялся и снова замолотил руками.

Зрители при драке очень переживают. Они подпрыгивают, машут руками и воображают, что этим самым помогают своему приятелю.

— Мишка, да что ты сегодня!.. Миша, дай!

— Мишка-а-а... Ну!

— Сима, это тебе не подхалимством заниматься... Миша-а!

И только один из ребят вдруг крикнул:

— Сима, держись!.. Сима, дай! — Это кричал Кешка. — Да что ты руками-то машешь? Ты бей...

Мишка дрался без особого азарта. Среди зрителей нашлись бы готовые поклясться, что Мишка жалел Симу. Но после Кешкиного выкрика Мишка набылчился и принялся так молотить, что Сима согнулся и только изредка выставляя руку, чтобы оттолкнуть противника.

— Атаc! — вдруг крикнул Толик и первый бросился в подворотню. К поленице торопливо шла Людмилакина мать; чуть поодаль выступала Людмила. Заметив, что мальчишки разбегаются, Людмилакина мать прибавила шаг.

— Я вас, хулиганы!..

Мишка схватил свое пальто и шмыгнул в подворотню,

где уже скрылись все зрители. Только Кешка не успел. Он спрятался за поленницу.

А Сима ничего не видел и не слышал. Он по-прежнему стоял согнувшись, оглохший от ударов. А так как Мишкины кулаки вдруг перестали обрушиваться на него, он, видно, решил, что противник устал, и поспешил в наступление. Первый его выпад угодил Людмилакиной матери в бок, второй — в живот.

— Ты что делаешь? — взвизгнула она. — Людочка, этот хулиган тебя в лужу толкнул?

— Не-ет, — проныла Людмила. — Это Сима, они его били. А толкнул Мишка. Он в подворотню удрал.

Сима поднял голову, растерянно посмотрел по сторонам.

— За что они тебя били, мальчик? — спросила Людмилакина мать.

— А они меня и не били вовсе, — угрюмо ответил Сима.

— Но я же сама видела, как хулиганы...

— Это был поединок. По всем правилам... И вовсе они не хулиганы. — Сима надел пальто, снял с гвоздя свой портфель, пошел было прочь.

Но тут Людмилакина мать спросила:

— А это чья сумка?

— Мишкина! — выкрикнула Людмила. — Нужно ее взять. Мишка тогда сам придет.

Тут Кешка выскочил из-за поленницы, схватил сумку и побежал к парадной.

— Беги за мной! — крикнул он Симе.

— Этот Кешка — Мишкин приятель. Хулиган!.. — заревела Людмила.

В парадной мальчишки перевели дух, сели на ступеньку лестницы.

— Тебе не очень больно?.. — спросил Кешка.

— Нет, не очень...

Они еще немного посидели, послушали, как Людмилакина мать грозит сходить в Мишкину школу, к Мишкиным родителям и даже в милицию, в отдел борьбы с безнадзорностью.

— Ты этот альбом своей учительнице подарить хотел? — спросил вдруг Кешка.

Сима отвернулся.

— Нет, Марии Алексеевне. Она на пенсии давно. Когда я заболел, она узнала и пришла. Два месяца со мной занималась... бесплатно. Я ей специально этот альбом рисовал.

Кешка свистнул. А вечером он пришел к Мишке.

— Мишка, отдай Симе альбом. Это когда он болел, так Мария Алексеевна с ним занималась... бесплатно...

— Сам знаю, — ответил Мишка. Весь вечер он был неразговорчивым, отворачивался, старался не глядеть в глаза. Кешка знал Мишку и знал, что неспроста это. А на следующий день случилось вот что.

Ближе к вечеру Сима вышел во двор. Он по-прежнему шел опустив голову и покраснел, когда к нему подскочили Мишка с Толиком. Он, наверное, думал, что опять его позовут драться; вчера никто не сдался, а ведь нужно довести до конца это дело. Но Мишка сунул ему свою красную мокрую руку.

— Ладно, Сима, мир.

— Пойдем с нами водохранилище делать, — предложил Толик. — Ты не стесняйся, дразнить не будем...

Большие Симины глаза засветились, потому что приятно человеку, когда сам Мишка смотрит на него, как на равного, и первый подает руку.

— Ты ему альбом отдай! — зашипел Кешка Мишке на ухо.

Мишка нахмурился и ничего не ответил.

Кирпичная плотина протекала. Вода в водохранилище не держалась. Реки норовили обежать его стороной.

Ребята замерзли, перемазались, хотели даже пробивать в асфальте русло. Но им помешала маленькая старушка в пуховом платке.

Она подошла к Симе, придирчиво осмотрела его пальто, шарф.

— Застегнись, Коля!.. Ты опять простудишься... — Потом посмотрела на него ласково и добавила: — Спасибо за подарок.

Сима покраснел густо и пробормотал, стыдясь:

— Какой подарок?..

— Альбом. — Старушка оглядела ребят, словно уличая их в соучастии, и торжественно произнесла: — «Дорогой учительнице Марии Алексеевне, хорошему человеку».

Сима покраснел еще гуще. Он не знал, куда деться, он страдал.

— Я не писал такого...

— Писал, писал! — вдруг захлопал в ладоши Кешка... — Он нам этот альбом показывал, с кораблями...

Мишка встал рядом с Симой, посмотрел на старушку и сказал глуховато:

— Конечно, писал... Только он нас стесняется, — думает, мы его подхалимом дразнить будем. Чудак!..

КИРПИЧНЫЕ ОСТРОВА

На задний двор редко заглядывали взрослые. Там высились кучи дощатых ящиков, валялись бочки с налипшим на бурые бока укропом. Лежали груды известки и кирпича.

В марте, когда с крыш сбросили снег, задний двор превратился в недоступную горную страну, которую с криком штурмовали альпинисты, отважные и драчливые. Самыми бесстрашными среди них были Мишка и Кешка.

Вскоре горная страна стала оседать. Острые пики обвалились. А в конце апреля задний двор превратился в громадную лужу.

Рейбы уже не заглядывали сюда. Девчонки кидали в начерченные на тротуарах квадраты жестяные банки из-под гуталина, именуемые странным словом «Скетишь-бетишь», и без усталости прыгали на одной ноге. Мальчишки, вытирая на ходу носы, гонялись друг за другом по всем правилам новой воинственной игры — «Ромбы». И только Сима из четвертого номера остался верен заднему двору. Он выстругал из дощечек, отломанных от ящика, остроносые корабли. Приладил им клетчатые паруса из тетрадки по арифметике и пустил свой флот в далекое плавание.

Плывут корабли, садятся на известковые рифы, причаливают к кирпичным островам. А адмирал Сима бежит по узкой полоске суши у самой стенки дома.

— Право руля!.. Паруса крепи!.. — Но нет у него сил помочь потерпевшим крушение. Лужа глубокая, а башмаки...

Заглянул на задний двор Кешка. Оглядел Симу с головы до ног, сказал, как говорят взрослые:

— Сима, у тебя здоровье хлипкое, а ты вон вымок весь. Подхватишь грипп — опять свалишься...

Сима насупился. А Кешка присел на корточки, стал смотреть. Один кораблик на суше лежит с поломанной мачтой;

другой — к кирпичу приткнулся; третий — зацепился за что-то посреди лужи и поворачивался на одном месте.

— Сима, чего это корабль крутится?

— Это его гигантский кальмар щупальцами схватил...

Кешка захохотал.

— Ой, Сима... Да это же гнилая стружка, в какую яблоки упаковывают.

— Ну и что же? — тихо возразил Сима. — Все равно. — Сима сжал губы, нахмурил лоб и сказал убежденно: — Нет, кальмар. И экипаж корабля сейчас с ним сражается.

Кешка присвистнул, засмеялся еще громче.

— Если б ты моторный корабль сделал, я понимаю. А это... — Он сплонул в лужу и пошел под арку, но на полпути передумал, вернулся.

— Знаешь что, Сима, я все-таки с тобой побуду, ладно?

— Как хочешь, — ответил Сима равнодушно, взял дощечку и стал, как веслом, разгребать воду. От дощечки пошли волны по всей луже. Кораблик, приткнувшийся к кирпичу, закачался, задрал нос и поплыл дальше. Корабль, что в стружке запутался, подскакивал на волнах, но стружка держала его крепко. Он кренился, палубу ему заливало водой.

— Пойду домой, — наконец решил Сима.

— А корабли?..

— Они в плавании. Им еще далеко плыть.

Кешка покачал головой.

— Чудной ты!.. Брось, не ходи. Давай лучше полежим на ящиках, посушимся.

Они сняли пальто, разложили их на досках. А сами залезли в ящики из-под яблочек. Лежат на спине, смотрят в глубокое, как Тихий океан, небо и молчат.

Солнышко пригревает хорошо. От Симиного пальто поднимается легкий пар. Кешка повернулся, стал смотреть на лужу. В воде отражается небо, и лужа от этого голубая. Если прищуриться да еще загородить глаза ладошкой, чтобы не видеть стен дома и сараев, то на самом деле кажется, будто лежишь на берегу спокойного утреннего моря.

— Сима, а ты на море бывал?..

— Нет. Где я раньше жил, только речка была.

Кешка скривил губы.

— А еще корабли строишь. А я, кроме Балтийского, еще на Черном был. Вот там да!.. А ты в луже каких-то кальмаров выдумал.

Сима обиделся, хотел уйти, но тут на заднем дворе появились двое: седой сутулый старик без шапки и кругленькая старушка с розовым лицом. Они вместе несли ковер.

Старушка посмотрела на лужу, сказала расстроенно:

— Вот видишь!.. Безобразники, не могут люк про-
чистить.

— Будет тебе, Катя! — хрипло забасил старик. — Тебе, конечно, лужа. А может, для кого — океан. — Он кивнул на Симины корабли. — Ты вообще воды, кроме чая с лимоном, не признаешь, а здесь дело тонкое... — Старик пошире расставил ноги, оперся о толстую бугроватую палку. Слегка затуманенные, как талые льдинки, глаза его смотрели на Симин флот, на кирпичные острова, на известковые мели. Потом он поднял палку и показал ею на острые обломки, торчавшие из воды.

— На острова Зеленого Мыса похожи. Голое, дрянное место... А вон подальше, — старик наклонился вперед, — видишь, вроде проливчика, горловинка... Гибралтар будто. А чуть южнее — Танжер. Я тебе этот ковер из Танжера привез. — Старик снова облокотился на свою палку и замер. Лицо его стало задумчивым.

— Ну, хватит, — тронула его за рукав старушка. — Пойдем.

Старик вздохнул.

— Да, да... Ты, Катя, ступай домой, а я ковер вот здесь на ящиках выколочу.

Старушка помогла мужу разложить ковер на куче ящиков и ушла в подворотню. Старик проводил ее немного и вернулся.

Он огляделся по сторонам, как мальчишка, который хочет созорничать, подошел к луже. Он нагнулся, подобрал Симин кораблик, поправил мачту, клетчатый парус и легонько пустил его на воду. Кораблик побежал к кирпичным островам.

Старик разгребал палкой воду, как это делал Сима, и, нагоняя кораблик, по луже покатались волны.

Сима вылез из ящика, взял свое пальто и подошел к старику сзади. Услышав его сопение, старик вздрогнул, оглянулся.

— Ух ты!.. Думал, жена... — смущенно улыбнулся он и тронул всей пятерней обкуренные усы. — Понимаешь, не любит она моря... хоть ты что... Это твой флот, что ли?

— Мой, — кивнул Сима.



По щекам старика разошлись глубокие складки, плечи он выпрямил. Теперь палка казалась ненужной в его руках.

— Чего это шхуна у тебя дрейфует?.. Вон та... На рифы села?

— Нет, — покачал головой Сима, — это ее гигантский кальмар схватил.

Кешка подумал: «Засмеет сейчас Симу».

Но старик ничего, не засмеялся, лишь озабоченно нахмурил лоб.

— Кальмар, говоришь?... Вот тресковая смерть. Кашалота бы сюда. Против кашалота ни один кальмар не выстоит... Я, брат, на кашалотов охотился и на финвалов. Ты вот про единорога что-нибудь знаешь?.. Нарвал называется... Бивень у него метра три длиной впереди из носа торчит. Шлюпку он, словно шилом, протыкает...

— Будет тебе, будет!... — раздался из подворотни тихий голос.

Старик покраснел, спрятал глаза в насупленных мохнатых бровях. Под аркой, прислонившись к стене, стояла его жена.

— Да вот, видишь, Катя, моряка встретил. Поговорить надо.

Старушка поджала губы и критически осмотрела Симу.

— Вывок-то весь, как утенок... Пойдем, что ли, чаем напую с вареньем... с малиновым.

— Гребь, гребь, — подтолкнул Симу старик. — Она только с виду сердитая. Она моряков уважает.

Сима оглянулся на ящики, хотел, наверно, позвать Кешку, но Кешка запрятался поглубже, чтобы его не заметили. Ему было очень грустно.

Когда двор опустел, он вылез из ящика, подошел к луже.

В луже отражались облака. Они бежали по опрокинутому небу. Кешке казалось, что он медленно плывет по волнам...

Мелькают острова, потрескавшиеся от солнца. Над водой дерутся поморники и альбатросы. В морской пене хищно шныряют единороги.

Что-то щекотное и теплое подступало к Кешкиному горлу, как подступают слезы, когда смотришь хороший кинофильм с хорошим концом.

ПОСЛЕДНИЙ РАССКАЗ

Почти каждый день в жизни у людей случаются необыкновенные события — то у одного человека, то у другого. Такие, что даже и нарочно придумать трудно. Разве мог вообразить Кешка, что останется в квартире один, без соседей? А так случилось. Василий Михайлович — шофер — уехал на Ангару. Тетя Люся получила большую комнату от своего за- вода.

Пришли управхоз и дворничиха, опечатали пустое жилье. Нет теперь у Кешки соседей, только сургучные унылые печати болтаются на дверях. Можно Кешке не только морской, но и какой угодно бой устраивать. В первые дни они с Мишкой так и делали. Чего только не вытворяли! Раньше за такие дела тетя Люся неделю прохода не давала. А сейчас кричи сколько угодно, кувыркайся, на голове ходи. Но ведь как человек устроен?.. Пустая квартира: играй, пой. Нет, не хотят, к Мишке идут. Кешка совсем от дома отбился. Появится к маминому приходу и опять за дверь — до самого вечера.

Однажды, когда Кешка обедал в кухне, ел холодный суп из кастрюли, пришли в квартиру управхоз, дворничиха, а с ними круглая старушка с белобрысой девочкой.

— Вот вам ключи, — сказал управхоз, срывая печати с обеих комнат. — Живите. Соседи у вас хорошие, мирные. Комнаты тоже хорошие. — Он сам открыл двери, показал старушке и девочке обои, потолки и только после этого отдал ключи. — Располагайтесь, вещички привозите. Если, скажем, машина нужна и грузчики, в нашем доме склад размещается, у них машинку прихватить не трудно. Я похлопочу.

— Спасибо, — поклонилась старушка. А девочка начала чертить ногой по полу, будто размечала что-то.

Всего этого из кухни, конечно, не видать. Но ведь на то Кешка и главный жилец в квартире, должен он с новенькими познакомиться. Кешка вышел в коридор, прижал кастрюлю крепче к животу, отхлебывает ложку за ложкой, наблюдает. Управхоз и дворничиха ушли.

— Ой, бабушка, смотри! — вдруг крикнула девочка. — Кто это?

— Человек, кто... — ответил Кешка. — Что, людей не видела?

— Ты в этой квартире живешь, мальчик? — поинтересовалась старушка.

— Живу.

Старушка хотела еще что-то спросить, но девчонка подтолкнула ее в бок и засмеялась.

— Смотри, как он ест. Прямо из кастрюли...

— Ну и ем, — ответил Кешка. — Так вкусней; небось не пробовала.

Он зачерпнул полную ложку гущи и, громко жуя, пошел в кухню. Для важности он еще пристукивал по дну кастрюли пальцами, как по бубну.

— Мама, у нас теперь новые жильцы, — объявил он за ужином матери. — Девчонка одна и еще старушка.

На следующий день новые жильцы переезжали. Грузчики носили тяжелые вещи — шкафы, столы, диван, пианино, много ящиков и разных узлов.

Кешка ходил по коридору, посвистывал, тыкал в узлы ботинком. Он с удовольствием помог бы, но девчонка вертелась, как заведенная, всюду попевала, указывала:

— Шкаф здесь поставьте. Диван — здесь. Вот сюда для телевизора шкафчик. Здесь книжные шкафы.

Старушка сидела на подоконнике в комнате и лишь иногда поправляла ее:

— Не сюда, Анечка, здесь кресло.

Кешку девчонка будто и не замечала. Только один раз она обратилась к нему, да и то обидно:

— Вместо того чтобы болтаться без дела, помощи. Бабушка больная, а я одна не могу... — Нужно было придвинуть к стене поплотнее туалет светлого дерева с высоким овальным зеркалом.

— Не можешь, дык и воображать нечего, — ответил Кешка с вызовом. Он уцепился за зеркало. — Давай!.. Рраз!.. Раз, два, взяла!..

Девчонка надменно посмотрела на него. А когда зеркало было установлено на место, пробормотала так, чтобы слышал один только Кешка:

— Дикарь.

— Барракуда¹, — огрызнулся Кешка в ответ.

Вот так и начали завязываться Кешкины отношения с девчонкой Анечкой.

¹ Хищная рыба, водится в южных морях.

Вечером мама тоже познакомилась с новыми соседями. Они долго стояли на кухне со старушкой. Мама рассказывала о себе, о своей работе, о Кешке.

— Одичал он у меня. Я на работе целый день.

— Да, да, — кивала старушка. — Я так же своего растила. Отец продкомиссаром был. В Средней Азии погиб...

Теперь рассказывала старушка, а мама кивала.

Девчонка вела себя с большим достоинством, как взрослая.

Если есть на свете цапля с короткой шеей, то девчонка напоминала Кешке именно такую птицу. Она любила, зацепив одну ногу за другую и наклонив голову, искоса поглядывать за Кешкой. Посмотрит-посмотрит и что-нибудь скажет умное, вроде:

— Давай я на тебя буду культурно влиять.

— Попробуй только.

— Причешись, неприлично ходить лохматому.

— А тебе что за дело?

— Ненормальный...

— Барракуда!

Однажды девчонка сказала Кешке:

— Ты такой невоспитанный дикарь потому, что у тебя отца нет.

— А у тебя-то есть?

— У меня есть. Мой папа на Севере, он там важное месторождение разведывает.

Кешка ничего не ответил на это, оделся и ушел на улицу. Неприятно было на душе у него. Раньше ему никто такого не говорил. Как-то давно, еще совсем маленьким, Кешка спросил у матери про отца. Она смешалась, посмотрела куда-то поверх Кешкиной головы, потом сказала очень тихо и очень серьезно: «У тебя есть мать, Кешка... Разве тебе этого не достаточно?» По правде говоря, Кешке было достаточно и одной мамы. Он очень любил ее, слушался, насколько мог, и ни за что на свете не огорчил бы ее умышленно ничем, даже самой малостью. А если он и причинял маме неприятности, то они вдвоем всегда очень хорошо могли разобраться и всегда уступали друг другу. В общем, они хорошо ладили. Несмотря на это, слова девчонки Анечки больно кольнули Кешкино сердце. Он почему-то затосковал, как не тосковал после потасовок и других крупных неудач. Играл он в этот день вяло, часто отходил от ребят, стоял, уставившись в

небо. А под вечер, сидя у поленницы, спросил своих друзей, Мишку и Симу из четвертого номера:

— Скажите, а... почему у меня отца нет?

Мишка захлопал глазами, даже рот приоткрыл, но, как старший, взял себя в руки и ответил очень авторитетно:

— Это бывает... Понимаешь, бывает, что ребята без отцов растут.

— А может, у тебя отец в войну погиб, — высказал предположение Сима. — У многих ребят отцы в войну погибли. Смертью храбрых...

Кешке такой оборот дела очень понравился. Он представил себе, каким был его отец отважным, высоким, в каждой руке по гранате... Но Мишка не дал ему и помечтать даже.

— Когда же он погиб, если ты давно после войны родился?..

— А может, при самолетной катастрофе... А может, он моряк был и шторм его корабль перевернул, — продолжал фантазировать Сима. Мишка был настроен более прозаически.

— Должно быть, они просто разошлись. Бывает такое. Не поладили — и в разные стороны.

За ужином Кешка опять спросил маму об отце. Она поставила на стол недопитую чашку чая, повертела в руках сухарик и, не отрывая глаз от него, будто в сухаре и был заключен ответ, сказала:

— Кешка, твой отец нас бросил. Не спрашивай больше о нем. Ладно?..

Кешка почувствовал, что своим вопросом он причинил маме боль. Кешка ткнулся в стакан и, дыша паром и всхлипывая, пробормотал:

— Ладно. Если он такой, — и нам на него наплевать.

А сам сидел и не понимал, как это можно бросить двух живых людей.

* * *

На девочку Кешка не рассердился. Чего сердиться? Она не со зла сказала, просто сумничала по своей дурацкой привычке. И все-таки Кешка не утерпел, ввернул к случаю каверзный вопросик:

— Слышь, ты... А твоя мать тоже на Севере?..

Девчонка захлопала большими ресницами и, прищипывая нижней губой, заревела:

— Умерла ма-а-ама...

Кешка набрался смелости, дотронулся до Анечкиной руки.

— Ладно, не реви. От слез слабость в поджилках бывает.

Девчонка руки не отняла, только чаще замигала, отчего с ее ресниц на Кешкину щеку полетели теплые брызги.

После этого случая у них временно установился мир. Кешка иногда подсовывал девчонке грязную посуду, когда она мыла свою. Но девчонка была хитра и свою посуду отлично знала.

— Чего тебе, жалко вымыть, да?..

— Чтобы ты совсем в лодыря превратился?.. Ишь какой!..

Девчонкина бабушка часто рассказывала о своем сыне. Приносила Кешкиной маме его фотокарточки, читала его письма, немножко озорные письма и говорила:

— Лохматый он у меня немножко... Хороший...

Девчонка давала Кешке интересные книжки: у нее их было по крайней мере штук сто. Кешка точил девчонке ножи, помогал натирать пол. Между ними установилось нечто вроде молчаливого договора.

Никто из двух высоких сторон не лез в запретные области. Этими запретными областями были родители. Девчонка первая нарушила договор.

Как-то к маме пришел сослуживец, они посидели, попили чаю и отправились в кино.

— Это кто?.. Жених к твоей маме приходил?

Кешка даже не понял сразу. Потом побагровел и двинулся на девчонку.

— А ну, повтори.

— Жених... — испуганно повторила девчонка.

Кешка потянул ее сразу за обе косы. Пригнул ее голову к столу и постукал о клеенку.

— Я тебе дам жених!.. Это просто мамин знакомый. А ну говори за мной: зна-ко-мый...

— Жених! — редела девчонка.

Их разняла девчонкина бабушка. Сначала она напустилась на Кешку: «Как тебе не стыдно девочку обижать?!» Но, узнав, в чем дело, поддала своей внучке: «Слишком умная стала... Марш домой!» Она увела девчонку в комнату и еще долго бушевала там. А Кешка пошел во двор.

— Мишка, как ты думаешь, к маме разные знакомые ходят... это женихи, значит?

Мишка обстоятельно обдумывал ответ. Он заметил, что с недавних пор Кешку стали мучить какие-то глупые вопросы. Но ведь и на них отвечать нужно, потому что именно такие вопросы чаще всего портят настроение и мешают жить людям. Уж Мишка-то это знал...

— Не все женихи, — заговорил он осторожно, — но, конечно, и женихи тоже бывают. Без них нельзя. Пустяковый народ, ты на них не обращай внимания.

Но как раз после этого разговора Кешка и стал обращать внимание на то, что раньше его совсем не волновало.

Знакомых у мамы было много: с завода, из вечернего института, и мужчины, и женщины. Женщины, конечно, не в счет. А из мужчин Кешка выделил троих. Когда кто-нибудь из них приходил, Кешке хотелось кричать: «Мама, гони его — это жених!» Первый входил в комнату широко, как в свою. Трепал Кешку по голове и говорил с ним, как со взрослым: «Здорово, брат!.. Ну, как твои дела?.. Что сейчас изобретаешь, куда двигаешься?.. Может, у тебя в деньгах затруднение, не стесняйся, — чего-нибудь придумаем, сообразим... То-то, брат Кешка, мы ведь мужчины».

Кешка денег не брал, мужчиной тоже не считал себя. И не любил, когда с ним разговаривали вот так, словно с приятелем. «Чего выламываются, будто я уж такой маленький, не понимаю?»

Второй отличался тем, что обязательно приносил Кешке подарки — конфетки, книжки — и называл его «детка», «хороший мальчик», «Кешка дорогой»...

Третий совсем не обращал внимания на Кешку. Он смотрел на него, как на пустое место. Морщился слегка, когда Кешка все же попадался ему на глаза.

Первого и второго Кешка презирал. Третьего ненавидел. Ни одного из троих он не мог представить своим отцом.

— А тебя и не спросят, — говорил Мишка.

— Я тогда из дома убегу.

— Брось чепуху молоть. Поймают, дадут, сколько надо, — и успокоись.

Рассматривая журналы или книжки, Кешка подолгу оставался на военных картинах и фотографиях. «Вот такого бы отца», — шептал он, вглядываясь в бесстрашные лица партизан и солдат. Кешка даже вырезал из «Огонька» портрет Героя Советского Союза Ивановского и прикрепил его кнопками над оттоманкой.

Однажды, когда Кешка сидел дома, рисовал в тетрадке танки и самолеты, в комнату постучала девчонка.

— Кешка, к вам гости... Фу, невежа, иди встречай.

Но встречать Кешке не пришлось. В комнату уже входил высокий военный, в длинной шинели с авиационными погонами.

«Раз, два, три... — Три больших звезды насчитал Кешка. — Полковник».

— Можно? — спросил военный.

— Можно...

Полковник поздоровался с Кешкой, поинтересовался, где мама, и попросил разрешения подождать ее. Говорил он просто. Самую малость заикался и тянул слова. Кешку он разглядывал с нескрываемым интересом.

— Большой ты уже.

— Ага, — подтвердил Кешка.

Полковник сел на оттоманку. Повернул голову, отчего шея под тугим воротничком покраснела, и стал разглядывать портрет Героя Советского Союза Ивановского. А Кешка, не переставая рисовать свои танки, искоса поглядывал на гостя. Через всю щеку у полковника тянулся розоватый прямой шрам. Плечи у него были широкие и грузные, как у борца.

— Это что же, твой родственник? — спросил наконец полковник.

— Нет. Я его просто так повесил. Он очень храбрый, наверно. — Кешка покраснел, отвернулся к окну.

— Он очень храбрый, — подтвердил полковник. — Он был моим командиром полка в войну.

Несколько минут оба молчали. Полковник наклонился, оперся локтями о колени и так сидел, чуть склонив голову. Наверно, вспоминал своего командира.

Кешка кусал карандаш; он никак не мог собраться с мыслями и выпалил невпопад:

— Вы заикаетесь, да?..

Полковник смутился, засмеялся тихо.

— Да, да... в-видишь, немножко.

А Кешка ерзал от неловкости. «Нужно что-нибудь хорошее сказать, вот бахнул, не подумав».

— А рисовать вы умеете?

Полковник смутился еще больше.

— Когда был мальчишкой.. вот вроде тебя, рисовал... Но все больше самолеты да кавалерию. Чапаева...

— И я самолеты рисовать люблю, — восторженно воскликнул Кешка. — Реактивные больше... Во, смотрите...

Полковник подошел к столу и нагнулся над Кешкой.

Когда пришла мама, в комнате было накурено. Ее сын и высокий, широкоплечий военный, склонившись над альбомом, старательно выводили бомбардировщик новейшей конструкции, каких еще и в воздухе не летает, а если и будут летать, то по меньшей мере лет через десять.

— Мама, смотри, какого бомбардировщика мы изобрели! — бросился к ней Кешка.

Мама стояла, теребила косынку и удивленно смотрела на гостя. Сердце у Кешки сжалось. Он осторожно положил свой альбом на оттоманку, сунул три пальца в рот, прикусил их и так стоял.

— Здравствуйте, — глухо сказал полковник. — Извините, что я так, без разрешения...

— Здравствуйте, — ответила мама. — Но как вы нашли?..

— В Ленинграде это не трудно. — Полковник наклонил голову и теперь смотрел на маму чуть-чуть исподлобья. В глазах его и вокруг глаз, в тонких белых морщинках, притаились тревога и ожидание.

— Кешка, ты уже познакомился? — с непривычной поспешностью справилась мама. — Это Иван Николаевич, мой старинный приятель. Еще когда тебя не было... — Мама загнула руку, сказала: «Впрочем, неважно» — принялась расспрашивать гостя. С обеих сторон так и сыпалось: «Что? Как? Где? Когда?..» А Кешка стоял у оттоманки, глядел на бомбардировщик новейшей конструкции, и на бумагу, в то место, куда предполагалось наклеить бомб, падали частые соленые капли.

Через час гость стал прощаться. Он попросил разрешения прийти еще раз. Кешка с волнением ожидал, что ответит мама. Она сказала:

— Конечно, приходите. Я очень рада, что вы не забыли меня.

— Приходите, — напомнил в дверях Кешка. — Обязательно приходите.

Так появился в Кешкиной жизни Иван Николаевич, человек, которому Кешка отвел особое место в числе маминых знакомых.

Иван Николаевич пришел и на следующий день. Он принес билеты в театр.

— Вот, Елизавета Петровна, у меня тут два билета, если хотите, возьмите их... Сходите в театр с подругой.

— А вы разве не можете? — спросила мама. В ее глазах Кешка заметил лукавые смешинки.

Иван Николаевич засмеялся.

— Могу, Елизавета Петровна.

Полковник стал приходить к ним часто. Кешка очень радовался его приходу, встречал его шумно, изо всей силы жал большую, с узловатыми венами, руку. Он ждал этого человека. Кешке было приятно выйти на кухню и, свысока поглядывая на девчонку Анечку, рассказать, какой Иван Николаевич храбрый летчик, что он летает на реактивном бомбардировщике со скоростью звука и даже больше, что он командует целым авиационным полком. Рассказывал Кешка и старушке, Анечкиной бабушке. Та делала удивленные глаза, восклицала: «Да что ты говоришь?!» — притягивала Кешку к себе, трепала ему вихры, и Кешка не сопротивлялся.

Однажды Кешка пришел с улицы и застал дома такую картину: мама стояла у окна, а Иван Николаевич, нахмутив лоб, ходил по комнате и курил, часто затыгиваясь.

Кешка обомлел: «Поругались, наверно». Он тихонько разделся и молча забился в угол между печкой и оттоманкой.

Иван Николаевич, словно вспомнив что-то, засобирался.

— До свидания, Кешка. До свидания, Елизавета Петровна. Я вас не тороплю, подумайте. Эх, да что там!.. — Махнув рукой, он вышел порывисто, но дверью не хлопнул, аккуратно прикрыл ее, словно боялся, что оторвет маму от каких-то раздумий.

— Поругались? — тихо спросил Кешка. И, заранее боясь, что мама ответит положительно, переспросил: — Не поругались, нет?

— Нет, — задумчиво проговорила мама. — Иван Николаевич предложил мне выйти за него замуж. Он скоро уезжает. На днях уезжает в Германию... в свою часть.

— И ты не согласилась? — Кешка соскочил с оттоманки, бросился к матери. — Неужели не согласилась?..

Мать удивленно посмотрела на него.

— Тебе он нравится?

Кешка кивнул. А ночью он вздыхал, ворочался. Он видел, как идет по улице за руку с Иваном Николаевичем. Все прохожие с уважением поглядывают на них. Гордость волной заливала Кешкино сердце, и он улыбался. Потом тревога

стискивала Кешкину грудь. Он поджимал колени к подбородку. Замирал. Слушал... В комнате тихо. Но он знал — мать не спит. Мать тоже думает. И Кешка старался угадать таинственные и непонятные пути, по которым текут мысли взрослых.

Следующий день был переполнен мучениями. Мама ушла чуть свет, так и не сказав Кешке, что она думает. Девчонка Анечка умненько посматривала на Кешку из-под своих длинных ресниц.

Мишка и Сима во дворе отозвали Кешку в сторонку.

— Ты чего такой?

Он них Кешка, конечно, ничего не скрыл. Все рассказал и даже поделился своими опасениями.

Сима все на свете видел в хороших тонах. Он сразу же уверил Кешку, что будет полный порядок.

— Кешка, может, он и нас на самолете прокатит, ты поговори.

Мишке тоже казалось, что все кончится хорошо.

— Что ты!.. Такой человек... Полковник!.. Непременно согласится!..

Вечером пришел Иван Николаевич. Лицо у него было спокойное, даже немного суровое. Только по сцепленным за спиной пальцам да по сведенным к переносице бровям было заметно, что он волнуется.

— Кешка, поди-ка погуляй, — предложила Кешке мама.

Кешка посмотрел на нее такими просящими глазами, что она не выдержала и отвернулась. Иван Николаевич опустил голову и еще крепче сцепил за спиной пальцы.

Кешка вышел на лестницу, постоял немного, облокотясь о перила, и уселся на ступеньку. Какое уж тут гуляние! Он сидел долго, прислонив к перилам голову. А когда снова пришел домой, мама накрывала на стол. Иван Николаевич стоял у оттоманки и смотрел на портрет героя. Сердце у Кешки упало.

Иван Николаевич смотрел на портрет тяжело, упорно. Жилка у виска, чуть повыше розового шрама, вздувалась и опадала. Ему, наверно, было очень тяжело. Он глянул на вошедшего Кешку и безнадежно качнул головой, — мол, плохи дела, Кешка. Мать заговорила, обращаясь больше к Кешке, чем к Ивану Николаевичу:

— Вот пришел ваш единомышленник. Спит и видит вас.

— Я его тоже вижу. Ну что ж, не повезло нам... — Полковник повернулся к Кешке и, усмехнувшись одними губами,

сказал: — Кешка, я второй раз прошу твою маму выйти за меня замуж. Первый раз — когда тебя еще и на свете не было... Второй раз — сейчас.

— Не согласилась, — пробормотал Кешка убито и впервые подумал о маме с неприязнью: «И чего ей надо?.. Почему?» Он знал, что ни мама, никто другой не ответят ему. А если он и будет настаивать, то просто наговорят ему всяких непонятных слов. Кешка думал: «Вот Иван Николаевич сейчас возьмет шинель и уйдет». Но полковник остался.

Когда мама разливала чай, рука у нее чуть заметно дрожала. Она пролила заварку на скатерть и отругала Кешку за то, что он не может как следует подставить стакан.

— Когда вы уезжаете? — спросила мама Ивана Николаевича.

— Завтра ночью. В Москву сначала. — Иван Николаевич смотрел в свой стакан, не пил. — Я вам все же пришлю письмо с моим адресом, Елизавета Петровна. Я понимаю, все так быстро. Но, может быть, пройдет время, и вы решитесь...

«Решится! — хотел было крикнуть Кешка. — Я ее уговорю!» Но мама опередила его.

— Хорошо, — сказала она, — я буду ждать ваших писем.

Иван Николаевич ушел, даже не прикоснувшись к чаю. На пороге он крепко пожал Кешкину руку.

— До свидания, Кешка.

На другой день, после школы, Кешка держал совет с приятелями — с Мишкой и Симой. О чем они там договорились, никто так и не узнал. Вечером, часов около пяти, он стоял в вестибюле Северной гостиницы, прятал за спину маленький узелок и робко спрашивал у портье:

— Скажите, где здесь тридцать второй номер?

— Второй этаж, налево... за пальмой, — равнодушно ответил пожилой толстый администратор. — Иди, тридцать второй сейчас дома.

Кешка робко постучал в светлую дверь. Ручка шевельнулась, и со словами «да, да» в коридор вышел Иван Николаевич.

— Кешка!... Ты что? — Он схватил Кешку за плечи, втащил его в номер. — Что случилось?!

Кешка стоял, уставившись в пол. Он успел заметить две кровати, покрытые мохнатыми одеялами, вишневыми, письменный стол, обеденный и две тумбочки. Около одной кровати на стуле стоял раскрытый чемодан.

— Кешка, ну?... Мама согласилась?.. Почему она сама не пришла, не позвонила?..

— Нет, — пробормотал Кешка. Он прижался к Ивану Николаевичу и прошептал тихо: — Я с вами поеду.

Иван Николаевич опустился на кровать. Кешка доверчиво положил на его колени свой узелок.

— Как ты меня нашел? — наконец спросил Иван Николаевич, опустив на Кешкину голову свою большую ладонь.

— Я-то?.. Дак вы же говорили маме, где остановились. А у меня память ужасно крепкая. Мы с вами поживем вместе, а потом мама сама к нам приедет. Мы ей даже письмо можем написать, чтоб не волновалась.

Рука Ивана Николаевича опустилась на Кешкино плечо. Глаза его были добрые и грустные. Он шевелил бровями, раздумывая над чем-то, потом вздохнул и сказал:

— Ты знаешь, что такое запрещенный удар?

— Знаю. Ниже пояса, в спину и по почкам.

— Точно... То, что ты предлагаешь, тоже запрещенный удар по твоей маме... Нельзя нам с тобой вместе ехать, если она не согласна.

— А я-то ведь согласен, — еще тише прошептал Кешка.

Иван Николаевич встал, заходил по комнате.

— Да взял бы я тебя, Кешка, дорогой ты мой... Но ведь я права на это не имею. Мне ведь твоя мама вовек не простит... Понимаешь ты, Кешка? — Он сел на стул и поставил Кешку между своими коленями. — Понимаешь?

— Понимаю. — Но он ничего не понял. Ведь все так просто. Кто же их может осудить, если они вместе уедут? Даже мама не может.

— Я тебе письма писать буду, — говорил тем временем Иван Николаевич, — и ты мне отвечай. А на будущий год я приеду. — Он подтянул Кешку поближе к себе. — Только ты к маме не приставай, не проси за меня, ладно?

Это Кешка понял и одобрил. Иван Николаевич гордый.

Кешка посмотрел на раскрытый чемодан, и ему очень захотелось плакать.

— Когда вас сюда ранили, — Кешка дотронулся до шрама, — больно было?.. И вы, наверное, не плакали.

Иван Николаевич засмеялся тихо, откинулся на спинку стула и тепло посмотрел на Кешку.

— Нет, Кешка, не плакал... Я пел тогда. Пел песню про партизан. Знаешь?.. «Шли лихие эскадроны...»

— Знаю, — улыбнулся Кешка. Он взял свой узелок и протянул Ивану Николаевичу руку.

— До свидания.

Иван Николаевич поднялся.

— Нет, нет... Подожди, Кешка, так нельзя. Давай в буфет сходим, выпьем на прощание лимонаду, что ли...

Кешка не возражал. Ему было все равно теперь.

Они сели за столик у самого окошка. На улице с крыш капала вода. Из дверей метро выходили люди, некоторые в пальто нараспашку, потому что уже была большая весна и из мокрой земли на газонах проглядывала реденькая бледная зелень. Они выпили лимонаду. Иван Николаевич напихал в Кешкины карманы конфет и апельсинов и пошел проводить его до автобусной остановки. Он махал Кешке рукой. Кешкино лицо за мокрым стеклом казалось сморщенным, беззащитным. И, может быть, поэтому Иван Николаевич бежал вслед за автобусом, пока тот не набрал скорость и не ушел на середину Невского.

Мама уже была дома, когда Кешка явился. Узелок он оставил у Симы, чтобы избежать расспросов.

В квартире чувствовалось оживление. Девчонка Анечка бегала по коридору с мохнатым полотенцем. Она приплясывала и пела:

— Кешка, Кешка, мой папа приехал, э!..

— Толя, познакомься, вот наш главный сосед! — крикнула старушка в ванную. Оттуда вышел белоголовый мужчина с синими, как у Анечки, глазами. Он взял полотенце, вытер руки.

— Здравствуй.

— Здравствуйте, — ответил Кешка и вяло пожал протянутую ему руку.

Старушка и девчонка ничего не заметили, а мужчина осторожно спросил:

— Подрался, может?... Или что?..

— Подрался... — Кешка, не снимая пальто, протопал в комнату и сунулся лицом в свою верную оттоманку. Кто-то тяжелый сел рядом с ним. Кешка плотнее забился в угол оттоманки. Человек сидел молча, потом тихо поднялся, ушел.

Анечкин отец наполнил квартиру деловитостью и весельем. В квартире постоянно толпились геологи. Они приносили материалы разведок, образцы, доклады, оглушали рассказами о своем «железном» Севере. Мама теперь часто бывала

у соседей, помогала Анечкиному отцу проверять какие-то расчеты. А Кешка целыми днями пропадал во дворе.

Весна развернулась, окрепла и незаметно уступила город лету, нежаркому, ленинградскому, но все-таки лету. Ребята со двора разъехались по дачам. Уехал и Кешка. Уехал он в пионерский лагерь сразу на три смены. Мама принесла из завкома путевки.

— Вот, Кешка, поживешь в лагере, поправишься, окрепнешь.

Лето было дождливым, но веселым. И мама приезжала в родительские дни тоже очень веселая, какая-то улыбчивая, какой он не видел ее уже давно.

Дни иногда тянутся долго, а сроки приходят незаметно. Подошел срок и лагерью уезжать в город.

Мама Кешку на вокзале не встретила. Всех ребят разобрала, а он и дожидаться не стал. Сел на трамвай и покатил домой.

Открыла ему девчонка Анечка.

— Лохматый-то, — сказала она ему, — грязный...

Кешка молча прошел в свою комнату, сбросил рюкзак, сандалии. На небольшом столике, где Кешка готовил уроки, лежали стойки чистых тетрадей и новые учебники. Еще на столе лежал синий конверт с иностранной маркой. От Ивана Николаевича!.. Кешка схватил письмо, сунул его под майку и так заволновался, что побежал на кухню мыть руки. Письмо он хотел прочитать в одиночестве, неторопливо. Он все время прижимал его локтем.

Кешка вытерся кухонным полотенцем и стал разогревать обнаруженные в кастрюле макароны.

— Масло-то положи, — сказала ему девчонка Анечка. Она вошла в кухню, как ее бабушка, в теплом платке.

Кешка не ответил. Тогда она взяла масло из своей масленки и положила его на сковородку.

— Ты чего мне своего суешь?.. Очень надо! — возмутился Кешка. — Где моя мама?..

Девчонка села на табурет и, глядя на стену, пробормотала:

— Дикарь, они тебя встречать поехали. Они поженились.

— Чего? — надвинулся на нее Кешка.

— Поженились, говорю... мой папа и твоя мама.

Макароны горели. Кухня наполнялась срадом. А Кешка сидел не двигаясь, прижав к голому боку синий конверт.

**РАССКАЗЫ О
БЕСЕЛЫХ ЛЮДЯХ
И ХОРОШЕЙ
ПОГОДЕ**





ТИШИНА

Дом стоял на отшибе, у самого леса. Домишко маленький, без крыльца. Стены срублены из толстых, серых от времени бревен. Из пазов торчал голубоватый мох. В домике одна комната. Если загородить ее мебелью, она покажется не больше спичечного коробка. А сейчас хорошо — комната пустая. Только в углу лежат друг на друге два жарко-красных матраца.

— Тишина, — сказал Анатолий.

— Благодать, — сказал Кирилл. — Для ушей здесь курорт...

В пяти шагах от домишка лес: ели, укутанные в колючий мех, мускулистые сосны, березы в бело-розовом шелке. Простодушный родник выбивался из-под земли и тут же прятался в междутравье, ослепленный солнцем.

Кирилл привез с собой краски, холсты и картоны. У Анатолия — чемодан толстых и тонких научных книжек. Вот и весь багаж, если не считать рюкзака, набитого съестным припасом.

Кирилл и Анатолий бродили вокруг дома, жевали траву — все дачники жуют траву, — мочили волосы родниковой водой, лежали под деревьями.

Тишина вокруг была мягкая, ласковая; она будто гладила по ушам теплой пуховкой.

Анатолий поднял руку, сжал пальцы в кулак, словно поймал мотылька, и поднес кулак к уху Кирилла.

— Слышишь?

— А что?..

— Тишина. Ее даже в руку взять можно. — Анатолий улыбнулся и разжал кулак.

— Я есть хочу, — сказал Кирилл. Он подумал, поглядел на старые бревна, на крышу из черной дранки. — Слушай, в нашем доме чего-то недостает.

— Чего?

— Пойдем посмотрим...

Они вошли в дом.

Теплые половички блестели, словно залитые лаком. Толстый шмель кружился вокруг рюкзака.

— Знаю, — сказал Кирилл. — У нас нету печки.

Анатолий лег прямо на пол, сощурился под очками, набрал воздуха в грудь. Грудь у него плоская, бледная и вся в ребрах, будто две стиральные доски, поставленные шалашом.

— Проживем без печки. Подумаешь, горе какое!

— А где мы будем кашу варить?

— А мы не будем кашу варить. Давай питаться всухомятку.

— Нельзя. У меня желудок, — ответил Кирилл.

— Тогда давай сложим очаг во дворе. — Анатолий воодушевился, вытащил из рюкзака пачку печенья. — Очаг — основа культуры. Начало цивилизации. Очаг — это центр всего. — Когда в пачке не осталось ни одной печенины, он вздохнул с сожалением. — Давай всухомятку? Не надо жилище портить.

— Дом без печки — сарай, — упрямо сказал художник.

Анатолий опять набрал полную грудь лесного воздуха, потряс головой:

— Воздух здесь какой...

— Ага, — согласился Кирилл. — Пойдем к председателю; пусть нам поставит печку.

Они пошли в деревню — мимо желтой пшеницы, по островкам гусиной травы, мимо васильков и ромашек. Ласточки на телеграфных проводах смешно трясли хвостиками. Наверно, их ноги щипало током, но они терпели, потому что лень летать в такую жару.

В деревне тоже было тихо. Все в полях, на работе. Только

в окошке конторы, как в репродукторе, клокотал и хрипел председательский голос:

— Обойдетесь. Здесь один трактор. Силос уминает.

Председатель помахал гостям телефонной трубкой.

— Плату принесли? Заходите.

У небольшого стола, заваленного накладными, актами, сводками, сидела девушка. Она плавно гоняла на счетах костяшки.

— Понравился домик? Отдыхайте... Хибара для хозяйства непригодная, я ее для туристов оборудовал. Сима, прими у товарищей плату за помещение.

Девушка отодвинула счеты.

— У нас нет печки, — сказал Кирилл.

— Чего?

— Печки у нас нет.

Председатель вытер шею платком. Девушка обмахнулась листочком. Они будто не поняли, о чем идет речь.

— Жара, — сказал председатель.

— Все равно, — сказал Кирилл. — Плату берете, а дом без печки — это сарай. На чем мы будем пищу варить?

Председатель страдальчески сморщился:

— Какая тут пища! Тошнит от жары.

— У меня язва, — сказал Кирилл, — мне горячая пища нужна.

Грохнув, распахнулась дверь. Плечистый детина втащил в контору мальчишку.

Девушка-счетовод быстро поправила кудряшки, подперла пухлую щеку указательным пальцем.

Детина тряс мальчишку с охотничьим рвением.

— Во! — рокотал он. — Попался!

— Чего тащишь?! — кричал мальчишка.

Контора заполнилась их голосами. Сразу стало веселее и прохладнее.

Парень толкнул мальчишку на табурет.

— Чума! Пятый раз с трактора стоняю...

— Потихе. За версту слышно, как орешь, — огрызнулся мальчишка, заправляя майку под трусики.

— Зачем на трактор полез?! — снова загредел парень. Голос у него — как лавина: услышишь такой голос — прыгай в сторону. Но мальчишка не дрогнул.

— Сам только и знаешь возле доярок ходить. А трактор простаивает.

Девушка-счетовод дернула счета к себе. Костяшки заскакали туда-сюда, хлестко отсчитывая рубли, тысячи и даже миллионы.

Парень растерялся.

— Сима, врет! Ей-богу, врет. Только попить отошел.

Мальчишка скривил рот влево, глаза скосил вправо. Лицо у него стало похоже на штопор.

— Попить, — хмыкнул он. — За это время, сколько ты возле доярок ходил, три бидона молока выпить можно.

Костяшки на счетах заскакали с электрическим треском.

— Сима, врет!!! — взревел парень.

Девушка медленно подняла голову. Лицо у нее было надменным; она даже не посмотрела на парня.

— Сводки в район посылать? — спросила она.

— Эх, — сказал председатель. — Скорее бы, Ваня, тебя в армию взяли. Иди силос уминай. Как еще узнаю, что трактор простаивает, в прицепщики переведу.

— Я что, я только попить... — Парень показал мальчишке кулак величиной с капустный кочан.

Мальчишка бесстрашно повел плечом.

— Я тебя сюда не тащил. Клавка тебя с фермы выгнала, так на мне хочешь злость сбить.

Счета взорвались пулеметным боем. Парень махнул рукой и выскочил из конторы.

Председатель подошел к мальчишке, защемил его ухо меж пальцев. Мальчишка поднял на него глаза, сказал, морщась:

— Не нужно при посторонних.

Председатель сунул руку в карман.

— Ладно. Я в поле тороплюсь. Передай отцу от моего имени: пусть он тебе углей горячих подсыплет в штаны.

— А с печкой-то? — спросил Кирилл. — С печкой-то как?

— Никак, — сказал председатель; он распахнул дверь. На краю деревни стояли новенькие, обшитые тесом дома. Шиферные крыши на них в красную и белую клетку.

— Все без печек. Люди в деревню прибывают. А печник один.

— Печника в райцентр переманили, халтурить, — сказала девушка-счетовод. — Вчерась уехал.

— Я ему уши к бровям пришью! — Председатель яростно грохнул ладшкой по шкафу, потом повернулся к Кириллу. — Мы вам мебель дадим. Табуретку...

* * *

Чай приятели вскипятили на костре, послушали, как за-сыпает лес, и сами уснули на душистых матрацах из жарко-красного ситца.

Утром Анатолий открыл глаза первым. На табуретке, посреди комнаты, сидел вчерашний мальчишка, листал книгу и дергал время от времени облупленным носом. На одной ноге у него была калоша, привязанная веревочкой; другая нога босая. Между пальцев застряла соломина.

— Очень приятно, — сказал Анатолий. — Ты вломился в чужое жилище без стука. Ты варяг.

Мальчишка поднялся, аккуратно закрыл книгу.

— Здравствуйте. Вы хотели сложить печку?

— Мы и сейчас хотим, — оживился Кирилл. — Этот печник — твой отец, что ли? Он приехал?

Мальчишка глянул на художника с сожалением, извлек из-за пазухи веревочку и молча принялся обмерять дом.

— Хороша кубатура. По такой кубатуре русскую печку вполне подходяще.

— Нельзя ли поменьше? — угрюмо спросил Анатолий.

— Можно. Вам какую?

— А какие бывают?

Мальчишка посвистел дупловатым зубом и принялся перечислять:

— Русские бывают, хлебы печь. Голландки бывают — это для тепла. Буржуйки бывают, они для фасона больше... Временки еще.

Анатолий перебил его, направляясь к дверям:

— Нам нужно кашу варить. Мой товарищ поест мастер.

— Для каши самое подходящее — плита.

Плита не понравилась Кириллу.

— Нет. Мы здесь будем до осени. Осенью ночи холодные. А мой товарищ, сам видишь, тощий. Он холода не переносит. У него сразу насморк. Нам что-нибудь такое соорудить, с прицелом.

— Если с прицелом, тогда вам универсальная подойдет, — заключил мальчишка. Он опять вытащил веревочку, но на этот раз обмерил пол и начертил посреди комнаты крест.

— Здесь ставить будем... А может, вам русскую лучше, чтобы хлеб печь? Может, вам осенью хлеб понадобится?

— Зачем? Хлеб в магазине купить можно.

Мальчишка почесал вихрастый затылок.

— Как ваше желание будет. Я подумал, — может, вы своего хлеба захотите. Если бы магазин у бабки Татьяны хлеб брал, тогда бы другое дело. У бабки Татьяны хлеб вкусный. А сейчас в магазине только эртэесовские берут.

За дверью загремело. С порога покатались ржавые ведра.

— Чего ты здесь наставил?! — кричал Анатолий.

— Ведра. Глину носить и песок, — невозмутимо ответил мальчишка. — Сейчас за глиной пойдете.

Анатолий вошел в комнату, надел очки.

— Как это пойдете? А ты?

— У меня других делов много... Подсобную работу завсегда хозяева делают. Иначе мы за неделю не управимся.

Мальчишка привел их к реке, к высокой песчаной осыпи.

— Здесь песок брать будете, — сказал он. — Еще глину покажу.

Он пошел дальше вдоль берега. Анатолий попробовал воду в речке.

— Мы сюда отдыхать приехали?

— А что? — ухмыльнулся Кирилл. — Тебе тяжело, — хочешь, я твои ведра понесу?

Анатолий громыхнул ведрами и побежал догонять мальчишку.

Мальчишка остановился в кустах в низинке. Кусты опустили в реку тонкие ветки. Они будто пили и не могли напиться. Осока шелестела под ногами, сухая и острая. Мальчишкины ноги покрылись белыми черточками. У Кирилла и Анатолия ноги были бледные, незагорелые. И от этого становилось тоскливо.

— В нашей деревне гончары жили, — говорил мальчишка не торопясь, с достоинством. — Горшки возили на ярманку. У нас глина звонкая. — Он остановился возле ямы, бросил в нее лопату.

— Тут брать будем. Потом за гравелем сходим.

— «Ярманка, гравель», — передразнил его Анатолий, взял лопату, стал копать, осторожно, как на археологическом раскопе.

— Зачем гравий? — спросил Кирилл, разминая в пальцах кусочек глины.

— Гравель для фундамента. Когда на электростанции агрегат устанавливали, мы с дядей Максимом заливали фундамент. Гравель хорошо цемент укреплает.

— Да гравий же! — крикнул Анатолий и добавил потише, стыдясь своего взрыва: — Ты двоечник, наверное.

Мальчишка обиженно посмотрел на него.

— Ну, гравий. — Он насупился и сказал сердито: — Кто так копает?... — отобрал у Анатолия лопату, сильно и резко вогнал ее ногой, отвалил пласт глины и шлепнул в ведро. — Вот как нужно.

Кирилл засмеялся.

— Ты на него не кричи. Он отдыхать приехал. Он слабый... — Кирилл показал мальчишке смешного глиняного чертика.

Мальчишка сказал:

— Глупости, — и пошел через кусты к деревне.

Анатолий долго смотрел ему вслед.

— Меня, археолога, он еще копать учит!

— А что? — усмехнулся Кирилл, повертел в руках чертика и зашвырнул в кусты.

Один раз взойти на обрыв, может, не так уж и трудно, учитывая даже полные ведра сырой глины. Второй раз тяжелее. Третий раз...

Кирилл ставил ведра перед собой, потом, придерживаясь за них, передвигал ноги. Он добрался уже почти до верха. На самой вершине — сосна. Песок из-под ее корней давно выполз. Сосна раскинула ветки. Она словно знала, что рано или поздно ей придется лететь с крутизны к речке. Кирилл сделал еще один шаг. Песок пополз из-под его ног. Кирилл выпустил ведра и уцепился за корни сосны.

— Берегись! — закричал он Анатолию.

Где тут бережись, если ноги по колено в песке, если они дрожат вдобавок. Ведра пролетели кувырком мимо Анатолия, выбили у него из рук его собственные ведра и остановились у самой реки.

Четыре ведра лежали внизу под обрывом. В каждом по пуду.

Анатолий подполз к Кириллу, сел рядом с ним.

— Давай удерем, а? Плянем на все и удерем в леса...

— Мне нельзя, у меня язва, — печально ответил Кирилл.

Они приспособились носить ведра на палке. Повесят ведра на шест, шест взгромоздят на плечи. Это не легче, да и качает из стороны в сторону.

Куча глины и куча песка росли перед домом. Росли они медленно. Десять раз пришлось ходить к реке.

Когда они возвращались с последней ношей, кто-то крикнул почти над самыми их головами:

— Тпру!..

Кирилл и Анатолий остановились.

— Это уж слишком, — сказал Анатолий. — Заставляет работать и еще издевается.

— Тпру! — снова раздался сердитый окрик. Из-за кустов выехал мальчишка. Он стоял в телеге, напоминавшей ящик, и кричал на буланую лошаденку. Лошаденка тянулась к траве, обрывала листья с кустов, как капризная гостья, которой не хочется ничего и хочется попробовать все, что есть на столе.

— Садитесь, поехали, — сказал мальчишка. — А ну не балуй!

— Куда еще?

— Садитесь, садитесь. Мне лошадь ненадолго выписали.

Подвода тряслась по дороге. Мальчишка деловито покрикивал на бойкую лошаденку. Кирилл и Анатолий сидели, вцепившись в высокие грядки телеги.

Тяжелая пыль плескалась над лошадиными копытами, растекалась от колес волнами.

— Давай, Толя, отдыхай. Какое небо над головой и цветочки!..

Анатолий хотел ответить насчет неба, но тут телегу тряхнуло, и он ткнулся головой в спину вознице.

Мальчишка остановил лошадь.

Вокруг поля, перелески. На высоком бугре развалины старинной церкви. Церковная маковка валялась рядом. Она напоминала остов корабля, выброшенного бурей на мель.

— Здесь прежде деревня большая была, — сказал мальчишка. — Фашист в войну спалил. И церкву фашист разрушил... Хорошая была церква. Кино в ней пускать вполне можно...

Мальчишка прыгнул на землю, подошел к накренившейся стене и постучал по ней кулаком.

— Не знаете, случаем, какая раньше известка была? Я вот все думаю — крепкая была известка.

Анатолий принялся объяснять, что старые мастера замачивали известь на несколько лет. Строили долго и дорого.

— Зато и стояла сколь надо. — Мальчишка вытряхнул из телеги солому, посланную, чтобы Кириллу и Анатолию было мягче сидеть.

— Прошлым летом я в РТСе работал на водонапорной башне. Так нынче трещину дала... А ничего не придумали, чтобы быстро и надолго?

— Придумали, наверно, — ответил Анатолий. — По всей стране такое строительство идет, а ты говоришь — не придумали.

— Я не говорю, — пробормотал мальчишка. — Грузите кирпич.

Кирилл и Анатолий нагружали телегу битьем, старались выбрать половинки.

— Хватит, — сказал мальчишка. — Лошадь не трактор. В другой раз сами поедете, без меня. Только в деревню не смейте. Я председателю наврал, что подвода нужна за вещами съездить на станцию... Я пошел...

— Куда еще? — крикнул Анатолий.

— А по делам, — невозмутимо ответил мальчишка.

Кирилл и Анатолий сгружали возле дома третью подводу. Собрались уже ехать за четвертой, как появился мальчишка. Он притащил моток проволоки, несколько старых рессорных листов и ржавые колосники.

— Вот, — сказал он довольно. — Рессоры я у Никиты выпросил, у колхозного шофера. Я с ним весной блок перебирал... Колосник мне кузнец дал, дядя Егор. Я с ним прошлой осенью бороны правил. А проволоку Серега отмотал. Монтер Серега. Мы с ним проводку сегодня тянули по столбам.

— Слушай, с председателем ты ничего не делал? — ехидно спросил Анатолий.

— А что мне с председателем делать?

— Колхозом управлять, к примеру.

— Шутите. Для этого дела мотоцикл нужен, — с завистью сказал мальчишка. Почувствовав насмешку, он придавил глаза бровями и сказал строго: — Кирпич-то разобрать нужно. Битый отдельно. Половинки отдельно, цельные кирпичины в особую кучу.

Кирилл и Анатолий принялись разбирать кирпичи.

Мальчишка поглядел на них, взял лопату и, ни слова не говоря, принялся копать яму.

— За водой сбегайте, — скомандовал он, даже не подняв головы.

Анатолий схватил ведро.

— Не споткнись! — крикнул ему Кирилл.

Потом Кирилл бегал за водой. Потом опять Анатолий. Потом Кирилл бросал в мальчишкину яму песок, Анатолий — глину. Оба по очереди лили в яму воду. Мальчишка замешивал раствор.

— Видели, как надо? Теперь сами... Чтоб комочков не было... Давайте... — Он отдал лопату Анатолию, сам пошел в домик обмерять пол.

Под вечер, когда Кирилл и Анатолий не падали лишь потому, что вдвоем держались за лопату, а лопата накрепко застряла в растворе, мальчишка сказал:

— На сегодня хватит. Отдыхайте. Завтра приступим. — Взял коня под уздцы и повел его по дорожке. — До свидания.

— До свидания, — сказал Кирилл.

— Молочка бы сейчас попить, — сказал Анатолий.

Приятели обождали, пока не замолк скрип колес, и направились к деревне.

Они долго плутали по улицам в поисках дома, где, по их мнению, оказалось бы самое сладкое молоко.

Наконец они выбрали избу с высокой крышей и с тюлевыми занавесками. Постучали по стеклу пальцем.

Из окна выглянула старуха. Крепкая — зубов полный рот. Морщины на ее щеках все время двигались, словно рябь на воде.

— Ой, родимые! Кто это вас так уходил? — спросила старуха, и все морщинки побежали у нее на лоб.

— Нам бы молочка, — сказал Анатолий, прислонясь к стене.

— И свежих огурчиков, — сказал Кирилл.

— Сейчас... Я вам и картошки горяченькой... — Старуха скрылась в окне.

Напротив ставили новый дом. Сруб был уже почти подведен под крышу. Два мастера укрепляли последний венец: один старый, с давно не бритым подбородком, с усами, напоминавшими две зубные щетки; другой молодой, в линялой майке.

Анатолий нервно закашлялся.

— Варяг...

— Он, — кивнул Кирилл.

Мальчишка заметил их тоже. Он приподнялся на срубе, замахал рукой.

— Эй, эй!... Подождите, дело есть...

Анатолий юркнул в кусты, Кирилл бросил на старухино окно голодный, печальный взгляд и шмыгнул за товарищем.

— Эй, эй!.. — крикнул мальчишка.

Старуха высунулась из окна.

— Вот молочко, — сказала она. — Вот картошка...

Кирилл и Анатолий бежали к своей хижине. В этот день приятели легли спать, даже не попив чаю.

Они ворочались на сенниках. Ломило кости, мускулы ныли и вздрагивали, словно через них пропустили электрический ток.

Они слушали, как гудят сосны, потерявшие под старость сон, как лопочет задремавший подросток. В висках толкалась уставшая кровь. Кириллу мерещились громадные кирпичные горы, каждая величиной с Казбек; трубы всех размеров, водонапорные башни, телеграфные столбы; печи простые и доменные, города, небоскребы! И над всем этим возвышался мальчишка. Он шевелил губами и норовил обмерить весь белый свет своей веревочкой.

Утро стекало с подоконника солнечными струями. Теплый сквозняк шевелил волосы. На подоконнике сидел воробей. Он клюнул доску раз, клюнул два, сыто чирикнул и уставился булавочными глазами на спящих людей.

Кирилл пошевелился, открыл глаза и тотчас закрыл их. На табуретке посередине комнаты сидел мальчишка и перелистывал книгу.

— Здравствуйте, — сказал мальчишка.

Анатолий тоже открыл глаза.

— Уже, — сказал Анатолий.

Мальчишка ткнул пальцем в страницу.

— Ценные книги. И сколько в земле всякого жилья позасыпано. Я вот смотрю, как только человек образовался, — сразу строить начал. — Мальчишка окинул глазом кирпич, наваленный у порога, крыши, видневшиеся за полем. — Видать, строительная профессия самая что ни на есть древняя. Впереди всех началась. Портные, там, сапожники — это уже потом... Даже хлеб сеять после начали.

— Да, — промычал Анатолий, — ты прав, пожалуй. — Он впервые посмотрел на мальчишку с интересом, потом встал, кряхтя и охая.

— У вас тоже язва? — спросил мальчишка и торопливо добавил: — Наденьте очки, не то опять споткнетесь.

На полу лежала рама, сколоченная из горбылей.

— А это ты зачем приволок? — проворчал Кирилл. — Может, дополнительно к печке курятник хочешь соорудить?

— Опалубка такая — для удобства размеров, — пояснил мальчишка. — Я ее сегодня утром сколотил. Попросил у Матвей Степаныча доосок. Он бригадир плотницкий.

Кирилла закутался в простыню.

— Ты с ним правление колхоза ставил. Я знаю...

— Шутите. — Мальчишка положил книгу, встал, с табуретки. — Правление у нас каменное, сами видели. Мы ему на скотном дворе помогали. Там все ребята работали. Сейчас-то все наши в поле. Косят.

— А ты что же?

— Я по причине ноги. Ходить долго не могу.

Кирилл еще плотнее запахнул простыню. Утро его почему-то не радовало. Он морщился, вытягивал шею, дергал подбородком.

— Где ж ты ногу сломал? При самолетной катастрофе, конечно.

Анатолий глянул на Кирилла насмешливо.

— Шутите, — сказал мальчишка. — Мы в футбол играли — я на стекло напоролся. — Он прошел в угол, развернул газетный сверток, вытащил инструменты, костыли и гвозди.

— Чего вчера от бабки Татьяны убежали? Я вам костыли хотел дать...

— Костыли бы сейчас не помешали, — прокричал Кирилл, поднимаясь с матраца.

— Ты как, нам позавтракать дашь или сразу за водой бежать, за кирпичом, может? — спросил Анатолий.

— Позавтракайте, — разрешил мальчишка, установил раму по меловым отметкам, прибил ее к полу железными костылями. — Натощак работать трудно. Вон я вам кринку молока принес.

Анатолий взял холодную кринку, взболтнул ее и приложился к горлышку. Припадая на обе ноги, подошел Кирилл.

— Дай мне.

— Чайку попьешь. У тебя язва... — Анатолий отстранил Кирилла, повернулся к мальчишке: — Эй, варяг, поешь с нами.

— Я еще сытый. Я утром блины ел со сметаной. — Маль-

чишка вбил последний костыль. — Когда у вас печка будет, вы тоже блинами завтракать сможете.

— Блинами завтракать, — пробрюзжал Кирилл. — Дай молочка...

Анатолий передал ему кринку.

— Ладно. Говорить правильно он еще выучится. Командуй, мастер, что делать?

— А много делать, — впервые улыбнулся мальчишка. — Кирпич носить, раствор месить. Работы хватит.

Кирилл допил молоко, поставил кринку в угол и схватился за поясницу.

— Ой! — сказал он. — Лучше бы всухомятку.

Работали в одних трусах. Кирилл и Анатолий носили воду, замешивали раствор. Когда печка с плитой поднялась мальчишке до пояса, он отложил мастерок и задумался, потом лег на пол, достал из-за пазухи обломок карандаша, клочок бумаги и принялся чертить.

Кирилл и Анатолий примостились на полу рядом с ним.

Мальчишка чертил карандашом на бумаге, скреб карандашом по своей голове, вздыхал и опять чертил. Он спросил вдруг:

— Вы много зарабатываете?

Кирилл и Анатолий переглянулись. Кирилл пошлепал пальцем по оттопыренной губе. Анатолий загасил папиросу, сунув ее в раствор.

— Бывают люди, много зарабатывают, а такие экономные. Ну, жадные, что ли, — сказал мальчишка.

— Вот почему ты перестал печку класть!

— Н-да... Вот, оказывается, что ты за личность... Не беспокойся, мы тебе заплатим как следует.

Мальчишка опустил голову, перевязал веревочку на калоше.

— Я не к тому, — пробормотал он. — Мне деньги не надо. Я за интерес работаю. — Он пододвинулся к заказчику. — Если вы много зарабатываете, почему бы нам не устроить электрическую печку? И грязи меньше, и за дровами ходить не нужно.

Мальчишка встал, подошел к печке.

— Спираль нужно и регулятор. Правда, она току много употребляет. Мы такую с Сергеем-монтером в инкубаторе делали. Но если вы хорошо зарабатываете...

— Ты это брось. Ты делай, что начал! — оборвал его Анатолий.

— А я что? Я делаю... Я только про интерес говорю. Деньги мне ваши не надо. — Он помигал белыми ресницами и пошел к двери.

— Ты куда?! — крикнул Кирилл.

Мальчишка не ответил. Двери плотно закрылись за ним.

Тишина. На печке стояло ведро; оно протекало немного. Капли падали на пол: «кап, кап, кап...»

Анатолий поднялся, подцепил раствор из ведра, шлепнул его на угол плиты и уложил кирпичину.

— Зря мальчишку обидели, — сказал он. — Зачем ты на него накричал?

— Это ты на него накричал, — огрызнулся Кирилл. — Ты на него второй день кричишь. Не разбираешься в людях.

— Ты разбираешься. — Анатолий положил еще одну кирпичину. — Давай догоним его. Объясним, — мол, вышло недоразумение.

Они выскочили из домика. Кирилл крикнул:

— Эй!.. Эй!..

Никого вокруг.

— Эй, ты!.. — снова закричал Кирилл. — Слушай, а как его зовут?

— Варяг, — смущенно сказал Анатолий.

Конечно, отыскать такого заметного мальчишку в деревне — дело простое. Спросил, и каждый ответит.

У скотного двора приятели встретили доярку в белых халатах.

— Простите, — сказал Анатолий. — Вы не скажете, где тут мальчишка живет?

— Какой? — спросила красивая девушка с ямочками на щеках.

— Такой...

— Майка выцветшая, трусы обвислые, — пришел на подмогу приятелю Кирилл. — Нос вроде фиги... Голова не стриженная давно.

Девушка засмеялась.

— У нас все такие. Их сейчас стричь некогда. Мы их по весне вместе с овцами стрижем.

Засмеялись и другие доярки.

— А девчат вы не ищете? — Подталкивая друг друга, они протиснулись в дверь.

— У него на одной ноге калоша веревочкой привязанная! — крикнул Кирилл. Девчата за дверью захохотали еще громче.

Кирилл и Анатолий упрямо шагали по улицам. Улиц в деревне немного. Одна, другая — и все тут.

— Культурные городские люди, — ворчал Анатолий. — Даже имени не спросили. Позор!

Возле правления колхоза стоял трактор. Мотор работал на малых оборотах, пофыркивал и иногда встряхивал машину. К трактору была прицеплена самосвальная телега с громадным возом сена. Коза, встав на задние ноги, теребила сено. А возле крыльца стояли тракторист и девушка-счетовод.

Увидев тракториста, Кирилл и Анатолий воспряли духом.

— Этот мальчишка... Где он живет? — спросил Анатолий. — Тот, помните?

— Помню, — пробурчал парень свирепо. — Эта чума вон в том доме обитает. Его Гришкой зовут...

— Спасибо, — сказал Кирилл. Они с Анатолием пошли было, но парень окликнул их:

— Постойте. Он сейчас дома нет. Он у бабки Татьяны.

Дом бабки Татьяны оказался тем самым, где Кирилл и Анатолий просили молока. На стук им никто не ответил. Они вошли в просторные чистые сени, остановились на пороге комнаты.

В комнате чисто. Пол устлан стираными дорожками. На стене два плаката по животноводству, старая икона и портрет Ворошилова в военной форме. Скатерть на столе откинута. На газете наполовину разобранный швейная машинка старинного образца.

— Гришка! — позвал Анатолий тихо.

Молчание. Только край занавески шуршит по обоям.

— Гришка! — позвал Кирилл.

Опять тишина.

За их спинами открылась дверь. Вошла бабка Татьяна.

— А-а-а, — сказала она. — Здравствуйте... За огурчиками зашли?

— Нет, огурчики потом. Мы Гришку ищем.

— Гришку? Чего же его искать? Вон он, машинку налаживает. — Бабка подошла к дверям, глянула в комнату. — Только что был... Меня вот за маслом послал к Никите Зотову, к шоферу. Говорит, принеси солидол. Без него не

получится... — Бабка поставила баночку с маслом возле машинки, посмотрела туда, сюда. — Вы проходите, садитесь... Я вас молочком топленым угощу.

Кирилл и Анатолий прошли к столу. Бабка вытерла руки о фартук и засемила за перегородку к печке. Вдруг она громко вскрикнула и выскочила обратно.

— Кто там?

— Где?

— Там, — сказала старуха испуганным шепотом и показала локтем за перегородку. Она смотрела на гостей со страхом и недоверием. — А куда ж вы вчера, кормилицы, удрали?..

Кирилл и Анатолий встали из-за стола.

Старуха попятилась, потом шустро подскочила к окну.

— Иван! Иван! Спасай! — завопила старуха, откинув занавеску. — Я ж тебе говорю, — спасай, окаянный!

Кирилл и Анатолий подошли к русской печке.

На шестке, между чугунов и сковородок, топтались два громадных валенка, перепачканные в золе и саже. Один валенок приподнялся. Из пятки у него выбивался дымок. Вероятно, пятку прожгло углем.

Анатолий решительно постучал по валенку согнутым пальцем.

— Слушайте, товарищ.

Валенок опустился, выдавив из пятки ядовитое облачко дыма.

Анатолий постучал еще раз.

— Эй, что вы там делаете?

— Где?.. Что случилось? — послышались голоса в соседней комнате. В дверях показались бабка Татьяна, тракторист и девушка-счетовод.

— Вот они, — бабка победно подбоченилась. — А третий ихний в печке шарится. Я их еще вчера заметила. Не наши люди...

— Неловко получается, граждане, — сказал тракторист. — Что вы тут делаете?

— Мы ничего...

— Мы Гришку ищем...

Девушка-счетовод выглядывала из-за широкой трактористой спины.

— Вы что ж, его в трубе ищете? — спросила она. — Он, чай, не окорок.

— А если документы проверить. — Парень двинулся вперед, выпатив все свои мускулы.

— Проверь, Ванюша, проверь — сказала старуха.

Но тут валенки шевельнулись. Один опустился с шестка, нащупал табуретку. За ним — другой. Из печки вылетело облако сажи. И появился Гришка. Весь перемазанный, полузадохшийся. Он чихнул и открыл глаза.

— О господи! — ахнула бабка. — Да чего же ты в трубе делал?

— Колено изучал. — Голос у Гришки был хриплый, будто горло ему забило сажей. Он кашлял и сплевывал себе на ладошку черные слюни.

Бабка опомнилась от изумления и страха, схватила сковородник.

— Я тебе дам колено, мазурик! Машину развинтил, а сам в колено полез?!

Парень-тракторист подошел к Гришке, ткнул его пальцем в живот и восхищенно пробормотал:

— Вот чума! Вот это чума!..

Гришка спрыгнул с табуретки, увернулся от бабкиного сковородника, перепачкав Анатолия сажей.

— Печник говорил — у вас печка высшего класса. Почему у вас хлебы лучше всех?!

Старуха изловчилась, схватила его за чуб.

— Мои хлебы мои руки делают, а не какие-то там коленья. Валенки стариковы прожег. Я из тебя дурь вытрясу!

Кирилл и Анатолий сидели на подоконнике в своем доме. Их мучила одна догадка, но они молчали, не решаясь произвести ее вслух.

Скоро прибежал Гришка.

— Еще за волосы дерет, — сказал он, размазывая по лицу сажу. — А вы не беспокойтесь, я сейчас. — Он подошел к печке. — А может, вам русскую сложить? — Глаза у него заблестели. — В русской колено вот так идет...

— Ты лучше скажи, — не выдержал Кирилл, — зачем ты нам голову дуришь? Ты думаешь, мы глупые? Ты ведь печек никогда не делал.

Гришка отвернулся.

— А я разве говорил такое? Я не говорил... — Он постоял

немного, поводил калошей по полу. — Плотницкое могу. Трактор водить могу. За движком на электростанции следить могу. Я швейную машинку чинил даже. У бабки Татьяны. Системы «Зингер».

— Видели мы твою починку, — сказал Анатолий.

— Так это в который раз уже. У нее вал подносился. Надо втулку специально точить... — Гришка посопел в обе ноздри, опустил голову. — А печек... Печек не клал...

— Мы-то здесь при чем? — устало спросил Анатолий. — Зачем ты нас заморочил?

— Вы ни при чем, конечно. — Гришка снял ведро с раствором, поставил его на пол. — Печник у нас — чистый бандит. Вся деревня через него страдает. Вон сколь домов без печек стоят. А он как заломит цену, хоть корову продавай. — Гришка уложил на угол плиты кирпичину, потом другую. Серdito, словно кому-то назло. — Этот печник — жлоб. Никого к себе не подпустит. Боится заработок потерять. Я за ним три дня подсматривал в окно. Как он до этого места дошел... — Гришка снял уложенные кирпичины, бросил их обратно на пол и пошлепал по плите мастерком. — Как до этого места дошел, заметил меня и прогнал лопатой. А печку мы все равно поставим. Вы не сомневайтесь. В печке самая загвоздка в колене, как колено вывести... В колене все состоит... Вы потерпите только.

Кирилл и Анатолий разостлали на полу большой лист бумаги, придавили края обломками кирпичей.

— Вы чего? — спросил Гришка.

— Печку... Ты что думаешь, мы будем ждать, пока ты сообразишь, как колено вывести?..

До вечера они конструировали печку на бумаге. Втроем. Гришка потерял всю свою солидность.

— Тяга ведь вверх идет, — говорил он. — Воздух горячий возьмет разгон, тут его и поворачивать.

Кирилл рисовал колено.

— Так?

— Правильно, — вопил Гришка. — Пришпилим...

Один раз он все-таки сказал с сожалением:

— Может быть, русскую, а? У нас тут все больше русские в моде. Хлебы печь.

— Делай, что начали! — прикрикнул на него Анатолий.

На исходе дня они приступили к строительству. Гришка



вел кладку, Кирилл с Анатолием подавали ему кирпич, воду и раствор.

— Ложитесь, кирпичи, лежите на печи. Засунем в печь полено — полезет дым в колено! — распевал Гришка под толком. Он задрал голову кверху, помигал и сказал расстроенно:

— А дырку-то? Дырку-то не прорубили — трубу выводить.

Кирилл и Анатолий полезли на чердак.

Кирилл прорубал в потолке, Анатолий — в крыше.

Работал Кирилл неумело, поэтому доски, которые он вырубил, повалились вниз.

— Эй! — закричал Кирилл. — Отскакивай! — Просушил лысоватую голову в дыру и закричал еще громче: — Что ты делаешь?

Анатолий тоже наклонился над отверстием.

Гришка старательно разбирал печку. Он складывал кирпичи на пол, соскабливал с них раствор.

— Ты что, с ума сошел? — Анатолий прыгнул с чердака на землю, ворвался в домик. — Делали-делали. Уже ночь на дворе.

— Упущение допустили, — возразил Гришка.

— Какое еще упущение? — спросил Кирилл с чердака.

— Печурку нужно, как у бабки Татьяны.

Кирилл покрутил пальцем возле виска.

— Сдвинулся... Давай уж сразу всю комнату печками загородим. В том углу голландку, в том — буржуйку. Тут печурку, тут лежанку...

Гришка разостлал чертеж.

— Зачем. Печурка, она вроде норы. Она в печке делается. Носки в ней сушить можно, валенки греть... У бабки Татьяны в печурке кот спит.

— Но ведь у нас нет кота, — сказал Анатолий, устало садясь возле Гришки.

— Это вы не беспокойтесь. Я вам кота доставлю. — Гришка подошел к печке, пытаясь показать, какая бывает печурка. — Она такая, — говорил он. — Норой... В общем, печка без печурки, как велосипед без звонка. Из печурки теплый воздух в комнату волной прет.

Они сделали печурку. Они сделали не одно колено, а целых три. Трубу они соорудили широкую, на голландский манер.

— Агрегат тепла, — сказал Анатолий.

— Монумент, — сказал Кирилл.

— Это еще не все, — сказал Гришка. — Ее еще обмазать и просушить нужно.

Третье утро вошло в домик тихо и неожиданно. Оно дрожало вокруг кисейным туманом. Третье утро заполнило домик запахом трав. Этот запах пересилил запах глины, запах старой извести.

— Тишина, — сказал Кирилл.

— Скоро радио заговорит, — сказал Анатолий. — «С добрым утром, дорогие товарищи!». — Анатолий оглядел стены.

— ...Вы не беспокойтесь, — перехватив его взгляд, заявил Гришка. — Я вам радио проведу. Тогда у вас совсем как у людей будет.

Печка, обмазанная глиной, стала совсем красивой.

Гришка приволок охапку хвороста. Кирилл и Анатолий пошли к роднику мыться.

Они поливали друг друга из ведра, шлепали себя по бокам, приглушая тем самым гордую усталость. Они не заметили, как подошел председатель колхоза. Вместе с ним застенчиво трусил невысокий мужичок в полосатой рубашке, застегнутой до самого ворота.

— Вот, — председатель кивнул на своего спутника. — Здравствуйте... Печник вчера прибыл. Если, конечно, договориться с ним.

Печник скромно улыбался.

— Работы у меня много. Все поперед других хотят. От этого цена. И еще цена от колен зависит.

Анатолий осмотрел печника с головы до пят. Кирилл сделал то же самое в обратном порядке.

— Да, — сказал Анатолий, — конечно, в колене все состоит...

— И еще смотря какую печку. — Мастер переступил с ноги на ногу. — Печки ведь разные бывают. Русские бывают, хлебы печь. Голландки, они для тепла больше. Буржуйки еще...

— Это для фасона, — подсказал Кирилл.

Печник мягко поправил его:

— Для уюта... Буржуйка, она...

— Нам вот такую, — перебил печника Анатолий. Он шумно раздвинул кусты и показал на крышу. В этот мо-

мент труба выбросила густой клубок дыма. Дым окружился вокруг каемки, побелел и побежал веселой струей вверх.

Печник замигал. Глаза у него забегали, пальцы зашевелились. Он сразу весь пришел в движение, словно прислонился к горячему.

На порог дома вышел Гришка, перепачканный и усталый.
— Ты?.. — спросил председатель.

— Мы... Это мы вместе, — испуганно ответил Гришка. Но, почувствовав, что никакой трепкой это дело не угрожает, Гришка приосанился и с ухмылкой глянул на печника.

Труба дымила. Домик, казалось, плыл вдоль лесистого берега. Он будил лесную чащобу, пугал тишину своим веселым, обжитым видом.

МЫ СКАЗАЛИ КЛЯТВУ

Лестницы после ремонта, хоть мой их со щелоком, хоть веником три, всегда белые, будто покрыты инеем. Рамы выкрашены. Перила покрыты лаком.

Люди ходят по чистым лестницам осторожно, как по коврам. Вдыхают запах, от которого щекочет в носу, улыбаются и придирчиво разглядывают потолки.

Кошки чистых лестниц не любят. Они шипят по-змеиному и убегают в подвалы разыскивать темные, плесневелые закоулки. Пауки и мокрицы дохнут на чистых лестницах от тоски и досады.

Рэмка прыгал со ступеньки на ступеньку.

— Красота, даже плюнуть стыдно.

А это что?

На стене, по розовой, еще не просохшей как следует штукатурке, кто-то нацарапал гвоздем:

ВАЛЕРКА И РЭМКА + КАТЯ = ЛЮБОВЬ

Возле надписи стоял Рэмкин друг, Валерка.

— Как это люди сразу обо всем узнают?

— Чего узнают?! — вскипел Рэмка. — Надо уничтожить это быстрее, пока никто не видел.

Рэмка притащил со двора увесистую кирпичину, но Валерка остановил его.

— Чувства не нужно скрывать, — сказал он. — Это набрасывает на них тень.

— Какую еще тень?

— Ну, тень — и все. — Валерка был на семь месяцев старше Рэмки. Возраст давал ему преимущество в дружбе. — Надо быть выше. — Он вытянул шею, печально закатил глаза и уселся на подоконник.

— Пожалуйста, — бормотал Рэмка. — Можешь. Пусть про тебя на всех лестницах пишут.

Рэмка ударил углом кирпичины по тому месту, где было написано его имя. Большой пласт штукатурки обрушился на пол. Рэмка растоптал его, наследил по всему полу.

— Пусть над тобой все ребята смеются. А я тут при чем? Я еще не свихнулся и не спятил. Выдумали еще!.. — Он слизнул осевшую на губы белую пыль и сплюнул.

— Знаешь, как я волнуюсь, — сказал Валерка. — Тебе хорошо, ты толстокожий... Ты хоть что-нибудь чувствуешь?

— Чувствую... Спина чешется. — Еще Рэмка чувствовал голод. — В следующий раз хлеба возьму, — решил он, усаживаясь рядом с Валеркой.

Запах известки сушил горло. Рэмка угрюмо разглядывал крашенные двери, почтовые ящики, таблички над электрическими звонками и странную надпись на листке картона: «Толстопятовой стучать». Кто-то добавил под ней другую: «Только не громко!» Потом Рэмка сообразил, что Толстопятова — это Катина мама. Почему к ней нельзя стучать громко и вообще зачем стучать, когда можно звонить? И чего это люди так любят надписи? Рэмка глянул на стену, где были нацарапаны их имена. Сейчас там зияла большая выбоина, торчали лучина и ржавые гвозди. Стену из-за дураков испортил. Рэмка опустил голову. Ему очень хотелось уйти.

Вдруг Валерка толкнул его локтем.

— Идет!

Катя шла по двору и что-то про себя напевала. Она вообще напевала часто. Платье на ней голубое, с вышивкой по подолу. В косах два больших банта.

«Красивая, — тоскливо подумал Рэмка. — Вот ведь какая, специально бантов понацепляла».

Валерка соскочил с подоконника, расправил рубашку, пригладил волосы, потом снова сел, покусал ноготь.

— Что делать, Рэмка?.. Может, удерем, а?

Рэмка еще раз сплюнул на чистый кафель.

— Была бы моя воля, я бы ей влепил парочку шалабанов — пусть с нашего двора убирается. А то ходит тут с бантами...

Валерка опять соскочил на пол.

— Рэмка, а что я ей скажу?

— Девчонки испугался! Да я ей хоть что скажу. Хочешь?

— Я сам, ты все испортишь.

Первым перед Катей предстал Рэмка. Он оглядел ее исподлобья, сказал:

— Стой! — и поддал ногой кусок кирпичины, забил ее в лунку под водосточной трубой.

Валерка вышел из-за его спины. От волнения он закатал рукава.

Катя попятилась.

Рэмка по привычке ухватил ее за косу.

— Стой, тебе сказано.

Валерка начал разговор:

— Катька... — Он хрюкнул от волнения, побагровел. — Катька...

Девочка подняла на него синие глаза, всхлипнула:

— Я же вам ничего плохого... — и бросилась наутек, оставив в Рэмкином кулаке белый шелковый бант.

— Это все ты! — прошипел Валерка, надвигаясь на товарища. — Это ты ее напугал. Отдавай сюда бант!..

— На, подавись. — Рэмка швырнул ему свой трофей.

* * *

Родители бывают разные. Одни отнесутся к потере банта спокойно, другие поднимут шум и гвалт на весь дом. Которые из них лучше, судить детям, когда дети вырастут.

Рэмка и Валерка сидели в ванной. А в комнате сидела Катина мама. Что она говорила Валеркиным родителям, мальчишки не слышали. Лишь когда Катина мама уходила, до них отчетливо донеслась ее фраза:

— Имейте в виду, это все улица. Вы еще будете проливать горькие слезы.

Валерка выкрутил лампочку в ванной. Он поступил осмысленно, потому что в коридоре раздались шаги отца, затем послышался стук в дверь.

— Валерий, открой.

— Не могу, — сказал Валерка, — мы карточки печатаем.

— Хорошо, — сказал отец с многозначительной интонацией. — Когда кончишь печатать, зайди ко мне.

— Хорошо, — откликнулся Валерка.

Рэмка молчал — чего ж тут хорошего. И еще неизвестно, в какую квартиру пошла Катина мама — в свою или в Рэмкину.

— Что будем делать? — прошептал Валерка, наклоняясь к его уху.

— Терпеть. Тебя первый раз дерут, что ли?

— Да я не о том. — Валерка сдержанно засопел. — Я спрашиваю, что теперь с Катей делать? Теперь она к нам и близко не подойдет. Давай знаешь что? Давай напишем ей письмо. Ты стихи умеешь сочинять?

— Еще чего? Тебе нужно, сам и сочиняй. Ты влюбленный.

Валерка покорно уселся на край ванны, закатил глаза и зашевелил губами.

«Надо же, — усмехнулся про себя Рэмка. — Я бы ей написал, я бы сочинил: «Повернись пять раз винтом, подавись своим бантом!» — Рэмка засмеялся.

Валерка поерзал на ванне.

— Перестань, с мысли сбиваешь. — Он еще больше закатил глаза. Наконец сказал: — Вот. Слушай:

Здравствуй, Катя!
Шлем к тебе с приветом
И с поклоном низким до земли.
Мы тебя все время звали Катька,
А теперь вот Катериной назвали.

Валерка снова наклонился к Рэмкиному уху.

— Это только начало. Самое главное будет дальше.

Рэмка фыркнул.

— Я ей так поклонюсь, что все банты растеряет. Сам можешь кланяться, а меня не припутывай! И вообще стихи твои барахло.

— Ты и таких не можешь, — обиделся Валерка. — Я классик, что ли?

— Не классик, так и не берись.

Валерка вспыхнул. Он вскочил с ванны и закричал:

— Ты виноват, ты! Ты Катьку за косу схватил...

— Так, значит, — прошипел Рэмка. — Ну и ладно, ну и катись к своей Катерине и кланяйся ей в ножки!

Рэмка в сердцах хлопнул дверью и ушел домой.

* * *

Рэмка дал себе слово ни за что не подходить к Валерке первым, не искать примирения, не здороваться даже. Ему казалось, будто отняли у него что-то важное и ценное и отдали другому.

Рэмка сидел на барабане с бронированным кабелем и старался отколупнуть кусочек изоляции. Электрики тянули кабель к исследовательскому институту, а может быть, к новой станции метро; может, к строительству кинотеатра с круговой панорамой. Куда — никто из ребят толком не знал. Кабель был обвит толстой стальной лентой, а сверху еще вымазан буровой смолой.

«Проколупаю дырочку, тогда Валерка сам ко мне подойдет и прощения попросит», — думал Рэмка, хоть и знал отлично, что кабель не расковырять даже ножом.

Задумает мальчишка: «Если увижу, как падает звезда, будет мне удача». А звезд на небе много. И вдруг одна задрожит, замигает и покатится вниз, прямо в мальчишкину шапку. Нужно только очень хотеть.

Дружили они с первого класса, сказав за сараями клятву: «Небо, земля и честь. Хук».

Последнее слово значило, по-индейски, что сказано все и к сказанному добавить нечего. А слово «любовь» они до сего времени употребляли лишь применительно к котлетам, боксу и компоту.

Рэмка колупал смолу на бронированном кабеле, сосал пальцы, стертые в кровь, и не видел, что его друг Валерка кружит около барабана.

— Рэмка.

Молчание.

— Рэмка, ты что, язык прикусил?

Молчание.

— Рэмка, я знаю, что делать.

— Ну и знай. Я с тобой разговаривать не хочу.

Но слово было сказано.

Валерка тотчас взобрался на барабан, обхватил Рэмку за плечи, пошлепал по спине доброй ладошкой и зашептал на ухо:

— Гипноз нужно...

— Ха-ха! Может быть, ты Кио из цирка позовешь?

— Не прикидывайся. Ты врожденный гипнотизер. Глаза у тебя черные, уши оттопырены, губы тонкие, подбородок как кирпичина. Все приметы сходятся.

— А у тебя нос кривой и брови разного цвета.

Валерка еще раз шлепнул товарища по спине.

— Плевать на брови! Плевать на стихи. Стихи — ерунда!

Валерка соскочил с барабана, выставил перед собой руку и поднял большой палец.

— Смотри сюда... Концентрируй волю...

«Не можешь без меня, — удовлетворенно подумал Рэмка. — Все кричишь — «я» да «я», стихоплет липовый! Вот если бы Катька знала, кто из нас гипнотизер». А вслух Рэмка сказал:

— Последний раз тебе помогаю. Если ничего не получится, больше ко мне не приставай. У меня своих дел много.

* * *

Катя сидела у открытого окна, читала «Три мушкетера». «Если бы здесь был хоть один настоящий мушкетер, он, может быть, открыл бы сейчас дверь, взмахнул своей шляпой и сказал вежливо: «Моя шпага к вашим услугам. Я жду приказа...» Катя глянула в окно. Дворничиха, тетя Настя, раскатывала шланг для поливки. Валерка и Рэмка лезли на крышу сарая, как раз напротив ее окна. «Чего это они на крышу лезут? — подумала Катя. — Бездушные у нас мальчишки и некрасивые».

Валерка распорядился на крыше:

— Сюда давай, здесь ближе. — Он придвинул Рэмку к самому краю и уселся чуть позади него.

— Начинай. Концентрируй волю. Посылай ее короткими импульсами... Я тоже попробую.

— А что посылать? — спросил Рэмка.

— Про меня... Катя, Валерка тебя, значит... — Валерка покраснел. — Сам знаешь, не маленький.

— Любит, что ли?

— Давай «любит», если других слов еще не придумали.

Рэмка протер глаза кулаками, помигал для верности и устался на Катю.

На Катином виске покачивался светлый пушистый завиток. Лицо у нее было чистое-чистое и задумчивое. На носу веснушки, совсем немного.

«Что они на меня уставились? — подумала Катя. — Может, у меня нос грязный или на щеке пятно? — Она посмотрела в зеркало, поправила волосы, разгладила пальцами

воротничок. — Дураки, ничего смешного...» Катя снова принялась читать, но тут во дворе раздался зычный крик:

— Я вам покажу на крышах сидеть!

У сарая стояла дворничиха, размахивала метлой, пытаясь снять с крыши Валерку и Рэмку, как хозяйки снимают паутину с карнизов.

— Козлы окаянные! — поносила она мальчишек. — Мало вам ровного места? Пошли, пошли!

Мальчишки, не отрывая глаз от Кати, сдвинулись с края крыши на середину.

Дворничиха погрозила им метлой, пообещала надрать уши, когда они спустятся на землю, и вернулась к своему шлангу. Дворничиха была старая и добрая. Со шлангом она обращалась, как с живым существом. Шланг бился у нее в руках, вздрагивал от напряжения. Дворничиха поглядывала на него с опаской.

Катя высунулась из окна. Она никак не могла понять, почему мальчишки так упорно смотрят на нее.

Валерка шептал Рэмке на ухо:

— Еще парочку импульсов. Видишь, она уже на нас смотрит. Видишь, лоб нахмурила. Только бы не уснула от гипноза!.. Катя! — закричал он во весь голос.

Дворничиха испуганно обернулась. Тугая струя воды ударила Валерке в лицо и опрокинула его навзничь.

— Ап... Ап... Что за шутки! — завопил Валерка и с треском провалился сквозь крышу.

Он упал сначала на какие-то мешки, скатился с них во что-то мягкое, и оно сразу же набилось ему в нос, рот, глаза и уши.

— Аа-ап... — Валерка не успел чихнуть — сверху на него шлепнулся Рэмка, и Валерка зарылся головой в тонкий летучий порошок.

— Апчи!!! Осторожнее! Это ведь я. Чего ты на меня скачешь?

— А ты не лягайся! Я от твоего гипноза ослеп совсем, ничего не вижу...

Сверху на ребят падали струйки воды. Порошок, в который они упали, стал липким и скользким.

— Вылезайте, — раздался над ними испуганный голос дворничихи. — Не убились?.. — Она взяла их за воротники, помогла встать.

Рэмка кубарем вывалился из сарая.

— Ослеп! — закричал он. — Ой, мамочка!

Дворничиха наклонилась к нему, причитая участливо:

— Что ты родимый!.. Ну не вой так, сердце надсадишь...

— Ничего он не ослеп, — услышал Рэмка Валеркин голос. — Это ему цементом глаза залепило. Полейте ему на лицо из кишки.

Рэмка с помощью дворничихи промыл глаза и глянул на Валерку. Валеркина рубаша превратилась в грязно-зеленый панцирь, на брюки налипли комья цемента, а волосы стояли сосульками, быстро сохли на солнце и превращались в бетон. Рэмка схватился за голову; его волосы уже почти совсем сбетонировались.

— Ой, Валерка, — снова закричал он, — теперь нас наголо побреют!..

— Козлы... — топнула ногой дворничиха и потянулась за метлой. — Крыши ломать?!

— Бежим! — крикнул Рэмка.

Катя смотрела на них из своего окошка и хохотала, прикрыв рот книгой.

— Все кончено, — всхлипнул Валерка на лестнице. — Она смеется над нами!..

* * *

Небо над головой голубое, без конца и края. Если смотреть на него и задавать себе серьезный вопрос: «Что было бы, если бы меня не было?» — то можно сойти с ума. А небо все равно голубое, и кому какое дело, кроме ученых, что его тепло, его чистота состоят из бурь, гроз, электрических разрядов и черного холода.

Валерка и Рэмка лежали на траве в молодом парке. Над их головами покачивался парашют.

— Я читал, это дело без страданий не бывает, — жаловался Валерка. — Теперь я вроде как убитый. Ничто меня не спасет... Рэмка, сбегай за мороженым.

Рэмка не шелохнулся.

Валерка лег на бок, облизал пересохшие губы. Ему было приятно страдать. Никто его не понимает, никто не жалеет, даже лучший друг Рэмка. А она, может быть, до сих пор заливается. А может быть, ходит по двору одиноко и у всех спрашивает: «Куда это он подевался? Такой был хороший мальчик, храбрый и сильный. Не то что его черноглазый товарищ Рэмка».

Рэмка тоже думал о Кате. Думать о ней было приятно и немного странно, ведь не он все-таки, а Валерка влюблен в Катю. Ну и пусть. Он думает о ней просто так.

Рэмка представлял, будто в парк пришла Катя. Будто ходит она между цветочными клумбами. Ванты у нее на голове — как два пропеллера.

Рэмка встал, потянулся с хрустом и пошел к парашютной вышке.

— Ты куда? — спросил его Валерка.

— Пойду с вышки прыгну. Я ведь не влюбленный, мне себя не жалко.

— Я тоже прыгну, — сказал Валерка. — Вот если бы Катя была здесь, а?

У парашютной вышки стоял широкоплечий парень из ДОСААФа, наблюдал за прыжками.

— Товарищ инструктор, — подошли к нему ребята, — мы хотим с вышки прыгнуть.

— Детям нельзя, — уныло ответил парень, — весу в вас мало.

— А мы вдвоем. — Валерка и Рэмка расправили плечи, привстали на цыпочки. — Нам прыгнуть необходимо. Мы не вывалимся.

— Сказал, малы. — Он стукнул их друг о дружку и подтолкнул к барьеру.

Валерка и Рэмка опять лежали на траве. Да будь они взрослыми, они бы постыдились прыгать с вышки.

— Рэмка, ты мне друг?

— Ну, друг.

— Ты меня презираешь?

«Конечно, презираю, — хотел сказать Рэмка, — распустил нюни из-за девчонки», но почему-то смутился, отвел от Валерки глаза и сказал:

— Нет... Что тут такого?

— Ты настоящий товарищ, Рэмка, ты мне помоги.

— Ладно.

В этот день друзья решили стать взрослыми. Разве интересно Кате смотреть на мальчишек, которые ходят в линялых неглаженных брюках, разбитых спортсменках и вытирают носы кулаками?

Небо и земля. Сталь и честь.

* * *

Чтобы стать взрослыми, нужны деньги.

Друзья стояли на сквозняке и думали: где же достать денег?

С улицы в подворотню вошла Катя.

Ребята повернулись к стене, будто читают список ответственных съемщиков.

Они даже не шелохнулись, когда Катя осторожно прошла позади них. Только Рэмка свел лопатки, словно ему провели по спине холодным пальцем. Он смотрел на плакат — «Покупайте билеты денежно-вещевой лотереи». Когда Катя прошла, Рэмка сказал:

— Я знаю, где взять денег.

— Где?

Рэмка кивнул на плакат. У каждого из них было по пять лотерейных билетов. Они с нового года копили деньги на эти билеты, потому что на тридцать копеек можно выиграть автомашину «волга».

— Не годится, — сказал Валерка. — Еще когда мы выиграем.. в ноябре.

— Нет, годится, — сказал Рэмка. — Мы эти билеты продадим, и у нас будут деньги.

— А «волга»?

— «Волгу» выиграем в следующий раз.

Валерка долго смотрел на плакат. Там по нарисованной дороге катилась нарисованная машина и нарисованный парень улыбался мальчишкам нарисованной улыбкой.

— Ты настоящий товарищ, — прошептал Валерка.

В этот же день мальчишки стояли возле большого универмага и бойко выкрикивали:

— Приобретайте билеты денежно-вещевой лотереи!

— Дружно поможем государству!

— Имеется возможность выиграть автомобиль «волга», дачный домик и собственный холодильник.

— Купите счастливый билет!

— Чем вы тут торгуете? — спросил у мальчишек грузный наспуленный милиционер. Он уже растопырил пальцы, готовясь схватить мальчишек за воротники.

— Вы нас не оскорбляйте, — возмутился Валерка. — Мы вовсе не торгуем. Мы распространяем билеты денежно-вещевой лотереи.

— Почему? — осведомился милиционер.

— Тридцать копеек. На билетах написано, — вежливо

объяснил милиционеру Рэмка и заорал во все горло: — Приобретайте билеты! Проявим инициативу! Граждане, попытаем свое личное счастье!

Милиционер отошел в сторонку, потом вернулся опять:

— От какой общественной организации распространяете?

— От Государственного банка СССР, — ляпнул Валерка. А Рэмка вежливо объяснил:

— Мы же по собственной сознательности. Это общественно полезное дело, а вы нас в чем-то подозреваете.

Чтобы покончить с этим щекотливым делом, милиционер сказал:

— Сколько у вас там билетов осталось?

— Четыре.

— Я приобретаю все. — Он отдал ребятам деньги и машинально потянулся к свистку: — А ну, марш отсюда!

Ребят как волной смыло.

* * *

Деньги — вещь удивительная. Ребята словно отяжелели от них. Ими овладело какое-то странное беспокойство.

— Просто к деньгам нужно привыкнуть, — говорил Валерка.

— Просто их нужно поскорее истратить, — говорил Рэмка.

Три рубля — сумма приличная, а если прибавить к ней сорок две копейки, полученные от родителей на кино и мороженое, то это уже целое богатство.

Валерка и Рэмка стояли на лестнице. Валерка — в отутюженных брюках и чистой рубашке. Рэмка сказал: «Буду я наряжаться», — но майку все же надел новую. Каждый держал в руках по кульку конфет.

Они ждали Катю. От скуки ребята принялись кататься на перилах и прыгать сразу через четыре ступеньки.

— Давай съедим по конфетке, — предложил Рэмка.

— Нельзя. Катька заметит, что отъедено.

— Давай из моего. Я ведь не собираюсь дарить. — Рэмка поставил свой пакет на батарею и достал из него две конфеты.

— Бери.

С конфетами время побежало быстрее.

Разноцветные фантики ложились на лестничную площад-

ку, как яркие осенние листья. Когда кулек опустел. Рэмка надул его и грохнул об ладошку.

— Зачем же вы мусорите?

У самых перил стояла Катя. В ее позе отчетливо угадывалась готовность убежать, если что.

Рэмка, веселый и великодушный от конфет, улыбнулся во всю ширину перемазанных щек.

— Здравствуй, Катя. Это не мусор. Это фантики. Мы их мигом. Мы тебя ждем.

— Зачем я вам понадобилась? — спросила Катя.

Валерка выступил вперед и неловко протянул ей кулек.

— Это тебе.

У Рэмки вдруг сделалось горько во рту. Он зло посмотрел на Валерку: «Мои конфеты ел, а свои один Катьке дарит».

— Это от нас: от меня и от Рэмки. Ешь на здоровье, — сказал Валерка.

Может быть, Катя проголодалась, может быть, она решила не упускать случая и тут же приступить к воспитанию мальчишек, а может, и по другим каким причинам, но от конфет она не отказалась, даже села на подоконник между приятелями и предложила:

— Давайте есть вместе.

Валерка взял конфету двумя пальцами, осторожно, как мотылька.

— Ты знаешь, — сказал он, — мы с Рэмкой уже наелись. Мы с ним уже три килограмма съели.

«Врет, и всего-то полкило было в двух кульках», — подумал Рэмка. Есть конфеты он отказался. Настроение у него начало портиться. Катя почти все время разговаривала с Валеркой. А тот разошелся и начал есть конфеты без зазрения совести: Катя — одну, он — две.

Рэмка сидел мрачный, двигал скулами и все время старался придумать такое, чтобы Катя сразу повернулась к нему и больше уже с Валеркой не разговаривала.

— Хватит тебе конфеты есть, — сказал он вдруг. — Обьешься.

Катя поперхнулась и, замигав глазами, посмотрела на Рэмку.

Рэмка растерянно шмыгнул носом.

— Это я не тебе. Ты ешь. Это я Валерке. Три кило сожрал, и все мало. Куда в него только лезет?

Катя засмеялась и весело посмотрела на Валерку.

— Никогда бы не подумала, что ты так много ешь. Ты совсем не толстый. Ты, наверное, сильный.

— Да, я очень сильный, — согласился Валерка. — Я в классе всех на лопатки кладу одной левой, не напрягаясь.

Рэмка покраснел от такого вранья. Они учились с Валеркой в одном классе, и если дрались с кем-нибудь, то обязательно вдвоем.

— Я еще стихи сочинять могу, — продолжал Валерка. — С парашютной вышки прыгаю...

Рэмка соскочил с подоконника.

— Хватит, — сказал он. — Пошли.

— Куда? — спросила Катя.

— В парк. Мы знаем, где качели есть и карусели.

— Пойдем, Катя, — поддержал Рэмку Валерка. — Посмотришь, как я на качелях могу. Вокруг. Солнцем... А если хочешь, в кино пойдем. — Валерка разбежался и прыгнул через четыре ступеньки. Не будь Кати, Рэмка прыгнул бы тоже, но сейчас он пошел как полагается. Зато Катя разбежалась и прыгнула. Она зацепилась за третью ступеньку и чуть не упала носом.

«Ого», — подумал Рэмка и бросился ей помогать.

— Здорово ты прыгаешь, — похвалила Валерку Катя. — А я не могу так, потому что девчонка, наверное.

— Это пустяки, — утешил ее Валерка, — это никакой роли не играет. Я тебя научу.

Тут Рэмка не выдержал, присел и прямо с места прыгнул через четыре ступеньки.

— Ого, — сказала Катя и засмеялась.

В автобусе было свободно. Пока Валерка с важным видом платил за проезд, Рэмка уселся рядом с Катей.

— Давай считать теток в красных платьях, — предложил он.

— Давай.

Валерка сел впереди, обернулся и укоризненно посмотрел на Рэмку.

— Теток не интересно, — сказал он. — Давайте считать бородатых стариков.

— Давайте, — согласилась Катя.

Но тут перед Валеркой остановилась женщина с ребенком на руках, и ему пришлось уступить ей место. Валерка стал рядом с Рэмкой.

— Вон старик газированную воду пьет. Раз... — сказал

Валерка. — Вон второй из магазина выходит. Два... — толкнул легонько Рэмку в бок, — мол, сойди, мне нужно рядом с Катей сидеть.

Рэмка пожал плечами.

— Вон тетка в красном платье.

— А вон вторая, — сказала Катя.

Валерка насупился и пошел вперед. Он устроился там на свободном месте и стал грустно глядеть в окно.

Пятнадцать женщин в красных платьях насчитали Рэмка и Катя и шесть стариков. Они заспорили было, считать или нет двух бородатых парней, но тут Валерка крикнул:

— Приехали уже. Вылезайте.

Днем в парке народу мало. Только малыши, которые еще не уехали со своими бабушками на дачу, да студенты с уставшими глазами. Малыши играют в песок, норовят забежать на газон за одуванчиком. А студенты смотрят в свои книги, смотрят и, наверное, ничего не видят, потому что глаза у них то и дело закрываются.

Валерка купил билеты на качели. Два дал Рэмке.

— Рэмка, ищи себе пару. Одного на качели не пускают. А я с Катей покачусь.

— Ой, я с тобой боюсь, — сказала Катя. — Ты очень высоко. Можно, я лучше с Рэмом.

— Я легонько буду, — принялся уверять ее Валерка. Но Рэмка схватил Катю за руку и побежал с нею к лодкам.

«Вот и сиди один, — думал он. — Не будешь хвастать и врать. Не врал бы, так качался бы со своей Катькой». Он посадил Катю, а когда под днищем опустилась тормозная доска, Рэмка принялся раскачивать лодку так сильно, словно хотел сделать полный оборот, который называется солнцем.

Валерка смотрел, как высоко взлетают качели, как Катя смеется, как Рэмка старается раскачивать лодку выше всех.

— Ладно, — бормотал Валерка. — А еще товарищ. Ладно.

— Теперь со мной, — подскочил он к Кате, когда они с Рэмкой вышли из-за барьера.

— Ой, не могу. У меня все кружится.

Валерка стиснул зубы, посмотрел по сторонам. Около забора стояла курносая девчонка в сатиновых тренировочных штанах и белой майке. Она огорченно смотрела на качели и перебирала на ладошке мелочь. Валерка схватил ее за руку.

— Пошли качаться, у меня билет есть. Ты не трусишь?

— Сказал, — засмеялась девчонка. — Смотри, как бы ты сам не струсил.

Катя следила, как взлетают качели — вверх-вниз, как дружно и равномерно приседают Валерка с девчонкой в белой майке; как косы хлещут девчонку по лицу, и молчала, закусив губу.

Валерка вышел с площадки, припадая на одну ногу.

— Здорово покачались. Даже нога онемела. Молодец девчонка, ни капельки не боится.

Катя поднялась со скамейки.

— Я тоже не боюсь. Мы еще выше вас раскачаемся. Рэм, у тебя есть деньги? Пойдем еще...

Рэмка направился к кассе. Валерка догнал его, взял за руку.

— Слушай, — сказал он. — Кто в Катю влюблен: я или ты? Ты мне помогать обещал. А сам... Так товарищи не поступают.

— Я и помогаю! — вспыхнул Рэмка. — Я не виноват, если ты все время врешь да хвастаешь.

Валерка наморщил лоб.

— Если ты пойдешь с ней качаться, ты мне больше не друг. Имей в виду.

Рэмка долго стоял у кассы, раздумывая, как поступить. «Возьму и скажу Валерке: убирайся, пожалуйста, и к Кате больше не приставай, — я теперь за нее заступаюсь. Нет, это будет нечестно: Валерка первый в нее влюбился». Рэмка нерешительно посмотрел на товарища.

— Мальчик, тебе на качели? — высунулась из окошечка кассирша. — Не стой, закрыто на обед.

— Что? — встрепнулся Рэмка.

— Закрыто на обед, — повторила кассирша и опустила фанерную заслонку.

Рэмка убрал деньги в карман.

Валерка посмотрел на него подозрительно.

— Купил?

— Нет...

Они подошли к Кате.

— Билетов нет, — сказал Рэмка, — закрыто на обед.

«Молодец, — подумал Валерка. — Рэмка не подведет».

А вслух сказал:

— Катя, хочешь эскимо? Мы тебе хоть десять штук купим, — и вытащил деньги из кармана.

Рэмка тоже вытащил деньги.

— Хочешь, правда купим.

— Откуда у вас столько денег? — спросила Катя.

— Лотерея... — Валерка помахал деньгами около носа, как веером, и опять похвастал: — У нас денег сколько хочешь, хоть сто рублей...

Катя встала, поймала его за руку.

— Мальчишки, не нужно эскимо покупать. Давайте лучше купим настольный теннис для всего двора, а то вы все по крышам лазаете.

Валерка и Рэмка переглянулись.

«Молодец», — подумал Рэмка.

Всю дорогу до магазина спорттоваров Рэмка шел позади. Он смотрел себе под ноги, а когда поднимал глаза, то невольно замечал женщин в красных платьях и считал про себя.

Кроме настольного тенниса, ребята купили две маленькие трехсотграммовые гантели — Кате в подарок.

— Это тебе, — сказали они, — будешь мускулы развивать. А завтра приходи во двор, мы тебя в настольный теннис научим.

* * *

Выходной день называется воскресеньем. Очень красивое слово, хоть и не совсем понятное. Наверно, он называется так потому, что неделя кончилась, все плохое ушло и начинается новое, веселое.

В душе у Кати словно раскручивалась пружина, которая сбросила одеяло, толкнула ее с постели и поставила на пол. Кате хотелось перевернуться через голову, но она не умела. Поэтому Катя вскинула вверх руки и ногу.

Она встряхнула простыни, застелила кровать, а сама думала: «По-моему, оба они хорошие. Оба красивые. Рэм очень честный, потому что больше молчит и глаза у него суровые. Он, наверное, будет ученым-атомщиком. Валерка тоже... У него глаза блестят, и говорить он мастер. Он, наверное, будет поэтом. Оба они сильные и ловкие. И не такие уж невоспитанные».

Катя достала из-под кровати гантели, стукнула их одна о другую и принялась упражняться, как учили ее вчера мальчишки. Руки вверх. Руки к плечам. Руки в стороны. Приседание — руки перед собой.

Катин отец, когда приезжал из Североморска, тоже

упражнялся по утрам с гантелями. Только его гантели очень тяжелые. Когда отец уезжает, мама вытаскивает их в коридор по одной штуке и всегда ворчит:

— Дай ему волю, он всю квартиру железом загадит.

Папа по утрам всегда напевал песенку:

— Пума рума ра,
Пума рума ра.
Оп-ля!

Катя размахивала своими легкими гантелями и пела, как отец:

— Пума рума ра...

В комнату вошла мама.

— Иди завтракать, — сказала она. Увидела у дочки гантели в руках и нахмурилась.

— Это еще что?

— Мускулы развивать, — ответила Катя. — Это мне Валерик и Рэм подарили.

Брови у мамы приподнялись, глаза стали круглыми.

— Это которые у тебя бант отняли? С хулиганами дружбу завела.

— Они не хулиганы совсем. Они добрые. Они меня вчера конфетами угощали. И теннис купили для всего двора.

Мамины брови поднялись еще выше. Она отняла у Кати гантели, хотела бросить их и, не найдя куда, положила в карман передника.

— Конфетами угощали! Скажите пожалуйста, какие отношения! Ты что себе думаешь?... Рано тебе этим заниматься!

— Чем «этим»? — спросила Катя шепотом и села на краешек постели. — Я ничем не занималась... Мы качались на качелях.

— Конфеты, качели, гантели, теннис — это уже слишком! Мама села на кровать возле Кати.

— Это же улица... Где они деньги взяли? Ты подумала, откуда у них деньги?

— Не знаю... Они, кажется, в лотерею выиграли!

— Вот-вот, — почему-то обрадовалась мама. — Они украли облигацию золотого займа. Превосходная компания!

Катя съежилась и притихла. Мама говорила во весь голос:

— Нужно вовремя пресечь, пока они не скатились со всем. Это твой долг! Они еще могут стать честными... — Мама сняла фартук, больно ударив себя гантелями по колену.

— Одевайся! — крикнула она. — Сейчас же идем.

— Куда?

Катя шла за мамой по лестнице. Она считала ступеньки и бормотала про себя:

— Не может быть... Неправда...

У Валеркиной двери Катя заплакала:

— Я не пойду... Это неправда...

Мама схватила ее за руку и силой втащила в Валеркину квартиру.

* * *

«Пинг-понг. Пинг-понг», — звенит целлулоидный мячик. Он скачет по столу с самого утра. Мячик можно колотить сколько хочешь, ему не больно. Но и у мячика есть запас прочности: грубый, неверный удар — и на мячике трещина.

Выходят во двор ребята — и прямо к столу.

— Кто последний? Я за вами.

Играют на вылет.

— Подходи! — кричат Валерка и Рэмка. — Теннис для всех. На все общество!

Валерка и Рэмка поглядывают на Катину окно — очень уж долго она сегодня.

Из парадной вышел Валеркин отец.

— Вот что, голубчики, пойдете. — Он ухватил приятелей покренче за воротники.

Когда отцы говорят такое, — значит, ничего хорошего впереди не ожидает. Игра остановилась. Кто-то начал отзывать сетку.. Кто-то сложил в коробочку мячи и ракетки.

— Все равно играйте, — сказал Рэмка.

— Теннис для всех, — добавил Валерка.

Они дергались в отцовских руках, бормоча:

— А что мы такое сделали?..

Валеркин отец держал их крепко. Он провел друзей мимо дворничихи. Дворничиха нахмурилась и сочувственно покачала головой. Он провел их мимо управхоза. Управхоз почесал затылок. Ребята у теннисного стола дружно молчали. Малыши в песочнице отложили на время совки и формочки.

В большой комнате сидела Валеркина мать, Майя Петровна.

— Вот они, субчики, — пихнув мальчишек к столу, сказал отец.

— Мы работаем, времени у нас мало, но мы стараемся,

чтобы ты стал хорошим человеком, — начала Майя Петровна, — а ты... — Глаза у Майи Петровны были красные и нос тоже. — Слушай, Александр, — сказала она мужу. — Я не верю... Не могу я в это поверить...

— Сознаться, ты у матери деньги стянул?! — затремел Валеркин отец на всю комнату.

Майя Петровна поморщилась.

— Тихше, тихше, — сказала она. — Если Валерий виноват, он сознается. Валерий, может быть, на вас кто-нибудь дурно влияет?

— Никто на нас не влияет! — горячо выкрикнул Валерий. — С Рэмкой мы с первого класса дружим, и никаких денег мы не брали, хоть режьте нас, хоть каленым железом!

— Не кричи на родителей! — топнул ногой отец. — Ты еще комар, букашка!

— Видишь ли, Валерий, — снова начала Майя Петровна, — нам сейчас рассказали странные вещи... — Она неуверенно потянулась рукой к столу.

Мальчишкам стало ужасно тоскливо. На столе возле вазы с тюльпанами лежали две маленькие черные гантели.

— Выворачивайте карманы! — скомандовал Валеркин отец.

Валерка и Рэмка подчинились. Они выложили на стол оставшиеся пятьдесят четыре копейки.

Майя Петровна глубоко вздохнула, поднялась с дивана и пошла в кухню.

Муж проводил ее взглядом, горестно крикнул и подтолкнул мальчишек к дивану.

— Довел мать, босьяк.. А ну, ложитесь!

Валерка лег на диван, словно собрался вздремнуть, сунул в рот кулак и закрыл глаза.

— Меня вы пороть не имеете права! — запротестовал Рэмка. — Я не ваш сын. Мы ничего не сделали!

— Мой не мой, а ложись. Я тебя выдеру, твои же родители мне спасибо скажут. Ты думаешь, это приятное дело — вас, паршивцев, ремнем пороть?

Рэмка отскочил.

— Все равно не дамся!

Валеркин отец подумал-подумал, потом вздохнул и, сняв ремень с брюк, нацелился Валерке по тому самому месту, в которое принято вкладывать основы морали и чести.

Валерка съежился, засунул кулак поглубже в рот,

Рэмка вцепился в край стола.

— Обождите! — крикнул он. — Мы с Валеркой все вместе делали, вместе и порите. — Он потеснил товарища на диване, засунул в рот кулак, на его манер, и промычал: — Нахиахи..., (Начиңайте).

Вдвоем было спокойнее ждать, и ремень не казался страшным. Мальчишки потеснее прижались друг к другу, уставились в одно и то же пятнышко на диване и напрягли мускулы.

Но тут отворилась дверь. В комнату вбежала Майя Петровна с продуктовой сумкой.

— Подожди! — крикнула она мужу и, приподнявшись на цыпочки, зашептала: — Вот деньги; как это я их не заметила? Под газету завалились. — Она посмотрела на мальчишек с состраданием и спросила: — Вам больно, мальчики?

Отец отшвырнул ремень, проворчал зло:

— Слушаешь всяких дур...

— Да, да, — бормотала Майя Петровна, — они нам все расскажут... Пойдем в кухню.

Ребята спокойно сопели. Они думали о чудовищном предательстве, о боли, которую можно причинить без ремня, ножа и каленого железа.

Валерка вытащил изо рта кулак, проглотил что-то раз в пять побольше кулака, солоноватое и стыдное. Проглотил с трудом, с большим усилием, но, может быть, поэтому глаза у него стали сухими и твердыми.

— Тебе хорошо, Рэмка, — прошептал он. — Ну, выдрали бы — не привыкать. — Потом он положил руку на Рэмкино плечо. — Не стоящее это дело — любовь.

Рэмка по-прежнему смотрел на пятнышко.

— Ага, — печально прошептал он.

В комнате было тихо, только со двора доносился звук целулоидного мяча: «Пинг-понг. Пинг-понг».

Здесь, на диване, друзья поклялись, что ни одна девчонка не затронет их сердца до самого гроба.

— Небо, земля. Сталь и честь. Мы сказали клятву. Хук.

ВРЕМЯ ГОВОРИТ — ПОРА

1

В шесть утра будильник вздрагивает, щелкает слегка, словно барабанщик пробует палочки, и начинает выбивать дробь. За стенами просыпаются другие будильники.

Звучат будильники, торопят.

Люди сбрасывают одеяла, потягиваются, спешат на кухню к водопроводному крану.

В шесть часов встают взрослые. Это их время. Ребята могут спать сколько влезет. Наступило лето.

Ребят в квартире трое: Борька, по прозвищу Брысь, Володька Глухов и Женька Крупичин.

Борька вскочил сразу. Он всегда поднимался со взрослыми. Размахивая полотенцем, выбежал на кухню, но там уже хозяйничала ткачиха Марья Ильинична. Ее чайник весело пускал пар к потолку. Другой сосед — фрезеровщик Крупичин — стоял около раковины, чистил зубы. Крупичин скопил на Борьку глаза, пожал плечами.

— Я же сразу встал, с будильником, — сокрушенно признался Борька. — Я самым первым хотел.

Марья Ильинична добродушно усмехнулась:

— Поработаешь с наше, тогда и будешь вставать самым первым. Время у тебя в душе поселится.

Борька устроился у раковины. Он любил энергичный ритм утра и холодную воду спросонья. Но его гоняли всегда.

— Брысь!

— Пусти-ка...

— Дай лицо сполоснуть...

Борька огрызался:

— А я что, невымытый должен? Мне тоже надо...

Мыльные струйки текли у него по спине. Он норовил ухватить пригоршню воды и всегда врал:

— Ой, глаза щиплет!

Это очень приятно — толкаться у раковины. Будто сам спешишь куда-то, будто и тебе некогда. Лишь одной соседке, Крупичиной, Борька уступал раковину беспрекословно.

— Не понимаю, — ворчала она, придерживая полы цветастого халата. — И чего он здесь крутится, толчется под ногами! Бестолковый какой-то... Ну ладно, мойся, мойся. Я обожду. Мне ведь спешить некуда. Тебе ведь нужно быстрее.

Зато очень весело становилось, когда на кухню выскакивал Глеб. Из взрослых он вставал самым последним. Он прихлопывал будильник подушкой и настойчиво вылеживал, пока Марья Ильинична или кто-нибудь другой из соседей не стаскивал с него простыню.

Глеб был мускулистый, будто сплетен из тугих канатов. Он намазывал Борьку мыльной пеной, щекотал его под мышками, сам смеялся, фырчал и отдувался, как морж. Потом он растягивал тугие резинки эспандера и грохотал двухпудовой гирей.

Почти все жильцы завтракали на кухне. Глеб подкладывал Борьке куски колбасы и изрекал с набитым ртом:

— Ешь, Брысь. Лучше переспать, чем недоесть.

Крупичин покидал квартиру первым. Он работал в исследовательском институте в экспериментальном цехе. Ходил на работу с портфелем. В нем были батон и бутылка кефира. Следом за ним отправлялся Борькин отец — шофер и муж Марьи Ильиничны — строитель.

В семь часов взрослых в квартире не оставалось. Квартирой завладевала тягучая тишина, и Борьке казалось, что он опоздал куда-то. Вздыхая, он принимался за уборку.

В комнате слегка пахнет бензином. На стене — фотогра-

фии всех отцовских машин. На буфете рядом с чайным сервизом лежит замысловатая стальная деталь — лекало. Борькина мать сделала ее своими руками, когда еще училась в школе ФЗО. Мать бережет лекало, чистит его шкуркой и скорее готова расстаться с сервизом, нежели с ним.

Убирая комнату, Борька грохотал стульями, чтобы загнать тишину в угол.

Но она не сдавалась. Только часы могли бороться с тишиной. Они тикали во всех комнатах, словно оповещая, что здесь живут рабочие люди, что ушли они по своим делам и вернутся в положенный срок.

2

Летние каникулы выдули Борькиных сверстников из города. Опустили дворы, и не с кем играть. Борькин отец скоро погонит машины в казахскую степь. Борька поедет с ним. А пока скучно.

Борька глазел по сторонам, толкался у прохожих под ногами и, не моргнув, переходил самые бойкие перекрестки.

На проспекте Огородникова, что ведет в порт, Борька встретил соседа, Женьку Крупицына. Женька шагал, как страус, прилаживаясь к походке долговязого парня в белой снежной рубашке.

Долговязый шел — плащ через плечо, руки в карманах. Он ни на кого не глядел, словно был самым главным на улице.

Женька ел парня глазами и от волнения глотал слюну. Заметив Борьку, он подмигнул — вот, мол, какой у меня друг. Женька старался смотреть на прохожих вприщур, словно были они далеко-далеко или даже где-то под ним.

Борька побежал рядом и все удивлялся — что это с Женькой творится? А может быть, Женькин друг и верно важная птица.

Борька поотстал и попробовал шагать на манер долговязого парня. Он засунул руки в карманы и пошел, напрягая икры, словно поднимался по ступенькам. Для убедительности он выпятил нижнюю губу и свел брови над переносьем. Прохожие стали оборачиваться, а какие-то две девочки обхихикали его моментально. Борька разозлился, пнул полосатую кошку, посмевавшую выскочить из парадной,

и с достоинством принял на себя грозный взгляд толстой дворничихи.

Дворничиха погрозила Борьке пальцем-сарделькой, усе-лась на грузовой мотороллер и покатила на нем в подворот-ню. Красный трескучий мотороллер тащил не только двор-ничихин центнер, но еще и платформу песка в придачу.

Девчонки, им только и дела — смеяться, фыркнули в ку-лаки и помчались через дорогу.

— Граждане, обратите внимание на этих веселых школь-ниц. Они нарушают правила уличного движения.

Девчонки метнулись обратно на тротуар. Они лишь сей-час заметили милиционера с радиорепродуктором на груди. Но... милиционер поднял руку. Справа и слева остановились машины. Посередине улицы, по белой осевой черте, летела к перекрестку «Скорая помощь».

«Дорогу!.. Дорогу! — кричали сирены. — Нужно обогнать беду!»

В конце улицы «Скорая помощь» затормозила и плавно въехала в подворотню высокого дома, одетого в леса.

Борька забыл про девононок, про кошку, про дворничиху на мотороллере, про милиционера с радиостанцией. Борька уже бежал к блестящему лимузину, к сосредоточенным лю-дям в белых халатах. Ему хотелось хоть чем-то помочь. И, ко-гда мимо него проносили больного, он придержал носилки за край. У больного были редкие волосы и запавшие, оло-вянные от страха глаза. Борька узнал его.

— Это Глухов! — крикнул он. — Володькин отец!

Снова взревел неостывший мотор. Машина вынеслась на осевую черту.

3

Говорили, что у Володькиного отца золотые руки. Гово-рили, что построят когда-нибудь музей, главным экспонатом будут руки рабочего, отлитые из вечного металла, из пла-тины.

Умерла Володькина мать, и отец стал глушить тоску вод-кой. Сначала пил робко. Поворачивал портрет жены лицом к стене и только тогда доставал поллитровку. Первую рюм-ку он выпивал торопясь, стоя, будто боялся, что отнимут. Нюхал хлеб и начинал плакать.

— Один, — бормотал он, размазывая слезы. — Один-одинешенек. Предала ты меня, бросила. — Отец укоризненно смотрел на портрет жены. — А как жили...

Володька был маленький тогда — первоклассник. Он забивался в угол между оттоманкой и печкой, ждал мать. Ждал, что войдет она сейчас в комнату, и все кончится, и все будет как надо. Отец, может быть, тоже ждал ее, но не говорил об этом. Взрослые стыдятся таких вещей.

Глухов засыпал за столом. Володька заводил будильник, чтобы отец не проспал на работу, и садился делать уроки.

В первом классе Володька научился носить рваные чулки вверх пяткой и обстригать ножницами обтрепавшиеся концы брюк.

В квартире поначалу никто не догадывался, что происходит с Володькиным отцом. Он выпивал тихо, в одиночестве. Работал он сварщиком на Адмиралтейском заводе и, сидя за рюмкой, начинал иногда спорить с кем-то:

— А что вы за мной присматриваете? Нужна мне ваша забота. Я работаю? Работаю. Ну и отскожь!.. Не лезь в душу...

Иногда он подзывал Володьку к себе и, отвернувшись, говорил:

— Жениться бы нам с тобой, сын. Ты хочешь новую мамку?

Володька молчал. Он уже понимал, что новыми бывают только мачехи.

— Молчишь, — шипел на него отец. — А мне какво?.. — Но, видно, и сам он боялся такого шага. Боялся новых забот и волнений.

Однажды в квартиру пришли рабочие с завода. Володька был уже в третьем классе. Рабочие принесли ему деньги, еду и сказали, что отец в больнице — сжег себе левую руку.

— Пенсию не дадут, — хмуро толковали соседи на кухне, — пьяный был... Вот горе-то сам себе накликал.

Соседи кормили Володьку, чинили ему одежду. Особенно Марья Ильинична. Ее муж помогал Володьке делать уроки и даже ходил на родительское собрание.

Почти каждый день бегал Володька в больницу. Он пробирался в дырку под забором, увертывался от нянь в больничном саду и от дежурных врачей в коридорах.

Отец всегда молчал. Он словно тяготился присутствием сына. Лишь один раз, перед выпиской, он погладил Володь-

ку по голове и зажмурился. А когда пришел домой, то весь вечер просидел, перебирая грамоты, полученные на заводе за хорошую работу. Он покачивал изуродованной рукой, морщился и вздыхал.

Володька подошел к нему, сказал:

— Ладно, отец, перебежусь. Ты только держись крепче...

Но слабые люди самолюбивы: отец оттолкнул его и ушел.

Несколько раз навещали отца рабочие с завода. Глухов принимал их хмуро, молчал и торопился выпроводить. А когда они уходили, ворчал раздраженно:

— Пожалеть пришли. Как же. А чихал я на ваш завод! Я и без вас проживу!

Глухов устроился работать банщиком. Теперь он пил, глядя прямо на портрет жены, и кричал:

— Ну и пью! Ну и гляди! Вот он я, Иван Глухов! Смотришь? А мне наплевать...

Он тыкал в портрет изуродованной рукой. Руки у отца были теперь белыми, вялыми, как сонные, задохшиеся рыбины.

Время словно остановилось в их комнате. Будильник не тархтел по утрам. Володька старался как можно дольше задерживаться в школе. В школьной библиотеке он читал и готовил уроки. Смеялся Володька лишь в школе, да еще на улице. В своей парадной он уже умолкал, а в квартиру входил молчаливый и собранный, в постоянной готовности встретить беду.

Иногда отец подзывал его и просил:

— Сын, покажи руки.

Володька показывал.

— Вот они, мои... золотые, — бормотал Глухов. — Ты их, Володька, береги... Заступись за отца.

Чаше бывало другое.

— Шляешься целыми днями, обувь треплешь! — кричал на Володьку отец, вырывал из Володькиных рук книжки, тыкал его головой в тетрадку. — Учишься?.. Умный!.. А где я денег возьму, тритон ты хладнокровный? Никакого заработка на тебя не хватает. Поди сдай бутылки. Я тебе что сказал?.. Купи батьке «маленькую»!

Володька шел сдавать бутылки. Но вместо «маленькой» приносил картошки и хлеба.

Отец пихал ему в лицо кулак.

— Умный!.. Н-на!..

Володька смотрел упрямо и не размыкал рта. Тогда отец расхохотался. Начиная ругать покойную жену и сына. Проклинал свою доброту и человеческую черствость. Он захлебывался криком. А Володька стоял в углу и, выждав паузу, просил:

— Не шуми так громко, — соседей стыдно.

— А что мне соседи! Я сам себе хозяин и над тобой отец!

Глухов выходил на кухню, садился на табурет посередине и грозно сверкал глазами.

— Высыпал я сейчас своему тритону. Слышали?

— Сам ты хуже тритона, — стыдила его Марья Ильинична. — Глаза у тебя водкой завешаны. И что, прости господи, Володьке такой червяк в отцы достался!

— Ну ты и гусь, — гудел отец Брысь, — переехать тебя не жалко.

Глеб сжимал пудовые кулачищи.

— Слушай, — сказал он как-то Глухову, прижав его к стене в коридоре. — Если не прекратишь Володьку уродовать, я тебя по частям разберу. Никакая больница чинить не примет. Ясно?

— Ишь прокурор выискался, — напыжился Глухов. — Давно ли я тебе портки дарил. Володька мой сын, как хочу, так и верчу. — После этого случая Глухов стал бить сына реже.

* * *

Все чаще и чаще стал пропадать Глухов из дома. Он тяжело дышал по утрам и кашлял затажно, с хрипами, глотая натошак папиросный дым. Он стал заговариваться. Остановится, бубнит что-то, глаза его стекленеют тогда и на висках вздуваются жилы.

Володька часами разыскивал отца по окрестным «забегаловкам» и буфетам.

Марья Ильинична предлагала Володьке оформить опеку. Володька отказывался.

— У меня ведь отец есть.

Учился Володька хорошо. Занимался фотографией, радиотехникой, баскетболом и рисованием. У него даже была труба валторна. Трубу Володьке выдали в оркестре комбината «Ленсукно», куда пристроила его Марья Ильинична. И был у Володьки друг в квартире — маленький Борька Брысь.

Володька рассказывал Борьке сказки в темном закутке в коридоре, где висели тазы и ведра. Потом Володька приспо-

собил там электрическую лампочку и частенько просиживал с Борькой, собирая немудреную радиосхему. Он давал Борьке книжки, которые брал в библиотеке, и терпеливо объяснял про моря, про звезды и атомную энергию. Когда Володька забивался в свой закуток, чтобы переждать, пока утихнут буйство отца, рядом с ним молчаливым комочком усаживался Борька.

Борька думал о странной несправедливости, выпавшей на Володькину долю. Он не понимал, за что сердится на Володьку отец, за что бьет его.

«Когда наказывают меня, — это понятно, — рассуждал он. — Я разбил вазу. Я вымазал вареньем кошку из соседней квартиры. Кошкина хозяйка учинила скандал на всю лестницу. Я постриг мамины меховые манжеты, чтобы проверить жидкость для ращения волос. Мех на манжетах не вырос. Все ясно... Я проковырял дырки в ботинках, чтобы из них текла вода, — и тогда можно будет ходить по лужам. Мама эти ботинки выбросила. А что сделал Володька? За что ему попадает?»

Борька ненавидел Володькиного отца, а Володьку любил неистово. Трубил на валторне, напрягаясь до синевы, овладел фотоаппаратом «Смена». Тренировался в баскетбол, подвесив в коридоре проволочное кольцо. Брысь был единственным человеком, который знал иногда, что у Володьки на душе.

С Женькой Крупицыным Володька не ладил. Они жили врозь, словно в разных квартирах. Женька считал Володьку чудачком и разговаривал с ним покровительственно.

— Картофельная диета, — говорил он, — конечно, располагает к сосредоточенности и самообразованию. Но все-таки зачем питаться картошкой, когда есть сотня возможностей кушать котлеты?

Такие возможности сам Женька пытался находить.

Когда Глеб еще не учился в вечернем институте, а работал механиком на судах дальнего плавания, Женька брал безвозмездные кредиты из кармана его пальто, висевшего в коридоре. Конечно, на мелкие нужды.

Это привело к короткому, но очень энергичному конфликту между подрастающим поколением соседей.

Как-то раз, когда Женька выуживал мелочь, в коридоре внезапно появился Брысь.

Женька подмигнул ему, встряхнув монеты на ладони.

— Небольшая таможенная пошлина.

Женька небрежно сунул деньги в карман, открыл входную дверь. На площадке стоял Володька Глухов с продуктовой кошелкой в руках.

Женька заглянул в кошелку.

— Опять бататы, — снисходительно улыбнулся он и прошел мимо. Но не успел он выйти на улицу, как его догнали Володька и Борька.

— Деньги давай, — коротко сказал Володька.

Женька опять улыбнулся, на этот раз щедро и великодушно.

— Могу дать только по зубам.

Сильный удар в подбородок опрокинул его на плитняковый пол в парадной. Женька долго хлебал ртом воздух.

— Сколько взял?

— Ерунду, — заикаясь, признался Женька и вывернул карман. По желтому плитняку звонко поскакали монеты. Борька подобрал их и положил Глебу в карман.

Этой весной Володька перешел в девятый класс. Он хотел было устроиться на лето подсобником на завод, чтобы заработать и купить себе пальто, но обстоятельства распорядились иначе.

Последнее время отец начал водить к себе собутыльников. Они сидели вокруг заваленного окурками стола, небритые, замшелые, словно изъеденные ржавчиной, беседовали о жизни.

Володьке было стыдно их слушать, как стыдно смотреть на человека, испачкавшего лестницу в метрополитене. Его разбирала досада и злость на них.

Однажды Володька застал отца одного. Он подошел к нему и долго смотрел на костлявую трясущуюся спину.

— Смотришь, — прошипел отец, поднялся со стаканом в руке. — Выпей, — сказал он, — а тогда ты меня поймешь и... простишь. Н-на.. Может, я через тебя таким стал. — Глухов выпятил тщедушную грудь. — Слушайся, тебе отец говорит!

Но Володька не хотел прощать. Он взял стакан и выплеснул водку прямо в лицо отцу.

Отцовские щеки, дряблые, как трикотаж, дрогнули. Сухожилия на шее натянулись. Глухов сгреб со стола бутылку, стиснул горлышко костлявыми пальцами и замахнулся.

Володька выскочил в коридор. Следом за ним вывалился

Глухов. Проходивший мимо Глеб подхватил его и приволок в кухню.

— Тритон! — захлебывался Глухов. — Кого облил? Отца родного облил! А я на него сил не жалею.

Соседи стояли молча. Глеб вынес из комнаты старую стенную газету, которую он специально раздобыл на заводе, и развернул перед Глуховым. В газете была фотокарточка Володькиного отца и статья о нем. В статье говорилось:

«Сварщик Глухов артист своего дела. Никто лучше его не может сваривать потолочные швы. Сварка Глухова ровная, без раковин и прожогов. Глухову выдан личный штамп. Его работу не проверяет мастер технического контроля...»

Глухов долго читал статью, мусолил палец об отвислые губы, потом съежился и заплакал.

Всем стало неловко. А Марья Ильинична, не выносившая пыли, принялась мести кухню сухой метелкой. Ее муж угрюмо теребил густую сивую бровь.

— Оторвался ты, Иван, от рабочего класса. Сам во всем виноват. Ты всех от себя оттолкнул. А один не проживешь, ой, не проживешь. Хребет жидкий.

Глухов поднялся и ушел в комнату, ни на кого не глядя. Через несколько минут он вернулся на кухню с грамотами.

— Врете! — прохрипел он, потрясая грамотами и газетой. — Рабочий я!

Глухов окинул всех темным, сумасшедшим взглядом и ушел... И унес с собой последнее, что осталось от Володькиной матери, — ручные часы.

Володька бежал по улице. Он сжимал кулаки и налетал на прохожих.

Автобусы сверкали полированными боками. Трамваи роняли искры на асфальт. Улица была залита солнцем. Внизу, под землей, гроыхали голубые поезда метро. Люди читали газеты, спорили обо всем на свете: о спутниках, о правительственных нотах, о грибном дожде и преимуществах стирального порошка «Новость». Шла на работу вторая смена.

Володька проехал в трамвае два рейса из конца в конец. Он вылез возле своей школы. Ему повезло — школьные туристы уходили в поход, и он пристал к ним.

— Борька, я не вернусь домой, — сказал он, уходя, вездесущему Брысю. — Отца у меня больше нет. Мы с ним живем в разное время.

«Дорогу!... Дорогу!...» — последний раз прокричала «Скорая помощь» и, не сбавляя скорости, скрылась за поворотом...

В квартире было темно. Борька толкался во все комнаты. Никого!.. Только в самой последней, у Крупицыных, дверь отворилась.

Какая это комната! Пол блестит. Вещи нарядные, как невесты. Пепельница в кружевах! Диван без морщинки. Радугой сверкают подушки. В комнате слегка пахнет нафталином. Крупицын-старший не признавал легкомысленных запахов.

Борька перешагнул узкую прихожую и замер на пороге. У туалета сидел Женька. Он развалился на стуле, курил сигарету и, оттопырив нижнюю губу, потягивал что-то из рюмки. Он не морщился, не закусывал. Он только смотрел в зеркало и принимал красивые позы. На Женьке была удивительная рубаша. А к верхней челюсти он приладил золотистую обертку от шоколадной медали.

Борька оторопел.

— Что это на тебе?

На Женькиной рубашке пестрели этикетки отелей, вин, проспекты туристских фирм и авиакомпаний.

Женька надменно повел глазом, налил из графина в рюмку и пыхнул дымом прямо Борьке в лицо.

— Алоха!..

Борька подозрительно понюхал графин. Пахло водопроводом.

— Чего ты воду из рюмки пьешь, — стакана нет?

Женька величественно поднял руку.

— Что понимаешь ты, зародыш атомного века? Я репетирую роскошную жизнь. Сто второй этаж. Электрифицированная пещера. Синкопы и ритмы. — Женька стрельнул окурком в ковер и тут же побежал поднимать его. Он сдул пепел с диванных подушек.

— Видал того парня? Вот это работа. Утром в порт иностранец пришел, — он оттянул на животе рубашку. — И вот, пожалуйста. Прямо с тела взяли...

— Скажу твоему батьке, что куришь.

— Кончай, Брысь, не скажешь. У тебя Володькино воспитание. А если и скажешь, наплевать. Во мне бунтует эпидермис! — Женька засмеялся и опрокинул в рот еще одну рюмку.

В эту минуту в прихожей заголосил звонок, и Женька бросился открывать дверь. В квартиру вошел долговязый парень. В синем шерстяном пиджаке с искрой.

Следом за долговязым неуклюже протиснулся Глеб. Под мышкой у него торчали задушенный батон и большой пакет колбасы.

Долговязый заботливо поправил на Женьке рубашку и, кивнув на Глеба, спросил:

— Кто этот экскаватор?

— Сосед, — преданно хихикнул Женька.

Долговязый подошел к Глебу, пощупал пакет с колбасой, потянул носом и прищелкнул языком.

— Кажется, не плохая жвачка в наличии. Составим ансамбль. — Он вытащил из кармана десятку и протянул ее Женьке: — Женя, друг, доставь нам удовольствие, сбегай за коньяком.

— Володькиного отца на «Скорой помощи» увезли! — выкрикнул Борька. — Глеб, слышишь?!

Долговязый посмотрел на него сверху, поднял бровь.

— Преставился, что ли? Ну и ладно. Одним больше, одним меньше.

У Борьки вдруг защипало в носу, словно он понюхал нашатыря.

Глеб свободной рукой отбросил Женьку от двери, сунул Борьке пакет и медленно взял парня за лацканы.

Синий с металлическим блеском пиджак жалобно затрещал.

— Осторожно! — взвизгнул долговязый. — Я одет...

— Это тебе только кажется, — сквозь зубы проговорил Глеб, открыл дверь, выбросил долговязого на площадку.

— Брысь, в какую больницу Глухова увезли? — спросил он.

— Не знаю...

5

Соседи возвращались домой кто когда. Женщины прямо с работы бежали по магазинам. Они приходили нагруженные кошелками и пакетами. Мужчины работали далеко от дома и являлись позже.

Борькино известие соседи восприняли довольно вяло.

— Достукался, — сказала Марья Ильинична и принялась налаживать мясорубку.

— Хоть бы его тряхнуло как следует: может, за ум возьмется наконец, — ворчала она, пропуская мясо для фрикаделек.

Крупичин резко заметил:

— Следовало ожидать. Насчет одумается — напрасные мысли. Организм уже привык к потреблению. Теперь никакими лекарствами не вылечишь, разве гипнозом только.

Борька сидел в закутке и удивлялся: известие, которое он принес, почему-то не вызывало у соседей скорби.

Мимо него, опустив голову, прошел Глеб.

— Скончался, — сказал Глеб просто.

Соседи замолчали. Они смотрели на Глеба, словно он был виноват в этой смерти. Глеб отворачивался. Шея его наливалась багровым цветом.

— Умер... Я в больницу ходил.

Из углов, из щелей выползла тишина, заполнила кухню, нависла на занавесках и на клейких ленточках-мухоловках — Вот так эпидермис! — вдруг выкрикнул Женька.

Все повернулись к нему.

Крупичин схватил сына за ворот и вытолкнул его на середину кухни.

— Щенок! — закричал он впервые на людях. — Второгодник! Я для тебя стараюсь. Я для тебя в своем институте место хлопочу, чтобы ты интеллигентным человеком стал. Я по ночам не сплю, технику изучаю, чтоб тебя в люди вывести... — Крупичин закашлялся.

Марья Ильинична протянула ему стакан с водой.

— Ты в могилу сойдешь, чтоб сынку на том свете местечко приличное подыскать.

— А вас не спрашивают, — вязалась Женькина мать. — Евгений, марш в комнату!

Она втолкнула Женьку в комнату, грозно посмотрела на мужа и хлопнула дверь.

— А с Володькой-то как же теперь? — спросил Глеб. — Володька-то...

Марья Ильинична опять взялась за мясорубку.

— Володька не пропадет. Как ему пропасть, когда мы кругом, люди. Володька человеком станет. Нельзя ему иначе... Не позволю! — И она повернула ручку с такой силой, словно в шнеке застряла кость.

— ...Ты, Евгений, пойми, — говорил Крупицын сыну, укладываясь в постель. — Ты теперь взрослым становишься. Ты теперь в глубину должен глядеть. Мы не вечные с мамой. Старайся человеком себя показать, солидность свою...

В комнате рядом шел разговор.

— Слушай, — говорил Марье Ильиничне муж. — А если его ко мне на стройку. Как ты думаешь?

Марья Ильинична не ответила. Она вспомнила, как муж привел ее сюда, в эту комнату, когда они поженились, как радовалась она своему углу. В двадцать шестом родился Сашка, их единственный сын. А в сорок пятом он погиб в Германии. Марья Ильинична вытерла глаза уголком наволочки.

— Пусть он сам решит, — сказала она, вздохнув.

За стеной, свернувшись калачиком, лежал Борька Брысь. Он отыскивал слова, чтоб утешить Володьку, когда он вернется. Утешения должны быть скупыми, как на войне. Борька морщил лоб, сжимал кулаки и бормотал сурово:

— Ты это... Вот... Значит, брось...

А в первой от входных дверей комнате, заваленной рулонами чертежной бумаги, гирями, гантелями, неглаженными рубашками и пестрыми сувенирами с далеких морей, ворочался Глеб.

За окном урчала очистная машина. На соседней улице ремонтировали трамвайный путь. Звякали гаечные ключи, и жужжала сварка. Ночные звуки успокаивают людей. Они как мост между зорями.

6

Хоронил Глухова Адмиралтейский завод. Шли за гробом сварщики, клепальщики, монтажники, разметчики, кузнецы и электрики. Шли товарищи, которых он предал.

С печальным укором играла музыка.

На полу в комнате Глухова валялись скомканные грамоты. Мутная лампочка криво висела на пересохшем шнуре. Табачный дым осел по углам паутиною. Казалось, сам воздух сгустился в тенета и липнет к щекам.

Марья Ильинична распахнула окно. Она принесла ведро воды, тряпку и щелок. Вместе с ней пришла и другая сосед-

ка — мать Борьки Брыся. Они отмывали грязь, оставшуюся после Глухова.

Борькина мать покрыла стол своей старенькой скатеркой. Марья Ильинична поставила вазу с ромашками.

* * *

...Володька воротился из похода в середине дня. Он шел и насвистывал. Щеки его шелушились от солнца.

На школьном крыльце, на ступеньках, сидел Борька Брысь.

— Ты загорел, — сказал Борька. Больше он ничего не сказал. Но Володька понял: что-то случилось.

Когда они пришли в комнату, Борька тоже ничего не сказал.

В комнате было чисто и очень свежо. Над оттоманкой висел портрет Володькиной матери, а под ним — тщательно разглаженные грамоты, которые Глухов получил в свое время за отличную работу.

— Что это с отцом? Он что, женился тут без меня?

Борька пожал плечами.

— Не знаю... Меня дома не было.

Володька стащил ботинки, поставил натруженные в походе ноги на прохладный пол и улыбнулся.

В комнату просунулась голова Женьки Крупицына.

— Пришел, — сказал Женька, входя. — Да, такое дело...

Борька опустил голову. А Женька вытащил из кармана несколько аккуратно сложенных рублей, сунул их под вазу с ромашками.

— Это тебе. Отдашь когда-нибудь. Ты не очень расстраивайся. У тебя ведь все равно что был батька, что умер. Тебе так даже лучше, пожалуй.

Володька вздрогнул и медленно повернул голову в Борькину сторону. Борька никогда бы не смог соврать товарищу, да и не было в этом надобности.

— Верно, — прошептал он.

Володька сидел не двигаясь. В руке он держал ботинок. Рядом сидел Борька и водил по пыльному ботинку пальцем.

Женька Крупицын сбегал домой, принес шелковую рубашку-безрукавку. Он мигал глазами и выпячивал губы.

— Модерн бобочка, голландская. Только матери моей не скажи... Да брось ты в самом деле. Может, и во мне все

нарушено. Меня батька завтра на работу определять поведет, а я ничего, я держусь...

Потом собрались соседи. Они вошли осторожно, стали полукругом у оттоманки.

Володька лежал лицом к стене. Он смотрел на портрет матери. Глаза у матери были ласковые и немного тревожные. Под портретом висели отцовские грамоты.

— Ты не убивайся, сынок, — мягко начала Марья Ильинична. — Мы тут подумали вместе, а ты уж сам решай.

— Хочешь ко мне на стройку? — без обиняков предложил ее муж. — Крупноблочные дома ставить.

— К нам на автобазу, — пробасил отец Борьки, — в моторный цех.

— К нам можно, слесарем-сборщиком, — всхлипнула Борькина мать, не договорила и вышла из комнаты.

— Я тоже могу посодействовать, — осторожно двинув стул, предложил Крупницын. — Исследовательский институт. Работа полуинтеллектуальная, творческая... Вместе бы с Евгением.

Володька повернулся и сел, упершись руками в валик. Все заместили, что шея у него тонкая, волосы давненько не стрижены и без слез, прямые, как луч, глаза.

— Я на Адмиралтейский, сварщиком.

Все посмотрели на Глеба.

Глеб уселся рядом с Володькой, обхватил его ручищей за плечи и сказал:

— Правильно. Полный порядок.

Мать Борьки Брыся принесла из кухни винегрет, картофельное пюре с котлетой и кружку молока.

Потом все ушли. Борька Брысь потоптался и ушел тоже. Он понимал, что Володьке необходимо остаться одному. Но сидеть дома не было никакой возможности.

Борькины мать и отец доставали из шкафа майки, рубашки, полотенца. Отец готовился к поездке в казахскую степь. Рубашки размером поменьше мать откладывала в сторону, и Борька знал, кому они предназначены.

Марья Ильинична сидела за швейной машинкой, перешивала Глебовы морские брюки и суконку.

Борька не выдержал, зашел в Володькину комнату.

Володька лежал на оттоманке, а посреди комнаты расхаживал муж Марьи Ильиничны. Он говорил:

— Хорошо, что ты отцовскую специальность выбрал. Про-

фессия важная. Хорошо, что сварщик Глухов... — Мастер-строитель поперхнулся и заговорил горячее: — Но я тебе разъясню: напрасно ты строителем не захотел. За строительную специальность агитировать трудно. Она вся на ветру, под дождем. Мороз также. Но ведь и солнца полное небо... Любой строитель, архитектор будь или подсобник, они авангард в обществе... Что проистекает? Строитель закладывает фундамент не только, скажем, для дома. А еще и для новых человеческих отношений. Ты сообрази. К чему, например, иные стремятся? Персональную стиральную машину, персональную плиту, персональный счетчик, персональный телевизор, персональную библиотеку. Прочитал книгу, и стоит она, а то и не читанная стоит, пыль собирает. А он все себе, все для себя. Загородится собственностью — не вздохнуть — и млеет. И на работу уже ходит с досадой. Ему бы дома посидеть, собственностью полюбоваться... — Мастер-строитель остановился перед Володькой.

Теперь подумай, если строитель возведет такой дом, где библиотека для всех — читай. Столовая в лучшем виде — диетические супа даже. Прачечная по последнему слову стиральной техники и без очереди. Санпункт при доме. Общая гостиная-салон на каждом этаже. Телевизор в салоне во всю стену. И у каждого, конечно, квартирка сообразно с количеством членов семьи... Как в таком доме люди жить станут?

— При коммунизме все на кнопках будет, — ответил за Володьку Брысь.

— А ты молчи, кнопочник. — Мастер сердито шевельнул бровями. — Если тебя при коммунизме выдрать потребуются, на какую кнопку нажимать станем?

Борька протестующе шмыгнул носом.

Мастер одернул домашнюю куртку, вытащил из вазы ромашку и сказал, расправив на ней лепестки:

— Строитель должен в деталях представлять, что за здание он возводит. Обязан... А ты говоришь.

Володька ничего не говорил. Он спал.

Мастер тихонько подтолкнул Борьку к дверям. На пороге он обернулся, посмотрел на будильник. Впервые за много лет стрелка будильника опять стояла на шести.

Ночь над городом прозрачная и голубая. Ночь отражается в море стальным блеском и будто звенит.

Море всюду. Оно рассекло город реками, рукавами,

каналами. Оно натекает в улицы розоватым туманом, напоминает о себе криком буксиров и грохотом якорей.

Город не спит.

Мосты размыкают тяжелые крылья, пропуская суда. Электрические искры тонут в мокром асфальте. Мимо дворцов и скульптур идут караваны машин. Лязгают стрелки железных дорог.

Город велик.

Как годовые кольца у дерева, нарастают вокруг центра кварталы жилых домов. Самые молодые, самые мощные поднялись на окраинах. Улицы здесь зеленее и просторнее. Пахнет свежестью. За домами горизонт, небо. Окраины похожи на открытое окно, в которое врываются утро и ветер.

Здесь заводы.

Здесь возникает могучая энергия времени.

Время торопит.

Время говорит — пора.

7

Утром Борька Брысь как всегда проснулся со взрослыми. Володька Глухов и Женька Крупицын уже стояли у раковины.

— Ты обожди, — остановила Борьку Женькина мать, — не лезь. Видишь, люди торопятся.

Володька и Женька деловито окатывались холодной водой под руководством Глеба.

Марья Ильинична принесла Володьке переделанные сумку и брюки. Заставила его почистить ботинки кремом.

— Ты опрятным должен прийти на завод. Тебя звание обязывает. — Она оглядела Володьку со всех сторон и сунула ему под мышку завтрак в полиэтиленовом мешочке.

Крупицын тоже готовил своего сына. Он неодобрительно поглядел на его новые штаны и пупырчатый пиджачок.

— Куда вырядился? За кого тебя коллектив примет? Старенькое надень. Ты рабочий теперь, понимать должен.

По синему небу плыл дым, оседал на подоконниках хрустящей гарью. На остановках толпились люди. Они кивали друг другу, продолжали вчерашний прерванный разговор. Читали газеты. Брали штурмом трамвайные площадки.

Глеб шел впереди ребят. Адмиралтейский завод рядом,

за Калинкиным мостом с чугунными цепями, за плавучим магазином живой рыбы.

По проспекту Газа два милиционера вели долговязого парня.

— Сколько времени? — спрашивал парень.

— А зачем тебе время? — Милиционеры взяли парня покрепче. — Время вас не касается.

Глеб насупился, и глаза у него потемнели, как темнеет сталь при закалке.

Борька прислушивался, стараясь уловить свист токарных станков и раскатистую дробь клепальных автоматов.

Над заводом плыли облака; они задевали за верхушки кранов, смешивались с клубами пара, выброшенного турбинами и котлами.

Кричали чайки.

Хлопали пневматические двери трамваев.

Рабочие толпами шли к проходной. Махнув Борьке на прощание, прошли на завод и Глеб с Володькой.

Над проходной висели часы. Минутная стрелка передвинулась на большую черту.

Сквер перед заводом пуст.

Борьке снова показалось, будто он опоздал. Но Борька уже знал куда. Знал, что придет и его время.

АЛФРЕД

Мы его отлупили — в кровь. Но легче нам от этого все равно не стало. Спроси меня: за что? Я, пожалуй, и ответить не смогу толком. Знаю одно — били мы его за дело.

Деревня наша называется Светлый Бор. Другой такой деревни по красоте нет, наверное. Речка Тихоня вся блестит, будто это и не речка вовсе, а солнечный луч. Потом леса. Слышали по радио, как играет орган? Словно ветер запутался между стволов, рвется вверх на простор, а сосны держат его и гудят басовито. Людям кажется, будто они все знают про лес, а начни говорить, и выходит, нет таких слов, которые объяснят красоту леса.

Дороги в нашей деревне мягкие. Ноги грузнут по щиколотку в горячей пыли. Пыль не такая, как в городе, не летучая. Она как вода. Гуси дорогу переходят, будто плывут.

Воздух у нас ароматный, густой. Старики говорят, что из нашего воздуха можно пиво варить.

Алфред, наверно, не понимал такой красоты. Задень она его хоть легонько, все получилось бы по-другому. Алфред, наверно, никогда не видел, как цветут яблони. Словно тысячи розовых птиц опустились на ветки и колдуют там, шевеля крыльями.

У нас в деревне много садов. Развел их старый дед Улан.

Когда-то давно он служил в кавалерии. С тех пор у него осталось прозвище Улан и шрам на виске.

Годы его уже на вторую сотню перевалили. Никто не знает толком, сколько ему лет: то ли сто восемь, то ли сто десять.

На ребят у деда плохая память. Сколько их выросло на его веку, — разве упомнишь! Улан нас по-своему различает. Если черные пятки, косматая голова, волосы цвета старой соломы, если мальчишка сует свой нос во все деревенские дела, — значит, Васька. Если мальчишка причесанный, в скрипучих сандалиях, на голове тубетейка, чтобы солнцем в темноту не ударило; если мальчишкины глаза смотрят на деревню с презрением и скукой, — значит, Алфред.

Всегда получается так. В начале лета Алфредов полно — приезжают из города. Ходят особняком, словно туристы с другой планеты. Под осень все городские до того пообвыкнутся, такими станут Васьками — смотреть приятно. А тот, про которого я хочу рассказать, как приехал Алфредом, так и остался Алфредом. Наверно, и в городе он Алфред. Лупят его там тоже. И правильно делают.

Но не могу я начать рассказ прямо с него, не заслуживает он такого почета. Лучше я расскажу сначала про наших ребят, про Степку, про Гурьку.

Степка наш, деревенский. Гурька каждое лето приезжает из Ленинграда. Сбросит свои городские ланцы — так у нас в деревне называют одежду — и ходит в одних узеньких трусиках. Старухи ему пальцами грозят, называют босяком-голоштанником. А он говорит:

— Отстали по старости лет. Нужно, чтобы кожу за лето продуло ветром насквозь, солнцем прожарило, тогда всю зиму будет тепло.

Зато Степка даже в самый жаркий день не снимает брюк: боится потерять солидность и уважение.

Он немножко сутулый, словно несет на плечах что-то тяжелое.

Гурька веселый; все у него просто. Что думает, то сразу и говорит.

Есть у нас еще один человек — Любка. Мне про нее говорить трудно. Я в девчонках неважно разбираюсь, они непонятные. А эта и вовсе.

Иногда совсем на мальчишку похожа. Бегает в трусах да в майке. На прополке за ней не поспеть. Сено возить —

Любка воз кладет. На возу самое трудное. И корову доить Любка умела не хуже взрослой. Ругалась так, что даже мальчишки краснели. А иногда вроде что-то найдет на нее. Напялит на себя материну кофту желтую, обмотает шею бусами из рябины, цветов в волосы натычет. Будь на дороге сто луж, она возле каждой остановится, посмотрит на свое отражение.

Мы ей говорим:

— Ну что ты в лужу глаза таращишь?

Она отвечает:

— Как я выгляжу на фоне неба?

Потом отвернется от нас и вздохнет. Может быть, она нас немножко презирала. У девочек такое бывает. К тому же видом своим мы не очень отличались. Голоса хриплые. А разговоры...

Любка смотрит на нас, бывало, смотрит, потом головой помотает и скажет с укором:

— Глупые вы, как телята.

— А ты умная, почему горшки? — скажет ей Гурька.

Степка — тот промолчит. Только один раз он с Любкой поссорился. Это еще до Алфреда было.

Мы что делали: купались целыми днями, ходили в лес за малиной, по грибы. На сенокосе помогали, на огородах. По вечерам крали яблоки. Дед Улан вывел много сортов: скрыжапель, бельфлер, золотая кандиль, розмарин. У нас для яблок свои названия: белый Фрол, розмария, золотое кадило. Что касается скрыжапели, мне наше название и писать не ловко.

Кражу яблок мы не считали воровством. Крали во всех садах, кроме, конечно, колхозного, — там сторож с собакой. И еще мы не трогали яблок в саду у деда Улана. Это до нас было заведено.

Помню, сидели мы на бревнах, яблоки грызли, — до того наелись, что язык во рту будто ошпаренный.

Степка сказал:

— Эх, засадить бы всю землю фруктами, чтобы каждая кочка цвела! Была бы тогда земля веселая, вроде клумбы.

Он размахнулся, кинул яблоко в телеграфный столб. Яблоко разлетелось от удара в разные стороны, как граната.

— Правильно, — сказал Гурька. — Это при коммунизме так будет... — И тоже бросил яблоко в столб и добавил с удивлением: — Лет через двадцать так будет. Везде техника и сплошные сады. Вот черт, красотища будет, а?

Любка встала тогда и засмеялась. Ковыряет мягкую землю ногой и смеется, только не весело.

— Быстрее бы в нашей деревне клуб построили. Дороги асфальтовые. По вечерам электрические вывески, как северное сияние. Я читала, в будущем вместо деревень построят агрогорода...

— Тебя туда жить не пустят, — сказал кто-то.

Любка посмотрела на нас и сказала грустно:

— Ну и пусть. Вот мне уж как с вами надоело... Я летчицей буду. Леха, это возможно?

Она у меня спросила. Меня Лехой зовут.

Я промолчал, пожал плечами. Непонятная эта Любка. Гурька ответил:

— Лети, — говорит, — по ветру. Вон гусиные перья в траве. Вставь их вместо хвоста, чтобы рулить можно было.

Мальчишки захохотали, девчонки некоторые тоже засмеялись.

Мы со Степкой лучше других знали, как тяжело Любке живется. Любкины мать и отец между собой не ладили: скандалили каждый день. Мать отца ухватом из избы вытурит, а он идет с досады в продмаг или в чайную. Потом станет под окнами своей избы и выкрикивает всякую брань. Их и в правление вызывали, штраф накладывали.

Степка сказал:

— Хватит ржать.

Он взял у Любки последнее яблоко, хотел его в столб бросить и не бросил.

Возле столба стоял дед Улан. Он шевелил битые яблоки палкой, тряс бородой. Потом опустился на колени, стал выковыривать из яблок семечки. Крикнул нам:

— Идите подсобляйте... Ишь, сердца у человека нет, сколько фруктов порушили. Жигануть бы ему в кресло-то из берданки.

Мы молчим, помогаем старику семечки выковыривать. Он немного успокоился, посветлел. Говорит:

— Мы их в землю посадим. Под солнышком они как раз поспеют к тому сроку, когда у вас ребятишки народятся.

Девчонки все, как одна, краснеют. Мальчишки отворачиваются.

— Вот у вас, — дед показал на Степку и Любку, — может, сынок будет, Васька. Вы ему яблочко сладкое. Нет на земле фрукта радостнее, чем яблоко.

Любка вскочила, мотнула косами.

— Чтобы я за такого лохматого замуж вышла? Он ведь и слова хорошего сказать не может.

Дед посмотрел на нее, усмехнулся в бороду и пошел. Дед с вересовой палкой ходит — медленно, словно прислушивается к чему-то. Станет на лугу и глядит на цветы, на травы, на солнечные блюда под деревьями. Он как наш лес: то хмурый, то улыбнется вдруг. И все сам по себе.

Дед Улан ушел.

Степка подождал, пока все успокоится, и сказал негромко:

— У кого крадем? У себя крадем... — И добавил: — С такими людьми погибель. Все только и смотрят, чего бы в рот запахаты, не думают, чего бы посадить.

— А ты?! — вскочила Любка. — Ты сам первый такой. И Гурька такой. И Леха... И все вы.

Ребята загладели.

Глаза у Любки сузились, как у кошки.

У Степки глаза тоже щелками стали. Губы в комок.

— Замолчите все! — крикнул он. — И ты, Любка!

— А что ты командуешь?! Что вы его слушаете, лохматого! Ты на дворняжку похож!

Степка сощурился еще больше. Мы все подумали: вот он сейчас Любке затрещину отвалит. А Степка вдруг усмехнулся и сказал:

— Ладно, пусть не слушают. Пусть на дворняжку похож... Я теперь, как узнаю, кто по садам шастает, самолично расправляться буду. Все поняли? Имейте в виду.

Гурька тоже сказал:

— Я хоть и не здешний, у меня своего сада нет, но я со Степкой согласен. А на Любку эту я чихать хочу....

Мы все порешили — хватит: сады не для озорства посажены. Тем более, что яблоки во всех садах одинаковые — дед Улан разводил.

* * *

Любка от нас откатнулась. Станет в сторонке, смотрит, как танцуют под гармонь взрослые девчата и парни. Нас будто и нет в деревне.

Я все это рассказал, чтобы обрисовать наших ребят. Теперь начинаю про Алфреда.

Приехал он к нам летом. Оказался нашей колхозницы родной внук. Удивительно...

В тот день, когда мы с ним познакомились, нас искушали на речке береговые осы. Степку — в губы и в глаз. У Гурьки оба уха отвисли, как отмороженные, и щека надулась. Меня хуже всех — в язык. Они свои волдыри землей протерли. От земли боль утихает. А язык землей не потрешь.

Возле деревни нас нагнал трактор «Беларусь». За рулем сидел Гурькин дядя.

— Что это вас скривило? — спросил он, сдерживая смех.

— Осы, что, — ответил Гурька.

— Хотите, солидолом намажу? — предложил Гурькин дядя.

И тут за нашими спинами кто-то сказал с усмешкой:

— Нужно диметилфталатом мазаться, тогда не укусят.

Мы обернулись.

У канавы стояла Любка и с нею незнакомый мальчишка в голубой рубашке, в трусиках с ремешком.

— Ишь ты, — сказал Гурькин дядя. — Все знаешь. — Он включил сцепление и попылил к деревне.

А незнакомый мальчишка смеется:

— Шутник этот тракторист.

— Это не тракторист, а главный инженер, — сказал Гурька.

— Хорошо, — сказал мальчишка. — Я же с вами не спорю.

Степка смотрит на них и вдруг ни с того ни с сего берет мальчишку за ворот.

— Слушай ты, Алфред. А если я тебе фотографию помну для знакомства?

Мальчишка покосился на Любку и сказал храбро:

— Не посмеешь. Я французский бокс знаю.

Он выставил перед собой кулаки и заскакал на цыпочках.

Мы с Гурькой ничего не понимаем. Что происходит? Почему Степка на этого Алфреда жмет?

— Потанцуй, потанцуй, Алфред. У меня время есть. Люблю танцы глядеть, — сказал Степка сквозь зубы. — Ну-ка, еще какую-нибудь фигуру покажи.

Мальчишка перестал прыгать, но кулаками возле подбора водит. Степка обошел его кругом. Поинтересовался:

— Что, во французском по уху нельзя?

— Нельзя.

— Ну, так я по-русски... — Степка замахнулся. И тут Любка стала между ними.

— Не смей бить человека, — сказала она. — Отрастил кулачищи.

Тут и Гурька в разговор вступил.

— Ха, — сказал он. — Ты, Любка, задаешься очень. Не понимаю, почему тебе Степка по ушам не надает. Я бы на его месте не Алфреда, а тебя в первую очередь отхлестал.

— Руки короткие, — сказала Любка. Она повела плечом. — Дикари вы. Культуры у вас никакой. И у тебя, Гурька, хоть ты из Ленинграда.

Она кивнула Алфреду, — мол, пойдем, нечего с ними связываться.

А мы еще долго стояли у поскотины, у загородки из жердей, которой деревню обносят, чтобы скотина ночью не вырвалась, не потравила посевы.

Степка шевелил бровью над распухшим глазом. Укушенный, он казался похожим на Чингисхана.

Гурька спросил:

— Чего ты на этого типа полез?

— Не знаю... Не понравилась мне его рожа...

Но, если правду сказать, Алфред был красивый. Я знаю, с лица не воду пить. И все-таки хорошо быть красивым. Даже моя родная мать и та говорит мне иногда:

— Ужас, на кого ты похож. Посмотри на себя в зеркало. Боже мой, наказание такое!..

Зачем мне смотреть в зеркало? Пусть Любка на себя в зеркало любит, она красивая. Я знаю — я похож на отца, и горжусь. Мой отец был на фронте. Четыре раза ранен. Шесть орденов у него. А сейчас он председатель нашего колхоза. Хоть и некрасивый.

Под вечер мы снова увидели Любку и Алфреда. Они играли в футбол.

Любка стояла в старых разломанных воротах. Раньше в эти ворота въезжали телеги, потому что за ними была кузница. Теперь кузница новая, в другом месте, кирпичная. А здесь, вокруг закопченного сруба с просевшей крышей, растет крапива — лохматая, злая собачья трава. Говорят, если из крапивы сделать носки да надеть их на себя, можно вылечить от ревматизма. Только никто такие носки не вяжет.

Мы, конечно, остановились, любопытства ради. Может, Алфред в футбол играть горазд.

Приготавливался он к удару, как мастер спорта. Положил на мяч камушек для прицела. Разбежался. Бац!.. Ловко, прямо под штангу. Он для этого ботинки надел.

Любка прыг, ноги врозь, и сидит на земле. А мячик далеко за ее спиной, в крапиве.

Алфред смеется:

— Пропустила, иди за мячом.

Любка полезла в крапиву. Посмотрели мы — у нее все ноги и руки в больших красных пупырях. Вся обожженная Степка молчит. У Гурьки лицо тоскливое.

— Пошли; раз Любке нравится в крапиву лазать, пусть лазает.

Степка стоит, только зубы сильнее стиснул.

Я подошел к Алфреду.

— Ты зачем над Любкой издеваешься? Нашел себе партнера играть в футбол. Она девчонка.

— Никто над нею не издевается, — ухмыльнулся Алфред. — И не футбол это вовсе, а новая игра «Сам виноват». Пропустил мяч — полезай в крапиву. Если она возьмет, я в ворота стану. Мне в крапиву лезть придется. Все по-честному.

Алфред разбежался — бац!

Поймала Любка мячик. Прижала к груди и показывает нам язык, словно мы виноваты, что она крапивой ожглась.

Мы смотрим, что будет дальше.

Алфред в воротах растопырился. Любка поставила мяч, закусила косы зубами, разбежалась да как подденет мяч большим пальцем и тут же села.

Мяч просвистел у Алфреда над головой, заскочил в самую густую крапиву.

Степка с Гурькой заулыбались. Я тоже стою — рот до ушей.

— Полезай, Алфред. Сам такую дурацкую игру придумал. Любка посмотрела на нас исподлобья и закричала вдруг:

— Чего вам-то?! Чего вы здесь стали? Уходите!

Она поднялась с земли и поскакала на одной ноге к Алфреду. Морщится, — видно, очень ушибла палец при ударе.

Алфред ее остановил. Сказал:

— Не горячись, Люба. — И пошел за мячом.

Идет, посвистывает, будто и не крапива его по ногам скребет, а, к примеру, ландыш. Взял мяч, подбросил его. Поймал там же, в крапиве.

Мы ему смотрим на ноги — ни одного волдыря. А Любка смеется. Шевелит ушибленным пальцем и смеется:

— Ну что, выкусили? Ха-ха-ха...

Мы ушли.

Потом мы Алфреда одного встретили у канавы. Алфред сидел, мыл ноги. Проведет носовым платком по ноге — сразу пена.

— У него они мылом намазанные, — догадался Гурька.

Степка сразу — к Алфреду. Спрашивает:

— Ты перед игрой намылил ноги?

— А как же, — смеется Алфред. — Что я, дурак — об крапиву шпариться?

— А Любка дура?

— Конечно, дура... Хотя и от нее польза есть: без дураков скучно.

Степка промолчал, потом спросил спокойно, даже с любопытством:

— Скажи, Алфред, что ты кушаешь?

— Станный вопрос. Тебе зачем знать?

Степка усмехнулся.

— Мне интересно, чем такие паразиты, как ты, питаются.

Алфред вскочил, опять поднес кулаки к подбородку, а сам мечет глазами направо, налево — смотрит, как удобнее убежать.

— Трое на одного?... Посмейте только.

Степка оглядел его с ног до головы, поморщился.

У меня чесались кулаки, словно не Любка, а я сам доставал мяч из крапивы. И почему я тогда не вступил с Алфредом в драку? Вы, думаете, я его французского бокса испугался? Нет.

* * *

На следующий день я их опять вместе увидел. Я просто так ходил, прогуливался. Подошел к Любкиному дому и увидел. Через дорогу от них малина росла. Кусты молодые, ягод на них еще нет, зато высокие, скрывают с головой.

Любка рубила хряпу для поросят. Хряпа — это зеленые капустные листья. Рубят их сечкой в деревянном корыте. Потом намешают туда отрубей, хлебных корок, остатки каши, залиют теплой водицей — и готова поросычья еда.

Сечка в Любкиных руках — как игла в швейной машин-

ке, не уследишь. Строчит вверх, вниз. Идет из одного края корыта к другому. Любка ловкая.

Алфред стоит рядом, наблюдает. Потом вытер руки.

— Давай я.

— Испачкаешься, — ответила Любка. — Чего уж тебе нашим делом мараться.

— Наплевать, если испачкаюсь. Я сейчас тебе покажу, как нужно рубить.

Любка протянула ему сечку.

— На, — говорит, — Шурик, руби.

Оказывается, Алфреда Шуриком зовут. Ишь ты, думаю, Шурик. Ишь ты, думаю, какая Любка стала вежливая. Раньше она все лето босиком бегала, как все. Пятки черные, с трещинами. Только в косах у нее всегда были яркие ленты. А сейчас на ней туфли с пуговками. Правда, ленты в волосах те же. Не придумали еще лент ярче Любкиных.

Алфред подошел к корыту, поднял одну ногу на край, чтоб оно не колыхалось. Размахнулся тяпкой — бац! Тяпка воткнулась в деревянное дно — ни туда ни сюда.

— Ты не так сильно, — подсказала Любка. — Давай, я покажу, как надо. Ты силу не применяй.

— Это пробный удар, — проворчал Алфред.

Я стою за кустом, и досада у меня и злость. Не умеешь — спроси. Люди научат.

Алфред поднял сечку да как застрекочет быстро-быстро и все по одному месту.

— Ты сечку води, — говорит Любка.

— Не учи, сам знаю.

Алфред размахнулся опять и — тяп по своей ноге. Даже мне за кустом стало не по себе, будто я его нарочно под локоть толкнул.

Алфред сразу на землю сел. Уцепился за ногу, стучит зубами.

— Ой, ой-ой-ой!.. — Потом схватил тяпку да как швырнет ее в сторону.

Любка стоит неподвижно, только ресницы вздрагивают. А с Любкиных ресниц на Любкин нос сыплются крупные слезы. Она всегда боялась крови. Когда я весной руку об колючую проволоку рассадил, Любка ревела. Даже не подошла ко мне руку платком перевязать. У нее от крови кружится голова. Пришлось мне тогда платок зубами затягивать. Ну, думаю, кажется, пришла пора вылезать из кустов. Алфред не

Алфред, а помощь оказать нужно. Может быть, у него сильное кровотечение. И вдруг Любка опустилась на колени, бормочет:

— Снимай сандаля, Шурик...

Алфред зубами стучит. Между пальцами бежит кровь.

Любка зажмурилась, сняла с его ноги сандалию и носок. Залепила ранку подорожником. Побежала в дом, принесла ковшик воды, бутылочку липок и чистую холщовую тряпку.

Липки у нас в деревне в каждой избе есть. Наберут бабушки ранней весной березовых почек, настоят на водке — вот и все снадобье. Липками его называют потому, что почки по весне прилипают к рукам.

Любка промыла водой Алфредову ногу, плеснула из бутылочки прямо на ранку.

Алфред завыл, — липки почище йода дерут.

— Тише, тише, это сейчас пройдет, — успокаивает его Любка, а сама бинтует ногу тряпицей.

Алфред встал, попрыгал на одной ноге. Любка ему подала сандалию. На сандалию ремешок разрублен. Я думаю, если бы не этот ремешок, не скачал бы Алфред. Ремешок ему ногу спас.

Алфред схватил сандалию, швырнул прочь.

— Что ты мне ее даешь? Куда она теперь годна? Из-за тебя такую сандалию испортил.

Любка снова подняла Алфредову сандалию. Говорит:

— Ее очень просто починить. Только ремешок зашить. — А сама чуть не плачет.

— Ну и зашивай! — крикнул Алфред. — Все равно она уже не новая будет, а зашитая.

Если бы на Любкином месте был я, я бы Алфреду этой сандалией по башке. А Любка стоит, опустила голову, как виноватая. И так мне стало обидно, что вылез я из малинника и ушел. Чтобы не идти по улице мимо проклятого Алфреда, я пролез в сад. Пошел прямо садом.

Яблоки на ветвях висят. Я к ним без внимания. Кислые еще. Прямо скажу, не смотрел на яблоки даже. И напрасно меня дядя Николай, Любкин отец, за уши отодрал, — не рвал я его яблок.

* * *

Несколько дней мы не встречали ни Алфреда, ни Любки, потому что занялись делом.

Колхоз отдал нам старенький трактор «Беларусь» и старую кузницу. Мы ее вычистили, подлатали крышу. Крапиву во дворе скосили. Земля пахла древесным углем и железом. Хорошо. Зеленая трава, синее небо, черная кузница и красный трактор на высоких колесах. Красиво.

Первая работа была такая: мы возили навоз со скотного двора к парникам. Нагрузили две платформы и тянем. Эту работу Степка сам попросил у председателя. Нам он сказал:

— Кто не хочет, — значит, не хочет. В сельском хозяйстве нет работ чистых и грязных.

Никто не отказался. Подумаешь, навоз. Сходим на речку, вымоемся с мылом.

Настала моя очередь вести трактор.

Едем по улице. Я впереди на тракторе. Остальные своим ходом, горланят песни, шумят. Я смотрю — Любка стоит на краю дороги в туфельках, в носочках. Одна, без Алфреда. Я сразу отвернулся, будто не замечаю ее. Сам думаю: смори, как я на тракторе еду. А Любка приложила руку к губам и крикнула:

— Эй ты, Леха, жук навозный, чего нос задрал?!

Я будто не слышу.

— Что же ты, Любка, к нам не идешь? — спросил Степка. — Мы, видишь, трактор получили. Видишь, работаем.

— Ну и работайте. От работы кони дохнут... — Любка трянула головой, ленты у нее в косах вспыхнули начищенной оранжевой медью. Любка зажала нос пальцами: — Фу... Фу... Дышать нельзя. Нашли себе, наконец, занятие. В самый раз, по культуре.

— Ишь, какая благородная! — загалдели ребята. — Будто у нее коровы нет.

Степка их остановил, говорит спокойно, даже как будто просит:

— Нам после этой работы другую дадут. Хочешь трактор посмотреть?

— А какое мне дело? — ответила Любка. — Работа дураков любит.

— Ой, Любка с чужого голоса ты поешь!

Любка опустила голову, сказала тихо:

— Вы и без меня справитесь. Вон вас сколько. Я вам и не нужна, поди-ка...

Степка у нее тоже тихо спросил:

— Что это с тобой приключилось, Любка?

— Да ничего с ней не приключилось! Влюбилась в своего Алфреда! — выкрикнул Гурька и засмеялся.

Я поднялся с сиденья, чтобы лучше видеть. Мне очень хотелось, чтобы Любка полезла в драку. Она это может. А она отвернулась и побежала в проулок.

— Влюбилась! — заорали ребята. — Алфредова невеста!

— Влюбилась!..

Я тоже закричал. Только Степка не произнес ни слова. Подошел ко мне, ткнул меня кулаком в ногу.

— Чего надрываешься? Трогай.

Потом мы возили жерди к реке. Там строили загон для свиней и обносили его жердями. Потом мы возили песок, солому — все, что нам было под силу.

Яблоки в садах зрели. Зрела наша ненависть к Алфреду. Почему мы его так ненавидели? Я и сейчас еще толком не понимаю. Кажется, лично нам он не делал никаких гадостей.

Он купался целыми днями, разъезжал с Любкой на велосипеде, валялся в гамаке, удил рыбу. Когда мы приходили на речку смыть свой рабочий пот и пыль, он удалялся, насвистывая, причем на нас даже не глядел. А однажды, когда Степан наступил на его рубаху, сказал даже:

— Извините, я хочу взять рубашку.

В другой раз, когда Гурька, нырнув, привязал его леску к коряге, он просто отрезал ее ножом и ушел улыбаясь.

Любка завидев нас, переходила на другую сторону улицы или сворачивала в проулок.

Может быть, так вот и лето прошло бы, но случилась одна история.

Рано утром мы все лежали у кузницы, возле своего трактора, ждали, когда придет из колхозного правления Степка, принесет наряд на работу. Утреннее солнце клонило в сон. Оно будто водит перышком по щекам. Я заметил, — если лежишь на солнце ничего не делая, всегда хочется подремать.

Вдруг все ребята подняли головы. К кузнице шел дед Улан. Одной рукой он опирался на свою вересовую палку, а другой тащил здоровенный яблоневый сук. Он тащил сук с трудом. Коленки у него тряслись, голова вздрагивала.

Дед обвел нас взглядом, словно выискивал кого-то.

— Турки вы, — сказал дед. — Турки... алфреды.

К кузнице подошел Степка. Он увидел яблоневый сук у деда в руках и сразу понял, в чем дело.

— Дед, это не мы, — сказал он.

Улан отпихнул его палкой.

— Отойди... Турки вы, — бормотал он. — Пустое вы семья. Полова...

Дед заплакал. Старый уже был человек. Даже отлупить нас у него не было силы. Мы бы не сопротивлялись, пусть лупит. А он повернулся и пошел прочь. Стараются идти быстро. Ноги его не слушаются, только трясутся пуще, а шага не прибавляют.

— Кто? — спросил Степка.

Ребята молчат.

Степка еще раз спросил:

— Кто?..

Потом начал допытывать поименно.

Гурька рассердился, закричал:

— Ты что за прокурор? Говорят, не лазали, — значит, не лазали. Кто к Улану полезет?

— Никто, — согласился Степка. — Не было еще, чтобы к Улану в сад лазали.

И тут Гурька догадался:

— Алфред!

— Алфред! — зашумели ребята. — Айда!

Степка всех остановил.

— Куда? Нужно его с поличным захватить.

«Ух, Алфред, тяжело тебе придется», — подумал я.

Целый день мы отработали на своей «Беларуси» — возили торф. А вечером все разошлись по садам караулить Алфреда. Мы со Степкой полезли к деду Улану.

Просидели до темноты.

Ночи у нас тихие — слышно, как бревна потрескивают в стенах, остывая; как коровы жуют жвачку, а куры на шестах чешутся. Слышно, как далеко-далеко гудит паровоз, будто тонкой петлей стягивает сердце, и замирает оно от того крика. Я даже песни сочинять стал:

Вы, Алфреды, гады,
Вы, Алфреды, паразиты,
Нет для вас пощады...

В этот вечер в садах было все спокойно, и в следующий тоже. Зато на третий вечер, слышим, раздвигаются в плетне прутья и кто-то нас тихо кличет:

— Эй!..

Мальчишка, Игорек, совсем маленький, сын колхозного конюха, просунул голову в Уланов сад, шепчет:

— Эй!.. Бежим, я Алфреда углядел.

Мы через плетень, как козлы — одним махом.

Игорек бежит между нами. Шуршит что-то. Нам некогда слушать. Степка от нетерпения подхватил его на закорки. Пролезли мы через Игорьков двор к проулку. Игорек доску в заборе отодвинул, показывает.

— Вот он, Алфред, глядите.

Нам в щелку виден весь проулок. Луна светит. Возле плетня в тени притаился Алфред, стоит тихо. А сад-то... Степкин.

Степка кулаки сжал.

— Выжидает, гадюка... Беги, зови ребят.

Скоро в Игорьковом дворе собралась толпа. Стоим ждем, когда Алфред в сад полезет. Некоторые даже приговаривают:

— Ну полезай же ты, Алфред несчастный.

И вдруг через забор из сада кто-то спрыгнул.

— Любка?

Так и есть — она. Вытащила из-за пазухи яблоко и протянула Алфреду.

Алфред прислонился к плетню, жрет яблоко и что-то шепчет Любке и хихикает.

И тут мы все сразу через забор, чуть им не на головы.

— Стойте, голубчики!

Алфред уронил яблоко, глазами туда, сюда. Мы стоим плотно — не удерешь!

Степка взял Алфреда за горло.

— Ты у деда Улана яблоню сломал?... — Степка выругался и оглянулся на Любку, забормотал что-то: неловко ему стало за свою брань.

И я смотрю на Любку. В темноте все люди кажутся бледными. А Любкино лицо сейчас белее зубов. Платье у нее перетянуто пояском. За пазухой яблоки.

Степка еще раз тряхнул Алфреда:

— Говори, ты у деда Улана яблоню потравил?

— Ничего я не знаю, — пробормотал Алфред. — Я не вор. Я не лазаю по садам!

Степка поднял руку, чтобы ударить. Алфред вцепился в его кулак.

— А за что ты меня хочешь бить? Ты Любку бей. Она



к деду Улану лазала. И сюда тоже ведь она... — Алфред метнулся к Любке, рванул ее за пояс.

Яблоки посыпались к Любкиным ногам, будто ветку трянули. Большие яблоки, отборные.

— Что же ты ее не ударишь? — сказал Алфред. Он обвел нас глазами, подмигивая и кривя рот. — Эй вы, я знаю, почему он Любку не бьет. Он...

— Эх... — Степка ударил, и Алфред ткнулся носом прямо в эти яблоки.

Я подошел к Любке.

— Ты зачем на яблоню лазаешь? Ведь договаривались.

— А тебе что? — сказала она глухо. — Бейте...

Любка стояла не двигаясь, даже пояса не подняла.

Гурька подошел к ней.

— Думаешь, любоваться тобой будем? Пришла пора...

И тут Степка бросился к Любке. Он побледнел сильнее, чем она, поднял кулаки, готовый подраться со всеми нами.

— Ага, — поднимаясь с земли и вытирая лицо, проверещал Алфред. — Он влюблен в эту Любку! Ха-ха!..

Любка молчала, потом едва слышно произнесла:

— Пустите меня.

Мы расступились. Я поднял Любкины туфли (они лежали в траве у плетня), сунул их ей в руку. Она взяла и пошла по проулку.

Мы смотрели ей вслед. Любка будто почувствовала это. Обернулась.

— Ребята... — Она прижала к лицу белые носочки, заплакала.

Мы словно очнулись.

— Бей гада! — крикнул Гурька.

Что было дальше, вы уже знаете.

Вот и вся история. Хочу только добавить: с тех пор нет в нашей деревне слова обиднее, чем «алфред».

СКОЛЬКО СТОИТ ДОЛГ

Земля здесь глухая. Скалы. Искалеченные морозом деревья жмутся друг к другу. Они не скрипят на ветру, не жалуются. Они молчаливы, упрямы и тверды. Полярное море расстилает в сопках мокрые паруса-туманы.

Льды. Ночь. Синий снег.

Люди с тоскливой душой не выдерживают здесь больше года. Сердце у них осклизнет от дождей, сморщится от мороза, от страха. Позабыв честь, забыв товарищей, бегут они назад, к городам, где стены оклеены обоями в сто слоев. Но речь пойдет не о них. Речь пойдет о веселых парнях и девчатах. О хорошей погоде и мальчишке Павлухе.

Был конец мая. Ночь улетела к другому полюсу.

Шла домой дневная смена. Вечерняя спешила к рабочим местам. В столовой поселка толпились любители гуляшей и бифштексов. Здешние жители никогда не жаловались на аппетит, и если услышишь от человека: «Я что-то есть не хочу», — значит, у него просто нет денег.

В красных уголках общежитий уже хрипели капризные радиолы. В белые ванны семейных квартир ударили кипящие струи воды. Кто почитал сон за высшее благо, уже поглядывал на свою постель, готовясь, как здесь говорят, придавить подушку.

В этот час в поселке появился мальчишка.

Его мохнатая шапка словно выскочила из собачьей драки и еще не успелализать ран. Ватник с желтым нерпичьим воротником в крапинку был застегнут на четыре щербатые пуговицы от дамского пальто. Громадные рыбацкие сапоги-бахилы доходили мальчишке до самых пахов. Он будто оседал их и ехал по грязи не спеша, доверив бахилам свою судьбу. Сырой клейкий ветер отполировал мальчишкины щеки до красного блеска.

В поселке собственных мальчишек не было, если не считать, конечно, самых маленьких малышей, которые народились недавно у здешних молодоженов. Эти ребятишки еще и сами не знали, кто они — мальчики или девочки. То было известно лишь их родителям да нянечкам в яслях.

Первым увидел странного парнишку экскаваторщик Ромка Панкевич. Правда, Ромкой его уже мало кто называл. Неприлично звать женатого человека Ромкой, хоть ты и учился с ним вместе в ремесленном, вместе копил деньги на первый шерстяной костюм, спал в палатке на одной кровати, укрываясь двумя одеялами и двумя ватниками. Скоро Роман закончит Всесоюзный индустриальный институт и все станут называть его Роман Адамович.

Роман посмотрел на парнишку просто из любопытства.

По усталому лицу, по ногам, которые едва двигались, он угадал, что пришел мальчишка издалека. По глазам, которые светились упрямо, по суровой морщинке между бровей Роман понял, что мальчишка готов идти еще столько же, если понадобится.

Далекое воспоминание кольнуло Романа. Ему показалось вдруг, что это он сам, мокрый и голодный, бредет по грязи в неизвестную свою жизнь. Роман потряс головой. Сказал:

— Кыш, рассыпсья.

Мальчишка остановился.

— Ты что, выпимши? — загудела косматая шапка простуженным голосом. — Как тут к начальству пройти?

— К начальству ходят ногами, и — заметь — очень редко по собственному желанию. — Роман, вероятно, думал совсем о другом, потому что сошел с крыльца в грязь, не пожалев начищенных ботинок. Он долго рассматривал незнакомца, потирая синюю бритую щеку.

Тяжелые бахилы передвинулись на два шага вперед.

— Не можешь сказать, тогда не заслоняй дорогу, — сердито проворчал их хозяин.

Голос у мальчишки был глухой; за упрямым блеском глаз притаились испуг и тревога. Роману было очень знакомо все это. Роман не сошел с дороги. Он сказал:

— Ты не гуди, я ведь тебя и в милицию отправить могу.

Роман ждал, как ответит мальчишка на его слова. Но бахилы продолжали двигаться, а мальчишкины глаза ничуть не изменили своего выражения. Тогда Роман ухватил мальчишку за нерпичий воротник, вытащил его из грязи вместе с бахилами и поставил на приступочку возле дома.

— Потолкуем... Какое у тебя к начальству дело?

— Не хватай! — брыкался мальчишка. — Ворот оторвешь... П-пусти, говорю!

Роман втолкнул мальчишку в сени, прижал его к батарее парового отоплення.

— Пооттай немножко, потом дальше пойдем. Может, и доберемся с тобой до начальства.

Сложением Роман был под стать своей машине — шестикубовому экскаватору. Под фланелевой курткой булыжниками громоздились мускулы.

— Ты не имеешь полного права меня задерживать, — сказал мальчишка.

— А ты не имеешь полного права разгуливать в пограничной зоне. Покажи документы!

Мальчишка выставил вперед один бахил, постукал носком по полу.

— Ха, — сказал он. — Умный нашелся. Перво ты мне свои документы представь.

Мальчишка отчаянно окаял и заикался.

Роман шлепнул его по косматой шапке. Чтобы рассеять взаимные подозрения, он взял мальчишку одной рукой за ватник, чуть пониже воротника, другой рукой за штаны, чуть пониже ватника, и понес на второй этаж.

Мальчишка бил экскаваторщика кулаками по ногам, задевал бахилами железные стойки перил. Перила гудели. Мальчишка вопил:

— Ппусти, тебе сказано!

Роман встряхивал его:

— Будет, ну будет уже. Ровно маленький.

На площадке второго этажа Роман ногой постучал в дверь и, когда она отворилась, втопнул мальчишку в квартиру.

— Аня, смотри, чего я принес, — сказал он маленькой перепуганной женщине. — Как тебя зовут-то хоть, скажи.

— Ну, Павлуха. Чего пристали?

Аня поморщилась.

— Ты его в комнату не тащи, пожалуйста. Грязь с него ручьями льет. — Она подошла к Павлухе, бесцеремонно взяла его за подбородок и повернула к свету.

Павлуха нацелился было боднуть ее головой в живот и тут же отлетел в угол, загремев пудовыми сапожищами.

— Ты Аню не тронь, — сказал Роман. — Мы сына ждем.

— Ну и идите, ищите своего сопливого сына. А меня отпустите. Я не к вам шел, — понятно?

Роман подождал, пока Павлуха поднимется с пола, потом подтолкнул его к ванной.

— Сына нам искать незачем. Он просто не родился еще. Поэтому ты с Аней воевать и не думай. Снимай свою робу, я ее потом в сушилку отнесу.

Роман сам стащил шапку с Павлухиной головы и вдруг задал вопрос, который в наше время уже не часто услышишь:

— Волосы у тебя не шевелятся?

— С чего бы им шевелиться-то?

— Как от чего? От бекасов. Насекомые такие маленькие, ножками шевелят... — Наверное, опять вспомнились Роману какие-то дальние, прошлые годы.

Павлуха покраснел, подтянул верхнюю губу к носу.

— Ты глупостей-то не говори. Я перед дорогой в баню ходил.

— А то, смотри, можешь в ванне помыться.

Аня опять поморщилась, вопросительно глянула на мужа.

Роман снял лыжную куртку, засучил рукава ковбойки в красную клетку.

Павлуха покосился на его руки, вздохнул.

— Силу-то накопил...

— Накопил, — согласился Роман. — Аня, сходи, пожалуйста, позови Зину. Я его тут постерегу.

— Ты зачем его к нам привел? — недовольно сказала Аня. — Грубит еще. В милицию его нужно. Может, он жулик.

— Позови Зину, — негромко повторил Роман.

Аня накинута на плечи пуховый платок и вышла, недружелюбно глянув на Павлуху.

— Зря уходишь, — сказал ей вслед Павлуха. — Гляди, уворую у тебя тут все...

— Ты не бухти. Ты ватник снимай, — скомандовал Роман. — Давай, давай, Павлуха, пошевеливайся... Наследили

мы тут с тобой. — Роман принес тряпку, подтер пол и втокнул мальчишку на кухню, к столу, покрытому голубой клеенкой.

— А что ты мной командуешь?! — обозлился Павлуха. — Что я тебе, сродственник, что ли?

— Сродственник, — спокойно подтвердил Роман. — Садись вот на табуретку. Выкладывай, — откуда удрал?

— Да не... Куда сейчас удерешь — милиция-то зачем. Фигу сейчас удерешь... Я тутошний. Трещаковский район знаешь? Оттудова я, из колхоза.

Павлуха уселся на табуретку, нахально выставил перед собой ноги в бахилах. Без ватника и шапки он казался похудее, повыше и помоложе — лет тринадцати. Только озабоченный взгляд да складочки возле рта накидывали ему еще пару лет.

Роман спросил:

— Мать есть?

— Понятно, есть. Я не из сиротства сюда пришел.

— Отец?

Павлуха забурлил носом. Заикался он сильно. Когда непослушные буквы налипали на его язык свинцовыми грузилами, он мотал головой, словно хотел вытряхнуть их из рта.

— Про б-бабку спрашиваешь?... Сейчас б-бабки нету...

Павлуха замолчал. Он смотрел на стены, на занавески, на новые чистенькие кастрюли. Глаза его заволакивались дремой. Павлуха вздрагивал, поворачивал голову к окну и напряженно сплющивал губы. Роман поставил чайник на керогаз, достал из буфета две кружки, хлеб, колбасу и сахар.

— Садись, подзаправься. Сейчас Зина придет. Она комсомольский секретарь. Ты ведь только с начальством желаешь разговаривать?

Павлуха покосился на еду. Шея у него дрогнула, губы сплющились еще сильнее.

— Ешь, — сказал Роман. — Небось в желудке у тебя, как в стратосфере.

Павлуха опять покосился на еду. Спросил шепотом:

— А ты кто?

— Экскаваторщик.

— Это не твой экскаватор в карьере стоит?

— Мой.

— Я так и подумал. Громадная штука. Танк она, пожалуй, переборет, а? Если не стрелявши... — Павлуха задержал свой

взгляд на колбасе, подтянул ноги поближе к табурету. — В Трещакове теперь тоже колбасу продают. А раньше не привозили. Только рыбные консервы. А зачем нам рыбные консервы, если мы рыбацкий колхоз? У нас и свежей рыбы хватает...

Роман отрезал ломоть хлеба, накрыл его толстым пластом холодного маела, придавил сверху сочными колбасными кругляшами.

— Рубай.

Павлуха взял бутерброд деликатно, втянул носом острый чесноковый дух. Жилы на шее у него натянулись в том самом месте, где у взрослого мужчины утюгом выпирает кадык.

— Слушай, — сказал он, — давай я тебе лучше все расскажу, а ты уж этой, секретарше. Не люблю я, когда мне мораль объясняют. Я, слушай, злой.

— Ты ешь... — Роман налил в кружку чай крепкой заварки, опустил в него четыре куска сахара и пододвинул мальчишке.

Павлуха жевал и рассказывал:

— Живем мы в Трещаковском районе. Отсюда километров сто, а может, и поболее. Я-то подороги на машине ехал. Если б ногами, я бы тебе точно сказал. Колхоз рыбой занимается: промысляет селедку, треску, кету, зубатку, палтуса. Едал палтуса? Ровно колбаса, — правда? Мать моя в колхозе состоит. Сети починяет, поплавки ладит. Раньше, когда у нас рыбозавода не было, она засольщицей работала. Сейчас — по мелочи. На промысел в колхозе, известно, мужики ходят — дело мужчинское. На сейнерах, на карбасах. А женщины, те, известно, в дому. Иногда кое-что помогают, когда рыба большая идет. А у нашей матери нас трое. Нам одеть нужно... — Павлуха проглотил кусок колбасы и прибавил со вздохом: — А мы, младшему седьмой пошел, мы, понимаешь, поесть очень способные. Известно, как сядем за стол, крошки после нас не найдешь. У нас в дому даже мухи не водятся. Говорят, у нас аппетит от климата. Воздух тут редкий. Не замечал? — Павлуха взял другой бутерброд. Говорить он стал медленнее, часто останавливался, наверно, подошел к самому главному.

— Сейчас у матери от ревматизма руки больные. Перевел ее председатель на техническую должность — правление убирать, пакеты разносить. Мать-то ночью плакала. В старухи, говорит, меня зачислили. Я тогда пошел к председателю,

потребовал: «Ставь меня в бригаду на промысел. Я член колхоза или не член колхоза?!» Он говорит: «Павлуха, нету такого закона, чтобы тебя на промысел посылать. Годов тебе мало. Это, — говорит, — не картошку копать. В судовую роль тебя не запишут».

Я тогда осердился, закричал: «Зачисляй, козлиная борода, а то мать моя совсем заболает!..» Известно, турнул меня из конторы... Потом сам к нам домой пришел. Он, председатель, еще с материным отцом рыбачил. Раскричался: «Ты, — говорит, — еще икра не соленая, салага косопузая. Мать мы по путевке в санаторию послать можем. А насчет промысла у тебя, — говорит, — еще сопли жидкие...»

Роман слушал Павлуху, хмурил лоб и подергивал тяжелым плечом, потом спохватился, сделал Павлухе еще бутербродов.

— Рубай, рубай. Не торопись только.

Павлуха позабыл приличие, забрал бутерброд в кулак и впился в него зубами.

— Я тогда в Трещаково пошел, к председателю райисполкома. Анной Трофимовой ее зовут. Зубарева она. Говорю ей: «Чуркин бюрократ проклятый, повлияйте на него в письменном виде. Напишите ему насчет меня бумагу». А она походила по кабинету.... Ейные сыновья в войну на Рыбачьем погибли, вроде должна мне посодействовать. А она села за стол и говорит: «Могу, — говорит, — я тебя, Павлуха, в Мурманск в школу-интернат определить, а насчет работы — стоп машина. Интернат, — говорит, — новая форма социализма...листического воспитания. Будешь ты, — говорит, — Павлуха, человеком. А мамке твоей по общественной линии поможем». Я ее, знаешь, очень уважаю, Анну Трофимовну. Но я ей категорически сказал, что я и без ейного интерната человек... Мамка, известно, заплакала, когда про все узнала. Говорит: «Зачем ты придумал меня позорить. Еда есть, одежда есть — перебьемся. А на работу через два года пойдешь. Подумают, что я тебя силком гоню...» — Павлуха перестал жевать, отхлебнул остывшего чая, наклонился к Роману и зашептал:

— А я тебе насчет мамки скажу. Она ложку и ту кулаком держит. А чтобы иголку взять, малому чулки заштопать, — пальцы у нее не сжимаются. Верка, сестренка, все эти дела делает. Одиннадцать лет нашей Верке... Мать-то про болезнь скрывает. Ей, слышишь, обидно... Гордая она.

Павлуха наклонился к Роману еще ближе. Прошептал совсем тихо:

— Я тебе еще про мамку скажу. Она молодая. Она через нас состарилась. Понял?... — Скрипнула под Павлухой табуретка. Павлуха выпрямился, помолчал, значительно подергивая головой. Потом посмотрел на свои негнувшиеся сапоги и сказал с каким-то неожиданным удивлением в голосе:

— А сапоги эти мне председатель дал, Чуркин. Они ему без надобности. У него все равно на правой ноге протез.

Роман тоже глянул на Павлухины сапоги.

— Батька твой где? — спросил он глухо. — Куда батька делся?

— Батька-то? А шут его знает. Он из вербованных. Чуркин говорит, несостоящий они народ — акулы, живоглоты. Чуркин говорит, что у некоторых вербовка вроде как специальность. Они за что хочешь возьмутся, лишь бы денегу зашибить. Они за деньгой едут... В Трещакове рыбозавод строили, потом склады из пенобетона. Когда работа кончилась, предложили батьке в колхоз вступить. У нас мужики хорошо зарабатывают. Работа, известно, рыбацкая — опасная. Батька тогда сказал: «Съезжу на родину в город Колпинск». Это под Ленинградом такой город есть.

— Колпино, — поправил Павлуху Роман.

— Ага... Он туда и поехал. Потом мамке письмо прислал. Объяснял на шести страницах, будто соскучился по перемене мест. Дескать, тягу имеет к неизвестным просторам... Говорили люди, что он на Камчатку подался.

— Алименты мать получает?

— Получала б, конечно. Только его никак не могут отыскать.

Павлуха рассказывал все обстоятельно, не стыдясь, не лукавя. Значит, не прятала мать своей беды от ребят, и не было, видно, в колхозе людей, которым чужая беда на потеху.

Когда в комнату вошла Аня, а следом за ней высокая девушка в короткой шубейке и несколько парней в ватниках, Павлуха опустил глаза в пол. Повозился на табуретке и смолк.

Роман встал, кивнул на Павлуху.

— Вот, Зина, к нам на работу привинтил. Парень — гвоздь, с острием и шляпкой.

Роман подвинул стул девушке.

Парни рассматривали Павлухины сапоги. Зина расстегнула шубейку, села за стол и посмотрела на Павлуху шершавым взглядом. Наверное, Аня наговорила ей что-нибудь по дороге.

— Выкладывай.

Павлуха мотнул головой.

— Н-не б-буду... Документы могу показать, а г-говорить не буду. — Он вытащил из кармана метрическое свидетельство и справку об окончании шестого класса неполной средней школы. Роман подмигнул Зине, — мол, не нужно тормозить парнишку, пусть сперва в себя придет, пообвыкнется. Девушка повертела Павлухины документы в руках и зачем-то спрятала их в карман под шубу.

— Я думаю, насчет работы сейчас и заикаться не следует, — сказала она.

— Я не потому заикаюсь, — угрюмо ответил Павлуха. — Это меня медведь лизал.

Зина уставилась на Павлуху. Парни, что пришли вместе с ней, захохотали стульями, уселись вокруг стола и расставили локти. Даже Аня присела на подоконник.

— То есть как это медведь лизал? — спросила она.

— Известно как, языком.

Роман стоял у стены, сложив на груди здоровенные руки. Роман знал: все люди, чего бы они ни достигли в жизни, тоскуют по своему детству: радостным оно было или тяжелым, — не имеет значения.

Павлуха сиротливо ежился на табурете.

— Что вы на меня уставились? — вдруг крикнул он. — Сидят тут и смотрят. Что я вам, ископаемый, что ли?

Ребята-комсомольцы пошире расставили локти. Секретарь Зина положила в рот кусочек сахара. Аня, Романова жена, попросила:

— Ты расскажи про медведя-то, интересно ведь. — В ее голосе было столько простодушного любопытства и недоумения, что Павлухины брови сами собой разошлись.

— За рассказ деньги платят, — пробормотал он и, видимо вспомнив съеденные бутерброды, посмотрел через плечо на Романа.

— Рассказывать, что ли?

— Валий, — сказал Роман. — Это свои ребята.

Павлуха немного пошлепал губами, потряс головой, вытalking из рта первые упрямые буквы, и начал со своего

любимого слова. Должно быть, оно легче всего пролезало сквозь Павлухины непослушные губы.

— Известно, я маленький был. Тогда наши колхозные это... женщины брусникой подрабатывали. Идут в лес целой артелью ягоды собирать. Совок такой есть деревянный с зубьями. Совком ягод пуда три набрать можно. Мать меня с собой брала. Посадит под куст на платок, а сама ходит вокруг, ягоду обирает. Однажды, говорит, подошла к кусту меня проведать, а там медведь меня лижет. Я, известно, уже наполовину задохся. Вонючий у него дух изо рта. Говорили, луплю его по морде кулаками, а он только пофыркивает. Ему интересно со мной побаловаться. Он, говорят, даже лапой меня пошевеливал, чтобы я побойчее брыкался. Мать, как увидела, так и зашлась не своим голосом. Медведь, известно, бабьего визга не переносит. Заревел он на мою мать, чтобы она, стало быть, замолчала. А она все ягоды, что в корзине были, ему в морду швырк и еще пуще визжит. Тут остальные бабы набежали, думали, змея, а как увидели медведя, такой концерт подняли. У нас женщины лютые, — известно, рыбачки. Ихнего визгу даже белый медведь боится. Рыбаки говорят, тонет он сразу от ихнего шума. Медведь, конечно, в кусты скакнул... Только я не от него заикаться начал.

— Как это не от него? — сказала Аня. — У меня бы сразу разрыв сердца. — Аня зажмурилась и потрясла головой.

— Если бы я поболее был. А то маленький. Мне что медведь, что корова. Когда мамка стала плакать, тогда и я заревел. А после меня медведем дразнили. Выйду на улицу, мальчишки сразу кричат: «Павлуха, медведь-то сзади!» Говорят, я шибко вздрагивал. Потом поотвыкли. Мальчишкам матери уши надрали. А некоторые сами сообразили... Один раз батка по бюллетеню ходил — чирь у него сидел на шее, что ли. Я разревелся тогда. Батка и так и сяк, и ругал меня, и шлепал, я только громче реву. С животом у меня было не в порядке. Тогда батка пошел в сени, взял там полушубок, выворотил его шерстью вверх и, значит, в комнату ползет на четвереньках и ревет по-медвежьи... Вот оно тогда и получилось. Говорят, я в обмороке лежал. А потом, это, заикаться стал...

Парни-комсомольцы сидели вокруг стола, морщили лбы. Что в таком случае скажешь? Зина-секретарь крутила на крышке чайника пластмассовую пупышку-ручку.

— Я бы такого урода поленом, — всхлипнула на подоконнике Аня.

Роман надел свою лыжную куртку, сказал ребятам:

— Пошли, потолковать нужно. Аня, пусть Павлуха у нас побудет.

— Пусть, — сказала Аня.

Решение комсомольцы вынесли такое — оставить Павлуху на стройке до осени. Осенью определить его в школу-интернат. Брать его на каникулы, пусть к работе привыкает, специальность себе выберет. Зина-секретарь постукивала карандашом по ладошке, говорила:

— Правильно это, но...

А когда ребята уже подобрали Павлухе работу учеником-монтажником на обогатительной фабрике, Зина открыла ящик своего стола и вытащила оттуда книгу с четырьмя крупными буквами на заглавном листе — «КЗОТ» — Кодекс законов о труде. В книге было черным по белому написано, что детский труд в СССР запрещен законом. Можно работать только с пятнадцати лет и то по четыре часа в день первое время.

— Вот, — сказала Зина. — Трудно нам будет с Павлухой.

— В постройком пойдем, — сказали ребята.

На следующий день Роман отправился в постройком. Роман знал в поселке каждого. И его знали тоже.

— Здравствуй, Игорь, — сказал Роман председателю постройкома.

— Здорово, Роман, — ответил ему председатель. — По делам пришел или так? Садись.

Роман сел прямо за стол к председателю. Были они почти одного роста. Только лицо у председателя, может быть, малость помягче, выражение глаз не такое уверенное. Председатель недавно заступил на свою должность. Он еще стеснялся своего новенького стула и отутюженного пиджака.

Роман начал разговор издалека.

— Мы с тобой товарищи?

— Чего спрашиваешь?

— Помнишь, как мы рудник от наводнения спасали?

— Ну...

— Это ведь ты тогда несработавшие запалы во взрывчатке менял?

— Слушай, тебе путевка нужна или ссуда?

— Нет... Игорь, а ведь взрывчатка могла взорваться.

— Слушай, Роман, скажи лучше сразу: зачем пришел?

— Вот я и говорю: запалы мы менять умеем. — Роман посмотрел председателю в глаза и выложил все, что знал про Павлуху.

— Ты как председатель постройкома что можешь ответить? Мальчишке четырнадцать лет.

— Не бери за горло, — сказал председатель. Он не стал говорить дальше, а положил перед Романом книгу с четырьмя буквами на заглавном листе — «КЗОТ».

И тогда Роман произнес речь. Он говорил, что довольно стыдно прослыть бюрократором, но еще противнее, когда люди прячут свою лень и свою холодную кровь за хорошим законом. Потом Роман спросил:

— Слушай, Игорь, может быть, Павлуха и есть главный шкет Советского Союза! Может быть, правы наши отцы, когда гордятся, что пошли на заводы с четырнадцати и успевали учиться в фабзавучах и на рабфаках?

Председатель восхищенно смотрел на Романа. Может быть, он хотел хлопнуть его по спине и сказать: «Ромка, правда твоя». Но вместо этого он растерянно произнес:

— Не могу...

Неделю прожил Павлуха у Романа. Роман обещал каждый день:

— Обожди, придумаем что-нибудь. Напиши письмо матери, чтобы не волновалась.

Кто-то из ребят предложил накидывать по полтиннику на комсомольские взносы и выплачивать из этих денег Павлухе стипендию.

Отвергли.

Предлагали подделывать Павлухины метрики.

Отвергли.

Павлуха ел мало. Все спрашивал:

— Аня, а сколько этот паштет в банке стоит?

— Тебе зачем?

— Так, интересуюсь...

Павлуха выходил на улицу, будто невзначай заглядывал в магазин, смотрел цены.

«Шесть гривен банка, — считал он в уме. — Я одну треть съел. Сахар девяносто. Считаю двести граммов... Надо сахару поменьше есть...»

Потом Павлуха шел в столовую и там считал:

«Гречневая каша с мясом — гуляш — двадцать три. У Ани каша жирнее, известно... Борщ — двадцать одна...»

Стелили Павлухе на раскладушке в кухне.

— Простыней нет, — ворчала Аня. — У нас у самих две смены. Я ему старую скатерку постлала.

Роман не возражал, говорил только:

— Нам с Павлухой все равно — хоть на скатерти, хоть на занавеске, лишь бы под крышей.

Однажды вечером к Роману пришел Игорь. Роман, Аня и Павлуха сидели за столом, ужинали. Игорь разделся, сел к столу и попросил тарелку.

— Слушай, Ромка, — сказал он, — я придумал. Я могу твоего Павлуху в сыновья взять. Будет жить у меня. Мамке его будем посылать каждый месяц деньги. А что? По-моему, дело.

Роман облизал ложку и постукал ею по широкому прямому своему лбу.

— Какой-то философ воскликнул: «Человек — это неправдоподобно!»

— Ну и дурак твой философ, — улыбнулся Игорь. — Все правдоподобно. Станем вместе жить...

Роман перегнулся через стол, ткнул Игоря ложкой в грудь.

— А вот ты умный и есть настоящий дурак. Благодетель... Павлуха только и дожидается, когда ты его в сыновья возьмешь. У него мать есть, сестренка, брат маленький. Он на работу пришел.

Игорь оттолкнул ложку, заскрипел стулом и гаркнул, наливаясь обидой:

— Ты из меня идиота не делай. Как его на работу оформить, если у него даже паспорта нет?

Тогда поднялась Аня.

— Я, наверно, невпопад, — заговорила она необычно звенящим голосом. — Я думаю, в людях должно жить волнение. Вот чтобы не так просто, не так — по одному раскладу. Может, это романтика, я не знаю. Может быть, я глупая. Зато я уверена — людям, у которых это отсутствует, здорово не повезло в жизни.

— Крой, Анюта, — сказал Роман.

Игорь угрюмо отхлебнул из чашки.

— Волнение... А Павлуха вон так и ходит нестри-

женный... Я к вам с душой, а вы... Павлуха, куда ты? Стой, Павлуха!

Но Павлуха, нахлобучив шапку, уже выскочил из дома.

* * *

Роман нашел его часа через два. Павлуха сидел на скале, что поднялась за поселком сизой кособокой призмой. Он плакал.

Роман уселся возле него на острый щербатый камень.

— Перестань, — сказал он. — От медведя не плакал, а тут завыл. Давай лучше песню споем.

Предложение спеть песню прозвучало довольно странно. Но Павлухе было все равно.

— Пой, — сказал он, — тебе что, — и отвернулся.

— Вот именно, мне что. У меня есть дом, семья, работа, учеба. Я сына жду... Зине, Игорю и всем нашим ребятам тоже своих забот хватает... — Роман похрустел пальцами, стиснув их в замок. Казалось, он спорит с кем-то о деле ясном, как дважды два. Вдруг, словно разозлившись на своего упрямого собеседника, Роман сказал:

— Дать бы тебе как следует, чтобы людей не оскорблял...

Павлуха отодвинулся от него на самый край валуна. Но Роман дотянулся, снял с Павлухиной головы мохнатую шапку и вытер ему мокрое от слез лицо, как мочалкой.

— Перестань хлюпать. Что у тебя за беда? В школу-интернат — пожалуйста. В ремесленное — будь любезен с нового набора. И сестренку твою устроят, и мамке пропасть не дадут. Нюни цедить причины нет. А тебе все мало, все сразу подавай. Как же — пуп земли вырос. Один философ, знаешь, воскликнул: «Человек — это удивительно!»

— Ты за столом иначе говорил, — пробормотал Павлуха.

— Тогда я про одно говорил, сейчас про другое...

— Тебе легко говорить. — Павлуха подтянул голенища сапог повыше, застегнул ватник на все четыре пуговицы. — Пойду, — сказал он. — Матерь, наверно, мое письмо получила... Обрадовалась, известно...

— Да замолчишь ты наконец! — крикнул Роман. — Сидит тут и гудит... А моя мать никогда от меня письма не получит... Я тоже шел! Война была. Немец пер по дорогам на железных колесах. А мне шесть лет. Без отца, без матери, без хлеба. Шел и не плакал. Старый человек меня подобрал. Скрипка у него была в черном футляре... — Роман толкнул

ногой большой камень, и он покати́лся в пыльном клубке, увлекая за собой маленькие камушки. Роман глядел, как спшибаются друг с другом камня, как текут они сухим ручейком.

— Скрипка у него, — повторил Роман. — Главная струна на скрипке порвалась. Он у всех спрашивал: «Простите, не найдется ли у вас струн для скрипки?»

Люди смотрели на него, как на полоумного. Война кругом, а он струны спрашивает. Я ему пообещал, когда вырасту, сколько хочешь струн куплю, самых толстых, чтобы не рвались. Он засмеялся. Сказал:

— Будет у тебя сын, научи его музыке. Вот и все. Вот мы и квиты... будем.

Роман позабыл, наверное, про Павлухину беду. Он положил руку ему на плечо, встряхнул слегка.

— Песню знаешь? «По дальним странам я хожу, и мой сурок со мною»... Этой песне он меня научил... Солдаты-красноармейцы сидели вокруг костра. Концентраты в котелках варили. У дороги их пушка стояла. Они пушку из окружения вытащили. Так с нею шли и не бросали. Дали нам красноармейцы концентратовой каши. Просят: «Сыграй, отец, — может, последний раз музыку слушать...»

Старик достал скрипку, извинился, что одной струны не хватает, и заиграл. Я запел.

Солдаты глаза попрытали. Не так они себе начало войны представляли. Молчали солдаты, когда я кончил петь, только сосали сигарки до такого края, пока в носу паленым не запахло. Старик тогда им сказал:

— Извините, товарищи бойцы, я вам сейчас сыграю другую, очень красивую песню.

Начал он было играть и опустил смычок:

— Простите, товарищи военные, не хватает у моего инструмента голоса для этой песни. Эту песню на серебряных трубах играть нужно. — Он вдруг прижал скрипку к груди и запел: — «Вставайте, люди русские!»

Роман высморкался в большой, как салфетка, платок, шарил под ногами еще один камень, тронул его каблуком.

Павлуха смотрел на вершины сопков, лиловые от подкрашенного солнцем тумана. Если бы сейчас война, разве пустил бы Павлуха слезу. Он бы...

— Старик меня в Ленинград привез. Определил в детский дом. Потом я узнал, что он умер в блокаду... Ты себе и пред-

ставить не можешь, скольким людям я на свете должен. Всей моей жизни не хватит, чтобы расплатиться. Они про меня и забыли, наверное. Был такой парнишка — Ромка-детдомовец. Был парнишка — Ромка-фезеушник. Почему был? Он есть. Он сейчас стал Романом Адамовичем!.. — Роман сильно толкнул камень ногой. Камень покатился по склону, покачался на самой кромке утеса и заскользил вниз, ломая невидимые отсюда кусты.

— Эй, вы там! — раздался сердитый окрик. — У вас что в голове?

Снизу из-за утеса показались два сухих кулака. Потом на скалу вскарабкался пожилой человек в брезентовой куртке.

— Это ты толкаешь камни? — спросил он у Павлухи. — Инструмент мне сейчас чуть не сломал...

Роман поднялся, кашлянул.

— Это я, Виктор Николаевич... Виноват...

Пожилой человек посмотрел на обоих исподлобья, как-то смешно шевельнул щекой.

— А хоть бы и так. Недоструганная какая-то молодежь нынче. У вас по три стружки в голове на брата.... Сапоги какие-то напялил, ботфорты... Мушкетер. — Он кивнул на Павлухины сапоги, вытащил из кармана серебристую коробочку, положил под язык большую белую таблетку, сказал, прищмокнув:

— Ладно, камень далеко упал. Это я так, для остротки... О чем говорили?..

— Так, — смущенно сказал Роман. — Биографию Павлухе рассказывал.

Виктор Николаевич окинул мальчишку быстрым ухватистым взглядом.

— Это и есть знаменитый землепроходец? Мне ваша девушка про него рассказывала, Зина-секретарь...

А на другой день в квартиру Романа пришли: секретарь комсомольцев — Зина, председатель стройкома — Игорь и пожилой человек — инженер-геодезист Виктор Николаевич. Шея у геодезиста была замотана шарфом, кожа на лице темная и твердая.

— Вот, — сказала Зина. — Виктор Николаевич.

Геодезист кивнул, сказав вместо приветствия:

— Вот так Павлуха. Сапоги-то, глядите, какие. Мне бы такие. Крепкие сапоги. Мужская обувь.

— Виктор Николаевич имеет право школьников к работе привлекать на время летних каникул, — объяснил Игорь. Он глядел на Павлуху с победной гордостью. А Зина, посмеиваясь, грызла сухарь, словно это и не она привела сюда Виктора Николаевича.

— Жить станешь в общежитии, аванс на первое время тебе выдадут, а уж дальше все с Виктором Николаевичем. Он теперь твой начальник. Собирай барахлишко, мы тебе койку покажем в общежитии, — распоряжался Игорь. — Давай, Павлуха.

Павлуха посмотрел на Зину. Глаза у нее уже не были шершавыми, как в первый раз.

— Ну, ты, главный шкет, — сказала она.

Павлуха долго тянул букву «с», а когда Роман сказал за него спасибо, отвернулся.

Ночью Павлуха проснулся, посмотрел на часы. Из щелей в занавесках глядело солнце. Оно падало на циферблат красным пятном. Черные стрелки будто висели в воздухе, окруженные закорючками цифр.

Павлухе было неуютно под чистой простыней. Кровать не по росту. Комната большая и голая. Мутный стеклянный софит у потолка. Дыхание спящих людей. И насмешливый храп из дальнего угла.

Павлуха забрался под одеяло с головой, стараясь дышать тихо, боясь ворочаться.

Ночное солнце скользило за окном. Где-то далеко лязгал ковш экскаватора.

Под утро Павлуха крепко уснул. Какой-то сон промелькнул у него в мозгу, оставив ощущение тревоги. Павлуха сжался в комочек, заполз под подушку и зачмокал губами.

— Вставай! — расталкивал его Роман.

Роман пришел в общежитие прямо со смены. Он хотел проводить Павлуху в новую жизнь.

— Пора, — сказал Роман.

Павлуха вскочил с постели.

В утренние часы комната становилась тесной. Она заполнялась спинами, крепкими лодыжками, горячими мускулами и хрипловатым гоготом. Жильцов было четверо, но по утрам они двигались шире, говорили громче.

С кровати напротив прыгнул лохматый парень и, не отрывая глаз, принялся делать зарядку. Потом он снова юркнул под одеяло, сказал:

— Я шикарный сон видел. Мне только конец доглядеть осталось.

Роман стащил с лохматого одеяло. Тот сел на кровати, помигал глазами и сказал, глядя на Павлуху:

— Неправильно, парень. У тебя ведь перед сзади.

Павлуха конфузливо проверил одежду.

Соседи смеялись. Роман тоже смеялся. Павлуха посмущался минутку и засмеялся вместе со всеми.

— Умой лицо, — сказал лохматый. — Торопится, будто получку дают.

Когда Павлуха умылся, сосед накормил его хлебом с се-ледкой, напоил чаем из алюминиевой кружки. Потом каждый шлепнул его по спине.

— Ну, Павлуха, — будь!

— Известно, — пробормотал свое неперенное слово Павлуха.

Роман проводил Павлуху до конторы геодезистов. Сдал его с рук на руки Виктору Николаевичу. Тоже шлепнул по спине и тоже сказал:

— Будь, Павлуха...

Начинает человек новую жизнь и сам себе кажется иным, И все, к чему привык, что уже перестал замечать, тоже становится не таким обычным. Как будто принарядилась земля, стряхнула с себя серую скучную пыль. Обнажились другие, яркие краски. Каждый человек, если он не безнадежно солиден, совершает это веселое открытие много раз в своей жизни, и всегда с удовольствием.

Виктор Николаевич и Павлуха отмечали места для шурфов, проводили сложные съемки, в которых Павлуха ничего не понимал. Он ставил на отметках полосатые рейки, бегал с рулеткой и мерной проволокой. Неделями не приходили они с Виктором Николаевичем в поселок, лазали по скалистым вершинам, по заросшим брусникой и мхами распадкам.

С сопок, куда они, кряхтя, а иногда и ползком, затаскивали ящик с теодолитом и тяжелую треногу, открывалась красивая панорама металлургического комбината: обогатительные фабрики, построенные на склонах белыми уступами, плавильный завод с такой высоченной трубой, что даже издали казалось, будто она проткнула небо и прячет там свою закопченную маковку. По дорогам бежали машины, везли из карьеров руду. Красные автобусы. Синие автобусы. Улицы

поселка, прорубленные в сосняке. Флаг над поселковым советом. Скоро поселок станет городом.

Еще была видна узкая черная речушка, по которой проходила государственная граница Союза Советских Социалистических Республик и Норвегии.

Чужая страна за рекой ничем не отличалась от нашей: те же сопки, редколесье, замшелые валуны, голубые озера. И было странно думать, что там другая жизнь, что люди там говорят на другом языке. А в домиках с низкими крышами тревожат людей по ночам не понятные для нас думы.

Работать с Виктором Николаевичем было интересно. Он знал, откуда взялись разные камни, зачем растут на камнях деревья, куда плывут облака, о чем кричат птицы. Он все знал. Иногда он говорил Павлухе:

— Мы с тобой сухопутные моряки. Ходим по свету, открываем новые земли, новые дороги.

— Ну уж, — возразил Павлуха. — Сейчас ни одной новой земли нипочем не открыть.

— А уж это ты брось. Вот здесь, например, пять лет назад были голые камни. Даже волки околевали здесь от тоски. А сейчас посмотри, какое веселье. Пейзаж без жилья только в золоченой раме хорош. Я, Павлуха, по таким пейзажам ноги до колен истоптал.

Вечером они разводили костер, вываливали на сковородку консервы. Виктор Николаевич говорил:

— По всему свету наш брат геодезист ходит, землю столбит. Мы с тобой спать ложимся, а на другой стороне земли, может, двое проснулись, завтрак себе готовят. Ты знаешь, что они на завтрак едят?

— Не...

— И я не знаю. На той стороне земли все иначе. Там ни березок, ни сосен — сплошные пальмы.

Павлуха ложился возле костра на сосновые лапы, глядел в розовое небо.

Солнце здесь не садится в июне — ходит по небу кругами, ночью задевает за вершушки сопки каленым боком. Деревья тогда похожи на зажженные свечи, а в распадах стынет горячий солнечный шлак, играя сизыми и пунцовыми красками.

Эта земля не хуже, хоть тут и нету пальм, думал Павлуха. Виктор Николаевич веселый человек. Роман тоже веселый. И все здесь веселые. И погода стоит отличная, как

будто север отступил к самому полюсу, но и там его тревожат веселые люди.

Много на земле веселых людей. Они не смеются беспрестанно, не пляшут без конца, не горланят песен без передышки. Они просто идут на шаг впереди других. С ними не устанешь и не замерзнешь. Давно уже стало известно, — больше всех устают последние. А что касается погоды, она всегда хороша, когда весело у человека на сердце, когда ему некого бояться, нечего стыдиться и незачем врать.

Павлуха думал, засыпая у костра: «С получки денег мамке направлю. Роману отдам за кормежку. Я ему должен. Если останется, куплю себе рубаху в красную клетку. Может, Виктору Николаевичу мои сапоги подарить?...»

Взбираясь на сопки, ночуя в распадах, Виктор Николаевич сосал иногда большие белые лепешки из серебристой коробочки. Таких коробочек у него было несколько.

Павлуха полюбопытствовал:

— Что это вы под язык кладете, — может, витамин какой?

— Точно, Павлуха, витамин «Ю», специально для стариков, которые не хотят дома сидеть.

В тот день установили они на невысокой горюшке теодолит и хотели было начать съемку. Но после полудня из расщелины напoлз туман. Он набился в лощину, осел на волосах серым бисером, прилип к щекам и ладошкам.

— Ты не верти ничего, — предупредил Павлуху Виктор Николаевич. — Собьешь прибор — опять полдня на ориентировку уйдет.

— Что я, малолетка? Я небось понимаю, — сказал Павлуха.

Виктор Николаевич разулся, чтобы дать ногам отдых.

Павлуха посмотрел на его истрепанные ботинки. Спросил, опустив голову:

— Виктор Николаевич, почему вы меня на работу взяли?

— Крючок ты, Павлуха. И чего у тебя в носу свербит?

Он поднял Павлухину голову, глянул ему в глаза и сказал:

— Я, Павлуха, одному человеку задолжал... Младшему моему сыну.

— Он умер? — Павлуха спросил и тут же пожалел об этом.

— Нет, почему. Он живой... У меня их трое, сынов. Стар-

ший в Москве, в авиации. Средний в Калининграде — моряк. Младший... — Виктор Николаевич помолчал, словно раздумывая, говорить или нет. Потом сказал: — Младший в тюрьме.

Павлухе показалось, что туман сгустился, стало трудно дышать.

— До шестого был отличник, — продолжал Виктор Николаевич. — В шестом классе — четверочник. В седьмом и так и сяк. В восьмом — танцор... А позднее... Я тогда на Камчатке работал. Старшие поразъехались. Старуха-то от меня скрывала...

«Вы моего батьку на Камчатке не встречали?» — хотел спросить Павлуха. Промолчал и подумал: «Почему же все-таки он меня на работу принял?»

Павлуха посмотрел на геодезиста. Тот сидел на пеньке, запрокинув голову. Он широко открывал рот, словно старался откусить кусочек тумана, потом вдруг повалился с пенька на землю. Подбородок и грудь у него вздрагивали.

— Елки! — вскрикнул Павлуха, бросился к старому геодезисту, чтобы помочь ему сесть. Но Виктор Николаевич поднял руку и потряс головой: мол, не трогай, я сейчас, сам...

Павлуха ползал вокруг него на коленях.

— Виктор Николаевич, чего же вы?... Виктор Николаевич, негоже ведь так... — И вдруг крикнул: — Дядя Витя!

Когда веки геодезиста крепко сомкнулись, выдавив две светлые крупные слезы, Павлуха вскочил и побежал к дороге.

Шоссе проходило невдалеке от горушки. Еще со склона Павлуха заметил пятнадцатитонный МАЗ.

— Стой! — закричал Павлуха и, расставив руки, бросился наперерез зеленому самосвалу с быком на радиаторе. Он споткнулся в своих сапожищах, упал плашмя на дорогу. Его обдало горячим горьким дымом. Машина пронеслась над ним и, скрипнув тормозами, швырнув из-под шин острую щебенку, остановилась.

Из кабины выскочил перепуганный шофер. Он схватил Павлуху за волосы. Руки у него тряслись.

— Живой?

— Живой.

— Живой... Вот я тебе как смажу по ноздрям, — сказал шофер, набирая воздух в легкие, и закричал: — Чего ты под машину лезешь! Без глаз?! Дуракам везет — между колес упал...

Павлуха узнал в шофере своего лохматого соседа по обществу. Он вцепился ему в рукав.

— Чего ты... Т-ты не махайся... Дядя Витя же...

— Племянник нашелся. Драть тебя без передыха, чтобы глаза промигались. — Лохматый залез в кабину, погрозил Павлухе кулаком, дал газ, и тяжелая машина, дрогнув зеленым кузовом, покатила дальше.

— Стой! — завопил Павлуха. — Стой!

Он снова побежал к горушке. Виктор Николаевич лежал на спине, подсунув руки со сжатыми кулаками под лопатки. Лицо его было серым. На нем резко и холодно блестела седая щетина. Если цвет волос действительно зависит от соединения металлов, то в волосах Виктора Николаевича осталась лишь чистый нержавеющий никель.

Павлуха схватил теодолит вместе с треногой. Колени его подгибались от тяжести. Он больше не кричал «Стой!» Он расставил треногу посреди шоссе.

— Теперь станете... — бормотал он. — Натурально станете, бензинчики бесчувственные...

Машина остановилась. В кузове на скамейках рядами сидели пограничники, а у самой кабины торчали уши серой овчарки.

Из кабины на дорогу выскочил старший лейтенант с пистолетом в деревянной кобуре, прицепленным к поясу.

— Ты чего здесь посреди дороги расставился? Колышкин! Трохимчук! Убрать треногу!

Из кузова выпрыгнули двое солдат. Пограничники торопились. Наверное, у них было очень важное дело. Наверно, их нельзя задерживать.

Но разве Павлуха думал об этом? Он закричал, ухватив офицера за пояс:

— Виктор Николаевич умирает! Геодезист. Его в больницу нужно. Товарищ старший лейтенант!

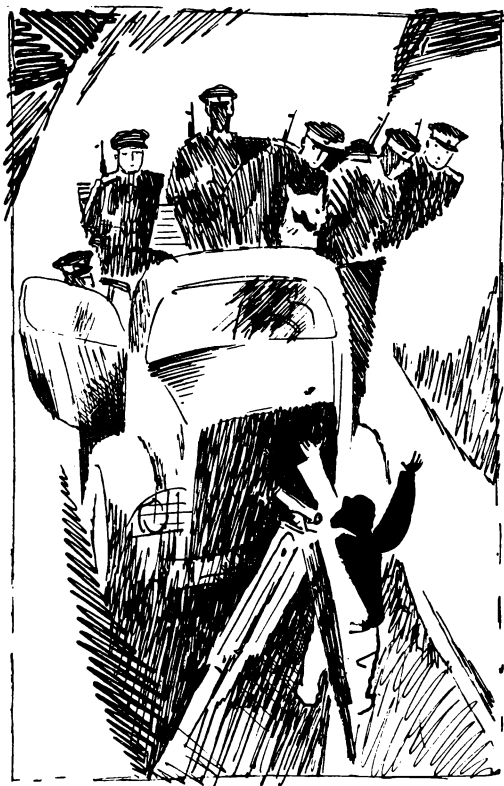
— Это ты специально треногу поставил, чтобы машину остановить?

— Известно...

— Сименихин, — подойдя к машине, сказал офицер. — Пойдете с мальчишкой. Колышкин пойдет с вами.

Из кузова выпрыгнул сержант с санитарной сумкой через плечо.

Машина рванулась с места, и тут же пропал ее след, только запах бензина повис над дорогой.



Павлуха бежал оглядываясь. Рядом шагали два солдата в зеленых пограничных куртках с карабинами через плечо.

Виктор Николаевич лежал в той же позе. А возле него на траве светлела коробочка со стариковским витамином «Ю».

Сержант поднял ее, покачал головой.

— Валидол... — Он снял сумку, опустился на четвереньки и зашептал: — Сейчас, отец, сейчас...

Павлуха отвернулся, когда острая игла шприца воткнулась в руку Виктора Николаевича.

— Теперь только осторожность, — сказал сержант. — Слушай, пацан, у вас найдется палатка или одеяло? Что-нибудь такое.

— Одеяло.

— Треногу нужно разобрать, — сказал солдат, — из нее носилки удобно сделать. Пойдем, пацан, за треногой. — Солдат взвалил на плечи рюкзак, взял серый ящик из-под теодолита и направился к дороге. Павлуха, захватив котелок и чайник, побежал за ним.

У дороги они разобрали треногу. Солдат Колышкин ушел обратно. Павлуха сел прямо на пыльный щербень.

«Люди живут, — думал он, — и все время работают. А витамин «Ю» этот, наверное, ни шиша не помогает — придумали для отвода глаз. А если не работать человеку, тогда все витамины будут ни к чему. Вот положи сейчас Виктора Николаевича на пуховую перину, подавай ему по утрам какаву, ставь градусники, и будет он уже не человек, а бесполезный лежачий больной. И все тогда будет ни к чему. Худо — лежит человек и слышит, как спотыкается его собственное сердце; и человек уговаривает его: постучи, дружок, еще, ну что же ты меня предаешь?»

Павлуха принялся щупать свою грудь, искать сердце. Но не обнаружил его ни слева, ни справа. Тогда он стал искать пульс и тоже ничего не нашел.

Пришли солдаты-пограничники. Они принесли Виктора Николаевича на самодельных носилках. Глаза у геодезиста уже приоткрылись. Он смотрел прямо в небо, в вечную синеву, куда, по старым преданиям, улетают тихие души усопших. Но смотрел строго, словно делил небеса на треугольники и мысленно забивал колышки в тех местах, где удобно возводить мосты, строить воздушные города, прокладывать дороги и линии высоковольтных передач.

По шоссе катил пятнадцатитонный МАЗ. Он затор-

мозил резко. Из него выпрыгнул лохматый Павлухин сосед, крикнул:

— Говори, что у тебя стряслось!.. — Он увидел лежащего на носилках геодезиста и пробормотал: — Вот тебе на... Ты что же, Павлуха, не мог толком сказать?..

Он открыл задний борт и все говорил, словно хотел оправдаться:

— Я уж возле обогатительной фабрики сообразил. Ну, думаю, у Павлухи что-то стряслось, раз он под машину полез. Вот ведь репа...

Солдаты осторожно поставили носилки в кузов машины, потом погрузили туда инструменты и вещи. Павлуха хотел подsunуть под голову Виктора Николаевича рюкзак, но солдаты подняли носилки, чтобы Виктора Николаевича не трясло на промоинах. Они стояли, широко расставив ноги, а за плечами у них поблескивали боевые карабины.

В городе Виктора Николаевича сдали в больницу.

— Я, Павлуха, того. Я побегу, — сказал лохматый Павлухин сосед. — На фабрике цемент ждут. Ты до поселка на попутке доедешь...

Солдаты помогли Павлухе погрузить прибор и вещи на попутную машину.

— Спасибо вам, — сказал Павлуха.

— Ладно, парень, шагай... — Солдаты закурили папиросы «Огонек», по четыре копейки пачка, и двинулись своей дорогой.

«Если бы деньги, я бы им «Казбек» купил», — подумал Павлуха.

* * *

Красное солнце висело над трубой плавильного завода. Оно было похоже на факел.

Ученые говорят, что в будущем повесят люди над Севером искусственный электрический огонь, который станет освещать эту стылую землю зимой, даже будет играть по утрам красивые мелодии.

Навстречу неслись машины с грузами. У шлагбаумов перекликались шоферы. Жизнь текла ровно, упруго.

«А Виктору Николаевичу небось уже какаву подают на блюде, — подумал Павлуха. — Только он ее пить не захочет. Он любит крепкий чай из походного чайника».

В конторе геодезистов толкотня — давали получку.

Павлуху пустили без очереди: он устал с дороги, он молодец, он геройский малый. Кассирша отбирала у всех по полтиннику на вкусные вещи для Виктора Николаевича. Все понимали, что незачем они старику, что раздаст он их соседям по палате. Но всем хотелось передать ему привет и много хороших слов. И лучше всего это смогут сделать пустяковые цветы, умытые яблоки и апельсины, которые растут на другой стороне земли и пахнут жаркими ветрами.

Павлуха стащил свои сапоги.

— Вот, — сказал он. — От меня это Виктору Николаевичу. Они ему впору будут.

Кассирша вылезла из-за стола, даже не задвинув ящик с деньгами.

— Соскочило у парня, — сказала она. — Ты бы ему еще портянки завернул для комплекта.

Геодезисты засмеялись.

— Он их в больнице на тумбочку поставит...

Павлуха растерялся.

— Он ведь в больнице временно. Он не захочет там долго лежать. Чего вы смеетесь?..

Геодезисты взяли его под мышки, встали в сапоги и подтолкнули к столу. Павлуха получил деньги: и полевые, и точные, и зарплату. Как и со всех, кассирша высчитала с него на подарок Виктору Николаевичу.

Павлуха не пошел к себе в общежитие. Он направился к Роману. Ему казалось, что люди не принимают его всерьез. Им бы только шутить и смеяться. Им не понять. Павлуха отдает долги! Вон у него сколько денег: «Мамке pošлю, Роману за питание отдам... Кому еще?..»

Роман встретил Павлуху шумно. В комнате было много народа. Все сидели за столом и громко разговаривали. Здесь были Зина, Игорь и другие ребята.

— Здорово, Павлуха! — Роман стиснул его за плечи и подтащил к дивану. — Ты посмотри...

На диване в пеленках лежал человек, крошечный, с наморщенным лбом и туманными синими глазками. Человек месил воздух красными пятками, красными кулачками и показывал мягкие десны.

— Мальчишка небось?

— Парень по всем категориям. Посмотри.

Павлуха сконфузился. Аня засмеялась. Она была худенькая и очень легкая. Казалось, что Анино платье надето на

невесомое существо, которое бьется и вздрагивает от радости и движения, движется...

— Поздравляю, — сказал Павлуха, стыдясь этого звучного слова. — Я тогда после зайду... Я неумытый.

— Ты что, штрейкбрехер? — сказал Роман. — Садись, выпьем за сына. — Роман подтащил Павлуху к столу, налил ему в стакан желтенького сладкого вина. — Давай... Ап!

Павлуха выпил, облизал губы.

Парни и девочки за столом хвалили малыша, смеялись над Романом. А тот, не зная, куда себя деть, ухмылялся и хвастал:

— Телом весь в меня, а характером в Аню. Спокойный, порядок понимает, кричит только по заказу, когда есть захочет и когда мокрый.

Зина жевала конфеты и смеялась. Игорь разглаживал ногтем серебристые обертки, которые она бросала в блюдо, и складывал их одна на другую, ровно-ровно, край в край.

— Мне из больницы звонили, — сказал он шепотом. — Ты, Павлуха, молодец.

В углу стоял трехколесный велосипед, обвешанный пакетами и погремушками.

«Подарки, — сообразил Павлуха. — Смехота: только родился — и уже подарки. За что?»

Павлуха сунул руку в карман, нащупал там пачку денег и снова принялся считать: «Мамке тридцать рублей, себе на полмесьяца. Роману за пропитание...» — Он посмотрел на Романа.

Роман был громадным, веселым, счастливым.

— Ешь, Павлуха, — говорил он. — Рубай колбасу, сыр голландский, шпроты. Закусывай. У меня сын...

«Не возьмет, — тоскливо подумал Павлуха. — Еще даст по шее, пожалуй».

Павлуха вытащил руку из кармана, слез со стула на пол. Он снял свои сапоги, потом прошел босиком к велосипеду и поставил их там.

— Это хорошие сапоги, — сказал он. — Рыбачьи. Это от меня... Пускай носит...

ДУБРАВКА

Дубравка сидела на камне, обхватив мокрые колени руками. Смотрела в море.

Море напоминало громадную синюю чашу. Горизонт далеко-далеко; видны самые дальние корабли. Они словно поднимаются над водой и медленно тают в прозрачном воздухе.

А иногда море становится выпуклым, похожим на гряды черных холмов. Оно закрывает половину неба. Чайки тогда вроде брызг. Чайки подлетают к самому солнцу и пропадают, словно испаряются, коснувшись его.

Дубравка пела песню. Она пела ее то во весь голос, то тихо-тихо, едва слышно. Песня была без слов. Про птичьи следы на сыром песке, которые смыло волной. Про букашку, что сидит в водяном пузыре, оцепенев от ничтожного страха. О запахе, прилетающем с гор после дождя.

Пахнут розы. Пахнут прибой. Пахнут горы. Наверно, и небо имеет свой запах.

Дубравка пела о море, о зеленых волнах. Они бегут одна за другой, чтобы разбиться о камни.

Дубравка пела о людях. Люди встречаются и расходятся. К счастью, уходят не совсем. Хорошие люди живут в памяти, даже говорят иногда, словно идут с тобой рядом. Об этих разговорах тоже поется в Дубравкиной песне. Их нель-

зя передать просто. Они покажутся непонятными, может быть, даже смешными.

Дубравка пела о разбитой раковине, о странных мальчишках...

Песня ее очень длинная. Может быть, не на один день. Может быть, не на один год. Может быть, на всю жизнь.

Камень стоял в море. Он давно оторвался от берега, сжился с волнами, с их беспокойным характером и, мокрый от брызг, сам блестел, как волна.

Дубравка приплывала сюда, взбиралась на эту одинокую скалу, когда ей нужно было разобраться в своих тревогах, сомнениях, обидах. Камень был ее другом.

На берегу у самой воды бродили мальчишки. Они мелко шкодничали на пляже. Зевали от жары и безделья.

— Смотрите, какое облако! Это волна хлестнула до самого неба и оставила там свою гриву.

— Дура, — скажут они и добавят: — Поди проветришься. Мальчишки — враги.

Еще недавно Дубравка гоняла с мальчишками обшарпанный мячик, ходила в горы за кизилом и дикой сливой. Лазила с ними на заборы открытых кинотеатров, чтобы бесплатно посмотреть новый фильм. Потом ей стало скучно.

— Вот тебе рыбий хвост, будешь русалкой, — говорили мальчишки.

— Бессовестные обормоты, — говорила Дубравка. А почему бессовестные, и сама не могла понять.

Она смутно догадывалась, что теряет какую-то частицу самой себя. Раньше все было просто. Теперь простота ушла. Любопытно и чуточку страшно.

В начале лета Дубравка записалась в драматический кружок старших школьников. Ее не принимали категорически. Староста сказал:

— Разве ты сможешь осмыслить высокую философию Гамлета? Ты еще недоразвитая.

Руководитель кружка, старый, седой человек с очень чистыми сухими руками, усмехнулся.

— «Гамлета» мы ставить не будем. Его смогли одолеть только два великих артиста: Эдмунд Кин и Павел Мочалов. Не нужно смешить людей.

Это он сказал старшим школьникам, чтобы сбить с них спесь и поставить на место. Старшеклассникам всегда кажется, что они умнее всех. Но они слишком обидчивы и не

способны к сплочению. Они возмущались, доказывали, что Гамлет для них прост, как мычание. Перессорились между собой. И на следующий день согласились ставить «Снежную королеву».

Роль Маленькой разбойницы досталась Дубравке.

Потом все начали влюбляться. Мальчишки писали девчонкам записки. Девчонки смотрели друг на друга злыми глазами. Они жеманно шурились, поводили плечами и неестественно хохотали по самому пустячному поводу.

Мальчишки вели себя шумно. Авторитетно сплетничали. О понятном старались говорить непонятно. Много восклицали и очень редко утверждали что-либо. Уходя с репетиций, они выжимали стойки на перилах мостов, на гипсовых вазонах с наsturциями, толкали девчонок в цветочные клумбы. Некоторые закуривали сигареты.

Дубравку они заставляли передавать записки и надменно щелкали по затылку.

Сначала Дубравка вела себя смирно, терпела из любопытства. Потом начала грубить.

Девчонки говорили, забирая у нее письма:

— Опять послание. Надоело уже... Ты не разворачивала по дороге?

— Я такое барахло не читаю, — отвечала Дубравка.

Потом она укусила Снежную королеву за палец, когда та погладила ее по щеке.

Потом она взяла тетрадь, переписала в нее аккуратным почерком письмо Татьяны к Онегину и послала в запечатанном конверте самому красивому и самому популярному мальчишке — Ворону Карлу.

На следующий день мальчишки, кто силой, кто хитростью, заставляли девчонок писать всякие фразы — сличали их почерки с письмом. Только у одной девчонки они не проверили почерк — у Дубравки.

Дубравка сидела на стуле перед сценой. Ей хотелось забросать всех этих взрослых мальчишек камнями. Ей хотелось, чтобы взрослые девчонки натыкались на стулья, падали и вывихивали ноги. Она сидела, стиснув пальцы, и в глазах ее было презрение, глубокое, как море у ее камня.

К Дубравке подошел старый артист. Он положил ей на голову сухую теплую руку. Кивнул на сцену.

— Старшие школьники — бездарный возраст, — сказал он. — Им невдомек, что самая прелестная сказка называется

«Золушкой». — Он ласково шевелил Дубравкины волосы. — Ты способная девочка. В тебе есть искренность. Кстати, почему тебя называли Дубравкой?

— Не знаю...

— Красивое имя... Ты сможешь стать хорошей актрисой. Хочешь?

— Не знаю...

— Самая мудрая сказка на свете называется «Голый король». А искусство — это маленький мальчик, который сказал: «А король-то голый!» Значит, не знаешь, почему тебя называли Дубравкой?

— Просто называли — и все.

Артист снял свою руку с ее головы и направился к сцене, очень прямой, очень легкий, словно под одеждой у него были натянуты струны и они тихо звенели, когда он шагал.

После репетиции Дубравка шла позади ребят. Мальчишки еще не уgomонились — допытывали, кто отважился послать такое письмо Ворону Карлу. Девчонки отвечали уклончиво, будто знали, да не хотели сказать.

Дубравка забежала вперед, забралась на решетчатый забор санатория. Крикнула с высоты:

— Это письмо написала я!

Снежная королева расхохоталась деревянным смехом.

— Врет, — сказала она.

Дубравка перелезла через забор и еще раз крикнула:

— Глупость вам к лицу! Всем, всем! Вы самый бездарный возраст!

Разбойники и тролли, потеряв свое степенство, полезли на забор. Но у Дубравки были быстрые ноги. Она знала отлично этот сад, принадлежавший санаторию гражданских летчиков.

Потом она приплыла к своему камню. Был уже вечер.

Она думала, почему так красива природа. И днем красива и ночью. И в бурю и в штиль. Деревья под солнцем и под дождем. Деревья, поломанные ветром. Белые облака, серые облака, тяжелые тучи. Молнии. Горы, которые тяжело гудят в непогоду. А люди красивы, только когда улыбаются, думают и поют песни. Люди красивы, когда работают. И еще знала Дубравка, что особенно красивыми становятся люди, когда совершают подвиг. Но этого ей не приходилось увидеть еще ни разу.

Волны шли с моря, как упрямые, беспокойные мысли. Они

требовали внимания и сосредоточенности. Они будто хотели сообщить людям тайну, без которой трудно или даже совсем невозможно прожить на свете.

Волны следили за ходом времени. Они считали: «Р-ррраз!.. Два-ааа... Р-ррраз!.. Два-аа», — без конца, как маятник, непреклонный и вечный.

А на берегу лежали мальчишки — Дубравкины сверстники. Она изменила им, уйдя к старшим школьникам. Мальчишкам было досадно. В них жило чувство неудовлетворенной мести и мужского презрения. На берегу лежали враги.

Когда Дубравка вышла на берег, они окружили ее кольцом.

— Эй, ты, артистка из погорелого театра!

По лестнице на пляж спускались старшие школьники из драмкружка.

— Поддайте ей как следует, — сказали они и прошли мимо.

Дубравка опустилась на теплую гальку.

Один из мальчишек, толстый, с большими кулаками, по прозвищу Утюг, толкнул ее коленом в плечо.

— Поднимайся давай!... Поговорить нужно.

Дубравка вскочила. Ударил Утюга головой в подбородок. Утюг опрокинулся навзничь. Перепрыгнув через него, Дубравка побежала к лестнице.

Мальчишки бежали за ней, как уличные собаки за кош-кой.

У морского вокзала беспокойно кружились люди. Они только что сошли с парохода. Расспрашивали всех прохожих, как проехать к санаториям и домам отдыха.

Дубравка подбежала к молодой женщине с желтым кожаным чемоданом.

— Тетенька, можно я постою возле вас?

— Спасибо за честь, — сказала женщина. — Мне очень некогда. — Потом она увидела мальчишек.

Мальчишки смотрели на Дубравку хищными глазами и откровенно потирали кулаки.

— Трудно тебе живется, я вижу. Ты не бойся, я тебя в обиду не дам.

— Я не боюсь. Просто их больше, — сказала Дубравка. — А вам в какой дом отдыха?

— Мне ни в какой. Я сама по себе.

Свет фонарей падал сверху на волосы женщины, зажигая в них искры. Ее глаза мягко мерцали в темноте.

«Ух, какая красивая!» — удивилась Дубравка. Она осторожно взяла женщину за руку.

— Вы комнату снимать будете? Пойдемте в наш дом. Мы живем в хорошем месте. Вам понравится, я знаю. Там есть одна свободная комната.

Всю дорогу Дубравка бежала боком. Она смотрела на женщину. Горло у нее пересохло от волнения. Дубравка глотала слюну и все боялась, что женщина сейчас повернется и уйдет в другую сторону и след ее затеряется в узких зеленых улочках.

«Разве бывают такие красивые?» — думала Дубравка. Она снова тронула женщину за руку. Спросила:

— Скажите, пожалуйста, как вас зовут?

Так они познакомились: девчонка Дубравка и взрослый человек Валентина Григорьевна.

* * *

Дом, где жила Дубравка, имел устрашающе веселый вид. С одной стороны он был похож на кособокую мечеть, с другой — на греческий храм. Были здесь мансарды, мавританские галереи, крепостные башни, украшенные ржавыми флюгерами. Каменные и деревянные лестницы выползали из дома самым неожиданным образом. Одна из них, железная, даже висела в воздухе, как подвесной мост.

Дом покорял курортников своей безудержной фантастичностью. Вокруг него тесно росли кусты и деревья. Цветы пес-трели на стенах, как заплаты на штанах каменщиков. Это были южные растения могучих расцветок и причудливых форм.

Валентина Григорьевна поселилась во втором этаже, в крошечной комнатухе, получив в свое распоряжение железную койку с сеткой, тумбочку, а также вид из окна на крыши, горы и море.

В небе тархтел рейсовый вертолет, летающий через перевал в душный областной центр. Ночь стекала с гор, наполняя улицы запахом хвои и горького миндаля.

Внизу, в такой же крошечной комнатухе, на такой же железной кровати, лежала Дубравка. Она думала о Валентине Григорьевне. Таких красивых женщин ей еще не приходилось встречать в своей жизни ни разу. Может быть, это

сумерки виноваты? Может быть, днем Валентина Григорьевна станет обычной? Вечером люди всегда красивые. Вечером не видны морщины. Дубравке было душно под простыней. Она встала с постели и, как была, в трусиках и майке, полезла на улицу через открытое окно.

— Сломаешь ты себе когда-нибудь голову! — сонно ворчала Дубравкина бабушка. — Куда тебя все время носит?

— Я пойду спать в сад на скамейку, — шепотом ответила Дубравка. — Разве это комната? Здесь кошка и та задохнется.

— Иди. В твоем возрасте скамейки не кажутся жесткими, — сказала бабушка.

Так же, как и все постоянные обитатели дома, бабушка сдавала комнату на лето курортникам. Большой нужды у бабушки в этом не было, зато была большая привычка. Бабушка работала сестрой-хозяйкой в санатории металлургов. Она уходила на целые сутки, предоставляя Дубравку самой себе.

Если бы спросили Дубравку, хорошая ли у нее бабушка, она бы ответила:

— Лучше и не бывает.

Дубравке не спалось. Она смотрела на окно Валентины Григорьевны, все в серебристых лунных потоках. Скамейка качалась на гнилых столбиках-ножках. Дубравка ворочалась с боку на бок. Потом встала и крадучись пошла к санаторию учителей.

В большом доме с каменными колоннами, с лестницами и балюстрадами из желтого туфа свет был погашен. В окнах колыхались шелковые занавески. Было похоже, что все отдыхающие сидят и курят назло врачам и белый дымок клубится возле каждого растворенного настежь окна.

В вестибюле дремала вахтерша, загородив лицо курортной газетой.

Вдоль песчаных дорожек, вокруг фонтана, который шуршал мягкими струями, жили цветы. Дневные цветы спали. Ночные цветы бодрствовали. Черные бабочки щекотали их хоботками и уносили на своих крыльях комочки пыльцы.

Дубравка посидела на каменной кладке забора. Потом тихо соскользнула в сад и, прикрытая кипарисовой тенью, побежала к клумбе с гвоздикой и гладиолусами.

Гладиолусы — очень изящные цветы. Ночью они напоминают балерин. Они будто поднялись на носочки и всплеснули руками.

Дубравка любила гвоздику. Еще давно бабушка сказала ей, что гвоздика — цветок революции.

Дубравка осторожно срывала гвоздику с клумбы, стебель за стеблем. На заборе она перебрала цветы и, прыгнув на тротуар, пошла к своему дому.

Бензиновый запах осел на асфальт жирным слоем. В гаражах остывали автобусы. Проголочные катера терлись о причалы белыми боками. В стеклах витрин отражались холодные звезды. Ночь подошла к своей грани. Она еще не начала таять, но уже где-то за горизонтом вызревал первый луч утра.

Во дворе Дубравка столкнулась с мужчиной. Он снимал комнату в Дубравкином доме. У него было двое ребят-близнецов. От мужчины пахло рыбой и табаком. Звали его Петр Петрович.

Дубравка прятала цветы за спину.

— Я вижу насквозь, — сказал мужчина, — ты от меня ничего не скроешь.

— И не собираюсь... — Дубравка встряхнула букет. — Я нарвала их в санатории учителей.

— Зря, — сказал мужчина. — В городском саду гвоздика крупнее.

Дубравка не ответила. Она поднялась на висячую лестницу. С лестницы на карниз. Мужчина смотрел на нее снизу и попыхивал папиросой.

Ну и пусть смотрит. Дубравка дошла до водосточной трубы и полезла по ней к башенке с флюгером. Еще по одному карнизу она дошла до открытого окна Валентины Григорьевны. Посидела на подоконнике, свесив ноги, посмотрела, как мигает красноватый огонь на маяке. Потом влезла в комнату, нащупала на тумбочке стакан, налила в него воды из кувшина и поставила в воду цветы.

Обратно она ушла тем же путем.

* * *

Дубравку разбудило солнце.

На мощенной плитняком дорожке двое малышей в красных трусиках с лямками насаживали на прутья апельсиновые корки. Малыши били прутьями по подошвам сандалий. Апельсиновые корки летели, как желтые ракеты, и мягко шлепались возле коротконогой белой собачонки. У собаки

были страшные усы, лохматые брови, борода клином. Только глаза у нее были добрыми и чуть-чуть грустными. Она пыталась ловить апельсиновые корки зубами, даже грызла их на потеху малышам и морщилась. Потом она поднялась из уютной солнечной лужи под кустом, издала несколько звуков, похожих на кашель, и побежала на середину солнечной реки, которая называлась здесь улицей Грибоедова.

Собачонку звали Кайзер Вильгельм Фердинанд Третий, или попросту Вилька. Была она ничья и, возможно, поэтому никогда не голодала. Она зарабатывала хлеб собственной головой, кувыряясь через нее; собственными лапами, так как умела ходить и на задних и на передних в отдельности. Она знала, что на человека можно тявкать не более трех раз подряд, иначе тебя сочтут грубиянкой. И еще она знала: показывать зубы в улыбке гораздо прибыльнее, чем скалить их просто так.

Малышей в красных трусиках звали Сережка и Наташка. Брат и сестра. Были они двойняшками-близнецами. Когда они ревели, то становились друг к другу спиной, чтобы рев слышался со всех сторон. Дрались плечом к плечу. Засыпали вместе и просыпались одновременно. По очереди они только задавали вопросы.

Малыши подошли к Дубравке.

— Ты почему на скамейке спала? — спросила Наташка.

Сережке этот вопрос был неинтересен. Он, как мужчина, полагал, что человек может спать, где ему заблагорассудится. Он спросил:

— Скажи, кто главнее: колдунья, ведьма или баба-яга?

— Все главные, — ответила Дубравка. — Они различаются только по возрасту. Колдунья — это молодая девушка. Ведьма — женщина средних лет. Баба-яга — старуха.

— А есть колдовские дети? — тут же спросила Наташка.

Дубравка давно уже знала, что единственное спасение от вопросов — вопросы.

— Валентина Григорьевна не выходила? — спросила она.

Брат и сестра переглянулись. Сказали хором:

— Какая?

— Очень красивая. Она комнату в той башне снимает.

Дубравкина бабушка высунулась в окно и позвала Дубравку завтракать.

— Как только она выйдет, — наказала малышам Дубравка, — кричите мне.

Сережка и Наташка важно кивнули.

Не успела Дубравка выпить кружку молока, как во дворе раздался крик:

— Дубравка, она вышла!

Дубравка выглянула в окно.

Посреди двора стояла Валентина Григорьевна. В руке она держала белую пляжную сумку. Платье на ней было тоже белое и узкое, в крупных пунцовых цветах.

Дубравка поперхнулась молоком. Днем Валентина Григорьевна оказалась еще красивее.

Бабушка посмотрела через Дубравкину голову во двор.

— Радуга, — сказала она. — Дай бог, чтоб не мыльный пузырь.

«Радуга, — подумала Дубравка. — Почему нет такого женского имени?» И спросила вдруг:

— Это ты меня Дубравкой назвала? Почему?

— Так, — ответила бабушка.

Во дворе перед Валентиной Григорьевной, взявшись за руки, стояли Сережка и Наташка. Они смотрели на нее и деловито кричали:

— Дубравка, она вышла!

Потом Наташка спросила:

— Почему вы такая красивая?

— Потому что я мою уши, — сказала Валентина Григорьевна.

Она хотела еще что-то сказать, но тут из дома вышел мужчина с такими же темными глазами, как у Сережки и Наташки. Он взял малышей за руки.

— Идите немедленно мыть уши. Я тоже буду мыть душистым мылом.

— Вам это вряд ли поможет, — насмешливо сказала Валентина Григорьевна.

— Спасибо, я буду мыть уши без мыла... — Мужчина улыбнулся и повел ребят к набережной.

Валентина Григорьевна смотрела им вслед, покусывая губы, потом, спохватившись, крикнула:

— Пожалуйста! — И принялась разглядывать дом.

— Нравится? — спросил ее кто-то сверху.

Она обернулась, подняла голову. На ступеньке висячей лестницы сидела Дубравка.

— Здравствуйте! — сказала Дубравка.

Встав на цыпочки, Валентина Григорьевна пожала

Дубравкину руку, крепко, как хорошему, верному товарищу. Потом спросила, махнув сумкой в сторону набережной:

— Кто этот человек?

— Это Сережкин и Наташкин отец, Петр Петрович. Он всегда дразнится. У него не поймешь, когда он говорит серьезно. Он прозвал наш дом Могучая фата-моргана.

— Почему?..

— Ему так хочется. Он чужак.

Валентина Григорьевна еще раз оглядела дом.

— Он и правда похож на фата-моргана.

— Может быть, — согласилась Дубравка, — только я не знаю, что это такое.

— Ничего, — сказала Валентина Григорьевна, — просто забавный мираж.

* * *

Мальчишки лежали на пляже вверх лицом. Они изо всех сил надували животы. Считалось, что к надутому животу легче пристает загар. Лежать с надутыми животами тяжело. Скоро мальчишки устали, повернулись к солнцу спинами.

— Попадись мне эта Дубравка! — сказал Утюг ни с того ни с сего.

Его друзья не шелохнулись. Они лежали, словно прибитые к земле солнечными нитками. Им было лень говорить.

Утюг был местный. Прозвище он получил за то, что не умел плавать, как это ни странно.

— Меня вода не держит, — объяснял он. — У меня повышенная плотность организма.

Утюг верховодил на берегу. Он бросал на спины загоральщиков сухой лед, выпрошенный у продавцов мороженого. Ловил девчонок в веревочные силки, закатывал им в волосы колючки. Но больше всего он любил посещать салон, где соревновались кондитеры. В этом салоне давали отведать любое пирожное, какое хочешь, душистые кексы и сливочное печенье. Нужно было только заплатить за билет, выслушать лекцию о белках, витаминах и углеводах. Пробовать можно бесплатно. Правда, очень скоро Утюга перестали туда пускать. У него оказался слишком большой аппетит и очень маленькая совесть.

Утюга часто били. Но вчерашний Дубравкин удар Утюг считал оскорблением.

— Пусть только появится! — бормотал он. — Что лучше: леща ей отвесить или макарон отпустить?

— И того и другого, — предложил кто-то из ребят равнодушным голосом. — Чем больше, тем лучше.

— Ее сначала поймать нужно.

— Вон она идет! — крикнул Утюг, вскочив на ноги.

Мальчишки поднялись, стряхнули налипшую на животы гальку. Они сумрачно глядели на Дубравку.

Дубравка шла по пляжу с Валентиной Григорьевной. Это было очень приятно и необычно. Головы загоральщиков поворачивались им вслед. Взгляды были всякие: восхищенные, удивленные, даже завистливые и злые. Не было равнодушных взглядов. Разогретые солнцем люди, обычно лениво уступающие дорогу, вежливо подвигались. Говорили «пожалуйста» — слово, которое не часто услышишь в магазинах, автобусах и на общественных пляжах.

Валентина Григорьевна и Дубравка выбрали место почти у самой воды. К их ногам подлетел волейбольный мяч. Какие-то загорелые парни прибежали за ним. Они разучились играть в волейбол и долго не могли подхватить мяч в руки. Они бы возились с мячом полчас, улыбаясь и бормоча извинения, но Валентина Григорьевна сильным ударом отбросила злополучный мяч далеко за спину.

Потом по мелкой воде, громко хохоча и брызгаясь, прошли старшие школьницы из драмкружка. Они украдкой поглядывали на Валентину Григорьевну.

— Дубравка, можно тебя на минутку? — сказала Снежная королева, грациозно изогнув спину.

— Что? — сказала Дубравка.

— Почему ты не ходишь в кружок? Ведь ты так хорошо играла, — ласково спросила Снежная королева, глядя через Дубравкину голову.

«Потому что вы злые кобылы, — хотела сказать Дубравка, — у вас только мальчишки на уме», — но промолчала.

— Кто эта женщина? — зашептали девчонки.

— Артистка из Ленинграда, — сказала Дубравка. — Народная артистка республики. Знаменитая.

Девчонки сдержанно загалдели:

— Я говорила!

— Нет, это я говорила!

И только Снежная королева, не в силах совладать с ревностью, пожала плечами.

— Для народной артистки она недостаточно интересная, Серые глаза, подумаешь! Черные кинематографичнее. И волосы...

— Нет, красивая! — возразила Дубравка. — Даже очень красивая, это всякий скажет.

— Красивая, — подтвердили остальные.

Дубравка фыркнула надменно и, выгнув спину, как это делала Снежная королева, подошла к Валентине Григорьевне.

— Жабы, — сказала она. — Лицемерки...

Потом мимо них прошли мальчишки...

Утюг будто ненароком споткнулся и упал. Поднимаясь, он вынырнул из-под ног целый фонтан мелких камушков.

— Ладно, Утюг, — сказала Дубравка. — Запомни.

Валентина Григорьевна засмеялась.

— Смешная ты, Дубравка, — сказала она. — Ты, наверное, с целым светом воюешь.

— Хороших людей я не трогаю. А Утюг пусть запомнит.

Когда мальчишечьи головы круглыми поплаватками заскакали на волнах, Дубравка скользнула в воду и поплыла вслед за ними.

Утюг порядочно отстал от приятелей. Он плыл, крепко вцепившись в надувной круг. Что-то цепкое обвилось его ноги и с силой дернуло вниз. Страх — плохой товарищ. Утюг выпустил резиновый поплавок, заколотил руками по воде и тогда окупнулся с макушкой, блестяще оправдав свое прозвище.

Ноги его освободились.

Утюг вынырнул, хватил ртом воздух и увидел прямо перед собой Дубравку. Она преспокойно лежала на его круге.

— Тони, — сказала она.

Утюг покорно утонул.

Через секунду он снова вынырнул на поверхность.

— Отдай круг!

— Бери, — сказала Дубравка и оттолкнула круг от себя.

— Ап... — сказал Утюг. — Ап... — Волна забила ему рот мягкой соленой пробкой. Он бултыхался, не надеясь на помощь Дубравки и стыдясь крикнуть в ее присутствии. А она плавала рядом. И круг тоже плавал рядом.

Утюг тонул. Глаза его стали желтыми, выпученными, как большие янтарные бусины.

— Ладно, — наконец сказала Дубравка. — На сегодня хватит. — Она подтолкнула круг к Утюгу и, нырнув, скрылась в волнах.

Утюг выбрался на берег жалкий и обессиленный. Он уселся возле Валентины Григорьевны. Долго кашлял, поджимал живот и фыркал, выдувая воду из носоглотки.

— Тяжело? — насмешливо спросила Валентина Григорьевна.

— Эх, — хрипло сказал Утюг, — чертово море!.. Чертова Дубравка, плавает, как акула!..

А Дубравка топила уже другого мальчишку. Она плавала лучше всех на этом берегу. В море невозможно было поймать ее.

— Пей нарзан. Хлебай! — говорила она, влезая на шею своей жертве. — В следующий раз не будете меня задирать.

* * *

С этого дня началась громкая слава Дубравки. Мальчишки мстили ей на берегу всеми средствами, пускались на недозволённые приемы. Но Дубравку не так легко было застать врасплох. Она все время ходила под надежной защитой Валентины Григорьевны.

Дубравка топила мальчишек в море одного за другим. Потом она уплывала на свой камень, садилась там, обхватив мокрые колени, и устало смотрела в море.

Волны бухали тяжело и требовательно. Отступая от берега, они издавали такой звук, словно кто-то громадный всасывал сквозь зубы воздух. Волны поднимали гальку со дна. Круглые камни бежали за морем и грохотали. Казалось, проносятся мимо скорые поезда-экспрессы. Один за другим, один за другим. Куда они мчатся, в какую даль? К каким берегам, к каким океанам?..

Желтые пятна на воде сталкиваются, дробятся на сотни пронзительных вспышек. Черные мелкие крабы сидят в трещинах скалы, грызут слюдяные чешуйки. Крабы боятся всего, даже птичьих теней.

Отдохнув, Дубравка торопилась обратно на берег, к женщине с большими серыми глазами. В этой женщине был какой-то другой мир, еще скрытый от Дубравки. Она даже не пыталась в нем разобраться. Но он тянул ее сильнее, чем море, горы, сильнее, чем всякие яркие краски земли.

Иногда вместе с Дубравкой приплывала к камню Валентина Григорьевна. Дубравка показала ей раковину. Раковина лежала глубоко на дне, и никто не мог до нее донырнуть.

Валентина Григорьевна попробовала это сделать. Она вылезла из воды бледная и долго не могла отдышаться. И долго у нее плыли круги перед глазами, завиваясь спиралями, как известковое тело раковины.

Валентина Григорьевна не мешала Дубравке воевать с мальчишками. Только просила:

— Не трогай, пожалуйста, Утюга в воде. Он и так наказан. — И спрашивала: — Из-за чего, собственно, разгорелась война?

Дубравка отвечала:

— Не знаю... Просто они все уроды. Противно на них смотреть.

Валентина Григорьевна смеялась.

* * *

Однажды вечером к Дубравкиному дому пришла делегация — драмкружок старших школьников вместе со своим руководителем.

Девчонки шли впереди. Они волновались, то и дело поправляли складки на юбках, неестественно приседали, поворачивали глазами в разные стороны. Мальчишки подобрали свои и без того поджарые животы. Никто из них не совал руки в карманы. Поэтому руки у них казались лишними. Старый руководитель то и дело покашливал. Он был в белом пиджаке. Лицо его было бледным и взволнованным.

Сережка и Наташка играли во дворе в камушки. Они первыми увидели нарядную делегацию. Первыми успели задать вопрос:

— Вы к кому?

— Мы хотим видеть народную артистку республики, — пересохшими голосами сказали девчонки.

Сережка и Наташка переглянулись.

— Какую?

— Такую... — Девчонки замялись. Потом одна из них, с голубым платочком на голове (в спектакле она играла Ворону Клару), выступила вперед.

— Артистка такая... Волосы у нее каштановые. Пышные. Глаза серые. Большие-большие...

— Ага, — кивнули Сережка и Наташка. Повернулись к делегации затылками, запрокинули головы и дружно закричали: — Валентина Григорьевна!

Валентина Григорьевна выглянула из окна.

— К вам вон сколько людей!

Валентина Григорьевна сошла вниз и с растерянным любопытством спросила:

— Вы действительно ко мне?

— Действительно, — ответила за всех девчонка с голубым платочком на голове.

Ребята, стоявшие в задних рядах, приподнимались на цыпочки, чтобы лучше видеть артистку. Руководитель застенчиво улыбался.

— Мы пришли пригласить вас на генеральную репетицию нашего драмкружка, — раздумываясь от собственной смелости, чадила Ворона Клара. — Вы, как прославленная артистка, окажете нам честь. Мы будем очень рады. Мы все вас просим.

Валентина Григорьевна как-то жалобно улыбнулась:

— Но кто вам сказал, что я артистка?

— Мы знаем. Не стесняйтесь! — радостно закричал весь игровой состав «Снежной королевы».

— Нет, я не могу... Это недоразумение...

Видя, что дело принимает неожиданный оборот, старый артист поспешил к ребятам на помощь. Он с достоинством поклонился.

— Дорогой коллега, — сказал он. — Я двадцать лет назад покинул театр. Сейчас многое изменилось. У вас могут быть личные мотивы скрывать свое имя. Но просьба детей всегда была святой для артиста. Даже Василий Иванович Качалов, с которым я имел удовольствие работать на одной сцене...

— Это — недоразумение, — перебила его Валентина Григорьевна. — Никакая я не артистка. Я с удовольствием пойду к вам на репетицию. Но, сй-богу, я не имеею никакого отношения к театру... Я просто инженер. Специалист по набивным тканям. — Она споткнулась на слове «специалист», посмотрела на артиста серыми испуганными глазами и добавила: — Я... Я могу показать документы... Извините меня.

— Извините ее, — вмешались Сережка и Наташка. — Она больше не будет.

Стало тихо.

Старшие школьники, казалось, перестали дышать. Но вот тишина сменилась насмешливым пофыркиванием мальчишек и возмущенным перешептыванием девочек.

Старый артист замигал от волнения и, театрально приложив руки к груди, воскликнул:

— Простите, сударыня!

Потом он деланно засмеялся, стараясь придать недоразумению веселый, непринужденный оттенок. Старшие школьники его не поддерживали. Они были уязвлены в самых высоких своих чувствах.

Валентина Григорьевна сухо поклонилась и поспешно ушла к себе в комнату.

Снежная королева надменно вскинула брови.

— Я говорила: для актрисы она недостаточно интересна.

— По-моему, для актрисы она слишком интересна, — возразил ей Ворон Карл. — Это даже лучше, что она не актриса.

Старый руководитель смотрел на ступеньки лестницы, по которым ушла в свою комнату Валентина Григорьевна.

— Нет границ для прекрасного, — тихо сказал он.

Ворон Карл почесал затылок и вдруг засмеялся громко.

— Стоило унижаться! — фыркнул кто-то из разбойников.

— И все-таки она красивая, — топнула ногой Ворона Клара.

Старшие школьники сердито смотрели друг на друга. Наконец кто-то предложил пойти «искупнуться». Кто-то принялся надувать волейбольный мяч. Кто-то принялся собирать деньги на билеты в кино.

— Попадись мне эта Дубравка! — сказала Снежная королева.

— А я вот.

Дубравка сидела на подвесной лестнице. Ее заслоняли светлые листья алычи.

— Обманули дураков, — сказала она и добавила, посмотрев на старого артиста: — Это к вам не относится.

— Спасибо, — поклонился артист и зашагал от дома в сторону набережной.

— Ну ты и дрянь! — крикнула Снежная королева.

Один из мальчишек кинул в Дубравку щепкой. Ворон Карл опять засмеялся.

— Пойдемте, — сказал он. — Ну что она вам плохого сделала?

— Ничего, — согласились мальчишки. А девчонки еще долго оборачивались и смотрели на Дубравку, щуря глаза, одни от злости, другие от недоумения.

Дубравке было грустно. Она долго смотрела в оконное

стекло. Отражение в стекле немножко двоилось. Оно было похоже на старую засвеченную фотографию. Дубравка навивала на палец короткие жесткие волосы и думала: «Будь у меня такие же волосы, как у Валентины Григорьевны, ни один мальчишка не посмел бы бросить в меня щепкой».

Отражение колыхнулось. Это раму качнуло ветром. Но Дубравка успела заметить, как за ее головой во дворе появилась Валентина Григорьевна.

Дубравка повернула голову.

Валентина Григорьевна села на скамейку возле кустов. В руках она держала книгу, но не читала ее, думала о чем-то.

Дубравка хотела подбежать к ней. Но тут из-за кустов вышел руководитель драмкружка.

«Извиниться хочет», — подумала Дубравка.

Старый артист опустился перед Валентиной Григорьевной на колени и заговорил, то взмахивая рукой, то прижимая ее к груди.

Дубравка услышала слова:

— Я потрясен. Это — наваждение... Я словно воскрес, увидев сегодня чудо. Вы — чудо!..

Артист порывисто приподнялся, и Дубравке показалось, что он весь заскрипел, как старый, рассохшийся стул.

— Эх... — сказал кто-то совсем рядом. Дубравка посмотрела вниз. Под лестницей, прислонившись к стволу алычи, стоял отец Сережки и Наташки.

— Красиво, — прошептал он. — Смотри, Дубравка, слушай. Сейчас вступит оркестр.

Валентина Григорьевна сидела растерянная и смущенная. Артист говорил что-то. Размахивал руками. Вскидывал резким движением легкие волосы.

Дубравка сунула в рот два пальца. Свистнула что есть мочи, резко, как ударила кнутом.

— Bravo! — сказал отец Сережки и Наташки.

Дубравка спрыгнула с лестницы. Независимо прошла по двору. Обернувшись у калитки, она увидела, как к Валентине Григорьевне и оторопевшему руководителю драмкружка подошел Петр Петрович.

Он сказал:

— Не нужно мыть уши душистым мылом...

— Да, — сказал старик. — Вы правы. Я смешон... Но я артист, этого вам не понять.

* * *

Дубравка шла по верхнему шоссе. Оно было очень прямым. Здесь собирались пустить троллейбус. Впереди на раскаленном бетоне блестели голубые радужные лужи. В них отражались облака и деревья. Когда Дубравка подходила ближе, они испарялись и вновь возникали вдали. Они словно текли по дороге сверкающей переливчатой радугой. Они возникали в нагретом воздухе. Обманивали глаза.

Дубравка ушла по шоссе в горы. Она ходила там долго. А вечером она сидела на парапете набережной, слушала море.

Кто-то тронул ее за плечо.

— Дубравка!

Рядом стоял старый артист.

— Дубравка, — сказал он, — я хочу тебе что-то сказать.

Дубравка независимо улыбнулась и заболтала ногами.

— Дубравка, извинись, пожалуйста, перед Валентиной Григорьевной за меня.

— А вы сами разве не можете этого сделать?

— Не могу, — сурово сказал артист. — Я сделаю это позже. И, пожалуйста, не воображай о себе невесту что... — Он помолчал и снова заговорил, но уже мягко, почти нежно: — Может быть, это хорошо, что ты не умеешь прощать. Но от этого черствеет сердце. Я не знаю, что хуже: быть мягким или быть черствым. Я знаю, например, что ты обо мне думаешь. Я на тебя не в обиде. Если человек вдруг упал, а потом высоко поднялся, то судить его будут по последнему... — Он не положил на Дубравкину голову своей руки, как бывало. Он просто сказал: — До свидания, Дубравка, — и пошел на другую сторону набережной. Туда, где шумел народ, где витрины устилали асфальт тротуаров желтыми электрическими коврами. И снова Дубравке показалось, что у него под пиджаком звенят струны.

...Ночью Дубравка залезла в санаторий учителей и нарвала там букетик гвоздики.

Она пробралась по скрипучим карнизам, по ржавой водосточной трубе. Она уселась на подоконник в комнате Валентины Григорьевны и на испуганный голос: «Кто это?» — спокойно ответила:

— Это я, Дубравка. Я принесла вам гвоздику.

Валентина Григорьевна поднялась с кровати, уселась рядом с Дубравкой. Сказала грустно:

— Почему искусство такое... непримиримое? Почему так

неприятно, когда тебя уличают в том, что ты не принадлежишь к нему?

— Это я наврала, что вы артистка, — сказала Дубравка.

— Зачем?

— Не знаю. Извините меня.

Валентина Григорьевна взяла у Дубравки гвоздику, поставила ее в стакан с водой.

— Почему ты мне приносишь цветы?

— Это я знаю, — сказала Дубравка. — Я вас люблю.

Валентина Григорьевна прислонилась к стене.

— За что? — тихо спросила она. — Я ведь ничего не сделала такого... Я понимаю, девчонки иногда влюбляются в артистов, даже не в самих людей, а просто в чужую славу. За что же любить меня?

— Вы красивая... Бабушка назвала вас Радугой.

Валентина Григорьевна села на подоконник, свесила ноги и чуть-чуть сгорбила спину.

— У меня бабушка спросила, не влюбилась ли я в какого-нибудь мальчишку, — продолжала Дубравка, глядя, как переливаются огни вывесок и реклам на приморском бульваре. — Будто я дура. А вы знаете, иногда я чувствую: подкатывает ко мне что-то вот сюда. Даже дышать мешает, и я всех так люблю. Готова обнять каждого, поцеловать, даже больно сделать. Тогда мне кажется, что я бы весь земной шар подняла и понесла бы его поближе к солнцу, чтобы люди согрелись и стали красивыми. Мне даже страшно делается... Разве можно столько любви отдать одному человеку? Да он и не выдержит... А иногда я всех ненавижу. А мальчишек я ненавижу всегда.

Она замолчала. И ей показалось вдруг, что сейчас тишина разорвется и кто-то злорадный захохочет над ней во все горло. Потом она успокоилась, и тишина показалась ей значительной, наполненной внимательными глазами, которые благодарно смотрят на нее.

— Расскажи мне об отце этих малышей, Сережки и Наташки, — сказала Валентина Григорьевна.

Какая-то смутная тревога подступила к Дубравкиному сердцу. Дубравка съежилась.

— Зачем? — спросила она.

— Просто так... Мне кажется, он славный человек.

— Он странный... Купается ночью. От него табаком пахнет.... Зачем вам?

Валентина Григорьевна смотрела на верхушки кипарисов, за которыми на морской зыби перламутрово мерцала лунная тропка.

— Красиво, — сказала она.

— Красиво... — прошептала Дубравка, поймав себя на том, что море и горы стали для нее скучными и мертвыми, как пейзажи на глянцевитых сувенирных открытках. Она заторопилась домой. Прошла по карнизу и, расцарапав живот о проволоку на водосточной трубе, соскользнула на другой карниз и с него — на подвесную лестницу.

Она кое-что знала об отце малышей Сережки и Наташки. Раньше она робела перед ним, как робеют ребята перед директором школы. Теперь она чувствовала к нему острую неприязнь.

Он работал в Ленинграде в научном институте. Делал какое-то важное дело. Жена его умерла, когда Сережке и Наташке было по году.

Говорят, после смерти жены он целую неделю катал близнецов в двухместной коляске и не мог пойти на работу. Потом он забросил коляску, подхватил ребят на руки — отнес в ясли. Когда малыши подросли, он отдал их в круглосуточный детский сад.

Нынче он приехал к морю на целых два месяца, потому что не отгулял положенный отпуск в прошлом году. Отдыхать он не очень умел. Сам с собой играл в шахматы. Уходил на колхозных сейнерах ловить ставриду. Сережка и Наташка иногда по три дня жили на попечении соседей. Это он прозвал беспризорную собачонку Кайзер Вильгельм Фердинанд Третий. Встречая курортных знакомых, он говорил:

— Одолжите тысячу рублей. Отдам в Ленинграде.

Соседи и знакомые конфузливо оправдывались, недвусмысленно пожимая плечами. Вскоре они перестали попадаться ему на улице, предпочитая при встрече перейти на другую сторону, или прятались в подъездах домов. А он ходил со своими ребятами или просто один, пропадал с рыбаками на море и, кажется, не жалел ни о чем. Его называли чудачком. Он мог смотреть не мигая. Мог мигать без причины и смеяться в собственное удовольствие.

Звали его Петр Петрович.

Утром к Дубравке в комнату залезли Сережка и Наташка.

— Дубравка, что такое лихая пантера? — спросили они.

— Вроде тигра, — сонно ответила Дубравка.

Сережка и Наташка внимательно осмотрели ее, даже пощупали пальцы на ее руках и сказали:

— Почему тебя папа Пантерой назвал?

Дубравка вскочила:

— Он негодай, ваш папа!

Близнецы насупились и молча полезли через окно на улицу.

— Он сам еще хуже! — крикнула Дубравка, высунувшись из окна.

Во дворе стояли Валентина Григорьевна и Петр Петрович. Сердце у Дубравки екнуло. Она хотела крикнуть: «Не ходите с ним на пляж!» Ей хотелось спросить: «Разве вам плохо со мной?» Но она с шумом захлопнула створки окна.

«Не пойду, — думала она. — Раз ей со мной неинтересно, то и не нужно. Не стану я ей навязываться. Выбрала себе этого... Я сейчас надену ботинки и пойду в горы».

Но вместо ботинок она натянула резиновые купальные туфли. Надела на голову белую абхазскую шляпу с бахромой, свой лучший сарафан и побежала на пляж. Она торопилась. Она боялась опоздать.

На пляже, у самой воды, двое взрослых и двое малышей играли в волейбол.

Валентина Григорьевна увидела Дубравку, улыбнулась и кинула ей мяч.

— Бей, Дубравка!

Дубравка ударила изо всей силы ногой. Мяч упал в море и заскакал на мелкой зыби у самого берега.

Сережка и Наташка побежали за ним, сердито поглядывая на Дубравку. А она отошла в сторону, скинула сарафан, вошла в воду и поплыла. Нырнет, вынырнет. Нырнет, вынырнет. Она заплывала дальше всех.

С берега доносился едва слышный шум голосов, смех, похожий на хлопанье крыльев. Кто-то боязливый визжал. Дубравка поморщилась, перевернулась на спину. Она лежала в воде, раскинув руки. Вода прикрыла ей уши мягкими большими ладонями. Громадное небо сверкало, и глаза не выдерживали его блеска. Дубравка закрыла глаза, потом вдруг перевернулась на живот и резким кролем понеслась к берегу. Она отыскала среди купающихся человека с глазами темными, как у Сережки и Наташки.

— Ну, держись!

Она нырнула и дернула его за ноги в воду. Потом забралась ему на плечи.

— Вот тебе!

Петр Петрович сжал Дубравкины руки. Он погружался все глубже и глубже. Он смотрел Дубравке в глаза, и было похоже, что он смеется. Он словно хотел сказать: «Хорошо здесь под водой».

«Что тебе нужно? Пусти!» — кричала про себя Дубравка. Она не успела вздохнуть перед тем, как упала в воду лицом. Ей было очень трудно сейчас. А Петр Петрович подмигивал ей:

— Куда ты торопишься? Давай поплаваем... Ты ведь плаваешь, как акула...

— Пусти!!!

— Нет, ты посмотри, как здесь красиво...

Солнце плавало под водой желтыми колеблющимися шарфами. Водоросли щекотали Дубравкины ноги. Упругая тяжесть сдавливала ей виски. Шея вздрагивала. Дубравка вспомнила лицо Утюга, когда он тонул возле своего круга. Она чуть не крикнула по-настоящему. Петр Петрович выпустил из рта большой пузырь. Пузырь побежал вверх, за ним побежали другие, помельче. Дубравкино тело рванулось к поверхности. Она почувствовала, что руки ее освободились. Быстрее! Быстрее!.. И когда Дубравка глотнула воздуха, она все еще бешено колотила руками по воде, словно желая выпрыгнуть из нее вся. Небо кружилось. Горы кружились. Совсем рядом плавал мужчина. Он смотрел на нее с сожалением и приглаживал волосы.

— Привет! — сказал он.

Дубравка всхлипнула, отвернулась и быстро поплыла к своему камню. Она взобралась на камень и упала там, тяжело дыша. Ей не хотелось ни думать, ни шевелиться. Может быть, она и заснула бы даже. Но вдруг она услышала позади себя шорох. Вскочила и увидела злорадные лица мальчишек. Они подстерегали ее здесь, за камнем, в воде. Теперь они шли мстить за обиды.

Камень высок. Очень высок. Прыгать с него невозможно. Внизу торчат из воды острые выступы.

— Попалась, артистка! — кричали мальчишки.

Позади них, сжимая в руке свой резиновый круг, карабкался толстый, усталый Утюг. Он хричал, отдуваясь:

— Сейчас мы отлупим тебя беспощадно!



На Дубравку посыпались мальчишечьи кулаки. Утюг не бил. Он только приговаривал:

— Я бы тебе дал. Только ты умрешь от моего удара.

Потом он растолкал мальчишек, помог Дубравке встать и сказал добродушно:

— Слушай, согласна, что ты попалась? Дай слово, что больше не будешь нарзаном поить, тогда мир. А то смотри, сейчас еще поддадим.

— Буду! — крикнула Дубравка. — Все время буду!.. Мне на вас и смотреть-то смешно.

Она сделала несколько быстрых шагов и прыгнула с камня.

— Убьется! — закричал Утюг.

Мальчишки подбежали к краю утеса. Они видели, как Дубравка, перелетев острые выступы, почти без брызг ушла в воду. Они проглотили завистливую слюну и честно выражали свое восхищение словами:

— Ох!... Вот это артистка!..

Потом они горестно уселись на край скалы.

Утюг схватил свой спасательный круг, разбежался и ахнул вниз солдатиком. Вода больно хлестнула его по согнутым коленям, ударила в подбородок, вырвала из пальцев надувной резиновый поплавок.

Когда Утюг вынырнул на поверхность, он увидел пляшущих на камне мальчишек. Они орали ему приветствия. Неподалеку колыхался спасательный круг. Он прощально булькал, выпуская из разорванного бока последний воздух. Почти рядом плавала Дубравка. Она удивленно и немного испуганно глядела на Утюга.

Утюг тоскливо отвернулся, приготовился тонуть и вдруг, сам того не заметив, поплыл к камню.

Обретенного так внезапно умения хватило ему ненадолго. Он медленно погружался.

— Набери воздуха побольше и ныряй, — услышал он возле себя голос Дубравки. — Не бойся, я помогу, если что...

Плыть под водой было легче. Утюг нырял и вновь выныривал, набирал воздух. Камень становился все ближе и ближе.

Дубравка ныряла рядом. Она вытащила обессиленного Утюга на острые выступы под скалой.

Над их головами промелькнул коричневый мальчишечий живот. Один, другой, третий... Мальчишки прыгали в воду.

— Тут на дне красивая раковина лежит, — сказала Дубравка.

— Умел бы я хорошо плавать, я бы ее достал... тебе, — сказал Утюг.

— Она глубоко. До нее донырнуть трудно.

На выступы под скалой лезли мальчишки.

— Ай да Утюг! — кричали они. — Ай да мы!

— Нужно с камнем нырять, — сказал Утюг. — С камнем в руках.

* * *

После обеда Дубравка постучала в комнату Валентины Григорьевны.

— Вот, — сказала она, входя. И поставила на подоконник большую мокрую раковину. — Я ее достала для вас. Это та самая... Из глубины... Я ныряла за ней с камнем. С камнем хорошо... Возьмите ее с собой. Будете меня вспоминать.

Валентина Григорьевна хотела обнять Дубравку за плечи, но она выскользнула и побежала по лестнице.

* * *

Собака — друг. Собака все понимает, но ничего не может сказать. Собака сочувствует молча, в этом ее преимущество.

Дубравка сидела под лестницей, на соседских половиках, которые были вывешены на перила для сушки. Собачонка лежала у ее ног. Она не знала, что в человеческом мире ее называют Кайзер Вильгельм Фердинанд Третий, или попросту Вилька. Собака смотрела в заплаканные Дубравкины глаза и, конечно, не могла разобраться, почему плачет человек, если он не голоден, если его не пбили палкой, не пнули ногой, не переехали хвост тяжелым тележным колесом.

Дубравка ходила на рынок за рыбой для ужина. Когда она пришла, то увидела Сережку и Наташку. Они сидели на корточках под окном Валентины Григорьевны и подбирали яркие, радужные черепки. Это была разбитая Дубравкина раковина. Из окна Валентины Григорьевны выглядывали сконфуженный руководитель драмкружка, Снежная королева, Ворон Карл, Ворона Клара и Петр Петрович.

— Дубравка, — сказал Сережка. — Они пригласили всех на спектакль.

У Дубравки дрожали губы.

— Дубравка, — сказала Наташка. — Они говорят: жаль, что ты не играешь. Ты хорошо играла...

Дубравка услышала стук каблуков. По лестнице спускалась Валентина Григорьевна.

Сережка и Наташка подобрали обломки раковины, стали друг к другу спиной, готовясь зареветь.

Дубравка поставила кошелку с рыбой на окно своей комнаты и побежала. Она слышала, как Валентина Григорьевна кричала ей вдогонку:

— Дубравка, Дубравка, вернись... Он ведь нечаянно...

«Он, — думала Дубравка. — Все он...»

Дубравка спрыгнула с каменного забора позади дома на другую улицу и пошла по ней вверх к маленьким огородам местных жителей.

Вечером Дубравка забилась под лестницу. Стены здесь обросли плесенью. На старой паутине качались высохшие мухи. Мыши разгуливали под лестницей, не торопясь. Собака Вилька приходила сюда ночевать.

— Вот, Вилька, как получается, — бормотала Дубравка. — Ты ведь сама знаешь. Тебе объяснять не нужно.

Собачонка прикрывала глаза. У нее были лиловые веки и сморщенный старушечий нос.

— Она такая красивая, а он... — вздохнула Дубравка.

Собака тоже вздохнула. Если бы она могла думать человеческими категориями, может быть, она и поняла бы смысл этого слова — «красивая»...

— Что она в нем нашла?! — крикнула Дубравка. — Он урод. Насмешник. Бесчувственный крокодил. Он обманет ее и будет смеяться. Вилька, ты ничего не понимаешь в людях!

Собака положила морду на передние лапы. Она давно уже научилась разбираться в людях. Она различала их характеры даже по запаху. Если бы люди могли научиться этому искусству у бродячих собак! Но они не желают. Они предпочитают делать глупости. Вилька давно уже догадалась, что Дубравка встанет сейчас и побежит делать странные, ненужные вещи. Она даже прикусила зубами Дубравкин сарафан, словно хотела сказать: «Не уходи, пожалуйста, это тебе совсем ни к чему. Лучше давай выпьемся». Но Дубравка пощекотала ей за ухом, взъерошила шерсть на собачьей спине и выбралась во двор.

— Спи, — сказала она Вильке.

Потом Дубравка поднялась по висячей лестнице, перелез-

ла с нее на карниз. Водосточная труба. Еще карниз. Дубравка уселась на окне и тихо позвала:

— Валентина Григорьевна, вы спите?

— Иди сюда, — сказала Валентина Григорьевна.

Дубравка не шелохнулась. Спросила:

— Вы его любите?

— Дубравка...

— Он негодяй. У него пять жен. Шестую он отравил керосином. Он обворовал сберкасса. Он хочет убежать в Турцию.

— Дубравка, как ты смеешь!

— А вот смею. Он прохвост!

Валентина Григорьевна села на кровати.

— Уходи, — сказала она тихо и решительно. — Я тебя не хочу видеть.

Дубравка посопела немного и вдруг выкрикнула:

— А вы... Я тоже знаю про вас. Вы такая же, как и все!

* * *

Где-то у турецких берегов прошел шторм. Он раскачал море так, что даже у этого берега волны налезали друг на друга, схлестывались белыми гривами. Падали на берег, как поверженные быки, и с ревом уползали обратно.

Ветер прогнал всех людей с пляжа. Большие пароходы поднимались над молом, словно хотели присесть на бетон, отдохнуть, отоспаться. Прогулочные катера и рыбацьи сейнеры плясали возле причалов. Было похоже, что они вот-вот начнут прыгать друг через друга.

Люди не подходили к каменному парапету набережной. Он уныло тянулся вдоль бухты, весь мокрый, весь в пене. Брызги долетали до витрин магазинов и кафе. Чайки, вытеснив жирных голубей, садились на крыши домов.

Дубравка лежала на пляже одна. Она знала секрет: если поднырнуть под первую, самую бешеную волну и подождать под водой, изо всех сил работая руками, пока над головой пройдет вторая волна, то обратным течением тебя унесет в море. И можно будет плыть, взлетая на гребнях. Небо закачается над головой, и берег будет то пропадать, то появляться. Люди на берегу станут размахивать руками. Говорить всякие слова о безумстве, но в этих словах будет восхищение и зависть.

Дубравка думала об этом просто так. Ей никого не хотелось удивлять. Ей казалось, что море специально разбушвалось сегодня, чтобы успокоить ее и утешить. Море было красиво. Оно было красиво так, что все Дубравкины горести потеряли свой смысл. Она вдруг словно освободилась от всего тесного, неприятного, сковывавшего ее последнее время. Потом Дубравка услышала голоса. Она обернулась, чтобы сказать людям: «Смотрите, какое море».

По пляжу шли Валентина Григорьевна, Петр Петрович, Сережка, Наташка, старый артист и Дубравкина бабушка.

— Что вам от меня нужно?... — прошептала Дубравка. Ей стало страшно и одиноко. Она отступила к волнам.

— Дубравка! — крикнула Валентина Григорьевна.

Дубравка повернулась и, побежав вслед за уходящей волной, нырнула под другую, громадную, с опадающим белым буруном. Волна перевернула ее, подмяла под себя и протаскала по самому дну, по скользким камням. Потом ее подхватило обратным потоком и унесло в море.

Дубравка не слышала, как закричали на берегу люди. Она медленно плыла, то поднимаясь вверх, то соскальзывая вниз с пологого загравка волны.

Неожиданно она увидела возле себя человека. Он улыбнулся ей темными глазами и крикнул:

— Погодка что надо. Привет!

Он подплыл к Дубравке, и она услышала другие его слова:

— Обратно на берег нельзя. Не получится без веревок.

Дубравка поняла, что он хотел сказать. При больших волнах вылезти на берег им не удастся. Море еще раз прокатит по скользкому дну и унесет. Это только кажется людям, будто любое волнение — прибой, что все волны бегут к берегу.

Дубравка плыла к своему камню. Мужчина плыл рядом с ней, поглядывал на нее то задумчиво, то вдруг с затаенной нежностью. У камня он выдвинулся вперед.

Волна прижала его к утесу, потом потянула за собой. Одной рукой он крепко вцепился в трещину, другой подхватил Дубравку.

Волна опала, обнажив облепившие камень водоросли. Но за этой волной шла другая.

Мужчина подсадил Дубравку на выступ, а сам снова вцепился в трещину. Волна накрыла его.

Они лезли навстречу. Впереди Дубравка, позади нее Петр

Петрович. С камня был виден берег. Он был недалеко. Местрах в трехстах. На берегу бегали люди. Петр Петрович помахал им рукой. Они замахали в ответ. Они кричали что-то.

— Благодарят за спасение, — усмехнулась Дубравка и подумала: «А может быть, он действительно меня спас?..»

Дубравка села на край камня. Ветер плеснул ей на грудь холодные брызги.

Волны у горизонта казались большими, гораздо больше, чем здесь, под камнем. Они возникали внезапно. Дубравке казалось, что камень движется им наперерез. У нее слегка кружилась голова.

Петр Петрович сел рядом с ней.

— Наверное, катер придет за нами. Белый катер... Ты не замерзла? Надень мой пиджак.

— У вас ведь нет пиджака, — сказала Дубравка.

— Ну и пусть, — сказал мужчина. — Ты представь, как будто я тебе дал пиджак. Тогда будет теплее. Ладно?

Кожа у него на руках покрылась пупырышками.

— Хорошо, — сказала Дубравка... — Спасибо... Только он у вас немножко мокрый...

МАРТ

В классе тихо. Заядлые шептуны загляделись на желтых солнечных зайцев и замолкли.

У доски переминался с ноги на ногу коренастый толстощекий Пашка Жарков. Отвечал он нудно, путано. Называл Короленко Владимиром Галонычем, а Тыбурция — паном Тридурцевым.

Учительница сидела подперев щеку рукой, недовольно хмурилась.

Но вот скрипнула дверь — и тишины как не бывало. Ребята задвигались, загудели. Пашка у доски приосанился, сказал смело:

— Мария Григорьевна, все уже... Можно сесть?

Учительница вздохнула:

— Садись.

— Мария Григорьевна, на минуточку... — позвали из-за двери. В щелку ребята увидели высокого военного моряка и седую голову завуча.

Стоит только учителю выйти из класса, как у ребят сразу найдется масса дел.

Староста Нинка Секретарева громко объявила, что если кто хочет пойти в ТЮЗ, то завтра нужно принести деньги.

Пашка с ухмылкой доказывал, что точка во сто раз лучше двойки и даже тройки.

Учительница пробыла за дверью недолго. Она вошла в класс, легонько подталкивая перед собой чистенькую белокурую девочку с толстыми короткими косами. Мария Григорьевна была невысокого роста — только на голову выше Пашки и других ребят, но рядом с новенькой она казалась солидной и высокой.

— Познакомьтесь, — сказала она сразу всему классу, как могут говорить только учителя, — это ваш новый товарищ, Валя Крутлова. Она приехала из Таллина и с сегодняшнего дня будет учиться у вас в классе...

Раскосый, чернявый Левка Ковалик (ребята прозвали его Кончаком) проворчал: «Очень приятно». А Витька насмешливо заметил:

— Какой это товарищ, это же просто девчонка!

Мальчишки заулыбались. Девчонки возмущенно загудели.

— Не болтай глупостей! — сказала Витьке учительница, а новенькой показала на свободную парту.

Новенькая села, выпрямилась, заложила руки за спину и словно окаменела в этой неудобной позе.

— Мумия египетская, — определил Кончак. — Слышишь, Витька, в классе нафталином запахло.

Витька шумно втянул носом воздух и раскатисто чихнул.

— Тебе дует! — сказала Мария Григорьевна. — Иди сядь к Вале.

Витька пустился в объяснения:

— А чего я сделал?... Что, уж и чихнуть нельзя?.. — но, глянув исподлобья на учительницу, понял, что все его ухищрения бесполезны. Он недовольно записал книжки в портфель, постоял, посмотрел на закапанные чернилами половички да так, с опущенной головой, и пошел через весь класс на новое место. Расстегнутый портфель он тянул за угол по полу, и весь вид его как бы говорил: «Что ж, сажайте с этой клюквой, с этой мумией... Мы еще и не такое терпели». Подойдя к парте, Витька ворчливо scomандовал:

— Подвинь-ксь, ты... Расселась, как в карете.

Новенькая и без того сидела на самом краешке скамьи; она прижала локти к бокам и съежилась.

Витька разложил на парте все свои книжки, тетрадки, карандаши, вынул даже завтрак, завернутый в пергаментную

бумагу, затем развалился на скамейке и критически оглядел свою соседку.

Девочка отвернулась, подняла плечи.

Витьке был виден только ее маленький, почти прозрачный нос. Витька поморщился, перевел глаза на потолок, сделал вид, что изучает трещины на штукатурке, а сам думал: «Если по этому носу дать хорошего щелчка, то он, наверное, разлетится на сто кусков». Витькины пальцы уже сложились в упругое кольцо, но тут к их парте подошла Мария Григорьевна

— Сядь как следует.

Витька неохотно выпрямился.

— Он же мешает тебе, — чего ты молчишь?..

— Нет, он мне не мешает, — прошептала новенькая и уставилась большими испуганными глазами на Витьку... Витька засопел, стал медленно краснеть... А Мария Григорьевна улыбнулась и направилась к своему столу.

Кое-кто из ребят бросал на Витьку с Валею любопытные взгляды. Пашка Жарков прикладывал руки к груди, вытягивал шею и закатывал глаза.

— Ладно, смейтесь, — Витька покраснел еще больше, — смейтесь, смейтесь... А этой новенькой, Вальке, я покажу... — Для первого раза Витька пнул свою соседку ногой.

Она поморщилась.

— Молчишь?.. Ну, сейчас запоешь! — Витька стал придумывать новую каверзу, но тут прозвенел звонок.

На перемене их парту окружили ребята. Девочки расспрашивали Вальку, хорошая ли в Таллине была школа. Левка-Кончак кричал с подоконника:

— Крейсера на Таллинском рейде есть?

Позади всех тянулся на цыпочках другой Витькин приятель, Генька, тоже хотел что-то спросить. Витька видел его белый лоб с блестящей серебристой челкой и большие застенчивые глаза... Геньку оттеснил Пашка Жарков, растолкал ребят и, бесцеремонно навалившись на Витьку, спросил:

— У тебя отец — этот военный моряк, да?

Витька чувствовал себя неважно, на него никто не обращал внимания, а главное — нельзя было выбраться: Пашка почти сидел на нем. Витька попытался его столкнуть, но Пашка небрежно щелкнул его по затылку ладошкой.

— Ну, ты, сиди смирно! Видишь, я разговариваю.

Витька поймал быстрый взгляд своей соседки, стиснул зубы и выпрямился.

Пашка с грохотом растянулся в проходе. В наступившей тишине раздался чей-то испуганный смешок... Все смотрели на Пашку... Он вскочил, выставил вперед подбородок, подняв побелевшие от напряжения кулаки. Было в его позе что-то грозное, неотвратимое. Никто в классе не смел драться с Пашкой, не имел права: Пашка уже не раз доказывал это своей наглостью и крепкими кулаками.

— Не смей Витьку бить! — крикнул Генька и загородил Пашке дорогу.

Кончак спрыгнул с подоконника, но его сразу же оттеснили Пашкины «хвосты» — Севка и Савка.

Пашка локтем оттолкнул Геньку и подступил к Витьке вплотную. Он повертел у его носа кулаком, явно наслаждаясь тревожной тишиной и собственным величием. Но вдруг весь порядок расправы полетел вверх тормашками. Витька не побежал, не забормотал: «Я нечаянно... Ну, чего ты?..» — как это делали некоторые ребята при столкновении с Пашкой. Он шумно втянул носом воздух, серые, обычно добродушные глаза его стали колючими, холодными... Витька быстро пригнулся и резко снизу ударил в выпяченный Пашкин подбородок. Пашка отлетел к партам среднего ряда... Со злым удивлением крикнул: «Что, меня?» — и снова бросился на Витьку.

Девчонки завизжали. Витька присел. Пашкин кулак прошел у него над головой. А в следующий миг Пашка уже лежал боком на парте, держался за живот!

— Аут! — завопил Кончак, вырываясь из ослабевших объятий Севки и Савки. — Аут!

Тяжело видеть поверженным того, кто долгое время олицетворял боевую славу класса, но мальчишки быстро пришли в себя от изумления. Они столпились вокруг Витьки, почтительно разглядывали его, подталкивали и похлопывали по спине.

Симпатии девчонок всегда на стороне побежденного. Они сочувственно хлопотали около Пашки, красного от боли и ярости.

— Ребята, выходите из класса! — спохватившись, надрывалась Нинка Секретарева. — Дежурные, чего вы смотрите!..

Витька первый вышел в коридор, стал там у окна.

В палисаднике перед школой томились кучи грязного снега. На участке, отгороженном деревянным заборчиком, где летом юннаты разводили цветы, чернели влажные прогалины.

Витька стоял и думал, почему из таких серых грязных куч бегут чистые ручьи... и что вот он ни с того ни с сего нажил себе грозного врага.

— Молодец, Витька! — восхищенно шептал ему в затылок Кончак. — Я всегда знал, что ты себя покажешь... В поддыхало — раз!

— В солнечное сплетение, — поправил Генька. Глаза его сияли, словно не Витька, а он сам поверг несокрушимого, надоевшего всем Пашку.

Витька приосанился.

— А чего? Подумаешь, Пашка! Да если посмотреть, то каждый... — Он не закончил фразы и тут же с надеждой спросил: — А я сильнее его?

— Не в этом дело, — начал было Генька. — Тс-с-с... — Лицо его стало бесстрастным, будто они разговаривали о погоде.

К окошку из класса шел Пашка Жарков. По бокам, как почетный эскорт, шагали сухопарый, с красными веками Севка и маленький вертлявый Савка. Они шли лениво, небрежно, и в прищуренных глазах у всех троих был приговор.

Руки у Витьки дрогнули, он поспешно спрятал их за спину.

Пашка остановился в двух шагах, коротко сказал:

— Имеешь!..

Витька даже не сразу понял, что это значит. Он неловко, с какой-то дурацкой улыбкой переступил с ноги на ногу.

— Чего имею?..

Пашка презрительно скривил губы.

Севка и Савка засмеялись.

И только когда Пашка отошел, Витька понял, что это значит. Он крикнул им вдогонку:

— Посмотрим!

— Сказала бабушка, потеряв очки, — бросил через плечо Савка.

Кончак и Генька недовольно нахмурились.

— «Чего имею?» — передразнил Витьку Кончак. — Тоже мне, непонимайка!

— Тут надо было, — Генька гордо посмотрел на воображаемого противника, выставил ногу вперед: — Пишите за вещанье, капитан...

— Что я, артист? — огрызнулся Витька. — Как ответил, так и ладно.

* * *

Следующий урок был — русский.

Витька, не глядя на Валу, забрал свой портфель и пересел на старое место, к Кончаку.

Мария Григорьевна, как только вошла и положила на стол журнал, тут же назвала Витькину фамилию. Она долго рассматривала его, и Витьке казалось, что в глубине ее серых глаз спрятались лукавые смешинки; наверно, кто-нибудь уже наябедничал ей.

— Иди к доске.

Урок Витька знал, отвечал хорошо, только немного глухо.

— А теперь возьми свой портфель и отправляйся на то место, куда я тебя посадила.

— Не пойду... — Витька отвернулся к доске, забубнил упрямо: — Вы меня неправильно пересадили... Мы с Кончаком с первого класса дружим, а вы дружбу разбиваете.

Мария Григорьевна положила руки на журнал и тем же ровным тоном, каким задавала вопросы, повторила:

— Иди... И не пререкайся... А потом, чтобы я больше не слышала этой клички — Кончак. Ковалика зовут Левой.

— Все равно не пойду, — уперся Витька.

Мария Григорьевна поднялась, проговорила задумчиво:

— Ну что ж, может быть, мне уйти... У тебя сегодня воинственное настроение.

Витька смутился, растерянно посмотрел на ребят.

Кончак делал ему знаки: не валяй, мол, дурака. Генька кивал в сторону Валиной парты... Витька заметил круглые выжидающие глаза Пашки и аккуратный Валин пробор: она по-прежнему сидела на самом краю скамьи и, наклонив голову, смотрела в тетрадь... «Чего доброго, маму вызовут», — тоскливо подумал Витька, взял свой портфель и поплелся к Валиной парте.

«Все равно к Левке пересяду», — успокаивал он себя и даже не стал ничего доставать из портфеля.

— Запомни, — сказала Мария Григорьевна, — теперь ты будешь сидеть здесь все время, я предупрежу всех учите-

лей. — Она стала объяснять урок, а Витька проклинал сегодняшний день и угрюмо посматривал на свою чистенькую робкую соседку: «Вот гримза, маменькина дочка, это из-за тебя все...»

Валя задвигалась: наверно, у нее заболела спина от неудобного сидения.

Витька вырвал из тетради листок, крупными буквами написал: «Сиди и не шевелись!»

Валя прочитала записку, замигала ресницами и отвернулась.

Витька погрузился в свои мрачные мысли: «Пашка не зря сказал: «Имеешь»; наверно, сегодня будет ждать после уроков...»

Вдруг Витька заметил перед собой Валину руку с аккуратно подстриженными ногтями. Рука подвинула ему тот же листок бумаги и, словно испугавшись чего-то, быстро отдернулась назад.

«Послушайте, за что Вы меня ненавидите?.. Я Вам не сделала ничего плохого...» «Вы» и «Вам» было написано с большой буквы.

«То-то, — подумал Витька, — запела!» Потом он стал соображать, что бы ответить позаквыристее... Он ломал голову, вспоминал разные непонятные заграничные слова и вздыхал потихоньку... «Генька вот сразу бы выдумал что-нибудь такое...» Витька посопел, почесал за ухом и наконец приписал под Валиными ровненькими строчками: «Презираю девчонок!»

Валя прочитала, и лицо ее стало таким обиженным, будто она хотела сказать: «Но ведь я же не виновата, что родилась девчонкой». А Витьке было наплевать. Он сразу проникся к себе уважением, нахмурился, скрестил руки на груди и просидел так до самого звонка.

* * *

На всех переменах Пашка шушукался с Савкой и Севкой. Они многозначительно поглядывали на Витьку, а после уроков первыми побежали в раздевалку.

— Наверно, опять драться надо, — сказал Витька Кончаку, — как ты думаешь?..

— Факт, — уверенно ответил Кончак. — Как дважды два... Ты только не теряйся... А если что, мы рядом будем...

— На случай провокации, — пояснил Генька и взял Витькин портфель.

На крыльце толпился почти весь класс. Некоторые мальчишки были серьезны, как бы подчеркивая тем самым важность момента. Другие толкались, спорили и смеялись. Девочки кучками ходили по палисаднику. Всем известно, что девочки не меньше мальчишек любят смотреть драки.

Когда Витька, Кончак и Генька вышли на крыльцо, все смолкло, расступились. Витька шел, как по коридору, а в конце этого коридора, расставив ноги, набычив голову, стоял Пашка.

Витька не хотел драться. Он решил обойти Пашку, не задевая его. «Может, уладится?» — шевелилась в голове трусливая мысль.

Дорогу Витьке преградили ухмыляющиеся Севка и Савка... Генька и Кончак стояли позади, а за ними теснилась настороженно-любопытная ребячья толпа. Витька оглянулся, понял: отступать нельзя, да и некуда.

— Ну, ты... — подошел к нему Пашка, — может, прощения попросишь? Я добрый...

Витька нахмурился, вынул из карманов руки и, не говоря ни слова, влепил Пашке по носу сильный прямой удар. Пашка не ожидал такого решительного начала, но не растерялся и бросился на Витьку.

Минуты две они скакали друг перед другом, как боксеры, примеривались и прицеливались. Наконец Пашка улучил момент и ударил. Витька успел отскочить слегка в сторону. Кулак ожег Витькино ухо, а сам Пашка, потеряв равновесие, повалился на своего врага. И тотчас Витька снизу ударил его в подбородок, схватил за ворот, сильно дернул на себя и отскочил. Чтобы не упасть, Пашка низко согнулся, побежал, перебирая ногами, и врезался головой в плотное кольцо ребят.

— Балет что надо, — съязвил Кончак.

Пашка ничего не видел... Окончательно выйдя из себя, он ринулся на Витьку... Но крепкий, хладнокровный удар бросил его на землю.

Добиться славы трудно, а рушится она в один миг.

Пашка сидел на мокром асфальте и тупо смотрел вслед уходившему Витьке. Он еще не осознал, что произошло... И только увидев, что ребята равнодушно обходят его, а неко-

торые даже бросают на него сочувственные взгляды, вскочил, погрозил кулаком и вдруг заревел, густо, с переливами.

— Все равно имеешь!... Берегись теперь!.. — бормотал он, размазывая слезы по толстым щекам. Рядом, растерянные, топтались Севка и Савка. На душе у них было гораздо хуже, чем у их ревушего патрона. Отсвет Пашкиной славы, которыми они прикрывались, как щитом, погас совершенно неожиданно. Что будет?..

Витька шел, окруженный ребятами. Он невпопад отвечал на разные: «Здорово ты его...», «Не будет задаваться!», «Давно его надо было проучить!»

Весь вечер Витька был не в себе. За ужином он плохо ел, не смотрел на мать. Его не покидало ощущение неловкости. Раньше он никогда не чувствовал себя героем, а, видимо, и к этому нужна привычка. Мать не приставала к нему с расспросами, но Витька то и дело лóвил на себе ее озабоченный взгляд.

На следующее утро Витьке не хотелось идти в школу. Но там могли подумать, что он струсил, и Витька пошел. Он вышел из дому даже раньше обычного.

* * *

Солнце слепило глаза, оно было в каждом окне, в каждой льдинке. Вокруг капало, звенело... Около луж буйно дрались мокрые, взъерошенные воробьи.

Витька отломил острую прохладную сосульку. На вкус она отдавала железом, а язык после нее стал шершавым.

С крыш сбрасывали снег. Дворники кричали: «Берегись!» Ребята, сбегавшиеся в этот час к школе, останавливались, смотрели, как плавно переворачиваются в воздухе глыбы слежавшегося снега, как они тяжело ухают об землю. Витька тоже задрал голову. Маленькие человечки на крыше семиэтажного дома бесстрашно орудовали лопатами. Кто-то тронул его за рукав. Витька вздрогнул и обернулся. Перед ним стояла Валя.

— Тебе чего?

— Меня этот... Кончак послал, — запнувшись, сказала она и вдруг торопливо зашептала: — Не ходи к школе, там Пашка каких-то мальчишек привел... Они тебя ждут.

Сердце у Витьки упало, — вот она, расплата за вчерашнее геройство... Он опустил голову и глухо спросил:

— Сколько их там?
— Человек пять.
— А чего же Левка, Генька и другие ребята?
— Генька говорит, — нельзя коллективную драку у школы устраивать... Еще и за вчерашнее попадет.
Витька посмотрел на Вальку с какой-то обидой: «И чего Кончак эту Вальку прислал? Не мог уж сам прийти... Вдвоем бы пробились».

Валя, должно быть, угадала его мысли.

— Он бы сам пришел, только за ним Пашка следит... Кончак тебя у окошка ждет. Ты пройди в соседний двор, перелезь через забор в школьный сад с той стороны...

— Ладно, — кивнул Витька.

Валя постояла рядом, потом сказала: «Ну, я пошла» — и, не оглядываясь, побежала вдоль улицы. С крыши упала очередная глыба, высокий фонтан снега запорошил Валину фигурку в синем пальто, с выпущенными из-под берета косами. Но Витька даже не посмотрел ей вслед, он соображал, что же такое затеял Левка и у какого окна он его ждет. Раздумывать долго было некогда. Витька направился в соседний со школой дом.

Большой асфальтированный двор дома был отгорожен от школы некрашеным дощатым забором. У забора высились поленницы дров, покрытые сверху досками, ржавым железом и толем.

Витька залез на поленницу, бросил через забор портфель и прыгнул в твердый талый снег. Потом по дорожке, утрамбованной еще зимой лыжниками, побежал к школе. Он заглядывал в окна первого этажа, когда услышал свист над головой. Крайнее окно во втором этаже приоткрылось, и Витька увидел чернявую Левкину голову.

— По трубе, — Кончак показал пальцем на проходившую неподалеку от окна водосточную трубу.

— А портфель? Куда я его, в зубы, что ли?..

Левка закивал, шлепнул себя по лбу: мол, блестящая мысль.

— Быстрее давай! Звонок сейчас будет.

Витька покрутился, пытаясь лезть с портфелем в руке. Никкак!.. Тогда он зажал ручку портфеля зубами — во рту сразу распространился соленый, неприятный вкус кожи, — обхватил трубу руками и полез. Пальцы моментально озябли, шею ломило, сводило челюсти... На обхвате, поддерживавшем тру-

бу, Витька сделал передышку. Во рту накопилось столько слюны, что она текла по подбородку, но сплюнуть было невозможно.

Кончак подбадривал Витьку из окна:

— Давай, давай... Тут самая малость осталась!

Окно приоткрылось пошире, рядом с Левкиной головой показалась Генькина.

Витька кивнул ему и полез дальше.

Самое трудное было перебраться от трубы к окну. За стенку не уцепишься, а ходить по карнизам без поддержки могут только лунатики... Витька хотел рассердиться на своих товарищей за то, что они заставили его мучиться с портфелем в зубах, но тут из окна высунулась длинная швабра, которой нянечки подметают коридоры. Кончак и Генька осторожно, стараясь не задеть Витьку, просунули ее конец между трубой и стенкой, за другой конец крепко уцепились сами.

Держась за швабру, Витька осторожно сделал по карнизу шаг, другой... У окна в его пальто вцепились сразу двадцать пальцев. Он благополучно прыгнул на кафельный пол уборной, а забытая впопыхах швабра полетела вниз.

— Ладно, потом сбегает за ней, — махнул рукой Левка. — Иди в класс; я твое пальто на вешалку отнесу, а то войдет кто-нибудь... продавят за открытое окно.

Генька остался закрывать окно, а Кончак помчался в раздевалку... А Витька, вытирая рукавом куртки подбородок, отправился в класс.

Звонок застал его у дверей. Ребята уже сидели на своих местах, только Пашка стоял в коридоре у окна.

Витька не утерпел, подошел к нему и выглянул из-за его плеча на улицу. У входа угрюмо топтались мальчишки из соседней школы.

— Привет! — сказал Витька.

Пашка вздрогнул, повернулся. Нос его распух со вчерашнего, глаза растерянно бегали по сторонам... Как ни старался Пашка придать своему лицу независимое выражение, выглядел он все же очень жалким.

Витька усмехнулся, пошел в класс.

— Если еще раз ребят позовешь, буду бить на каждой перемене.

Пашка засопел, пошел следом.

— Ладно, ладно, — бурчал он не очень уверенно, — все равно имеешь.

В класс на минутку заглянула Мария Григорьевна — был не ее урок. Она подозвала Витьку и спросила с сожалением: — Ты вчера еще раз дрался?..

— Дрался... — Больше Витька ничего не сказал. Ему хотелось оправдаться, пообещать, что он больше не будет, но он стоял, насунив брови, и отчужденно смотрел по сторонам.

На уроке ребята, исключая, конечно, Пашкиных друзей, посматривали на него с уважением и гордостью.

Валя по-прежнему сидела на самом краешке скамьи, Витька разглядывал ее исподтишка, а один раз заметил, что она тоже смотрит на него. Он повернулся. Валя быстро отвела взгляд, а кончики ушей у нее порозовели. «И чего сидит на самом краю? — думал Витька. — Будто скамейки мало...»

— Чего на краю сидишь, подвигайся! — Витька сказал это грубовато, скорее приказал, но почему-то тоже покраснел и сумрачно отвел взгляд.

* * *

На перемене к Витькиной парте подошли Кончак и Генька. Кончак многозначительно подмигнул в сторону Пашки, потом возбужденно затараторил:

— Слышь, Витька, нам дядя из Антарктиды письмо прислал... Видишь, и марка какая, из Кейптауна... Южно-Африканский Союз — козочка в кружочке.

— Ну, не из Антарктиды, — уточнил Генька.

— Все равно, — заспорил Кончак. — Там рядом... Сейчас они уже выгрузились на берег... Радио слушать надо, газеты читать... — Он мечтательно посмотрел на свою марку, почмокал и сказал не без бахвальства: — Попрошу дядю, чтобы пингвина привез, а? Как вы думаете?..

Витька заметил, что Валя, убиравшая книги в портфель, прислушивается и с любопытством смотрит на Кончака.

— Подумаешь, пингвин, — произнес он как только мог равнодушно, — никомушная птица...

Валя продолжала смотреть на Кончака с уважением; она словно не слышала Витькиного скептического замечания.

Витька врал редко, но сейчас нахмурился и стал придумывать, что бы сказать такое... Но ничего в его жизни «такого» не было. Он вспомнил только, что соседка на днях рассказы-

вала, как к Лесотехнической академии прибежали лоси, и выпалил оторопело:

— На нашу улицу сегодня два лося прибежали ночью... Витрину в цветочном магазине разбили и все гортензии поели.

Кончак, потянув себя за ухо, засвистел. Генька засмеялся во весь рот. Валя улыбнулась.

— Не верите? — загорячился Витька. — Факт, видел... Во... как вот доску. — Он показал на классную доску, которую Пашка вытирал тряпкой.

К Витькиной парте подошел Севка — они с Пашкой были дежурными.

— Выходите, а?... Класс проветрить надо...

В коридоре Витька криком доказывал, что видел лосей и даже помогал ловить... Но лоси убежали.

Кончак и Генька смеялись еще громче.

— Ох, Витька, — хватался за живот Кончак, — ты бы его за рога и к фонарю веревкой!.. — Он запрокинул голову и яростно затопал ногами, изображая рвущегося из Витькиных рук лося.

— Не умеешь врать — не берись, — заливался Генька.

Витька ожесточенно огрызался:

— Смейтесь, смейтесь... Все равно ваш пингвин на экваторе сдохнет!..

В классе Витьку ждал сюрприз. Во всю доску был нарисован кривоногий лось, больше похожий на собаку, а рядом Витька, толстопузый, с длинным, как у Буратино, носом. Он держал лося за рога. И подпись в стихах!

Об этом узнает пусть публика вся:

Наш Витька поймал на Садовой лося.

Каждый, кто входил в класс, смеялся. Картину, конечно, нарисовал Пашка, а стихи написал Севка. Может быть, все приняли бы это за шутку, но Витька сам себе все испортил. Он страшно разозлился, стер рисунок и сказал с вызовом:

— Ну и поймал!.. Ха-ха-ха!.. Ничего смешного нет...

Ребята засмеялись еще громче. Кончак даже приставил два пальца ко лбу и замычал по-телячьи. Только Севка заискивающе поддакнул:

— А что, может, и поймал... Правда, Витя?

— Поймал! — запальчиво крикнул Витька, уселся за пар-

ту и проворчал: — Смейтесь, смейтесь... И ты тоже смейся; чего не смеешься? — повернулся он к Вале.

Валя опять отодвинулась на самый край скамьи и втянула голову в плечи.

На уроке к Витьке стали приходиться записки и картинки. Записки были написаны печатными буквами, но Витька точно знал, что их писал Пашка. Он погрозил Пашке кулаком. Тот пожал плечами, а в глазах у него светилось злорадство.

После уроков в раздевалке ребята мычали, спрашивали, какого роста лось и прочие глупости.

Витька молчал и был мрачнее тучи. Он растолкал всех, первым получил пальто и, не дожидаясь Кончака с Генькой, пошел домой. Шел он быстро, но у калитки его догнали Нинка Секретарева и Валя.

— Всего хорошего... — Нинка фыркнула и проскочила вперед. Конечно, она хотела сказать «лось», только побоялась. Валя засмеялась, тоже хотела прошмыгнуть мимо Витьки, но он сжал зубы и выставил перед собой ногу. Валя споткнулась и с маху, во весь рост упала на дорожку.

— Хулиган, — сказала Нинка, а когда Валя поднялась, она вдруг взвизгнула и закричала:

— Скорей, ребята, скорей!

На лбу у Вали краснела широкая ссадина. Кровь тоненькой струйкой бежала к виску. Валя прислонилась к калитке и смотрела на Витьку жалобно, как в первый день, словно хотела сказать: «Что я тебе сделала плохого?..»

Витька побледнел, шагнул к ней, чтобы чем-нибудь помочь, но его оттолкнули подбежавшие ребята.

— В школу ее, к врачу!..

Мимо Витьки прошел Пашка.

— Ага, Лось, теперь тебя из школы погонят.

Нинка Секретарева словно этого и ждала.

— Распустился, — визжала она, — только и знаешь, что кулаками махать, герой!.. Вот подожди, будет совет отряда!..

Девочки взяли Валою под руки и повели в школу к врачу.

— Может, ты ей глаз повредил, — испуганно шептал бледный Генька.

Кончак почесал затылок.

— Да... И как тебя угораздило?

Генька перебил его, торопливо, словно схватил палочку-выручалочку:

— Ты нечаянно, да?

— Отстаньте! — бросил им Витька и вышел из калитки. Кончак посмотрел ему вслед, покрутил головой и побежал в школу.

Генька сделал несколько неуверенных шагов за Витькой, но тот даже не обернулся.

— Все, — бормотал он, шагая к дому, — погонят меня теперь из школы... Мама плакать будет... На работу не примут — мал... Может, метрики подправить?... — Потом он подумал о Вале, решил, что теперь она его, конечно, ненавидит. — Ну и ладно.

* * *

Матери дома не было, она приходила в пять.

Витька, не раздеваясь, сел к столу, подпер голову кулаком. Щеки у него стали мокрыми. Стена и вещи казались туманными, расплывчатыми. Оттоманка, на которой он спал, была покрыта чистым чехлом; на ней лежали старательно вышитые подушки. И Витька понял: мама сделала их не из любви к вышиванию, а чтобы прикрыть глубокие впадины и выпирающие пружины... Покрывало на маминой кровати незаметно подштопано, — человек непосвященный никогда и не догадался бы. А коврик над кроватью был таким ветхим, что мама просила у соседей пылесос, чтобы его почистить: боялась трясти на улице — вдруг порвется.

«Заработаю денег, куплю маме новый ковер, — подумал Витька, положил голову на руки и заплакал. Плакал он беззвучно, закусив рукав пальто. — И ковер куплю, и шляпу с перьями, как у соседки... И новое платье шелковое...» На^к конец Витька поднялся, вытер глаза и нос углом скатерти, достал полотерную щетку и начал тереть пол. Свирепо двигая щеткой по одному месту, он строил планы, жалостные и героические.

«Вот уберу сейчас комнату, записку напишу: «Мама, ты меня не ищи... Я тебя очень люблю...» Иногда Витька оставался, шептал: «Уйду из дому куда глаза глядят... На работу устроюсь куда-нибудь, юнгой например...» Он так размечтался, что не слышал звонка в коридоре, не слышал, как открылась дверь и вошли Кончак с Генькой.

— Витька, где ты?..

Витька вынырнул из-под кровати, уставился на гостей.

— Чего вам?

Кончак сел прямо на пол, по-турецки. Генька примостил-

ся на стуле около двери, снял шапку, пригладил свою серебристую челку.

— Она сказала, что сама споткнулась, — понимаешь?

Витька потер щеткой ножку кровати и ничего не ответил. Генька подтолкнул ногой Кончака; тот придвинулся ближе к Витьке и вдруг разозлился:

— Да брось ты свою дурацкую щетку!.. Понимаешь, пришел директор; Нинка сказала ему, что ты Вальке ножку поставил, а Валька сказала: ничего подобного, что ты не поставил, что ты даже посторонился, пропустил ее, а она сама поскользнулась и упала...

Витьке показалось, что он уже знал это раньше...

— Ну вот, — поблескивая глазами, перебил Кончака Генька, — значит, тебе ничего не будет... Может, на совете отряда поругают за то, что с Пашкой подрался... Только мы скажем... Мы тебя защитим... А про Вальку молчи.

Витька наклонил голову.

— Здорово она расшиблась?

— Ага, еще у доктора сидит. — Кончак поднялся, дернул Геньку за воротник. — Ну, мы пошли.

— И нужно мне было с Пашкой драться! — тоскливо говорил Витька, провожая друзей до двери. — Не дрался бы, ничего бы и не было...

Генька удивленно остановился.

— При чем тут Пашка?.. Он агрессор, узурпатор...

— И воображала, — добавил Кончак. — Правильно, что ты ему навинтил... Только смотри, про Вальку не проболтайся, а то я тебя знаю... Ты можешь...

Витька закрыл за ребятами дверь и несколько минут ходил по комнате, размахивая полотерной щеткой. На сердце была такая легкость.

— Всё в порядке, — ликовал он.

Потом Витька взял в буфете деньги и помчался за хлебом.

В кассу он пролез без очереди: «Тетеньки, мне спешно, мне очень до разезу!» А выскочив из булочной, вдруг столкнулся с Валею.

Голова у Вали была обмотана бинтом, поверх бинта наде-та синяя шапка. Косы с белыми бантами торчали из-под бинтов в разные стороны.

— Ты идешь, да? — оторопело спросил Витька и покраснел так, что кожу на щеках защипало.

Валя остановилась.

— Иду...

Витька переминался с ноги на ногу, шмыгал носом.

Из булочной вышла какая-то женщина, посмотрела на Витьку, засмеялась.

— Вот ты куда торопился! Барышня тебя ждет...

Витька окинул тетку ненавидящим взглядом, сказал: «Это не барышня, а Валя».

Они шли осторожно. Валя на скользких местах держалась за Витькино пальто. А он смотрел на ее забинтованную голову и думал: «Я теперь тебя в обиду не дам...» Вдруг Валя спросила:

— Ты про лосей наврал?

Витька опустил голову.

— Наврал...

— А зачем?

— Не знаю...

Они пошли дальше. Витькина сетка с батоном и половиной круглого хлеба била их обоих по ногам, но Витька так и не догадался взять ее в другую руку.

ШАГ С КРЫШИ



СИНЯЯ ВОРОНА

Было раннее утро. Было тихое небо.

Просыпался город, зажигал пожар звуков. То там брякнет, то в другой стороне фыркнет. Громко, как по наждачной бумаге, метлы шуршат. Горят фонари, потому что их погасить забыли. И солнце светит.

Просыпались помаленьку люди в домах, умывались туалетным мылом.

Витька сидел на крыше, прислонясь к холодной печной трубе, ощущал в карманах тяжелый груз: гвозди, шурупы, ириски «Тузик», отвертку, плоскогубцы и молоток.

Вокруг Витьки размахнулось кошачье приволье — железная городская пустыня до самого горизонта. Небо на краю города стоит стоймя, словно редкая занавеска или стеклянная перегородка, словно оно отделяет город Ленинград от натуральной природы, от лесов, полей и так далее.

— Я вам всем докажу! — говорил-горячился Витька. — Сегодня вы все убедитесь. И Анна Секретарева тоже убедится! Я, может, один такой в природе.

Витька ругал взрослых жителей, и ребят, и свою одноклассницу Анну Секретареву, а вместе с ними собак, и кошек, и прочее живое население города.

— Убедитесь, убедитесь. Точно я говорю. Я не зря на крышу вылез такую рань. И вы, воробьи собачьи, тоже узнаете.

Забегая вперед, можно объяснить, что никто никогда так и не узнал, за каким славным делом Витька Парамонов вылез на крышу, потому что вдруг:

— Каракуты кружевны. Каркаруны каркадары! — произнес кто-то по соседству с Витькой очень серьезным глуховатым голосом.

Витькино лицо поскучнело.

— Громкоговорителей повесили — только хрипят, — сказал Витька. — Я бы починил, но ведь кто заметит, что это я починил? Никто! Хоть и говорят все, что дети — цветы жизни, но на самом деле мы — трава. Нас замечают только, когда мы мешаем.

— Крагли кругли перевертки, — сказал голос. — Носовертки круглокрутки.

Витька крикнул:

— Да заткнись ты!

— Кружит, кружит круглеца лампа дрица хоп ца-ца, — ответил ему голос довольно вежливым тоном и добавил: — Пожалуйста, сам заткнись.

Витькино лицо удлинилось книзу, так как Витькин рот от удивления открылся.

— Что? — спросил Витька.

— Что, да что, да чур-чур со вчера и до вчера, крали, крали...

Витька обернулся круто и увидел на соседней крыше большую синюю ворону.

— Это ты говоришь?

— Это я говорю.

— А ты чего синяя?

— От натуги.

Витька глаза протер, головой покрутил, даже стукнул себя кулаком по лбу в надежде, что ворона исчезнет. Но ворона никуда не исчезла, даже напротив, очень спокойно и равнодушно принялась чистить свои синие перья.

— Ты мне не ври, что это ты говоришь, а то я тебя сейчас гвоздем. Вороны никогда не разговаривают.

— Раз в сто лет разговаривают, — сказала ворона. — И не отвлекай меня, я колдую. Раз в сто лет я колдую. От этого и посинела... Шипит шпынь на шпыня и шпыняет шпыня...

— Я тебе точно говорю, — пробурчал Витька не очень уверенно. — Я сейчас за себя не ручаюсь. Я как дам гвоз-

дем! — Витька вытащил из кармана большой барочный гвоздь-костыль.

Ворона посмотрела на этот костыль круглым презрительным глазом, но на всякий случай подвинулась за трубу.

— И не хлопай глазами, — сказала она. — Ты думаешь, что ты спишь? А на самом деле ты вовсе не спишь. Ткни себе гвоздем в палец!

Витька вытащил из кармана гвоздик поменьше. Ковырнул себе палец. Боль почувствовал. Из ранки капелькой вышла кровь.

— Все натурально, — сказала ворона.

Витька сосал палец и думал в смятении. Раз в сто лет всякое может быть. И почему вороне не разговаривать, если уж она разговаривает, а Витька все вокруг видит в малейших деталях, не как во сне. Во сне всюду можно побывать, но не останется в памяти мелких подробностей. Во сне можно по берегу бежать, но ощущать будешь только свой бег, камушков под ногой не почувствуешь. Видеть будешь и речку, и берег, и дальний лес, но муху на пеньке не увидишь. И не страшно будет. Прыгнешь и полетишь. А сейчас Витьке не то чтобы страшно, но до жути понятно, что сидит он на крыше шестиэтажного дома, и если лететь — только камнем. Если падать — только в лепешку. И муха — вот она. Ползет по трубе. Витька взял и поймал ее для проверки. Муха в кулаке загудела, защекотала ладонь.

— Сомневаешься, — сказала ворона. — Сомневайся. Сомнение, как говорят старшие, приближает нас к истине.

Видит Витька, что краска на крыше давно облупилась. Видит весь квартал внизу и узнает по повадке дворников. А они знай себе шаркают метлами по асфальту и ничего, кроме мусора, не замечают. Для них все люди — неряхи. Разве думают дворники о том, что рядом с ними свершается нечто великое?

— А ты зачем на крышу вылез? — спросила ворона. — У тебя что, бессонница? Нервы?

— Нервы в порядке. Я человек без нервов, — сказал Витька. — От меня весь дом с головной болью, а я хоть бы что. Хочешь ириску?

Ворона сказала «спасибо» и каким-то удивительным образом склевала ириску, даже не помяв фантика.

— А что ты можешь? — спросил Витька.

Ворона пожала плечами.

— Станный вопрос, если я волшебная. Все могу. Превращать могу. Могу превратить в осла, в козла, в муху, в слона и в верблюда. А хочешь — в красавца. Люблю красавцев. В красавца! В красавца!.. — Она замахала синими крыльями, затрещала сухими перьями. Посыпались с перьев голубые искры. — Раскололись небеса, развязали пояса. Краше, краше красота! — закричала она трубным голосом.

Витька прижался к железу, так как почувствовал внутри себя какое-то болезненное движение и перестройку клеток.

— Ты перестань! Перестань! — крикнул он. — Мне в красавца не надо. Ты что? Зачем мне в красавца?

— А что ж тебе надо? — спросила ворона. — Все у тебя есть. Вон ты какой упитанный. Обут-одет. В школу ходишь... И не мешай мне работать. Я один раз в сто лет колдую. Только теряю с тобой драгоценное время. И отодвинься, пожалуйста. Не то превращу тебя ненароком во что-нибудь медное.

— Почему медное? — спросил Витька, нервно пожевываясь.

— Я на медь колдую. Сейчас меди по всей земле мало. Всю медь на памятники извели.

— Не ври! На земле еще много меди!

Ворона глядела на него понимающе. А Витька, как говорится, устыдился и покраснел. «Что бы у этой вороны потребовать? Может, попросить ее, чтобы я стал отличником, чтобы у меня эта усидчивость образовалась? Тогда Анна Секретарева язык прикусит...» Но из всех знаменитых людей, чьи биографии Витька читал и чьи рассказы слышал, отличниками в шестом классе были только шахматисты. «Шахматистом я не хочу», — думал Витька.

Ворона постучала ногой по железу.

— Ну, чего тебе, Витька Парамонов, надобно? Ну, давай спрашивай.

— А чего ты обо мне заботишься? — проворчал Витька. — То — не мешай. То — давай спрашивай...

Ворона почесала грудь клювом.

— Все равно от тебя не отвяжешься. Исполню одну твою просьбу — и с глаз долой, из сердца вон. У меня, брат, время дороже денег. Быстрее спрашивай, не то рассержусь.

«Может быть, речку у нее попросить с песочком желтым, чтоб возле дома протекала, чтобы все ребята купались в ней и ныряли? Речку Парамоновку!» Но тут же сообразил Вить-

ка, что в Ленинграде и без того речек много и в этих речках милиция купаться не разрешает. Витька вздохнул тяжело:

— Слушай, а нельзя ли мне куда-нибудь туда, а?

— Куда туда?

— Ну, туда, подальше. — Витька в голове почесал. — Ты, наверно, и не поймешь.

— Я проникательная — разберусь.

— Родился я, понимаешь, не вовремя. Поздно я, понимаешь, родился. Дел сейчас для меня никаких. Стараешься, стараешься, а никто не ценит. Только ругают. Родителей вызывают...

— Дети есть дети, — сказала ворона. — Наглы, крикливы, смелы. Это возрастное. Это пройдет.

— И смелость пройдет?

— И смелость у некоторых.

— Только не у меня! Эх, родиться бы мне лет на пятьдесят пораньше. Я бы всем показал. Я бы, может, с самим Чапаявым воевал вместе. Острая сабля в одной руке, наган вороненый в другой. На груди орден. А сам весь на лихом коне... А если бы совсем раньше родился, я с д'Артаньяном бы. Я бы, может, сам д'Артаньяном сделался. Шпага в одной руке, пистолет однозарядный в другой, на голове шляпа с пером. Кони подо мной падают, а я вперед скачу. Ура! А эта Анна Секретарева мне раны перевязывает и плачет. И пусть плачет, пусть. Ей полезно.

— Короче, — сказала ворона.

— Я и говорю. А сейчас зола. На Луне никого, и на Марсе никого. Ни новой земли не откроешь, ни подвига не совершишь!

— Еще короче, — сказала ворона.

— Еще короче? Нельзя ли мне куда-нибудь туда? К д'Артаньяну.

— Шуруй, — сказала ворона. — Произнеси заклинание: «Каугли маугли турка ла му, сунду кулунду каракалунду, чурики жмурики черк». Представь время, в которое хочешь попасть, и шуруй.

— Каугли маугли, — поспешно забормотал Витька.

— погоди, погоди. Прежде из карманов все выброси.

Витька все из карманов выложил: и гвозди, и молоток, и отвертку.

— Ириски тоже нельзя?

— Нельзя. И ремень тут оставь. И спички. И ничего с

собой нашего: металлического, пластмассового, бумажного, горючего и прочего. Очень сильные встречные магнитные потоки будут. За параллаксом следи. А когда в искривление пространства войдешь, голову втягивай.

— Каугли маугли турка ла му, — забубнил Витька.

— Постой, постой. Не торопись! — прикрикнула на него ворона. — У тебя язык вперед головы думает. А обратно как?

— Не надо мне обратно!

— Ду-урак ты, братец. — Ворона головой покачала, ногой по железу царапнула. — И заруби на носу — обратно те же слова. Так же представь время, но...

— Что еще?

— Заклинание подействует только тогда, когда ты окажешься в тупике транзитного состояния.

— А как я узнаю-то про этот тупик?

— Как узнаешь? Когда у тебя будут неприятности чрезвычайные, тогда и узнаешь. Это оно и есть.

— Каугли маугли турка ла му, сунду кулунду каракалунду...

Телевизионная мачта пошла плясать по окраинам города. Двести самых ранних трамваев вышли из парков, побежали цветными змейками. Ворона стала ослепительно синей. Витька еще видел Кронштадт в пене белых приближающихся кораблей.

— ...Чурики жмурики черк... Ап... Ап... — Витькой вдруг овладел чох и так засвербил в носу, что все мысли из Витькиной головы вылетели. — А-ап... — Витькина голова стала пустой, как кастрюля в посудной лавке.

И тотчас лохматыми черными хлопьями завинтилась тьма. Сквозь нее, будто фары автомобилей, ринулись стремительные огни. Тьма завинтилась еще круче, стала плотной, подхватила Витьку и понесла.

АНУКА

Витька летел с блаженным зудом в носу. С электрическим треском допались возле ушей огненные полотнища. Мгновенные змеевидные ленты в зеленом сиянии прошивали Витьку насквозь, словно Витька был облаком. Бесчисленные искры

уносились в багряную мглу, порождая звук простой и естественный, как движение ветра в печной трубе.

— Ап...

Скорость полета вызывала в Витькиной пустой голове вибрацию, но самого полета Витька не чувствовал. Все двигалось вокруг и мимо него, а сам он как бы висел на месте.

— Чххи...

В тот же миг светоносные спирали померкли, звук перешел в басовую ноту и устремился вдаль, словно шум уходящего поезда.

Витька еще раз чихнул и затрясся. Его толкнуло в ноги, пихнуло в спину. Повалило лицом в спекшийся мокрый грунт.

Вокруг была чернота.

— Ослеп! — закричал Витька и не услышал своего голоса и языка своего во рту не почувствовал.

— Ослеп и оглох...

Чернота вокруг была влажная, неподвижная.

— А-а-а-а! — закричал Витька, мокрея от страха.

— Аа-аа-аа-аа!! — закричало вокруг. Тьма всколыхнулась, пошла на Витьку многими жуткими голосами. Тоскливый хохот ударил откуда-то собку, пополз на него сиплый давленный кашель.

— Ой, мама, мама, мама, мама... — Витькин голос стал сладким от ужаса. Витька прижался к земле — лоб расцарапал.

И тут услышал Витька слова:

— Кто здесь?

— Я! Я! Караул! Спасите!

— Я не может подняться? Я умирает?

— Нет, я вроде живой! — Витька вскочил на ноги, треснул темечком обо что-то острое. — Ой, убивают!

— Пусть Я выйдет из-под висячих камней.

— Я не вижу, куда идти.

— Я не умеет видеть в темноте?

— Что, я кошка, что ли? — слабея от отчаяния, сказал Витька.

— Анука умеет видеть в темноте лучше кошки.

Кто-то взял Витьку за руку и повел.

Темнота слегка поредела. Витька увидел перед собой невысокого гибкого человечка. Спросил шепотом:

— Ты кто?

Человечек отпрянул от него, выставил перед собой длинное узкое оружие.

— Я не один? Кто еще есть в пещере?

— Чего ты? Чего ты? — попятился Витька. — Я один. Не видишь, что ли? Здесь только мы — ты и я.

Человечек замахнулся своим оружием.

— Я говорит много и непонятно. Пусть Мы и Ты выйдут. Скажи, чтобы Мы и Ты выходили.

— Говорю тебе, я один.

— Тогда зачем Я сказал Мы и Ты?

— А как же сказать-то? Это ж местоимения.

Человечек замахнулся копьём в темноту.

— Анука не боится местоимений! Анука убила столько шакалов, сколько пальцев на обеих руках. Анука убила волка и раненого леопарда. — Она заглянула в самые темные уголки пещеры. Крикнула: — Пусть местоимения выходят!

Не верил Витька, что случается у людей панический страх, а тут вдруг поверил. Поверишь, когда стоит перед тобой некто да еще копьём машет направо-налево, а у тебя при этом даже паршивой рогатки нет.

Ударился Витька в панику!

— Зачем? Не желаю! Караул! Милиция!

Но, видать, на всякое страшное есть кое-что еще пострашнее: возле входа в пещеру раздался такой жуткий звук, словно кто-то толстые листы железа рвет, как бумагу. Рвет и бросает.

Витька лицо в землю спрятал — в голове у него белый снег в черных пятнах.

У входа в пещеру снова зарычало-заскрежетало-завыло.

— Тигр, — сказала Анука.

— Каугли маугли турка ла му! — закричал Витька. Витька торопился, часто глотал слюну и от этого чуть не задохнулся. Он пытался представить кухню, в которой спасался от гнева родительского под бабушкину защиту. И свою родную-дорогую бабушку. Но вместо этого прорисовывались в Витькиной голове всевозможные зигзаги, словно кривой дождь, серый и серо-зеленый. — Сунду кулунду каракалунду, чурики жмурики черк! — Заклинание Витька, может быть, раз двадцать сказал. Но даже с места не стронулся.

У входа в пещеру тигр рыл землю когтями, рыл и швырял.

— Тигр сюда не войдет, — успокоила Витьку Анука. —

Здесь жил пещерный медведь. Здесь очень сильный запах медведя. Тигр никогда не набросится на медведя. — Анука внезапно вскочила и закричала: — Анука не боится тигра с большими клыками. Анука вырастет и убьет тигра.

Витька попятился на четвереньках.

— Чего ты, с ума сошла? Может, он саблезубый, может, он махайрод? Может, он начищает на твоего медведя?.. Тигруша, иди, тигруша, гуляй!.. — закричал он ласковым голосом.

Тигр рывкнул сильно, мол, знайте, кто здесь самый свирепый, зевнул и заскакал куда-то мягким галопом.

— Сейчас будет утро, — сказала Анука. — Пусть Я не боится, тигр пошел спать.

Витьке показалось на миг, что он муравей на асфальте. Что сейчас опустится на него чей-то сапог.

— Каугли маугли...

В его мозгу появилась наконец нормальная мысль — почему же он здесь оказался?

— Чертова ворона, безмозглая птица. Что я в этой пещере делать стану? Больно надо. Всю жизнь мечтал.

Вдруг задрожала земля. Зазвенели в пещере каменные сосульки.

— Мамонты, — сказала Анука.

«Пулеметик бы хоть какой, — подумал Витька, — лучше бы крупнокалиберный...»

Анука тронула его за плечо.

— Пусть Я не боится. Мамонты людей не едят.

— Мне уже все равно. Ворона чертова. Каугли маугли. Легко ей говорить — турка ла му. Вообрази время, в которое хочешь попасть, и шуруй. А если я и мигнуть не успел. А если мне чихнуть захотелось. Ну, попадись ты мне в следующий раз — чурики жмурики...

— Я говорит непонятно. Чего хочет Я?

— В другое время хочу. Я не туда попал.

— Сейчас рассвет. Будет день.

— А-аа... — Витька махнул рукой. — Все равно я попал к дикарям. Больно надо.

Анука выпрямилась. Даже в темноте было видно, что у нее очень гордая поза.

— Хапы не дикари. Хапы самый сильный, самый умный род в саванне.

«Говори, говори, — печально подумал Витька. — Еще

никто в жизни на отсутствие ума не жаловался. Все умные! И я хорош — чего я теперь делать-то стану?»

В пещеру полился розовый свет. Тьма отпрянула, ушла в углы, легла за камнями. Свет раскалялся, бурлил в проходе, падал сверху сквозь узкую щель сверкающим ливнем. В нем играла, переливалась вековая хрустящая пыль, сбита с места потревоженными мышами.

Витька увидел сталактиты. В теплых лучах они казались влажными живыми клыками, а вся пещера — разверстой горящей пастью. Витька увидел белые кости — остатки медвежьих пиров. Анука, она оказалась девчонкой с косматыми черными волосами, стояла на коленях посередине пещеры, смотрела на солнце и говорила голосом леса:

— Верхние люди не забывают людей земли. Анука соберет сладкие ягоды для людей неба.

На девчонке была леопардовая шкура, тонкая шея схвачена ожерельем ярко-красных блестящих плодов. Возле смуглых коленок лежало короткое копье с острым каменным наконечником.

— Почему Я не благодарит верхних людей? Люди неба каждое утро зажигают большой огонь, чтобы согреть землю.

— Иди ты, — проворчал Витька. — Обыкновенное солнце. Светило. Раскаленные газы.

Анука вскочила. Закричала голосом быстрой реки:

— Пусть Я замолчит! Верхние люди, не слушайте Я, Я лишился рассудка.

Витька пожал плечами, сплюнул и почесался. При свете солнца девчонка выглядела не очень опасной.

— Дура ты. Тигра не побоялась, а солнца боишься.

Анука рассматривала его тревожными, широко распахнутыми глазами. Потом она робко шагнула к нему, потрогала за рукав.

— Откуда Я взял такую гладкую шкуру?

— Сукно, — сказал Витька.

Анука кивнула.

— Я убил сукно и снял с него шкуру. Анука никогда не видела людей с такой серой кожей. Где живут серые люди?

— Сукно, говорю. Материя. Чего глаза выпучила? Материя обыкновенная.

— Хапы убили много врагов, — сказала Анука. — Хапы никогда не снимали шкуры с убитых. Такое у хапов не принято... К какому роду принадлежит Я?

Сам по себе вопрос не был ни злым, ни ехидным, но Витька сразу почувствовал себя в ответе за все современное человечество.

— Я человек! — закричал он. — Человек я! А ты обезьяна, дура, макака!

Анука не обиделась, удивилась только.

— Почему Я кричит? Почему Я зовет обезьяну и дуру? Зачем Я надел эти копыта?

— Это ботинки! Что, ботинок не знаешь?

Витька сел, стиснул свою бедную голову ладонями. «Откуда ей знать ботинки». От этой мысли страх из Витьки совсем ушел. Вспомнил Витька, что не позавтракал сегодня. В глазах у него самопроизвольно возникли котлеты и яичница солнцеподобная.

— Ой, мама, мамочка, мама... — Витька вздохнул сокрушенно. — Проклятая ворона, не могла, что ли, предупредить? Я небось в первый раз, неопытный еще. А она, эта ворона окаянная, небось сто лет прожила, могла бы намекнуть, мол, не торопись — дело новое, необыкновенное. А она даже ириски отобрала. — Витька снова вздохнул — ах, жизнь! — и посмотрел исподлобья на доисторическую девочку.

Анука стояла перед ним в вольной спокойной позе.

«Ишь ты, дикариха, а красивая. Если бы она у нас в классе училась, я бы, пожалуй, дружил с ней. Не то что Анна Секретарева с задранным носом».

— Чего глаза-то выпучила? — сказал Витька.

— Анука пойдет на охоту. Я умеет охотиться?

— Я умею читать про охоту.

— Что?

— Рисовать, — сказал Витька грустно.

— Что?

— Что я умею, тебе даже и вообразить недоступно в твоём темном мозгу. Приемник на транзисторах могу собрать.

— Это едят?

Витька поперхнулся и закричал:

— Не хлебом единым жив человек! Я на велосипеде кататься умею, на мотоцикле и на коньках! Чучело ты ископаемое. Макароны умею варить! — После макарон Витькина речь оборвалась. Открылось ему внезапно, что лишился он силы вещей, которые отчасти и делали его человеком.

Анука нетерпеливо ногой топнула.

— Что Я умеет делать?

— Тише ты, — сказал Витька печально. — Не напирай. Я должен подумать... Рыбу ловить умею!

Анука заулыбалась.

— Пусть Я поймает рыбу.

— Давай удочку.

— Я опять говорю непонятно.

Витька встал, показал ей, как закидывают крючок, как подсекают рыбу. Анука следила за его действиями, наморщив лоб.

— Удочку давай, говорю. У-доч-ку. — Витька почесал голову. — Впрочем, для тебя что удочка, что ракета — все равно туман. Заря человечества. Каменный век. Не умею я рыбу ловить без крючка. Ничего не умею! И отстань от меня. Может, я с голоду хочу умереть. — «Ну и попал, даже подзатыльник нельзя дать — копьём проткнет». — Тебя бы к нам. Мы бы тебе показали человек. Увидала бы самолет, сердце бы от страха лопнуло.

— У Ануки нет страха. Анука не кричит «Ой, мама, мама, мама!» Человеки очень отсталые люди. Человеки ничего не умеют.

— Отцепись! Отцепись, говорю! — Витька бросился к выходу из пещеры. Анука догнала его в два прыжка. Схватила за шиворот.

— И не держи! — вопил Витька. — Я сейчас выскочу. Пускай меня тигр сожрет! Пусть меня мамонт затопчет!

В пещеру текли запахи трав. Солнце стояло как раз против входа, будто пылающая заслонка, которую отодвинь — и выйдешь в иной мир, привычный и безопасный.

Витька вырвался из цепких девчонкиных рук, шагнул было вперед, но тут перед ним в ослепительном солнечном жгучем потоке возникла четвероногая тень. Два прямых острых рога торчали над нею. И она двигалась прямо на Витьку.

Анука толкнула его за камень. И Витька почувствовал, сколько силы в ее тонких руках.

— Пусть Я молчит, — прошептала Анука, сжав копьё побелевшими пальцами.

Низкоплечий, скуластый воин тащил на плечах раненого. Два копья торчали над ними. Два дубины, тяжелые и суковатые, и два каменных топора свисали к земле. Воин положил раненого, подsunул ему под голову камень. Раненый приподнялся, прошептал хрипло:

— Зачем Тых принес Тура в пещеру? Тур враг Тыха. Тур

из племени хапов. Тых из племени хупов. Хапы и хупы воюют.

Низкоплечий скуластый Тых запустил обе руки в черные волосы. Казалось, он хочет раздвинуть черепные кости, чтобы дать своим мыслям свободу.

— Пещерный медведь повалил Тыха. Тур медведя убил. Тур спас Тыха. Тых не может убивать Тура.

— Война есть война. Тых знает закон войны?

Тых закрутился на месте, размахивая дубиной.

— Лучше оставить жизнь волку или леопарду, чем воину из враждебной орды. Хап, которого хуп не убил сегодня, придет завтра, чтобы убить хупа. Так было всегда.

— Тых знает закон людей?

— Знает, — прорычал Тых. Мускулы на его плечах вздулись. — Люди иных племен ненавидят друг друга больше, чем носорог ненавидит мамонта, — сказал он, почти задыхаясь.

— Тогда убей Тура.

Тых замахнулся дубиной, зарычал дико. И грохнул дубиной о соседний камень так, что твердое дерево лопнуло. И сказал изумленно:

— Тых почему-то не может.

Новое чувство пугало его. Он, наверно, страдал, слушая, как ширилась и добрела его дремучая душа.

И вдруг словно лопнул тонкий висячий камень.

— Тых из враждебной орды! Анука убьет Тыха! — Анука вскочила, замахнулась копьем. Но метнуть копье не успела — на ее руке повис Витька.

— Что ты делаешь? Они же нас, как клопов, — одним пальцем!

Тых прыгнул к камню, схватил их обоих и приподнял.

Витька увидел каменные бугры его мускулов, густую гриву волос, крепкие, свисающие козырьком брови.

«Все, — тоскливо подумал Витька. — Задавит...»

Воин бросил их на землю.

— Дети лягушек! Тых не воюет с детьми. Когда Тых был ребенком, дети не совалили в раздоры взрослых. Дети почитали воинов и охотников, как шакалы почитают тигра. Сейчас дети отрастили длинные языки.

В этих словах Витька уловил что-то знакомое, видимо, вечное, но не успел обдумать и сообразить что. Анука вскочила, гордо вскинула руки над головой.

— Анука не дочь лягушки! Отец Ануки — вождь хапов

Гы! — Она трижды подпрыгнула на одной ноге и трижды выкрикнула: — Хапы будут владеть саванной!

— Пока еще хапы не завладели саванной, Тых оттакает Ануку за уши. — Тых попытался это проделать. Но Анука отскочила, едва коснувшись ногами земли.

— У Ануки сердце рыси, ноги оленя, глаза ястреба. Пускай Тых сначала догонит Ануку, потом угрожает.

Воин даже и не взглянул на девочку. Он рассматривал Витьку, как рассматривают люди зверька незнакомой породы, не зная, что ожидать от него, — а вдруг он тебе в глаз какой-нибудь гадостью брызнет.

Витька млел от смущения.

— Здравсте, — сказал он, шаркнув ногой. — Я с вами вполне солидарен — она много хвастает. Не мешает нащелкать ей для порядка.

Воин ему не ответил, только лоб сморщил, будто гармонист сомкнул у гармошки мехи. Витька облизал пересохшие губы.

— Я тут случайно... Пролетом...

Тых пощупал Витькину тужурку.

— Школьная форма, — сказал Витька. — Одежда.

Тых посмотрел ему на ноги. Витька съежился.

— Ботинки — кеды. Я уже объяснял товарищу, — он кивнул на Ануку. — П-популярно рассказывал.

— Из какого племени Я? — спросил Тых.

Анука засмеялась, задергалась, словно ее щекотали.

— Я из племени человеков. Человеки еще не научились выражать свои мысли. Человеки не страшны хапам и хупам.

Тых посмотрел на Ануку, словно учитель, попавший впропуск.

— Пусть Анука подождет, пока ее спросят... Тых не слышал про человеков. Может быть, Тур слышал?

— Тур не слышал, — прошептал раненый. Глаза его были закрыты. На смуглых щеках уже появился серый налет. — Тур хочет мяса.

Витька почувствовал тревогу при слове мясо. И не зря он ее почувствовал, и вполне своевременно.

Тых смотрел на него остановившимися глазами.

— Охотник и воин не может без мяса, — бормотал он, плотоядно облизываясь. — Тых не ел со вчерашней зари...

В черных его глазах Витька заметил голодный блеск. «Сожрут, как кильку, с костями». Витька прыгнул за камень.

— Не ешьте меня, я невкусный!

Кому хочется погибать так бесславно. Принялся было Витька выкрикивать заклинания, но тут раздался Анукин голос. Звенело в нем бесстрашное возмущение:

— Разве хупы едят людей?!

Тых ответил с досадой:

— Теперь не едят. Хупы не берегут хороших традиций. — Он шмыгнул широким носом и вдруг спросил: — А что люди едят? Раз они такие отсталые. — Тых даже и не старался скрыть простодушной надежды. — Человек человека ест?

— Что вы, что вы! — закричал Витька. — Мы травоядные. — В солнечном луче возле камня росла мелкая травка. Витька сорвал ее, принялся жевать. — Травоядные мы. Растительные. — И он улыбался, пуская зеленые горькие слюни. Анука поморщилась.

— Я умеет питаться травой. Я сын козла.

— Остришь, да? Пользуешься? Моего отца зовут Аркадий. Он кузнец на заводе. — В Витькином мозгу нарисовался отец в кресле с журналом «Наука и жизнь». Отец хотел, чтобы Витька стал кибернетиком. Мама хотела, чтобы Витька стал биологом. Бабушка — чтобы Витька счастливым был. — Не понимаете вы, — сказал Витька. — В растительной пище есть витамины.

Тых пощупал Витькины мускулы, согнул его руку, постукал ему по груди, отчего Витька закашлялся.

— От травы у людей не бывает силы. От травы бывает нежное мясо. Когда Тых был ребенком, люди иногда позволяли себе...

— Сейчас другое время! — твердо сказала Анука.

— Все течет, все изменяется. — Тых неохотно выпустил Витькину руку. — Пещерного медведя сожрали гиены. Есть нечего. Анука пойдет на охоту с Тыхом?

— Нет, — сказала Анука. — Тых враг.

— Когда Тых был ребенком, дети почитали за счастье пойти на охоту с настоящим охотником. Сейчас дети о себе много думают. Анука не хочет принести пищу раненому?

Анука опустила голову, пожевала немного свое ожерелье из ярко-красных плодов и забормотала, спрятав глаза в стреловидных ресницах:

— Тур научил Ануку метать копье. Тур научил Ануку

считать добычу по пальцам. Научил находить плоды и съедобные корни. Научил выделывать шкуры животных. Анука пойдет на охоту с Тыхом. Анука добудет еду для Тура.

Витька снова подумал, что эта Анука девчонка совсем не плохая, даже, можно сказать, хорошая. А если бы ее подучить немного, то и совсем была бы что надо.

— Ты не бойся, — сказал он. — Днем хищные звери не ходят. Днем хищные звери спят. А какую-нибудь паршивую антилопу, так ее ведь можно в два счета...

Когда они ушли, Витька принялся слоняться по пещере туда-сюда. Он поддавал ногой мелкие камушки и блестящие белые кости. Скоро ему это надоело. «Что, я век буду тут сидеть?»

Выскочил Витька наружу. Поначалу он видел все вокруг смутно и неприязненно. Мамонты шли в высокой траве, темно-бурые, словно горы парной земли. «Приручить бы этих скотов: умные твари, сильные...» Вдали проскакали лошади, низкорослые и косматые. «А этих-то обязательно. Вокруг пещеры вал насыпной, частокол от врагов. Со временем избы построим. Поля, конечно. Пшеницу!...» Возникали в Витькиной голове картины великих преобразований. И посередине новой счастливой жизни, на центральной площади возле Дома культуры увидел он статую в школьной форме на лихом коне.

— Да, — сказал Витька ответственным голосом. — Многое предстоит сделать. — И он направился обратно в пещеру, так как переполненная его душа искала общения.

Раненый Тур стонал. Выгибался.

— В груди у Тура зима, — хрипел он.

— Кофею бы или бы чаю. Вам согреться нужно. Горячего выпить. Почему они не развели костер? — спросил Витька.

— Что такое костер?

— Ну, огонь, чтобы чай вскипятить. Костерчик.

— Тур не понял всего. Тур понял, что Я говорит об огне, будто огонь младший брат Я. — Последние слова Тур произнес едва слышным, затухающим голосом.

— Никак умер?.. Анука! Анука! Тых! Где вы? — Витька выбежал из пещеры.

— Ану-ука-а!!! Ану-ука-а!!!

Мамонты, проходившие мимо, повернули головы. Глаза у них были голубые и тихие. Они подняли хоботы и затруби-

ли. Заревели в кустах зеленые носороги с розовыми глазами. Закричали зебры и антилопы. Заверещали обезьяны на ветках.

В этом шуме и гаме услышал Витька скрипучий голос позади себя:

— Ты чего это панику поднимаешь?

На иссохшей кривой сосне сидела ворона — синяя.

— А-а, — сказал Витька. — Вот ты где, старая карга. Ты что наделала? Я куда просился? А ты меня куда загнала? Колдуй обратно.

— Я вас в первый раз вижу, — сказала ворона. — Вы, дорогой, что-то путаете.

— Ничего не путаю. Колдуй обратно, не то я тебя камнем...

— Крах, — сказала ворона. — Крум, крам, крупс... Та ворона была другая. Она еще не родилась. Она еще через пятьсот тысяч лет родится. Вы подождите. — Она поднялась с ветки, потянула на тяжелых крыльях к лесу, но воротилась вдруг и, кружась над Витькиной головой, сказала: — Мне представлялось, что в будущем люди будут вежливыми. Для людей очень важно стать вежливыми... Крах, крах! — И уселась на ветку. — Почему это я должна улетать? У меня дело. Я сейчас на огонь колдую. Тепло людям нужно. Без тепла люди — звери.

Витьку словно электрический ток ударил. Он бросился обратно в пещеру.

— Кремень нужно и еще другой, какой-то шпат. Нам же Костя-вожатый показывал. Еще мху нужно сухого. — Витька набрал мху в расщелинах, наломал смоляных можжевельных веток, надергал сухой травы и принялся кружить по пещере. Он поднимал камень за камнем, ударял ими друг о друга и отбрасывал.

— У них же кремневые наконечники!

Витька поднял тяжелое копье Тура.

Зазубренный клиновидный осколок маслянисто поблескивал.

И кто бы подумал, что этот паршивый камень положит начало цивилизации? Витькой овладело волнение — лоб вспотел, даже уши вспотели.

— Сейчас, сейчас...

Сыромятные ремни поддавались с трудом. Витька перебивал их попавшимся под руку камнем. Сколько открытий

сделано так вот — случайным ударом. Он стукнул камнем по наконечнику. Посыпались искры.

— Ура! — сказал Витька. Еще раз ударил камнем по наконечнику, снова посыпались искры.

— Огонь, — услышал он сдавленный шепот. — Я спрятал огонь в эти камни? — Раненый Тур попытался подняться. В глазах его чернел ужас. — Огонь бросается с неба. Огонь не боится мамонтов и носорогов. Огонь не боится пещерных львов...

— А чего ему бояться. — Витька ухмыльнулся великодушно. — И вы не бойтесь. Привыкнете. Все дикари так огонь добывали. Примитивно. — Он протянул камни Туру.

— Холодные, — прошептал Тур. — Как огонь туда влез?

— Никуда огонь не влезал. И нет там огня. От удара искры летят.

— Я говорит непонятно. Тур сам видел огонь.

Витька отобрал у него камни, ударил ими друг о друга. Тур отпрянул.

— Не бойсь, — Витька пошлепал воина по плечу, — сейчас мы костерчик запалим. — Ударил раз, ударил два. Искры сыпались из камней фейерверком, но мох не загорался. — У Сереги со второго раза вспыхивало. — Витька ударил еще раз, еще раз пятнадцать.

Наконец маленький красный жучок слабо зашевелился в траве. Витька принялся на него дуть легонько. Жучок превратился в змейку, свернулся в клубок и прынул. Трава занялась, затрещала.

— Это будет вроде бы подвиг открытия, — сказал Витька, обмякнув от самодовольства.

Раненый Тур, преодолевая боль, с искаженным от страха лицом уползал за камень. Витька схватил его за ногу.

— Ты куда?

— Огонь, — шептал Тур. — Огонь пожирает все на своем пути. — И он пополз дальше.

— А еще лучший воин!

— Против огня бессильны лучшие воины.

Витька тянул Тура за ногу.

— Стой! Замри!.. Не то превращу в головешку! И не вздумай убегать. Турка ла му... — Витька утер пот со лба. Подбросил в огонь хворосту.

Тур еще больше съежился. Лицо его, суровое, узловатое, как сплетенье корней, сейчас было растерянным и беспомощ-

ным. Когда огонь разгорелся по-настоящему, когда наполнил пещеру теплом, Тур сказал:

— Огонь не движется. Я приручил огонь. Я великий воин.

— А как же иначе. — Витька плечи расправил, принял подобающую случаю позу. — Кое-что проходили. — Витька прыгнул через огонь, подставил теплу грудь и живот. — Не бойсь, не бойсь, — говорил он. — Подползай.

Придерживая рану, Тур поклонился Витьке, потом бросил в огонь веточку. Радость вспыхнула на его лице.

— Огонь не трогает Тура. Огонь берет пищу из рук... Старики говорят, кому удастся приручить огонь, тот покорит все соседние племена. — Вдруг лицо его потускнело, словно покрылось ржавчиной. — Но однажды огонь выскочит и пожрет победителей. Люди исчезнут, звери исчезнут. Только гады в болотах останутся жить да рыба в глубокой воде... — Тур устал, он дышал тяжело и все опускался к земле.

В пещеру вошли Тых и Анука. Тых нес на плече косулю, Анука тащила большую связку плодов и корней. Увидев костер, Тых выронил свою ношу. Анука спряталась за него.

— Пусть Я выбросит огненные камни, — говорил Тур. — Будет большая война... Тур знает...

— Темнота! Огонь — начало цивилизации. Огонь будет согревать людей. Я научу вас варить пищу и обжигать горшки, — развалясь и посвистывая, объяснял ему Витька.

— А сколько будет смертей?

Витькина поза стала менее уверенной.

— Потому что друг другу не верят, — сказал он вдруг решительно и угрюмо.

Оправившись от первого потрясения, Тых и Анука приблизились, но все же остались стоять на почтительном от костра расстоянии.

— Привет! — сказал Витька. — Пока вы охотились, я тут вон чего сделал. — И он простер над костром руку.

Тых поклонился.

— Я великий воин. — Он положил перед Витькой косулю. — Пусть Я возьмет себе лучшую часть.

Анука протянула Витьке плоды и корни.

Витька взял их великодушно.

— Ну что — сердце рыси, ноги оленя. Человеки тоже кое-что умеют. — Витька выхватил из костра головешку. Анука взвизгнула, бросилась на землю.

— То-то, — сказал Витька. — Проси прощения.

— Анука обидела Я. Анука больше не будет, — сказала Анука смиренным голосом.

Витька швырнул головешку в костер.

— И не воображай. Подумаешь, убила раненого леопарда. Он, может быть, сам издох.

Анука осторожно бросила в огонь веточку. Тых завистливо чмокнул.

— Дети быстрее привыкают к новому, — сказал он и, пересилив в себе что-то этакое, тоже принялся бросать ветки в костер. Он выбирал ветки поменьше и, когда бросал, всякий раз отскакивал и пыхтел. Витька навалил поверх огня хворосту. Костер загудел. Витька посмотрел на Ануку грустно и снисходительно, как, наверно, волшебник смотрит на фокусников.

«Я их вроде уже люблю, — подумал Витька. — Вот ведь дикари, а тоже славные ребяташки». Картины прогресса прорисовывались в его воображении с такой дивной силой, что на миг Витька задохся.

— Я, если захочу, я вам порох придумаю.

Анука смеялась. Махала над головой факелом.

— Анука научится зажигать костры! — кричала она.

Тых тоже взял головешку.

— Огонь не трогает Тыха! Тых держит в руках огонь! — вопил он.

Тых и Анука раскачивались, стоя на коленях. Так, раскачиваясь, они встали на ноги и пошли плясать вокруг костра, выкрикивая гортанные звуки.

— Пусть Я уничтожит огонь, — повторил раненый Тур. Его голос был слаб. Голос его был неслышен.

Наконец Тых и Анука отплясали свое. Швырнули ветки в костер. Отдышавшись немного, Тых разрубил каменным топором тушу. Анука схватила кусок пожирнее. По ее рукам текла кровь. Анука вгрызлась в грудинку до самых ушей, как в ломоть арбуза. Витька сморщился.

— Дикари. Зачем же я огонь разводил? — Тыховым топором Витька нарубил мелких кусочков помягче, наткнул их на ветку и принялся на костре жарить. По пещере пошел вкусный запах.

— Что делает Я? — Ноздри у Ануки раздулись. Она вдыхала запах и жмурилась.

— Мясо жарю... Соли бы еще. Знаешь, что такое соль?

— Белые прозрачные камни, которые люди любят лизать.

— Вот и давай мне соль. Только давай не облизанную. Анука сунула руку за пазуху, вытащила матовый соляной кристалл. Подала Витьке. Тых тоже вытащил соль.

И когда мясо поджарилось и даже по рваным краям слегка подгорело, Витька понюхал его блаженно. Снял кусочек. Обжигая пальцы и дуя на них, побросал с руки на руку, чтобы остыло. Посыпал солью и запихал в рот.

— Вкуснотища!

Анука медленно, сдерживая нетерпение и не отводя глаз от Витькиного рта, начала приплясывать и колыхаться. Пещеру заполнил негромкий урчащий звук, это Анука запела голосом живота, почуввавшего наслаждение.

Витька снял еще кусочек, остудил немного, посыпал солью и протянул Туру.

— Попробуйте... — Другой кусок Витька подал Тыху и лишь последний — Ануке, как самой младшей.

Наверно, с минуту в пещере слышались изумленные вздохи.

— Еще не то будет, — говорил Витька, выпячивая грудь. — Котлет нажарим. Горшки научитесь обжигать. Металл плавить. Варенье варить...

Тых давно уже проглотил мясо. Но все еще не мог прийти в себя от восторга. Он облизывал пальцы, ловил ноздрями слабевший запах. Потом вдруг вскочил, насадил на копье целый окорок — сунул его в огонь. От костра пошел густой запах кухни.

— Я вас еще злаки выращивать научу. Заводы построим. Будете трудиться все, как один. Труд сделал человека!

Анука повесила на Витьку свое ожерелье. Простерла руки вверх.

— Анука поняла: человеки — верхние люди!

Витька уселся на камень повыше.

— А что, если разобраться, то человеки, конечно, верхние люди.

Тур и Тых распростерлись вниз, задрожали почтительно.

— Расскажи, как живут человеки? Человеки всегда едят мясо с огня?

— Всегда. И котлеты жарят... Бабушка как нажарит котлет — по всему дому запах. Даже соседи слюнки пускают... Встанешь утром — зарядку сделаешь, умоешься в ванной, зубы, конечно, почистишь, а на столе уже блины со сметаной, а хочешь — с вареньем. В школу придешь, поучишься,

поучишься, а на большой перемене — в буфет. Из школы придешь — щей кислых навернешь, погуляешь, в футбол по-стукаешь — и снова — ужин. Я на ужин котлеты люблю, я вообще котлеты предпочитаю.

— У верхних людей в каждой пещере огонь, — сказала Анука.

— Ну да, электрический.

— Анука глядит в небо по вечерам и видит, как верхние люди зажигают огни в своих пещерах. Наверно, готовят котлеты. А вокруг большого ночного огня, наверно, сидят и беседуют после удачной охоты.

— Очень похоже. — Витька кивнул. — И еще ездят друг к другу в гости. Сядут в автобус и поедут. Или ходят в кино и в театр.

— Анука хотела бы попасть к верхним людям.

Витька захохотал.

— Ишь ты. Для этого помереть нужно — короче, пройти эволюцию.

— Анука помрет! — Анука вскочила, схватила копье и наставила его прямо себе в сердце. — Анука хочет котлеты предпочитать!

Витька схватил ее за руки.

— Ты брось. Эволюция — это тебе не фунт изюма. Это процесс... Короче говоря — брось копье!

Тур и Тых стучали зубами от страха.

— Я великий воин! — вопили они. — Я научит людей обжигать горшки!

И никто не увидел, как в пещеру прокрался косматый лоснящийся парень в волчьей шкуре. Минуту пришелец с испугом смотрел на огонь, потом поднял дубину, норовя обрушить ее на Тыха.

— Тых, берегись! — крикнул Витька, он первый увидел пришельца.

Тых обернулся, ловко отпрянул от падающей на него дубины. Два неистово злобных тела, рыча, покатались по земле.

— Они задущат друг друга!

Анука выхватила из огня головешку, просунула ее между дерущимися. Тых и пришелец отпрянули друг от друга.

— Зачем пришел Глум? — спросила Анука.

— Вождь послал Глума искать Ануку. Вождь придет в ярость, когда узнает, что Анука сидит в пещере с людьми из чужого племени.

— Здесь Тур.

Только сейчас пришелец заметил Тура. Он подошел к нему, приложил почтительно руку к груди и вдруг закричал, вновь схватил оброненную дубину:

— Кто ранил Тура? — Он замахнулся, готовый кому-нибудь расколоть голову.

Тых поднял топор и опустил его медленно.

— Для воина радость убить врага, — сказал он. — Но сегодня Тых почему-то убивать не хочет.

Тур улыбался своим мыслям:

— Тур дрался с пещерным медведем. Тых помог Туру. Пусть Глум сядет к огню. Пусть попробует его тепла. Пусть попробует мясо, которое облизал огонь. Пусть будет мир в этой пещере.

Парень посмотрел на раненого темным непонимающим взглядом. Привыкший подчиняться, он сел к огню.

— Еще не было такого, чтобы хуп помог хапу. Может быть, в людях что-то испортилось?

Анука дала ему мяса с огня.

Они сидели все вместе и снова с восторженным изумлением жевали.

— Глум никогда не ел такого вкусного мяса. Кто научил Ануку есть мясо с огня?

Анука показала вверх, на Витьку.

— Я научил, — сказал Витька с подобающей случаю скромностью. — Я вас еще и не тому научу. Я еще научу вас щи варить.

Глум упал на колени, почтительно покрутил головой. Потом он долго смотрел в костер, то вытаскивал из огня недожаренный окорок, то горящую головню. Поразмыслив, он взвизгнул, схватил горящую головешку:

— Хапы будут владеть саванной! — и, гогоча, бросился вон.

— Так поступают шакалы, — завыл Тых. — Тых тоже возьмет огонь. — Он выхватил из костра головню. — Хупы будут владеть саванной!

Тур распростерся перед Витькой.

— Я видел? Будет большая война. Люди еще кровожадны и дики, люди еще не готовы владеть огнем.

«Опять за свое», — подумал Витька.

— Ерунда. Они не умеют сохранять огонь в пути. Эти головешки у них погаснут. Их нужно от ветра прятать.

Стоявшая в растерянности Анука выхватила из костра головешку.

— Анука быстра и бесстрашна. Анука сохранит огонь в пути. Хапы будут владеть саванной.

Костер зачах, развороченный.

— И у нее погаснет, — сказал Витька. — Весь костер расхватали.

Раненый Тур поднялся.

— Пусть Я уничтожит огонь. Пусть огонь не достанется никому.

— Что вам жалко, что ли? Пусть варят мясо, согреваются в стужу.

— Я не знает людей, хапы хотят быть сильнее хупов. Хупы хотят быть сильнее хапов. Люди никогда не признают, что они равны.

— Люди не могут жить без огня!

Тур взял копье, которое позабыла Анука.

— Пусть Я убьет огонь!

— Ни за что! Огонь нужен людям.

Тур замахнулся.

Витька растегнул на груди рубаху.

— Ну, протыкай! Прометей тоже протыкали такие! — Витька думал, что погибать довольно обидно, никто и не узнает, как ты погиб, и не отметят в истории. Витька забормotal: — Каугли маугли турка ла му.

— Человеки воюют? — вдруг спросил Тур.

— Воюют! — крикнул Витька.

— Как же так? Разве человека не хватает еды?

— Да протыкай ты! — крикнул Витька и еще быстрее забормotal: — Каугли маугли турка ла му...

В пещеру вошла Анука с черной головешкой.

— Огонь умер, — грустно сказала она. — Анука сохраняла огонь на груди. Но ветер унес его. — Она увидела Тура с занесенным копьем. — Тур хочет, чтобы Я ушел назад, к верхним людям?

Тур плюнул, опустил копье.

— Н-не п-проткнул, — пробормotal Витька. — З-зна-чит, т-ты не прав...

В пещере загудело, завывало. Глум и Тых с черными головешками бросились к костру, который уже едва тлел. Они отнимали друг у друга огонь и кусались. Они затоптали костер совсем, а когда затоптали, уселись рядом и

принялись выть от обиды. Они толкали друг друга локтями и выли.

— Глум, сын шакала, убил огонь.

— Тых, жалкая гиена, убил огонь.

Витька смеялся.

— Ой, чудак, — сипел он. — Да я вам сколько хочешь огня навышибаю.

Свет в пещере заколебался. Заслонив вход громадным телом, величественно вошел вождь хапов Гы.

— Где тут огонь? — спросил он.

Гы был страшен. В львиной шкуре, весь увешанный клыками диких зверей. Этих клыков было так много, что колени вождя слегка подгибались от тяжести.

— Гы спрашивает, где тут огонь? — повторил он голосом бури.

— Огонь умер, — клацая зубами и кланяясь, ответил ему Глум.

Анука хвастливо шепнула Витьке на ухо:

— Мой папаша.

— Кто приручил огонь? — спросил Гы голосом льва.

— Я, — сказал Витька.

Гы повернулся к нему, ударил в грудь, как в железную бочку.

— Я отдаст огонь хапам. — Гы подпрыгнул, издав воинственный клич. — Хапы будут владеть саванной.

Раненый Тур встал перед вождем.

— Огнем не должен владеть никто.

Гы подпрыгнул от удивления.

— Тур говорит, как враг.

— Огонь принесет беду. Тур не хочет, чтобы хапы и хупы убивали друг друга. Слишком много стало смертей на земле.

«Похоже, что он совершает подвиг», — тоскливо подумал Витька.

Гы схватил раненого за грудь.

— Тур обезумел. Огонь принесет победу! Тур видел, как этот серый Я добывает огонь?

— Тур видел. Тур знает эти камни. Но Тур не скажет! — Раненый воин повернулся к Витьке. — Пусть Я молчит тоже.

— Молчу, молчу, — сказал Витька.

Гы шагнул к нему, выпятив грудь. Но Тур снова встал на его пути.

— Гы не посмеет обидеть Я, иначе на землю спустятся верхние люди.

Гы зашипел от злобы. Вдруг он поднял дубину и замахнулся на Тура.

— Тур лучший воин хапов! — крикнул Глум.

— Тур был лучшим воином. Сейчас Тур — пища для гиен.

Тур защитил голову рукой, но удар был так силен, что он не устоял на ногах. Глум над ним наклонился.

— Тур ушел. Тур замолчал навсегда.

Вождь Гы осторожно приблизился к Витьке.

— Гы никого не боится, — сказал он, оглядываясь. — Если Я не скажет, Гы убьет Я, и дело с концом.

— Гы не имеет мозгов, — прошептал раненый Тур. — Если Гы убьет Я, Я уйдет к верхним людям и уже никогда не вернется, чтобы учить хапов.

— Молчи! — голос Гы как обвал. — Разговорчивая падал! — Вождь метнул в Тура дубину.

— Все, — прошептал Витька. И вдруг бросился на вождя в комариной отваге: — Фашист ты паршивый! — и укусил его за ногу.

— Гы убил своего лучшего воина. Гы действительно не имеет мозгов, — сказал кто-то насмешливо.

В проходе стоял вождь хупов Крам. Из-за его спины выглядывал Тых. Крам огромный, как Гы. Клыками увешанный. Крам не в львиной, а в тигровой шкуре.

Он подошел к Витьке, уважительно поклонился.

— У хупов отличные мягкие шкуры. У хупов есть зубы волка, медведя и леопарда. Я сделает из этих зубов ожерелье. Я будет помогать вождю. Я станет получать лучшую долю охоты. — Он взял из рук Тыха шелковистую красную шкуру, накинул на Витьку и сцепил ее лапами, чтобы она не спадала. — Я будет кушать самое нежное мясо. Спать на ароматных травах.

Гы опомнился, взревел.

— Хапы получают огонь!

Вождь хупов Крам ловко отбил его дубину своей и опять улыбнулся Витьке.

— Надеюсь, Я видит, кто его друг?

— Крам говорит, как лиса. Все лисы трусы — все хупы лисы.

Палицы двух вождей скрестились с чудовищным треском.



— Пусть Глум приведет хапов!

— Пускай Тых приведет хупов!

Тых и Глум со всех ног бросились исполнять приказания вождей.

Вожди дрались. Их дубины сталкивались, как бревна, попавшие в водопад. Витька на них засмотрелся. На какое-то мгновение ему показалось, что он сидит в зале кинематографа, что рев и грохот низвергаются на него с экрана.

— Давай, давай! — закричал он. — Тресни его по кумполу!

И никто не видал, что Анука уже давно ползает на четвереньках в дальнем углу пещеры. Она поднимала камни и каменные осколки, и куски сталактитов.

— Анука видела, Я бросил камни сюда. Анука не знает, какие... — Среди осколков она нашла наконечник. — Может быть, про этот камень говорил Тур. Наконечник его копья. — Анука понюхала кремь, даже лизнула. — Холодный. — Попробовала откусить и, видимо причинив себе боль, с силой ударила кремнем по лежащему у ее колен камню. Брызнули искры. Анука ойкнула. Потом опасливо подняла камень. — Тоже холодный... Почему из него вышли искры? — Она еще раз ударила по нему кремнем и закричала: — Анука нашла камни, которые выбросил Я! Люди научатся добывать огонь. Люди станут есть мясо с огня.

Дерущиеся остановились. Анука подняла камни, ударила ими друг о друга. Искры стрельнули ей в черные волосы.

— Люди научатся обжигать горшки!

И тотчас оба вождя бросились к девочке. Они опрокинули ее навзничь, навалились. Сквозь рычание послышался ее придушенный крик.

Витька бил вождей по плечам и по спинам, колотил их ногами, за волосы тянул, кусал и бодался. От вождей валил пар. Пахло серой, словно от паровозов. Витька кричал:

— Что вы делаете? Таких камней сколько угодно! Отпустите ее. Я найду вам другие камни. Остановитесь же, дураки-и!

Из груди шкур и горячих железных мускулов еще раз послышался затухающий крик Ануки.

Вожди отскочили друг от друга. В руке у каждого было по камню.

Анука лежала недвижимая и прекрасная.

У Витьки засосало под ложечкой.

— Что вы наделали? Звери! Она же хотела, как лучше. Она ведь хотела для всех...

У входа в пещеру послышались голоса. Гы засмеялся, пошлепал себя по надутому великанскому животу.

— Хапы пришли.

Голоса стали громче.

— Хупы пришли. — Крам засмеялся тоже, ударил кулаком в свою великанскую жирноватую грудь.

— Хапы будут владеть саванной!

— Хупы будут владеть саванной!

Вожди больше не обращали внимания на Витьку, словно его и не существовало вовсе. И Витька снова почувствовал себя муравьем на асфальте.

Спеша и толкаясь, вожди побежали из пещеры наружу. Голоса возле пещеры как бы распались на два отдельных свирепых крика — это сошлись врукопашную две враждебных орды.

«Их бы из пожарного брандспойта», — подумал Витька. Он осторожно подошел к Ануке. Он еще на что-то надеялся и бормотал:

— Ну, Анука же. Ну, вставай. Чего ты умерла-то...

Он взял ее руки. Руки были теплыми, но Витька знал, что Ануки уже нет. Что все это нелепый кошмар, что он сейчас проснется и тогда исчезнет, уйдет из сердца ощущение вины. Витька укусил себя за руку.

— А-а-а-а-а-а! — протяжный крик раздвинул своды пещеры. Каменные сосульки подхватили его на высокой ноте.

Витька вскочил. Хромая, вбежал молодой парень — Глум. За ним с топором гнался Тых. Увидев распростертую на земле Ануку, Глум словно споткнулся. Остановился незащищенный. Встал на колени.

— Глум, берегись! — крикнул Витька. Но Глум не слышал его. Он гладил Анукины волосы. Он пытался чутким звериным ухом уловить ее дыхание.

Витькин крик услышал Тых — отшвырнул топор.

— Для воина радость убить врага... Но что-то случилось у Тыха в груди. Тых убивать не хочет...

Глум медленно поднялся с колен.

— Анука умерла, — сказал он с тоскливым недоумением. — Кому же Глум станет приносить ягоды и цветы саванны? — Его глаза остановились на Витьке. Витька весь сжался.

— Я убил Ануку, — сказал Глум.

— Ты что? — Витька попятился. — Зачем мне? Ее ваши убили, эти... гориллы.

— Я хочет взять Ануку с собой к верхним людям, — сказал Тых.

— А-а-а-ааа! — закричал Глум голосом одинокого дерева. — Глум без Ануки не может! Глум убьет Я. — Он схватил топор, лежащий возле Тыха. Замахнулся. И Витька понял, что это конец.

— Каугли маугли турка ла му...

Резко и сразу хлынула тьма. Она затопила пещеру. Она сверкала вихревыми огнями, и огни уносились куда-то вдаль. Глохли звуки. Только свист — простой и естественный, словно ветер в печной трубе.

АНЕТТА'

Огненные спирали охватывали Витьку со всех сторон. Когда они подходили близко, Витька втягивал голову в плечи и тем самым избегал опасных касаний.

Тьма поредела, стала зеленой и полупрозрачной. Тонкий свистящий луч рассек ее, и обнаружилась ясная сердцевина дня, с запахом пыли, травы и деревьев. С кудахтаньем кур, ржанием лошадей и острым клацаньем боевой стали.

Витьку мягко трянуло. Накренило и выпрямило. По его позвоночнику прошла дрожь от толчка. Он увидел себя сидящим на широкой дубовой полке между кастрюль, котлов, а также медных начищенных сковородок.

Внизу дрались трое в широкополых шляпах с перьями, в ботфортах из бычьей кожи и в кружевах.

Сверкали шпаги, позванивали. Один в черном и один в зеленом наскakивали на одного в красном. А он смеялся.

— Ха-ха, — говорил, — ха-ха-ха! Англичанин и кардиналист — какой трогательный союз. Можно подумать, что герцог Ршмелье не ведет сейчас войну с Англией. Право же, пустой желудок объединяет души лучше, чем Иисус Христос.

Те двое тоже что-то говорили и наскakивали, как петухи. А этот в красном, посмеиваясь и почесываясь от удовольствия, гонял их по всей комнате.

Все здесь стало Витьке понятно вмиг. Ни тебе дубин, ни

каменных топоров — изящное стальное оружие и бесстрашное благородное сердце. Почесал Витька голову перепачканной доисторическим углем пятерней и улыбнулся.

Драка разворачивалась стремительно. Красный загнал черного и зеленого в угол. Выбил у них шпаги из рук.

— Я вас проткну, как капунов, одним ударом! — Он отступил немного, чтобы сделать свой смертельный выпад, но вдруг по ногам ему ударила тяжелая деревянная швабра. Красный упал.

— Ура! — закричали зеленый и черный. Подхватили шпаги и заспорили, кому из них выпала честь покончить с врагом. При этом они отталкивали друг друга локтями и обзывались:

— Вы, сударь, нахал.

— Ноу, вы есть, сударь, нахал.

Витька схватил медную сковородку, и так как зеленый оказался под самой полкой, то именно его Витька и грохнул по голове.

Медь загудела.

Зеленый вытаращил затуманенные болью глаза, зачем-то вложил шпагу в ножны и рухнул.

«Кто же тут кто?» — подумал Витька, но тотчас все прояснилось.

Красный уже стоял на ногах и кричал:

— Меня, королевского мушкетера, шваброй! Кто посмел?! Черный отступил к окну.

Мушкетер догнал его, завалил на подоконник и вытянул по тому самому месту, которое, как ни странно, за все отвечает.

— Это неблагоприятно! — закричал черный. — Я гвардеец его преосвященства герцога де Ришелье. Меня нельзя пороть.

Витька на своей полке хрюкал от суетливого восторга.

Зеленый, англичанин, лежал, раскинув руки.

Мушкетер порол гвардейца шпагой.

— Я, сударь, на вас пожалуюсь! — кричал черный.

— Кому?

— Тому, кто бодрствует, когда король спит. Кто трудится, когда король забавляется.

— Это значит — богу.

— Нет, сударь, это значит его преосвященству — кардиналу.

— Пожалуйста. Сколько угодно. Извольте показать ему мою расписку. — Мушкетер захохотал громогласно и уколол гвардейца шпагой в мягкое место. Тот завыл, дернулся и вывалился на улицу. Мушкетер повернулся к Витьке. Высокий, плечистый, немного жирноватый, с бледным лицом.

— Спасибо, мой юный друг. Я бы угостил вас вином отменным, но, видимо, оно еще не скоро придется вам по вкусу. — Он поправил белую крахмальную сорочку, привел в порядок брабантские кружева.

Витька свалился с полки, сияя от счастья и нетерпения, поправил красную шкуру махайродовую.

— Здравсте. Да я всю жизнь мечтал. Да я и так, без всякого вина. Позвольте познакомиться...

Мушкетер улыбнулся одними усами, протянул было руку Витьке, но тут же его лицо исказилось.

— Где эта ведьма?

— Мы здесь...

Витька увидел все остальное, чего не заметил, увлеченный дракой. В комнате стоял большой дубовый стол, очень крепкий. Вдоль стола — две скамьи, тоже дубовые. Был в комнате камин из дикого шершавого камня, во второй этаж вела деревянная лестница. Низкая, проложенная железом дверь, оставленная нараспашку, открывала взгляду погреб. А на пороге погреба, будто в черной раме, стояли на коленях пожилая женщина и девчонка Витькиного возраста. Обе в чепчиках, обе в передниках, только на девчонке одежда почище и побогаче.

— Я очень сожалею, дитя, что причинил тебе столько горя, — сказал мушкетер девочке. — Слово дворянина, я у тебя в долгу. И у тебя. — Он снова улыбнулся Витьке одними усами. — А ты, ведьма... Тебя я вздерну. Королевского мушкетера — шваброй!

— Она со страху. Простите ее, она не в вас целила. Она в других господ, — поспешно забормотала девчонка.

— Когда я ее повешу, она не станет уже больше промахиваться.

Витька почувствовал некоторое недоумение.

— А разве мушкетеры воюют с женщинами? — спросил он.

— Конечно, не воюют. Но это ведь не женщина, а ведьма! А всякую такую нечисть, ведьм, оборотней, вурдалаков, нужно вешать на сырой веревке. И кол осиновый в могилу,

чтобы не вылезли. При этом нужно «Отче наш» прочесть и плюнуть за спину. — Мушкетер пронзил служанку взглядом, как шпагой. — Бр-ррр... Ступай на кухню. Искупишь свою вину яичницей с ветчиной. Да ветчину смотри потолще накроши.

Служанка поднялась, взяла корзину с яйцами, окорок свиной копченый, да еще захватила бутылку вина.

— Эй, это ты оставь! Еще чего придумала, карга. Гастон, скотина, как ты смотришь за нашими припасами? Мы за них заплатили своей кровью.

— Своей ли? — проворчала служанка. — А господин Гастон дрыхнут. А может, умерли. Я думаю, они захлебнулись в том вине.

Мушкетер ногой топнул так, что хрустнули половицы.

— Молчать! Ты, ведьма, откуси язык и выброси его собакам.

Он отобрал бутылку и тут же выпил ее единым духом.

— Марш на кухню!

Служанка попятилась. В кухне загремели сковородки и еще какие-то металлические предметы, словно их бросали на плитку с далекого расстояния. Мушкетер благодушно поднял штаны из тонкого испанского сукна, обозвал кого-то мерзавцами, негодяями и спустился в погреб. Дверь за ним затворилась.

«Теперь-то я в порядке, — думал Витька. — Здесь все, как надо. Жаль, что Анна Секретарева не видела, как я англичанину сковородкой дал. Еще не то будет...» Мысль эта наполнила Витьку неким блаженным электричеством, от которого Витька засветился изнутри и словно потерял в весе.

Девчонка поднялась с колен. Похлопала мокрыми глазами и вдруг привычно поклонилась.

— Что сударь хочет на обед?

— Супу... Щец бы.

— Но мы не знаем, что такое щец. — Девчонка еще раз присела, еще раз поклонилась. — А супу можно. Мы вас накормим супом — гороховым.

Витька явственно ощутил во рту вкус горохового супа с жареным луком и с грудинкой копченой.

— И хлеба, — сказал он. — Черного.

Служанка высунулась из кухни, любопытная, как мышь, тощая, как топор.

— А луидоры?

— Я, понимаете ли, пятьсот тысяч лет не ел, — сказал Витька и, глядя на зловредную ухмылку служанки, почувствовал, что втискивается в свою материальную оболочку, тесную и неуютную, способную краснеть, потеть и ежиться.

— Может быть, у вас полные карманы золотых пистолелей? — ехидно спросила служанка. — Покажите. Нам уже давно не доводилось видеть денег.

— Пистолей нет! Есть пистолеты! — раздалось из погреба.

В дверях стоял мушкетер.

— А ну живо! Яичницу мне и суп моему юному благородному другу.

Служанку выдуло, как запах дыма сквозняком. Загрохотали на кухне железные предметы.

— Ух, ведьма. — Мушкетер зубами скрипнул, почесал в затылке и вдруг улыбнулся. — Меня зовут де Гик! — Он помахал фетровой шляпой, как положено мушкетерам, чтобы шляпа страусовым белым пером коснулась пола. — Гастон, подай бутылку. — И скрылся в погребе, оставив на всякий случай щель в дверях.

Девчонка, привыкшая к подобному шуму, спокойно смахнула пыль с тяжелой дубовой скамьи.

— Прошу вас, сударь, садитесь к столу.

Витька хотел сказать: «Иди ты, какой я тебе сударь». Но вовремя вспомнил, что эпоха требует изысканной вежливости в обращении с дамой.

— Я извиняюсь, — сказал он. — Простите, где ваш папа? — Витьке не очень-то хотелось встречаться с девчонкиным папой, но вежливость того требовала. — Надеюсь, он здоров? — спросил Витька и помахал рукой, как если бы в руке у него была фетровая шляпа с пером.

— Папашу застрелили еще на прошлой неделе. Как раз во вторник. Мушкетер, господин де Гик. — Девчонка поднесла к глазам фартук и заплакала. Видимо, очень часто ей приходилось плакать — делала она это привычно и скучновато.

Витька снова почувствовал неловкость в мыслях и некую растерянность.

— А матушка? — спросил он. — Здорова, надеюсь?

Девчонка заревела еще громче.

Витька побледнел.

— Повесили?

— Господь с вами. Матушка была не ведьма, не бунтовщица.

Из кухни служанка высунулась.

— Хозяйка от сердечного удара скончалась. Сердце у нее сжалось и не разжалось. Сердечная жила лопнула.

Крупные слезы текли по девчонкиным щекам, словно дождь по созревшему яблоку. Витьке захотелось ее погладить, сказать что-нибудь утешительное, но он еще ни разу не гладил девочек, не утешал, и поэтому стеснялся и от стеснения краснел и надувался, как пузырь.

Служанка принялась слова сыпать:

— Заглянула я в погреб, где господин де Гик со своим слугой засели, с господином Гастоном, а там, прости господи, все поедено, все выпито. Двадцать окороков свиных, тридцать колбас копченых, сорок колбас вареных.

Витька почувствовал пустоту в желудке.

— Двести яиц сырых! — палила служанка, не то восхищенно, не то ужасаясь. — Пятьдесят бутылок вина бургундского, шестьдесят бутылок вина гасконского. Из бочки с вином испанским пробку вытащили, а вставить забыли, и вино просто так течет...

«Наверно, неспроста это, — подумал Витька. — Мушкетеры просто так людей не обижают. У них честь на первом месте. Наверно, их прижали. Наверно, безвыходное положение...»

— ...Свиным салом господин де Гик и его слуга, господин Гастон, сапоги мажут. А в бочке с постным маслом ихние мокнут шпаги. Этого матушка не перенесла и скончалась. Аккуратная была женщина. — Служанка пригасила глаза и добавила неуверенным голосом: — Господь любит праведников, господь не оставит ее своей милостью. Сироту от беды уберет... — Она еще раз погладила девчонку по голове.

— Яичницу! — заорал в погребе де Гик.

Служанка плюнула: «Ах чтоб тебя!» Оглядела Витьку, как бы оценивая, можно ли от него ждать заступничества, и, видимо, не одоблив его комплекцию, а также возраст, удалилась на кухню.

— Вы потерпите, сударь, — сказала девчонка сквозь слезы. — Дрова у нас сырые.

У Витьки голова кружилась. Он старался, но никак не мог разобраться, где тут правда, где вымысел. А может быть, над ним смеются?

— И никакой я вам не сударь.

Девчонка побледнела.

— Простите, ваша светлость.

— Опять вы ошибаетесь. Я никакая вам не светлость. — От такой вежливости Витькин язык стал кислым, уши пунцовыми и шея вспотела. «Это, наверное, с непривычки, — решил Витька. — Пообвыкнись...»

Девчонка на колени бухнулась.

— Неужели ваше высочество? Неужели принц крови? Какое счастье. Удостоили нас. Я сразу подумала... — В глазах у нее, как заря по ясному небу, разгоралось обожание и такой восторг, что Витька засмеялся. А засмеявшись, почувствовал нечто такое, что позволяет людям разговаривать на ты.

— И никакой я не принц, — сказал он нормальным голосом. — И никакой я не сударь. И чего ты все на колени брякаешься? Вот будет у тебя на коленях дырка.

— Уж лучше дырка на коленях, чем дырка в голове. А кто ж вы, если не секрет?

— Я просто Витька. Обыкновенный человек.

Девчонка хитренько носом дернула.

— Обманываете. Все вы такие мужчины — обманщики. Обыкновенные в шкурах не бегают. Обыкновенному человеку и в голову не придет в шкуре бегать, да и к чему ему это дело. Да и откуда у обыкновенного человека может быть такая шкура? У нас таких не водится зверей.

— Конечно, не водится. Это махайрод — саблезубый тигр. Ну, встань же ты, наконец, с коленок-то. Садись рядом.

— Вы, наверное, издалека? — спросила девчонка, охотно присаживаясь рядом с Витькой. — И одежда у вас не наша, необычная.

Витька кивнул.

— Издалека. Из такого издалека, что и подумать невероятно....

Словно могучий кто-то приподнял Витьку за ворот и встряхнул.

— Анука!.. Анука!.. — Витькино лицо прикрыла внезапная тень. — Вот люди. Она же подвиг совершила, если разобратся. Может быть, мы ей обязаны, что варим суп.

— Ах, суп, — девчонка улыбнулась и придвинулась к Витьке поближе. — Суп скоро сварится.

— Она погибла! — крикнул Витька.

Девчонка вздохнула, прислонилась к Витьке. Пошевелила у него волосы на голове дыханием.

— Сейчас погибнуть не трудно. А кто у вас погиб?

— Анука!

— Ваша сестра, да? Анука, имя какое странное. Вы очень одинокий, как я. — Девчонка всхлипнула, положила голову на Витькино плечо. — Меня зовут Анетта...

Витька даже и не заметил, что девчонкина голова на его плече.

— А что? — шумел он. — Я виноват, да? Виноват? Сами они виноваты! А я переживай.

— Вы помолитесь. — Девчонка заглянула в глаза Витьке своими мокрыми глазами. — Вам станет легче.

Оглушенный англичанин очнулся, качаясь, подошел к столу. Сел, голову обеими руками подпер, она у него еще слабо держалась после удара сковородкой, и закричал:

— Я пить и покушать!

— А вы не кричите, — сказал ему Витька. — Вы не в лесу.

— Я есть милорд. Когда пустое брюхо, имею громкий голос. Это есть харчевня или это есть не харчевня? Позовите мне ваш папа, я его убью.

— Уже убили, — сказал Витька угрюмо.

Англичанин пощупал свое ударенное темя, поправил прическу, бородку клинышком.

— Ах, да, — сказал он грустным голосом. — Припоминаю. Всех их убил тот разбойник, который в погребке. Я не могу скачить на лошади, не пообедав.

— И не разбойник — мушкетер.

Англичанин мизинцем подбил усы кверху.

— Какая разница.

— А что вы намерены делать у нас? — спросила Витьку девчонка.

— Поступлю в мушкетеры.

— Вы будете сражаться за короля? — Девчонка засветилась, нос вздернула, словно это она сама придумала стать мушкетером. — Вы слышали, милорд, их светлость будет сражаться за нашего короля.

Англичанин оскалится и захохотал, коротко, словно полаял. Дорогие фламандские кружева на его одежде заколыхались. Он шлепнул Витьку по плечу.

— Чего пихаетесь-то? — сказал Витька.

— Храбрец! — Англичанин еще раз шлепнул Витьку по

плечу. — Ай лайк. Красивый зверь. — Он гладил Витькину махайродовую шкуру. Он даже об нее щекой потерся. — Очень вери вел. Ты сам убил?

— Сам, — сказал Витька, отодвигаясь. — Из рогатки.

— Очень похвально. — Англичанин вытащил игральные кости, сдул, как положено игрокам, пыль со стола. — Сыграем. Я хочу этот зверь для коллекции. Мой друг, лорд Манчестертон самый младший, с ума сойдет, когда увидит у меня этот шкура. Я тебя обыграю. Я играю очень вери вел. Ставлю десять пистолей.

— Не затрудняйтесь, — сказал Витька, оттопырив губу. — Я не играю в азартные игры.

— Ставлю пятнадцать пистолей. Такой редкий зверь. Ни разу не видел.

— Сказал, не играю в азартные игры.

— Очень жаль. Во что играют в ваша страна?

— В футбол играют, в волейбол, в хоккей, в баскетбол, в теннис. Гораздо реже — в рюхи.

— Еще?

— И в бильярд играют, и в пинг-понг.

— А еще?

— Еще играют в шахматы, и в шашки, и в домино — в козла.

— И?

— И в карты, — сказал Витька сердито. — А в кости не играют — детская игра.

— Очень жаль. Ты бы мне проиграл по-джентльменски, благородно. А так придется отнимать. — Англичанин вцепился в шкуру, начал ее стаскивать с Витькиных плеч. И, видимо, стащил бы, как Витька ни отбивался, — милорд был жилистый. Но тут Витька заметил медную сковородку, она лежала возле камина. Витька схватил ее и замахнулся.

Англичанин вздрогнул всем сухопарым телом, отпрянул от Витьки, спрятал руки за спиной.

— Неблагородно, — сказал он. — Я есть милорд.

— А в вашей стране, — спросила девчонка Витьку, — разве не нужно сражаться за короля?

— У нас нет короля. У нас людей уважают. И не набрасываются. У нас за такие дела срок могут дать.

— Как это нет короля? — с недоумением спросила девчонка. — А кто же у вас правит? Герцог?

— Народ правит.

- О-о... — рот девчонки стал похож на бублик.
- Как то есть народ? — спросил англичанин.
- Очень просто. Народная власть.

Англичанин долго смотрел на Витьку, соображая, что значат такие его слова, как их расценивать, и вдруг захохотал.

— Народная власть! Самый остроумный шутка за всю мою жизнь. Очень вери вел. — Он придвинулся к Витьке. — Вы юморист. Сыграем благородно, а? — Он опять принялся гладить Витькину махайродовую шкуру. — Ставлю двадцать пистолей. Большие деньги!

Из погреба, размахивая обнаженной шпагой, с недоспитой бутылкой высочил де Гик.

— Убью!

Англичанин отпрянул от Витьки.

— Ты что там жаришь, яичницу или быка? — кричал де Гик.

— Сейчас! Плиту же надо было растопить! Дрова сырые!

— Ну, ты будешь болтаться над своей плитой. Подкинь соломы или табуретку.

— Сейчас. Вам, чтоб поест, и дом спалить не жалко.

— Молчать, карга! — Де Гик допил содержимое бутылки и ворча стал спускаться в погреб.

Англичанин сидел с безучастным видом. Девчонка тоже вела себя так, словно никаких криков вокруг, никаких оскорблений.

«Да что они тут с ума все посходили или привыкли к такому безобразию? Наверно, задубели», — подумал Витька.

Девчонка с подозрительной заботливостью поправила Витькин воротник, страхнула с его куртки пыль столетий и с волос тоже. И, заглянув ему в глаза, спросила ласково:

— Если у вас народ правит, так почему же вы не хотите сражаться за свой народ? Может быть, ваш народ правит несправедливо?

Витька побледнел.

— Ты что? Кто тебе сказал, что я не хочу сражаться за свой народ? Ты это брось. За свой народ я до последней капли крови!

Из кухни мелкими шажками выбежала служанка с громадной сковородкой. Англичанин поднялся, вдыхая аромат и жар. С улицы вошел черный гвардеец, повел носом и тоже устремился за служанкой.

— Их светлость будет сражаться за нашего короля, —

сказала девчонка. — Хоть и не прочь за свой народ сражаться тоже. Чего-то я не понимаю. Мудрено очень.

— Чего тут понимать, — служанка постучала ногой в дверь погреба. — Господа неразборчивы. Их преданность зависит от монеты. Откуда у народа деньги, если все деньги у королей.

— При чем тут деньги?! — возмутился Витька. — Говорите глупости и не знаете. Вам бы только деньги.

— А вам? — спросила служанка. — Эй, господин де Гик, яичница!

За ее спиной стояли англичанин и черный гвардеец. Вытягивали шеи. На этих шеях дрожали и двигались вверх-вниз взволнованные кадыки.

— Повешу, — шептал англичанин сладким голосом.

— Повешу, — мечтательно вторил ему гвардеец. — Видит бог, повешу. Ему яичница, а нам? — Он почесал уколотое шпагой место.

Дверь погреба отворилась.

— Наконец-то. Волшебный аромат. Давно не ел горячего. Мое почтенье, господа. — Де Гик схватил сковородку и, захохотав, скрылся в погребе. И оттуда, приглушенный железной дверью, донесся его вопль: — И шкварки! За шкварки я прощу любую ведьму и возведу ее себе в святые...

Гвардеец и англичанин наступали на служанку. Они наступали в сапогах из бычьей кожи, в перчатках из кожи оленьей, в сукне и в бархате. При шпагах. Она повизгивала и пятилась.

— Супу! — заорал вдруг Витька свирепым, полным благородства голосом. Грохнул кулаком по столу. — Горохового супу с луком!

— Несу!

Витька расставил ноги, упер руки в столешницу, уселся, как подобает рыцарю и мушкетеру.

Вошла служанка с супом. Суп дымился в миске, распространял вокруг запах жареного лука и грудинки. Витька крикнул, предвкушая удовольствие. Но... англичанин протянул руку к миске. Гвардеец ударил его по руке, и миска оказалась перед слугой божьим.

— Вам не подобает, милорд, хлебать плебейскую еду. У нас такой похлебкой кормят слуг.

— А вам? — краснея и надуваясь, спросил англичанин.

— А я слуга господен, мне можно.

— Вы не имеете права, — сказал Витька, совершенно ошеломленный подобной быстротой действий.

— Имею, имею, — успокоил его гвардеец. — Бог дает человеку одно только право — родиться на свет божий.

— Не только родиться, — возразил Витька запальчиво.

Черный гвардеец посмотрел на него одобрительно.

— Правильно, мой мальчик. Не только родиться, но и умереть. Все остальные права бог дает святой церкви и королю. Люблю образованных детей. В наше время дети не были такими образованными. Некультурные были дети.

Служанка головой покачала.

— Эх, вояка, — сказала она. — Как же ты, сударь, будешь сражаться за короля, если за свой суп постоять не умеешь.

— А ты не разглажься! — прикрикнул на нее гвардеец. — Повешу!... Вот поем и повешу. — Он откусил пшеничного хлеба, отхлебнул супа.

— А помолиться-то, святой отец, помолиться перед трапезой забыли? — ехидно заметил англичанин. — Нехорошо, святой отец.

Гвардеец поспешно встал, сложил руки домиком и, воздев глаза к небу, забормотал:

— Спасибо господу богу нашему, что не оставляет слуг своих голодными. Аминь. — А когда он сел, миски перед ним не было. Англичанин уже хлебал из нее и чавкал.

— Плебейская еда, милорд, — сказал гвардеец растерянно. — Это для слуг.

— Очень вери вел. Хозяин должен знать, что ест слуга.

— Врете вы! — вдруг ни с того ни с сего крикнул Витька. Девчонка даже вздрогнула от неожиданности.

— Ты о чем, мой мальчик? — спросил гвардеец, не отводя от англичанина глаз.

— Насчет права врете. Право дает людям конституция.

— Это ваша королева, что ли? Так она нам не указ. А какие же она, сын мой, дала права тебе?

— Первое! — выкрикнул Витька. — Свобода! Равенство! Братство!

Англичанин поперхнулся супом. Выкатил на Витьку блеклые глаза.

— Вот, вот, — гвардеец ткнул в англичанина пальцем: — Вместо того, чтобы лишать служителя господня пищи, вы бы,

милорд, послушали, что молодежь болтает. Это из Англии мода.

— Нет, это из Франции, — англичанин поднялся.

— Из Англии!

— Из Франции!

— Второе! — Витька руку выставил вперед, как оратор-трибун. — Право на труд!

— Пожалуйста, трудитесь, — отмахнулся от него гвардеец. — Бог любит тружеников... Из Англии веяния.

— Из Франции!

Гвардеец и англичанин, толкаясь плечами, пошли вокруг стола.

— Вы, сударь, лжете.

— Это вы лжете, милорд. Это у англичан повадка лгать...

Витька ухватил одного из них за камзол.

— Не путайте. Право на труд — это... Короче, кто не работает, тот не ест.

— Боже милостивый! — Глаза у служанки открылись в пол-лица. — Эй, господин де Гик, вы слышите, кто не работает, тот и не ест. А вы сожрали все колбасы!

Девчонка, глядевшая на Витьку со страхом, дернула служанку за рукав. Служанка поспешно прикрыла рот фартуком.

Витька подвинул миску с супом к себе, а в супе плавали грудинка и жареный лук янтарного цвета. Витька хлебать принялся и после каждого глотка ложку облизывал и выкрикивал:

— Право на отдых! Право на образование!

Гвардеец и англичанин стояли возле него, держась за шпаги.

— Чего уставились? — спросил Витька.

— Дальше, — сказал гвардеец.

— Мне очень любопытно. Валяйте дальше, — сказал англичанин.

Витька великодушно объяснял:

— Дальше идут свободы. Свобода — тоже право. Свобода совести. Свобода волеизъявлений. Свобода вероисповедания.

Девчонка и служанка поспешно перекрестились.

— Так, значит, верь во что попало? — спросил гвардеец. — В любого бога.

— Вообще-то бога нет. У нас это наукой доказано. Но

если вам нравится верить — пожалуйста. — Витька подчистил миску корочкой. — Еще о свободах объяснить? Свобода печати...

— Достаточно, — сказал англичанин.

— Вполне достаточно, чтобы тебя повесить! — Гвардеец схватил Витьку за шиворот и заорал: — Шпион!

— Вы что? — прохрипел полузадушенный Витька. — Я просто говорил...

Девчонка и служанка заплакали обе враз.

— Он пришел сражаться за нашего короля, — ревела девчонка.

— Сударь, не верьте ему. Он просто сам не знает, что говорит, — голосила служанка. — Это с непривычки к простецкой пище. Да разве может быть такое? Подумайте. Такого никакая королева не допустит, хоть будь она Констанция или Констюнция.

— Чего вы давите?! — хрипел Витька, пытаюсь освободить ворот. — Не знаете, а давите.

Гвардеец его тряхнул.

— Ишь ты, как ловко скрылся! Меня не проведешь. На самом деле, ты шпион. И знаешь чей? — Он приставил длинный острый палец к Витькиному носу. — Гугенотов! Он гугенот! Ларошелец! Его послали подрывать святую католическую церковь... Ух ты, щенок! — Гвардеец встряхнул Витьку так, что Витькины зубы, попадись, перекусили бы подкову. — Как это мы тебя пропустили в ту святую Варфоломеевскую ночь? — Гвардеец покрутил головой, разглядел во дворе бельевую веревку. Толкнул Витьку к англичанину. — Подержите его, милорд.

— Да никакой я не шпион! — закричал Витька. — Вы что, с ума сошли? Я только рассказывал, как у нас...

Англичанин трогал Витькину шкуру, губами чмокал.

— Редчайший зверь. Когда тот черный тебя повесит, я у него этот шкура буду выигрывать. Я думаю, так будет благородно. Ты фрондер. Опасный тип.

А за окном чирикали воробышки. Струилось небо.

Служанка и девчонка стояли возле камина на коленях.

Прибежал гвардеец, путаясь в веревке. У него уже и петля была готова. Он накинул ее Витьке на плечи.

— В мои годы дети и слов таких не знали. Молились богу, — гвардеец вздохнул и поволол Витьку по лестнице наверх. — Все гугеноты — бунтовщики!

Девчонка и служанка заревели еще громче.

— Вы не имеете права меня вешать! — отбивался Витька. — Что я вам сделал?

— Ты слышишь, господи? — Гвардеец поднял руку над головой и где-то там пошарил пальцами. — Да святится имя твое, да исполнится воля твоя. — Он выбрал балку потолще, перекинул через нее веревку.

— Молись!

— Да не шпион я. Не шпион. Мне с дикарями было легче разговаривать. Они хоть понимали. И я их понимал.

— Молись!

— Каугли маугли турка ла му, — зачастил Витька.

— Молись, молись. Ишь, гугенотские молитвы читает, мазурик.

— Сунду кулунду каракалунду...

— Хватит, — сказал гвардеец. — Господи, благослови, — и начал выбирать свободный конец веревки.

Витька подпрыгнул, откуда силы взялись, уцепился руками за балку и заорал:

— Де Гик! Де Гик!

Дверь в погребе распахнулась.

— Кто здесь кричал «де Гик»?

Девчонка тут же к нему подскочила.

— Господин де Гик, вас сверху.

— Де Гик! — снова заорал Витька.

— Эй вы, кардинальский заушник, что вы вознамерились сделать с моим юным другом?

— Повесить, — сказал гвардеец. — Он ларошельский шпион. Гугенот.

— Защищайтесь, несчастный!

Гвардеец встретил де Гика на лестнице, снизу навалился англичанин.

Де Гик отбивался, его мушкетерская доблестная шпага сверкала, как бешеная молния. Де Гик еще орудовал ногой. Но положение его было очень трудным — Витька оценил это вмиг. Он подтянулся, сел на балку верхом. Стащил с себя петлю, набросил ее на гвардейца.

Гвардеец закричал.

— Неблагодарно! Я не люблю веревку!

— Никто не любит, — сказал де Гик. — Но тут вы, пожалуй, правы. Мальчишке вас просто не поднять, а следовательно, — повесить вас он не сумеет. — Де Гик выбил шпагу.

из рук оторопевшего гвардейца. Махнул Витьке, чтобы он спускался вниз.

Витька прыгнул с балки. Подобрал шпагу. Он ждал этого момента, может быть, всю жизнь. Сражаться бок о бок с мушкетером!

— Убейте его, мой юный друг, — сказал мушкетер. — И дело с концом. В живот прицеливайтесь и колите. Давите всем корпусом. Он пузатый.

— Я безоружный! — закричал гвардеец. — Это неблагоприятно.

Де Гик поклонился англичанину.

— Прервем, милорд, я пару слов скажу о благородстве.

— Как вам угодно, — англичанин тоже поклонился.

— Мой юный друг, кончайте с этим черным лицемером, но помните, для дворянина убить — пустяк. Важно убить красиво. Весной мы с Моруаком, моим лучшим другом, казнили одну леди. Была луна. Ее могилу мы усыпали цветами. Пели псалмы. И так напились, что впереди своих коней брели на четвереньках, но пели. Как это было красиво... Продолжим, милорд.

Витька пытался ткнуть гвардейца шпагой, а гвардеец все пятился. И когда Витька сделал лихой выпад с прыжком, гвардеец перемахнул через перила. Выхватил из кобуры пистолет свой однозарядный.

— Сейчас умрете вы! — он навел пистолет на Витьку, потом передумал — навел на мушкетера. — Сначала я убью вас, господин де Гик.

Из погреба вышли служанка и девчонка. Они несли в руках бутылки, окорока и колбасы. У девчонки из рук выпал весь этот съестной припас, когда она увидела, что происходит.

— Вы не волнуйтесь, барышня, — сказала ей служанка. — Поплакали и будет. У господ одна забота — как бы убить. У нас забота — как бы выжить.

Девчонка поспешно подобрала упавшую снедь.

— Опять в мой угол лазали? Гастон, проснись, бездельник! У тебя под самым носом берут мое любимое вино!

— Молитесь, господин де Гик, — сказал гвардеец. — Вам эти заботы теперь ни к чему. Насчет вина мы примем к сведению.

— Вы правы, сударь, — мушкетер поклонился. — Жизнь человеческая в наше время не стоит ломаного гроша. И

никому нет дела до нее, ни богу, ни, тем более, государю. Напротив даже — чем больше страха, тем легче управлять. Но вы ведь человек без вкуса, без воображения. Вы нас убьете на редкость некрасиво и бездарно.

— Убью, и все тут, — сказал гвардеец. — Молитесь.

Как раз в этот критический момент отворилась дверь с улицы. В комнату вошел вооруженный до зубов мужчина. Плащ голубой и сапоги воловьей кожи в пыли. Он тотчас понял, что происходит, и тотчас выхватил из-за пояса два однозарядных пистолета.

— Господа, прошу извинить!

Гвардеец оглянулся.

— О черт!

— Боже праведный, я вижу Моруака! — Де Гик простер руки к пришельцу. — В таком случае, мы славно отделаем этих храбрецов.

— Да здравствуют мушкетеры! — завопил Витька, подняв шпагу над головой.

Гвардеец плюнул.

— Сам сатана помогает вам. — Он прицелился в Моруака, но мушкетер выстрелил первым. Гвардеец упал. Его пистолет с серебряной насечкой откатился в угол.

— Сейчас мы выпьем, — сказал Моруак, спокойно отряхивая перчаткой пыль с ботфортков. — Де Гик, кончайте с англичанином. Проткните его, мне не терпится обнять вас.

Англичанин возразил.

— Ноу, — сказал он. — Ноу. Я есть милорд. В ваша страна испытываю голод. Я пить и кушать — драться потом.

Служанка и девчонка снова вылезли из погреба нагруженные бутылками, колбасами и шпиком. Глаза англичанина закатились, он задрожал крупной голодной дрожью, всплеснул руками и повалился на ступени.

— Ах...

— Ах, ведьма! — закричал де Гик. — Опять бутылки из моего угла! Прекрасное вино, и оно было хорошо запрятано мерзавцем хозяином.

Служанка с бутылками поспешно юркнула в кухню. Девчонка упала перед Моруаком на колени.

— Спасите нас. Ваш друг, господин де Гик, нас совсем разорил. Он засел в погребе со своим слугой, выпил почти все и все почти съел,

Де Гик потупился.

— А что мне было делать, мой друг? Когда вы уехали, этот мошенник, ее отец, набросился на меня со своими слугами и гвардейцами, переодетыми в конюхов.

— Ему сказали, что вы опасный фальшивомонетчик, — заплакала девчонка.

— Ну да. Я его застрелил, прости, господи.

— Когда ж дадут нам выпивку?! — спросил англичанин, приподнявшись на локтях.

Моруак его успокоил.

— Сейчас, сейчас... Во сколько вы оцениваете лошадь де Гика? — спросил он у девчонки.

Витька нетерпеливо переминался с ноги на ногу, он жаждал действия. Перед ним стоял блистательный мушкетер — герой-мечта, в одежде, расшитой галунами. Витька уже готов был идти за ним в огонь и в воду. Но тут высунулась служанка из кухни, показала девчонке растопыренную пятерню. Девчонка оценила лошадь в пятьдесят пистолей.

— Положим, все восемьдесят, — сказал де Гик. А Моруак спросил девчонку таким голосом, от которого Витькино сердце заколотилось в восторге.

— Вам хватит, чтоб покрыть убытки, или нужна еще какая-нибудь мелочь?

Служанка в мгновение ока растопырила два пальца. И эта девчонка, эта сквалыга в чепчике, ничуть не покраснев, сказала:

— Еще бы пистолей двадцать.

Моруак достал замшевый кошелек, украшенный мелким жемчугом. Отсчитал двадцать золотых монет.

— Возьми его коня и это...

— Как, ты продал мою лошадь? А на чем я отправлюсь в поход? — воскликнул де Гик.

Моруак отошел к окну.

— Я привел тебе другую. Смотри, так и играет, так и ходит.

«А я-то! Ну, посмотри ж ты на меня!» — Витька все время норовил встать так, чтобы Моруак его непременно заметил.

Англичанин толкался тут же.

— Прекрасный конь. Английский лошадь.

— Принеси вина и приготовь нам комнаты, мы будем отдыхать, — приказал служанке де Гик, к лошадям он отнесся

довольно равнодушно. — Ты что так смотришь? — спросил он Витьку. — Какие у тебя оторопелые глаза...

В Виткиных ушах кованой медью загрохотало небо, когда де Гик сказал Моруаку:

— Это мой юный друг. Он спас мне жизнь...

Голубое, золотое, серебряное, стальное, и кожаное, и страусиное, и фетровое закружилось перед Виткиными повлажневшими глазами. Витька подскочил к Моруаку, схватил его за руку и потряс.

— Здравствуйте, товарищ д'Артаньян.

— Ты храбрый мальчик. — Моруак потрепал Витьку по голове. — Но я не д'Артаньян. Я Моруак. А д'Артаньян?.. Я где-то слышал это имя.

Девчонка тут же сунулась, вся просияв.

— Он хочет записаться в мушкетеры.

— Да ну? — Моруак засмеялся. — А как насчет вина?

— Непьющий! — гаркнул Витька.

Девчонка взяла Витьку за руку и заявила тоненьким гордым голосом:

— Он будет сражаться за нашего короля.

Моруак схватился за бока.

— Прекрасно! Теперь наш король в безопасности.

— Я выпивать и кушать! — нервно завопил англичанин.

Моруак взял де Гика и англичанина под руки, и они трое поднялись по лестнице наверх. Служанка поспешила вслед за ними с подносом.

— У нас самое лучшее вино в округе, — похвастала она. — Пусть господин де Гик скажут.

— О да, — сказал де Гик.

Витька остался с девчонкой. Он поглядел на нее свысока, он, конечно, опять витал и парил, чувствуя необыкновенную легкость в теле и в мыслях. Девчонка казалась ему маленькой и беззащитной.

— Видала! Вот это люди — мушкетеры. Мои друзья. — Витька прошелся по комнате, выпитив живот. Споткнулся о лежавшего на полу гвардейца.

— Слышишь, он дышит.

— Это неважно, он скоро перестанет. А в вашем государстве, где вы жили, у вас есть знакомые девочки?

— Полно. Полкласса. И во дворе штук пять.

— И все красивые? Наверно, все принцессы.

— Кривляки, — сказал Витька. — Все с бантами. И все

воображают... Правда, есть одна без банта, с челкой, Секретарева Анна. — Витька наклонился к гвардейцу, дотронулся до него осторожно. — Послушай, он умрет.

— Наверно, — сказала девчонка. — А кто эта Анука? Она ведь не сестра вам. Я догадалась. Она красивая?

Витька распрямился, на его лицо снова легла тень.

— Очень. Она такая. Она не бухается на колени и не плачет. Анука — дочь вождя. Нет, даже не вождя. Анука — дочь своего народа.

— У меня ведь, кроме слез, нету другой защиты, — сказала девчонка, оправляя платье и чепчик. — А я вам нравлюсь?

Витька посмотрел на нее искоса.

— Н-ничего, — сказал он.

Девчонка притенила глаза мохнатыми ресницами.

— Вы можете меня поцеловать. Я не обижусь.

Витька почувствовал, что снова залезает в свою покрасневшую тесную оболочку. И, чтобы не выглядеть перед девчонкой простаком, а это хуже нет для мушкетера, он наклонился к раненому гвардейцу. Принялся у него пульс щупать.

Сверху спустилась служанка с пустым подносом.

— Ну и едят господа, просто приятно смотреть. Если они заплатят с такой же щедростью, с какой жадностью едят...

— Послушайте, — остановил ее Витька. — Его нужно оттащить куда-нибудь, перевязать. Ведь он умрет.

Девчонка обиженно пожала плечами.

— Я думаю, вам поступать не в мушкетеры нужно, а в монахи.

Они втроем взяли гвардейца за руки, за ноги и поволокли в комнату за кухней. Они положили гвардейца на топчан. Служанка и девчонка стали перевязывать его. Делали они это умело, но без охоты. А Витька направился в кухню. Ему хотелось пить.

Вода пахла болотом, но Витька едва замечал ее отвратительный вкус. Он воображал себя на гнедом коне в ряду мушкетеров, даже чуть-чуть впереди. Скачет Витька вихрем. Враги падают, падают, падают...

— ...Я не люблю английских скакунов, у них какой-то вислозадый вид. Мой милый Моруак, я проиграл лошадь этому проклятому англичанину.

Витька врагов шпагой колет. Из пистолета разит. Они умирают в лужах крови. И все падают, падают...

— ...Зато потом я отыграл седло. Потом снова проиграл лошадь, но, увы, уже вашу. Потом я снова отыграл седло. Кстати, ваше.

Витька уже ворвался в логово врага. Пули свистят. Витька одной рукой отмахивается от пуль свинцовых, от острых копий. Другой рукой главного ихнего герцога за шиворот держит. И скачет вихрем. А враги вокруг падают.

— ...Молчите. Вы меня убиваете. По этим лошадям нас должны были узнать во время осады Ларошели.

— Полно, любезнейший друг. Узнать по лошади! Зачем? Чтобы послать в нас пулю? Или, может, чтобы промахнуться?

Витька скачет с ихним главным герцогом в руке. Прямо к королевскому шатру. Бросает ихнего главного герцога к ногам короля. Король тут же ему крест на шею бриллиантовый и говорит:

— ...Итак, когда я проиграл вашу лошадь, мне пришлось в голову поставить на алмаз, который сверкает на вашем пальце.

— Де Гик, я трепещу. Этот алмаз...

Витька бросил ковшик в кадку. Выскочил из кухни. Возле дубового стола стояли де Гик, довольно пьяный, и Моруак, весь бледный.

— Алмаз — подарок королевы! — крикнул Витька. По его лицу ходили зори. Он весь светился. — Я ж говорил — вы д'Артаньян!

Моруак повернулся круто. Выхватил шпагу.

— Что? Что ты сказал?..

— Это кольцо вам подарила королева за то, что вы привезли ей подвески от герцога Бэкингемского. Да вы не бойтесь. Я вас не выдам. Я свой.

Моруак из бледного сделался красным, как свекла.

— Молчи, несчастный! — Он схватил Витьку за шиворот. — Змееныш! Шпион кардинала!

Де Гик сокрушенно покачал головой. Шляпа сползла ему на нос.

— Невероятно! Его преосвященство выжил из ума, коль набирает детей к себе в шпионы. А впрочем, туда ему и дорога.хлопот меньше. — Де Гик повалился на дубовую скамью спиной, задрал ногу на ногу и заорал вдруг: — Д'Артаньян? Постой, постой, я вспомнил. Я с ним встречался в одной драке. Брестер, любимец кардинала, плут, короче

говоря — отъявленный мерзавец. Мой мальчик, это он тебя подкупил?

Моруак тащил Витьку за шиворот.

— Повесить! Где тут веревка? Ну, я же видел, где-то здесь была веревка.

Витька оправдывался.

— Да никакой я не шпион. Я свой. Честное пионерское — я свой.

— Сейчас ты замолчишь навеки! — Моруак встряхнул его, как тряпку. — Где веревка? Ты видел, где веревка?

Из кухни выбежала девчонка и сразу же на колени.

— Он так хотел стать мушкетером. — Она заплакала, и потрясенный Витька отметил, что слезы ей к лицу.

Моруак топал ногами, обутыми в ботфорты.

— Где веревка? Я его повешу!

— Нельзя же человека вешать дважды, — вытирая нос передником, пробормотала девчонка. — Его уже гвардеец вешал.

Де Гик встал со скамьи, прошелся, покачиваясь и потягиваясь.

— Действительно, мой милый Моруак, воображенья вам недостает. Мальчишку уже вешали. Придумайте-ка что-нибудь другое.

Моруак крикнул, зажал несчастного Витьку между колен, задрал ему голову.

— Я ему голову оторву.

Витька заорал:

— Де Гик!

Де Гик руками развел, губу оттопырил нижнюю.

— Ничего не поделаешь, мой мальчик. Язык у человека можно вырвать только вместе с головой... Короче говоря, мой милый Моруак, я проиграл ваш камень.

— Что?! — Моруак обмяк. Колени его ослабели. — Что ты говоришь, де Гик? Я не ослышался? — бледнея, словно наливаясь молоком, переспросил он. — Ты проиграл мой камень? Мой алмаз...

Витька был все-таки отчаянный мальчишка, а в этих переделках научился соображать мгновенно. На четвереньках он отполз к лестнице. Вбежал наверх, стянул веревку с балки, набросил ее на люстру и подтянул люстру к перилам. Люстра была тяжелого кованого железа с оплывшими огарками. Висела она на крепком, тоже кованом, крюке.

Де Гик сел к столу, уронил голову на руки.

— Да, — сказал он. — Увы. Прости меня. Слепая страсть к игре. Я проиграл твой камень. Но ты не беспокойся, я сделаю попытку отыграться. Я предложу этому проклятому англичанину...

Сытый и довольный, пританцовывая то ли от выигрыша, то ли от вина, ввалился с улицы англичанин.

— Вери вел! Я всех ай лайк. Проклятая война. Люблю французов!

На улице кудахтали куры. Лошади ели овес.

Де Гик помахал англичанину рукой.

— Я вас приветствую, милорд. Поиграем на этого мальчишку. Алмаз против мальчишки.

— Со шкурой? — спросил англичанин.

— Со всеми потрохами.

Витька перемахнул через перила, залез на люстру. Люстра качалась. Витька кричал:

— Вы не имеете права!

— Я не хочу мальчишку. — Англичанин капризно надул губы. — Он болтать все время. Я заболую, слушая о праве.

— Что вы, милорд. — Де Гик обнял англичанина. — Вы только приглядитесь — забавный мальчик. Милорд, вам будет с ним не скучно. Он будет вам чистить обувь. Уж если человек вам чистит обувь, то пусть он говорит о чем угодно.

— Хи-хи, — англичанин бородку почесал. — Он будет чистить мои ботфорты и в это время говорить о праве. Мой друг, лорд Манчестертон самый младший, умрет от зависти.

— Где ваши кости?

Витька свесился с люстры.

— Вы не имеете права! Я вам не раб!

Де Гик потряс стаканчик. Рука его дрогнула, то ли от выпивки, то ли от проигрыша. Он подумал в нерешительности и вдруг спросил у Витьки:

— Ты когда-нибудь играл в кости?

— Нет, не играл и не хочу. Игра для дураков.

— Возможно, — грустно согласился де Гик. — Кинь кости за меня. Тебе обязательно повезет, ведь ты ни разу не играл.

— Чтoб я сам себя проиграл?

— А может, выиграешь? Как говорится: твоя судьба в твоих руках.

Витька решительно помотал головой:

— Хоть убейте!

Моруак выхватил из-за пояса пистолет с золотой насечкой, с перламутровой инкрустацией, с толстенным дулом. У Витьки мелькнула мысль, что начальная скорость пули у этого пистолета довольно маленькая, даже с наганом паршивеньким не сравнишь, но все же... Он спрятался за цепь, на которой висела люстра.

— Каугли маугли турка ла му, сунду кулунду... — И тут он увидел ворону.

За окном дорога, вдоль дороги канава. Возле канавы старая сухая ива. Только одна ветка среди многих мертвых ветвей жила и потряхивала узкими нежными листьями. На этой живой ветке сидела ворона, синяя-синяя. Витька подумал: «Опять не моя. Наверно, моей вороны прабабушка. Интересно, на что же она колдует?» И тут он заметил, что глаза у вороны грустные. Катятся из них синие слезы, а клюв вороны волшебный крепко скован железом. Вот те на...

— Ты отыграешь мне алмаз?!

— Нет, — сказал Витька. — Зачем ворону заковали?

— Свихнулся от страха. Считаю до трех... Р-раз!

Витька посмотрел вниз и вдруг подумал: «Нелепая у них какая-то жизнь. Вроде по пустыкам. Ну, раз привезли королеве подвески, ну, предположим, два...»

— Два! — сказал Моруак.

«А потом бы и революцию бы пора сделать. Эту самую королеву по шее. Я бы на их месте революцию бы затеял»,

— Два с половиной!

Усмехнулся Витька. Сказал:

— Иду. — Перекинул веревку через кованный рог подсвечника и соскользнул по ней вниз.

— Не бойтесь, вы должны выиграть, — шепнула ему девчонка. — Я буду молиться за вас. — Она встала на колени, сложила руки в молитве.

— Встань с коленок, не позорься. Ну, встань. Чего ты унижаешься-то перед этими. Разоделись, как павлины...

Девчонка поднялась, но молиться не перестала.

Витька взял у де Гика стаканчик с костями.

— Потряси, — сказал ему де Гик. — И когда Витька потряс, де Гик шепнул ему: — Кидай!

— Три! — крикнул англичанин. — Три очка!

Девчонка вздрогнула. Руки, сложенные в молитве, опустила.

— Три, — уныло сказал де Гик. — Милорд, вы не шептали заклинания?

— На кость заклинания не действуют. Это кость святого Селестина. Я есть милорд, я не плутую.

— Ну, извините.

Моруак чуть не рыдал. Он спрятал руки в карманы штанов, чтобы не видно было, как они трясутся мелкой дрожью.

— Нет, мой алмаз пропал. Нет, я тебя повешу!

— Рано вешать. Если мальчишку выиграет я, как можно вешать мой собственность? — Англичанин, ухмыляясь, раскрутил стаканчик и бросил кости.

— Два! — воскликнул де Гик. — Два! Невероятный ход. Девчонка подскочила ближе и закричала:

— Слава богу! Два очка.

Моруак замахал своей фетровой шляпой мушкетерской, с перьями. Чмокнул девчонку в маковку.

— Мой алмаз спасен! Да здравствует король!

— Я думаю, теперь мальчишку можно вешать, — сказал англичанин угрюмо.

— Да, да, повесить, — Моруак не мог скрыть радости. Он подобрал веревку с пола, набросил петлю Витьке на шею. — Невероятный ход. Чудо! Ты молодец! Идем, я тебя вздерну, чтобы не болтал.

Ветер с улицы принес запах роз.

Девчонка бросилась на колени перед Моруаком.

— Ваша светлость, зачем вам его вешать. — Она обняла Моруаковы колени. — Подарите его мне.

— Я вам не вещь, — сказал Витька голосом далеким и отвлеченным. — Пусть лучше вешает. Я повишу. Я понял, сейчас пол-Франции висит. А те, кто не висит, живут с петлей на шее.

— Что?! — веревка в Моруаковых руках дрогнула. Голос у него стал смущенным, даже жалостливым. — Де Гик, сейчас я не совсем уверен, что он шпионит в пользу кардинала. И все же его необходимо повесить. Не то его без нас повесят. И довольно скоро.

Де Гик сидел насупленный.

— Ты прав, пожалуй. Мальчишка не лишен известной проницательности, но чересчур болтлив. Такие мысли вслух не говорят. — Де Гик посмотрел угрюмым взглядом на Витьку, на девчонку и вдруг развеселился и шлепнул себя по лбу. — Идея! Моруак, мой друг, давайте их поженим. Я



причинил девчонке столько горя. Съел колбасу. Убил ее отца. — Де Гик прижал девчонкину голову к своей ослепительно белой рубашке. — Малышка совсем одна на целом свете. Такая тоненькая, как былинка. Такая беззащитная. Мой милый Моруак, где ваше милосердие?

— Забавная идея. Ха-ха! Действительно. Забавная идея, черт возьми! — Моруак захохотал, швырнул в угол веревку и шлепнул Витьку по затылку. — Ну, радуйся, жених.

Витькины мысли сшиблись и рассыпались с пустым стеклянным звоном.

— Вы не имеете права.

— Опять о праве! Я думаю, ты чуточку помешанный. Скажи мне, что такое право? — спросил де Гик. Было видно, что он разозлен. Он шевелил усами.

— Это значит, что я свободный человек, что мной нельзя распоряжаться. Я не вещь.

— Допустим. Но что такое право? Где оно? Ты можешь показать его?

— Как показать? — Витька стоял в растерянности.

— То-то. Болтают люди всякое — распустились. Смотри сюда. — В голосе Моруака была уверенность отличника и щедрость силача. Он выхватил шпагу. — Видишь? Мое право здесь, на кончике шпаги. — Моруак сделал резкий мгновенный выпад. — Вот оно, мое право, сообразил? — Он потрепал Витьку по плечу. — Каков жених? Красавец! — Надел на Витькину голову шляпу. — Мушкетер!.. Но где же взять попа?

— Тот гвардеец, которого вы подстрелили, поп, — сказал де Гик. — Когда я играл с милордом в кости, я видел, как его слуга чистил рясу.

— Мой бог, где есть тот черный? — спросил англичанин. — А впрочем, наплевать. Наверное, он помер.

В дверях кухни стояла служанка. Она все слушала, и все молчала, и все кивала головой.

— Он здесь, — сказала она. — Но еле дышит. Его придется поддержать, чтоб обвенчал как следует.

Де Гик распорядился:

— Милорд, мы сходим за попом. Моруак, вы принесите рясу и библию. А ты, дитя, смотри за женихом.

Когда девчонка и Витька остались одни, в Витькиной усталой голове созрел план. Лошади у конюшни стоят оседланные. Вскочить, пришпорить и вперед! Пыль столбом. Прохождение шаркаются...

— Слушай, — сказал он девочке. — Я сейчас деру дам. Ты этих павлинов удержи. Заговори им зубы.

— Какого деру? — спросила девочка настороженно. — А венчание?

— Есть вещи, которыми не шутят. — Витька строго приподнял брови, прошелся по комнате, как это делал отец, когда Витьку воспитывал. — За суп спасибо.

— Я не шучу, — сказала девочка. — Сейчас приведут попа. Он нас обвенчает.

Тут Витька посмотрел на эту Анетту внимательнее. «Змея», — подумал он. И вдруг ему стало жалко ее.

— Ты что придумала? Ты недоразвитая или глупая совсем?

Нос у девочки покраснел, ресницы слиплись стрелками.

— А как мне быть? Мужчины в доме нет. Хозяйство у меня большое — одной не угладеть. Все норовят меня обидеть, обсчитать. На слуг нельзя ведь положиться — жулье... А ты красивый.

Витька завыл.

— У-у, дура набитая. Да кто же в твоём возрасте женится?

— Как кто? — девочка всхлипнула. — Да сколько хочешь. Мою матушку выдали замуж в тринадцать лет и не спросили. Подумаешь, и мне тринадцать. — Она вытерла глаза, привстала на цыпочки и зашептала Витьке в ухо: — Но я совру попу, скажу, что мне тринадцать с половиной. И ты соври... Я тебе нравлюсь? Ведь правда, нравлюсь? И ты мне нравишься. — Девочка вздохнула счастливым вздохом. — Ну, поцелуй свою невесту. Вот сюда. — Она ткнула пальцем себе в щеку. — Не стесняйся, я зажмурюсь.

Когда она зажмурилась, Витька поднял шпагу.

— Пусти меня.

Но не тут-то было. Девочка отскочила к двери, мигом подобрала пистолет раненого гвардейца. Тяжелый однозарядный пистолет с серебряной насечкой. Глаза у нее стали дикими, подбородок твердым.

— Никуда ты не уйдешь. — Она нацелила пистолет на Витьку. — Мы накопим денег, мы купим тебе лошадь хорошую, оружие. Ты совершишь подвиг во славу короля. И ты добьешься звания дворянина. Ты станешь мушкетером, как хотел.

— Подвиг, во славу короля! Ха-ха! Пора бы разбираться, что такое подвиг.

Девчонка положила палец на курок.

— Ага, тебе другая нравится. Эта Анука. Я ее убью!

— Не говори о ней! — крикнул Витька. — Она погибла!

— Да, я забыла... Ну, поцелуй меня. — Девчонка ткнула дулом пистолета себе в щеку. И снова навела его на Витьку. — Ну!

«Тебя бы, дуру, к нам, — подумал Витька. — Занялась бы спортом. Да от одних уроков очумела, не думала бы о замужестве...»

Де Гик и англичанин приволокли из кухни раненого гвардейца, посадили его на дубовый табурет.

— Семейная сцена, — сказал де Гик. — Уже? Поберегите пыл на после свадьбы.

Девчонка заткнула пистолет за фартук.

— Я говорю ему — он будет мушкетером.

— Я говорю — не буду!

— И правильно, — сказал де Гик. — Не нужно в мушкетеры. Что мушкетер — собака короля, всегда готовая вцепиться в горло любому. Мы жалование получаем за то, что держим в страхе народ. Чему мы служим? Какой великой цели? Никакой! Мы охраняем тшедушную особу короля. Один король, другой иль третий — все равно король! Мы служим господину, значит, мы собаки. Не нужно в мушкетеры, мой мальчик, не советую. Валяй уж сразу в короли.

— Сударь, вы говорит смело чересчур, — сказал де Гику англичанин.

Де Гик подкрутил усы.

— Все просто объясняется. Я очень нужный человек. Я королю нужнее, чем он мне.

— Не жените меня. Не надо! — закричал Витька. — Я лучше пойду к вам в оруженосцы.

— В оруженосцы? Значит, в слуги. — Дед Гик захохотал. — Захочешь ли? — Он подошел к погребу, ударил в дверь ногой. — Гастон! Проснись, скотина.

Из темного проема показался человек в спущенных чулках.

— Почисти сапоги!

Слуга повалился на колени и принялся рукавом чистить сапоги де Гика. Он даже хрюкал от усердия.

Витька обмяк, сел на скамейку. И снова ему показалось, что он муравей на асфальте.

— Теперь проваливай. — Де Гик оттолкнул слугу ногой. — Хорошо?

Витька кивнул. И вдруг заплакал, навзрыд зарыдал.

— Ну, перестань, — услышал он сквозь слезы де Гиков шепот. — Ну, перестань. Подумай — жениться-то ведь лучше, чем быть повешенным. Я вообще не люблю вешать. Неприятно ощущать, что человек, которого ты повесил, гораздо ближе к богу, чем ты сам... А в мушкетеры не стремись — противная работа.

— А я и не стремлюсь, — всхлипнул Витька.

— И правильно, мой мальчик.

С улицы вошел Моруак. В одной руке он нес сутану, в другой толстенную библию. Де Гик ткнул в него пальцем.

— Видишь, Моруак. Кумир мальчишек. Полюбуйтесь на него. Удачливый пройдоха, всегда готовый к действию, но не к познанию.

— Что за шутки? — недовольно спросил Моруак.

— Вы знаете, мой милый, под хмелем я люблю пофилософствовать. Не стоит обращать внимания.

Черный гвардеец приподнялся на табурете.

— Вас, сударь, надобно повесить, — сказал он де Гику.

— А кто же будет жить?

— Повесить всех! — закричал гвардеец и рухнул.

К нему подошел Моруак.

— Вот ваше облачение, воинственный монах. Одевайтесь!

— Что делать? — спросил гвардеец, покосившись на Моруаково оружие.

— Обвенчать этого юного кавалера с этой юной особой.

Прелестная пара. Заглядение.

Девчонка взяла Витьку за руку:

— Улыбнись святому отцу.

Де Гик уже распорядился. Он хотел, чтобы все было красиво.

— Свидетели, вставайте полукругом. Милорд, прошу вас сюда, Моруак — сюда. Я здесь. Прелестно!.. А кто же с твоей стороны, дитя? — спросил он у девочки.

— Мадлена, служанка. Она моя дальняя родственница. Мадлена, иди скорее. Я замуж выхожу.

— Эй, ведьма! — закричал де Гик. — Иди! Ты встанешь здесь, со стороны невесты.

Служанка бросилась оправлять на девочке платье. Поправила ей волосы. Сама прибралась.

— Моя красоточка. Смотрите, господа, ну не красавица ли? — Она вытащила у девчонки из-под фартука пистолет и осторожно положила его на стол.

— И наш не плох, — Моруак оглядел Витькину шкуру, шпагу, шляпу. — Герой. И образован.

Витька заорал благим матом:

— Я не хочу!

— Не хочешь, так потом ее отравишь, — добродушно сказал англичанин. — Насыплешь ей толченого стекла в варенье.

— Я не хочу! Не имеете права! — орал Витька.

Девчонка взяла пистолет со стола и снова засунула его за фартук.

Моруак кольнул Витьку шпагой.

— Малыш, придется тебе напомнить, где мое право... — Он приставил шпагу к Витькиному боку. Де Гик и англичанин сделали то же самое.

— Де Гик! Вы мне давали слово! — Витька всхлипнул.

— Увы, и девочке... я тоже слово давал. Кстати, ей первой.

Гвардеец-поп раскрыл библию, пробормотал молитву, потом спросил девчонку:

— Дитя мое, не против ли желания своего идешь ты замуж?

— Нет, — ответила девчонка. — Охотно.

— А ты, сын мой? — спросил гвардеец у Витьки. — Будешь ли ты ее опорой в жизни?

— Я против! Я пожалеюсь!

— Кому?

Три шпаги кольнули Витьку в спину.

— Я не хочу! — Витька ухватился позади себя за острия шпаг. — Я не хочу! Не стану! Не буду! Не желаю!

Шпаги вонзились ему в тело.

— Каугли маугли турка ла му...

Тьма начала сгущаться. Хлынули и завинтились спиралью огненные ленты.

— А где жених?

— Витя! Витя-я...

Тьма сгустилась. Хлынула тяжелым ливнем. Голоса отступили.

Черный ворон, черный ворон
 Что ты выешься надо мной?
 Ты добычи не дождешься,
 Черный ворон, я не твой...

Песня заполняет подвал своей негромкой грустью и уходит в зарешеченное окно, на высушенные солнцем улицы. И все обитатели подвала смотрят вслед песне, а может быть, вслед своим думам. Думы их там, на воле, за тяжелой дверью, окованной железом. Дверь оковали когда-то давно, чтобы в подвал невозможно было проникнуть с воли, так как хранились здесь яблоки, бочки с пивом, овощи и прочий съедобный припас. Нынче наоборот стало. До того все шиворот-навыворот, что хозяйка особняка сидит не в залах-гостиных, а тут. Сидит она в старинном тяжелом кресле прямая и гордая.

Светлоголовый парень смотрит в зарешеченное окно, синее небо, из всех тюремных окон только небо и видно, крохотный синий лоскут.

Полумрак в подвале. Слабые синие блики дрожат на устаревшей негодной мебели, сваленной в углах. На паутине, густой и пыльной, прозрачные синие блики, как уснувшие бабочки. И на рояле пересохшего потрескавшегося красного дерева синие летучие лужицы.

Парень поет тихим голосом. Девчонка бойкоглазая подпевает ему тоненько.

Прямо под лестницей у стола поручик сидит с холеными заносчивыми усами.

Наливает себе поручик коньяк в рюмку и выпивает, оттопыривая мизинец.

— Тэк-с, тэк-с... — говорит поручик, словно видит все насквозь до самых тайных глубин. — Герои продолжают хранить молчание... Черный ворон, черный ворон... — Поручик негромко подхватил песню и вдруг грохнул кулаком по столу, да еще и повернул, словно хотел дыру в столе провинтить. — Прекратить петь! — закричал он. — Выходи на середину!

Светлоголовый парень смолк.

— Ты сено сюда доставлял? — спросил поручик.

— Я.

— Ты мышьяк подсыпал в сено?

— Что вы, как можно лошадям мышьяк? Они же ведь животные безвинные. Я не злодей.

— Пятьдесят лошадей сдохло.

— Да ну? Вот беда. Полсотни господ казаков обезлошадили? А вы их, ваше благородие, в пехоту. Может, бойчее воевать начнут. А то все отступают, видишь. Известно — на конях-то и отступать легче.

— Ваньку валяешь! А в морду!.. Ну, ничего. Там, — поручик показал пальцем в потолок, — у полковника, разговоришься. Разговоришься, рыло. Полковник умеет с вами беседовать. У него немые разговаривают на разные тонкие голоса.

Посередине подвала расхаживала девчонка в рваной юбке, в большой, не по росту, кофте вязаной. Девчонка оставилась перед столом, сказала-проныла:

— Ваша благородия, господин офицер, мне на двор надо.

— Сиди, — поручик еще рюмку выпил, оттопырив мизинец, и рукой помахал, дирижируя своими возвышенными мыслями.

Девчонка завинтила ноги восьмеркой.

— Не могу я сидеть. Я уже и ходить не могу. Ваша благородия, господин офицер, мне на двор же... Ну, ваша благородия, даже казаки-паразиты меня на двор пускали. А вы образованный и не пускаете.

Женщина в кресле села еще прямее. Голову откинула слегка назад.

— Пустите девочку, — сказала она негромко.

— Вы мне приказываете-с?

— Пустите девочку, — повторила женщина. — Какое хамство...

Поручик принял великосветскую позу, теперь он оба мизинца оттопырил.

— Желание дамы — закон для офицера. Но не в тюрьме, мадам. Вы говорите — хамство? Храбро. Я бы сказал — доблестно. Может быть, сообщите нам, кто лошадей отравил? Они ведь стояли в вашей конюшне. Это ваш дом?

— Вы говорите глупости, поручик. Это действительно мой дом, вы знаете. И конюшня моя. Но я дворянка — я имею бога в сердце.

— Бога?! А из каких соображений вы прятали на чердаке бандита-чапаевца?

— Он ранен. Он кровью истекал. Высшим достоинством российских женщин всегда было милосердие. Мы любим свой народ, ведь если его не любить, так за что же так горько страдать?

— Ваша любовь меня не касается. Я хотел бы знать, кто вами тут руководит? Как сведения передаете?! Уж больно сведущ этот генерал лаптежник. Мы вашу лавочку раскроем. Крутовой!

Дверь наверху отворилась. Рослый казак протиснулся на лестницу. Он волок за шиворот Витьку.

Витька — как есть во всей своей амуниции, в фетровой мушкетерской шляпе с пером, в шкуре красной махайродовой и при шпаге.

— Я, ваше благородие, — казак опустил Витьку на пол. — Чего прикажете?

Поручик потер белый лоб, раздумывая, чего бы приказать. Взгляд его остановился на девчонке.

— Ага. Этой дряни на двор потребовалось. Сведи. — Поручик сморщился, потянулся за коньяком.

— Врет, ваше благородие. Сбежать норовит. Я ейную повадку знаю. Я ее сам брал, когда она господина ротмистра порешила. Стоит и орет, как оглашенная: «Эй, господа казаки, позолотите ручку, нагадаю вам счастливую судьбу и сохранение жизни в смертельных боях». А у самой наган на пузе.

— Врешь, где наган-то? — крикнула девчонка. Задрала свою рваную кофту, обнажив тощий живот. И еще ногой поддала какую-то бархатом обитую ломаную банкетку.

— Да я ж у нее сам наган отобрал, ваше благородие.

Поручик махнул мизинцем.

— Утомляешь — уже рассказывал... А это что за шпак? — он тронул Витьку носком начищенного своего сапога.

— Так что, полоумный, ваше благородие. Осмелюсь доложить! — Казак клацнул каблуками подкованными. Подбородок вздернул, словно ему снизу кулаком дали. — Наши в дозоре находились, из третьей сотни. В кустах. Как раз перед рассветом этот самый ворвался посеред них, как бомба. Вроде с неба свалился. Орет что есть мочи. «Где тут Чапаев?» — орет. Наши, стало быть, ему по башке кулаком, чтоб не орал. Они в дозоре, в засаде, а он орет. Казаки его мне доставили в беспмятстве, для дальнейшего прохождения. Он все бормочет — бредит. Я прислушивался — может,

проболтается — как знать. Осмелюсь доложить, ничего ценного — плетет одну только нелепость.

Витька чуть приподнялся на руках.

— Огонь... Огонь... Анука. Убили, черти. Эх, люди-ди-кари... Ее-то за что убили?

— Подними его, Круговой, — приказал поручик.

Казак поднимать не стал. Он будто приуменьшился ростом и сконфузился.

— Ваше благородие, может, тифозный он? Я сейчас смекнул, зараза это — болезнь...

— Не утомляй...

— Ваше благородие, сами изволили слышать — все время бредит. Вот истинный крест — тифозный он.

Встала женщина, попробовала Витьку поднять, да одна не смогла — светлоголовый парень ей помог.

— Гимназист вроде, — сказал казак. — Ишь, как чудно вырядился. Может, тронутый.

Витька рванулся, закричал:

— Не смейте! Отпустите! Вы не имеете права меня женить. Я не хочу!.. А ты, Анетта, я тебе скажу. Ты себе на уме. Ты лжива, как твои слезы...

— Буйство на почве безумия, по причине тифа, — уверенно объяснил казак.

Поручик посмотрел на него брезгливо.

— На почве безумия! По причине тифа! Эх ты, сукно. — Затем он бросил взгляд на женщину, как бы призывая ее стать свидетелем своей образованности. — Я полагаю, гимназист роли в спектаклях играл. Если бы не образование, я бы, пардон, в артисты пошел. С детства в себе склонность к этому наблюдаю. Восторги, кумиры, аплодисменты. Ля-ля-ля-ля...

— Воды бы, — сказал светлоголовый парень.

— Пожалуйста, доктора, — сказала женщина.

— А в морду-с? — Поручик восторженно повертел перед лицом светлоголового кулак с перстнями. — Положить гимназиста и не касаться. Может, он дворянского происхождения.

— И не касаться! — казак каблуками клацнул, словно выстрелил. — Может, гимназист дворянский сынок.

Наверху звякнула щеколда. Девчонка прокралась по лестнице во время того разговора и, приоткрыв дверь, выскочила наружу.



— Держи! — завопил казак.

Чья-то сильная рука впихнула девочку обратно. Девочка покатила по лестнице, голоса:

— Мне на двор! Фараоны несчастные.

Казак еще раз каблуками клацнул.

— Думала — умная, а сама — дура. Нешто там часового нет?

Светлоголовый парень положил Витьку на пол. А девочка, проходя мимо, пнула Витькину фетровую мушкетерскую шляпу ногой.

— У некоторой буржуазии от революции нервы сдают, — сказала она. — Революция — это тебе не в ложе-белуаре конфеты кушать.

Поручик поморщился.

— Не утомлять! — рявкнул казак.

Девочка ему язык показала и отскочила.

— Ну я тебе, чертова девка, шомполов нагадаю.

Приложив пальцы к вискам, поручик подождал, пока стихнет шум, а когда стихло, спросил, растягивая слова:

— А вам, сударыня, мои распоряжения мимо уха?

— О, боже мой, неужели вы не видите — ему требуется помощь.

— Не сдохнет. Еще не выяснено, кто он.

Женщина побледнела. Глаза ее засверкали темным огнем. Она распрямилась, простерла руку над Витькой:

— Поручик, побойтесь бога! Неужели это говорите вы — русский офицер? Кошунство. Разрушены святыни! Неужели честь офицера уже ничто? Вы вспомните те гордые слова: «Русский офицер тверд, как алмаз, но так же чист. Он строг, но не жесток. Он воин, но не палач!»

Поручик поклонился, расправил свои темно-красные галфе из заграничного бостона:

— Пустые фразы. Пустое мушкетерство!

Витька поднял голову.

— Эх, мушкетеры — собаки короля. Где ваша честь?.. Смотрите, смотрите! Синие вороны. Их много. Все небо закрыли. Сюда летят...

Женщина опустилась в кресло. Поручик коньяку выпил и беспокойно задумался. Он оттопыривал то один мизинец, то другой, то сцеплял все пальцы в замок.

Девочка первой заметила в туманных гимназистовых

глазах пробуждение. Он глядел на нее в упор и губами дергал.

— Где я?

— А в каталажке, — объяснила ему девчонка. — Вашей благородии ваши же благородия казаки по кумполу треснули, и вы, господин гимназист, с ума стронулись. Ваши буржуазные нервы не вытерпели.

— А... замолчать, гадюка! — Казак ухватил девчонку за косу и тут же взвыл и затряс рукой — девчонка его укусила.

— Да я ж тебя, большевистская вошь, с потрохами съем! Светлоголовый парень девчонку заслонил.

— Не подавитесь, ваше благородие.

— Всех вас порешить в одночасье... — Казак скрипнул зубами.

Витька встал. В его голове еще крутились вихри. Острыми клиньями вонзалась тьма, прерывала мысли, и они рассыпались искрами и снова свивались прерывистой цепочкой. Тело Витькино ныло от побоев, от пережитых страхов.

— Где я? — спросил он. — Где Чапаев?

— Вы находитесь в Уральске, — ответил ему поручик, не глядя на него. — Насчет Чапаева не стоит волноваться. Он далеко... Круговой!

Казак подскочил, клацнул каблуками.

— Насчет сударыни у полковника распоряжения были?

— Так точно — были. Велели привести.

— Так-с, так-с... Поди наверх... Сударыня, прошу вас.

Женщина подошла к поручику. Он оглянулся и, удостоверившись, что казак вышел, сказал:

— Положение ваше, сударыня, увы — сомнительное. И лошади отравлены, и раненый бандит... и, говорят, вы пощечину влепили полковнику?

— Да. Он плюнул на ковер.

— Увы, увы... Хотелось бы вам помочь. Ну, а вы, естественно, мне, как говорится — «от благодарного населения»... — Поручик пошевелил пальцами в перстнях — камни заиграли рубиновым, изумрудным, алмазным и прочими цветами.

Женщина опять побледнела.

— Что вы сказали? Простите, я не понимаю.

Поручик терпеливо объяснил:

— Чего же, сударыня, тут не понимать. Как говорится — «от благодарного населения». — И засмеялся.

Женщина стала подобной холодному белому мрамору.

— Чудовищно! Над чем смеетесь? Над собственным падением?

— Вы, барыня, зря так страдаете. Ихнее благородие тоже кушать хотят.

Девчонка сунулась:

— А где им взять? Они жнут там, где не сеяли.

— А в морду! Молчать! Хамье! — гаркнул поручик. — Слишком грамотные? Распустили вас господа либералы. В бараний рог вас скрутим, грамотных!

Женщина то бледнела, то розовела, но держалась прямо.

— Боже мой, и это на вас Россия возложила свои надежды. Чудовищно. Белое воинство — ни святости, ни чести. Грабеж и вымогательство это — несмыслимый позор.

— Вы, барыня, белых листовок начитались, — сказала девчонка. — Вы почитайте красные. В них все наоборот.

— Значит, я у белых? — очумело выкрикнул Витька, слушавший этот разговор с открытым ртом.

— У белых, у белых... — Поручик неуверенно погладил его по голове. — Не беспокойтесь, все в порядке. — И снова повернулся к женщине, поиграл своими пугливыми, но цепкими пальцами. — Такова се ла ви, мадам. Для рыцарства сейчас не время. Как говорится — не та эпоха. Согласны — я вам помощь, а вы мне, так сказать... — настойчиво сверкнули рубины, изумруды и алмазы на поручиковых пальцах.

— Подлец! — сказала женщина. Всплеснула руками. — Милые дети, никогда не позволяйте себе становиться ногами в кресла. И не грызите ногти!

Витька отдернул руку ото рта.

— А я и не становлюсь... — Ему показалось, что женщина вдруг сделалась точь-в-точь их классная воспитательница Вера Карповна. А у девчонки, что тут прохаживалась и задалась, глаза стали укоризненными, как у Секретаревой Анны. — Вон кто становится, — пробормотал Витька. — Ему и говорите. Чего все на меня-то сваливаете...

Возле кресла стоял поручик, чиркал мизинцем по своим усам вправо-влево. А на кресле, на гобеленовой обивке, стоя-

ла поручикова нога в сапоге, сверкающем от солдатского злого усердия.

Женщина смотрела на поручика так, словно был он всего-навсего первоклассник.

— Вы что, не поняли? Снимите ногу! Кресло это начала восемнадцатого века. Художественная ценность.

— Аристократы чертovsky! — Глаза поручика остудились, их словно инеем прихватило. Он вырвал у Витьки мушкетерскую шпагу и принялся неистово колотить и колоть художественное кресло. — Вот вам. Вот. Вот! — Затем, поостыв, уселся в кресло и задрал ногу на ногу.

— Господи, какой позор, — женщина посмотрела на девчонку, на Витьку, на парня светлоголового. — Вы молодые, — сказала она. — Вам долго жить. Заметьте, нет ничего гнуснее мещанина, когда он утвердится в креслах. И ничего трусливее.

Поручик быстро забарабанил пальцами по резному подлокотнику.

— Тэк-с, тэк-с... А говорите, вы не большевичка.

— Нелепо! Я не могу быть большевичкой. Но от вашего блистательного хамства меня мутит гораздо больше, чем от их революционной фамильярности.

Девчонка, она была тут как тут, все слушала разинув рот и кулаком свою ладошку месила.

— Во дает барынька, — сказала она. — Крой их гадов-паразитов.

Поручик указал рукой вверх.

— Прошу, сударыня. Полковник у нас крутой. Дворян не жалует. Он, к счастью, без всяких предрассудков.

Они еще не дошли и до середины лестницы, как дверь наверху отворилась. Круговой впахнул в подвал избитого раненого красногвардейца.

— Сознался? — спросил поручик.

— Никак нет. Он из нашей волости. С наших-то легче голову срубить, чем говорить заставить, — упрямые козлы.

Красногвардеец прошел мимо женщины:

— Эх, барыня. Я ж говорил вам, объяснял. Не ваше дело чапаевцев лечить... Зверюга. — Красногвардеец показал на потолок и крикнул поручику в лицо: — Да не причастная она!

— Заступники у вас, увy... — Поручик приложил руку

к козырьку. — Не мешкайте, сударыня. Полковник не любит ждать.

Женщина скрылась за дверью. Поручик прошипел:

— Ишь, недотрога-цаца... Князья, бояре, белоручки, пустомели предали Россию, а мы расхлебывай. Мы кормим вшей в окопах, а они упрятывают бриллианты и бегут, как крысы с корабля.

Когда заключенные остались одни в подвале, Витька спросил:

— А где Чапаев?

Девчонка прошлась вокруг него, вихляясь, сунув руки в карманы кофты.

— Вопросыки задаете? А может, вам, ваша благородия, господин графенок, его планы рассказать насчет стратегии, как вашу белую силу бить?

— Какой я тебе графенок?

— Князек, что ли?

— Да я просто... Витькой меня зовут.

Девчонка засмеялась.

— Ишь заливает — выкручивается. Ты мой революционный взор не обманешь. Я тебя, контра, насквозь просматриваю и чую... — Девчонка потянула остреньким носом. — Сдобными булками от тебя разит. — Она подняла к Витькиному лицу руки с растопыренными грязными пальцами, уцепила его за нос. — Как дам промежду ушей, так и перестанешь сдобными булками пахнуть. Кровосос рабочего класса.

Витька отпрянул. Такую несправедливость он стерпеть не мог. Он размахнулся и... промазал. Девчонка ловко пригнулась.

— Я тебя за кровососа! — Витька бросился вперед. И поскольку масса у него была больше, да к тому же он разбежался, то опрокинул девчонку навзничь и уселся на нее верхом.

— Возьмешь назад кровососа?

— Кровосос ты и есть! — девчонка завизжала. — На вот тебе — получай! — И укусила Витьку в колено.

Витька взвыл уже в воздухе, так как светлоголовый парень его приподнял за шиворот и поставил в сторонку.

Девчонка тут же вскочила, поправила волосы.

— Можно, я этому гимназисту поперек тела пройду? — спросила она, ни к кому, собственно, не обращаясь.

Витька снова бросился на нее за такие слова. Но она под-

ставила ему ножку, да вдобавок еще дала по шее. Витька упал.

— Я покажу ему нашу революционную силу! — Девчонка хотела навалиться на Витьку сверху, но светлоголовый парень ее удержал.

— Оставь ты его, пускай дышит.

Витька сел. Саднило локти. Болело колено. Душа болела!

— Чего она лезет-то! Не знает еще, а лезет! — выкрикнул он.

— Ты откуда такой? — спросил парень.

— Из Лени... — Витька запнулся.

Девчонка засмеялась, подошла ближе. Было в ней много любопытства, но еще больше желания подраться.

— Из Лени... С Лены, что ли?

— Из Петрограда.

— А чего тебя сюда занесло?

— Я, может, к Чапаеву пробирался.

— Ишь ты, и в Питере Василь Иваныча знают, — сказал парень.

— А как же, кино было...

— Заговаривается... — Девчонка покачала головой, губами почмокала. — Сильно тебя казаки по кумполу треснули.

Раненый красногвардеец, который тоже смотрел с любопытством и даже с весельем, если можно так сказать об измученном вконец человеке, спросил:

— Кто отец?

— Рабочий.

— С какого завода?

— С Кировского — с Путиловского.

— А чего ж ты так вырядился? Как анархист.

Витька потрогал шкуру красную махайродовую, шпагу потрогал. А шляпа фетровая мушкетерская с белым пером валялась на полу.

— Так... Промахнулся я.

— Не верю я ему, — сказала девчонка. — Ну, ни единому словечку не верю. Ишь, какие штиблеты на нем. Я таких отродясь не видывала. — Она пнула Витьку по ноге. Витька лягнул ее в ответ.

— Да, что-то ты крутишь, — согласился красногвардеец.

Девчонка вдруг схватила Витьку за локоть, впиалась больно жесткими тонкими пальцами в тело.

— А ну, покажь руки!

Витька нехотя показал.

— Ясно, врет, что он рабочий сын. Мозолев нету.

— У меня же отец рабочий, — возмутился Витька. — А я же сам в школе учусь.

— А после школы? — Девчонка наседала на Витьку и руками размахивала. — Дров напилить-наколоть. Ребятишек меньших понанчить. Мамке полы вымыть помочь. Картошку почистить, ну и буржуйскому какому сынку или попovichу по скуле съездить. Деньжат подработать при случае. Нет, и не ври, не пролетарские у тебя ручки. — Девчонка ткнула Витьку в бок жестким своим кулаком, как костяшкой. — Признавайся, к какой партии принадлежишь?

— Да к нашей.

Девчонка так и взвилась.

— К ихней! Видали, ферт. Он к ихней партии принадлежит. Монархист? А может, эсер? Эсдэк? Кадет?

Витькино гражданское сознание напряглось все. Он закричал фальцетом:

— Я тебе как врежу! Пионер я!

Девчонка с облегчением перевела дух.

— Ну вот — сам сознался. Не выдержал моего допроса. И до чего же буржуазия хитрая — новую партию организовали, чтобы наше революционное сознание обманывать.

— Наша это партия! Коммунистическая! — заорал Витька истошным голосом.

Девчонка ничуть не смутилась.

— Меншевик, значит, — сказала она.

— Врешь — большевик! Под салютом всех вождей!

Девчонка глянула на Витьку с откровенным, даже насмешливым недоверием. Затем ее взгляд выразил жалость, сочувствие и понимание.

— Ну зачем же ты обманываешь? — сказала она. — Или тебе сдобные булки приелись? Горького захотел?

— Большевик, — сказал Витька тише. — Говорю — большевик.

— Побожись.

— Коммунисты в бога не веруют! — отчеканил Витька. Светлоголовый парень хохотал.

— Отбивайся, гимназист.

Раненый девчонку поддержал:

— А ты, Нюшка, ему не спускай. Ты насакивай.

Девчонка воспряла, глаза сощурила.

— А ты про каких это всех вождей говорил? — спросила она тихим, вѣдливym голосом.

— Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Владимир Ильич Ленин.

— Маркса слыхала. А Фридрих твой — меньшевик.

— Но, но, — остановил ее раненый. — Это, Нюшка, уже не по правилам.

Девчонка обиженно поджала губы. «Он небось предметы проходил, а я читаю и то по складам, — подумала она. — Но я его на другом согну».

— А вы ему побольше верьте. Он гимназист, грамотный, может, из листовок чего почерпнул. А сейчас прикидывается, чтобы революционную бдительность обмануть. А ну, прижми руку к сердцу, — скомандовала она. И сама Витькину руку к Витькиному сердцу прижала. — Излагай программу!

— Что излагать?

— Излагай, говорю, большевистскую программу, контра.

— Вся власть Советам. Кто не работает — тот не ест...

— А про землю чего молчишь? — спросил раненый. — Ты про землю давай. Этот пункт самый главный.

— Земля — крестьянам. Фабрики — рабочим.

— То-то, — раненый лег поудобнее.

Светлоголовый парень подхватил его мысль на свой манер.

— Земле кто нужен? — сказал он. — Мужик ей нужен да еще конь. А сейчас все мужики да все кони где? Друг друга саблями чешут. Стынет земля без мужской руки... Бывало, выйдешь под вечер, пашня малиновая, аж в синь. И дух от нее идет живой.

Парень замолчал, наверно, представил себе затоптанную, захоженную пашню, поросшую бурьяном, да еще голодное злое дыхание над всей Россией.

— Война, — вздохнул он. — Братоубийство...

Девчонка прошла мимо Витьки, заложив руки за спину, спокойная, как уверенный в себе оратор.

— Дальше излагай. Не знаешь... Во-первых, долой войну! Во-вторых, мир хижинам — война дворцам! В-третьих, пролетарии всех стран, соединяйтесь! В-четвертых, и да здравствует мировая революция!

Дверь наверху распахнулась. По лестнице спустилась

женщина. Она была бледной, шла с трудом и дышала трудно. Казак плелся сзади.

— Вот она жизнь-то, как цыганская торба, — бормотал он понуро. — Сам не знаешь, чего из нее вытянешь.

Казак подвел женщину к старинному креслу.

— Как говорится — из князи да в грязи.

Светлоголовый парень помог женщине сесть.

— Вас били? — спросил он.

Женщина вздрогнула.

— Бить женщину?!

— Им хоть бы что.

Женщина опустила голову.

— По-моему, он глуп, этот полковник. Пытался убедить меня, что я связная этого Чапаева. Ну не смешно ли? Подлец и ничтожество. Он называл моего мужа трусом. Посмел бы он сказать это ему в лицо... — Женщина подняла голову, глаза ее вспыхнули возмущением: — Он на ковер плевал! И неприлично выражался! И рычал!

Светлоголовый парень усмехнулся едва приметно. Казак каблуками клацнул.

— Там вы молчали, барыня.

— Мне не пристало разговаривать с хамом.

Казак огляделся, ухватил Витьку глазами.

— Господин гимназист, вас к себе господин полковник просят.

У Витьки в голове мелькнула мысль: «Вот оно. Вот сейчас он покажет». Витька плечи расправил, вбежал на первые ступеньки лестницы. Крикнул:

— Все равно вас разобьют! — и запел: — «Родина слышит, родина знает, как ее сын в облаках побеждает...»

— Ишь, снова бредют, — сочувственно сказал казак.

Когда захлопнулась за Витькой дверь и тишина установилась в подвале, девочка подобрала фетровую мушкетерскую шляпу с белым пером страусиным.

— Шумливый гимназист. Лучше бы молчал. Его бы отпустили, а там куда захочешь. Хочешь — к Чапаеву. А хочешь... Короче — жить.

— Жила бы. Что стреляла в фараона? — проворчал раненый.

Наверху грохнуло что-то. Сквозь открытые окна залетел в арестантскую печальный звон стекла. Сапоги по стеклу захрустели

Светлоголовый сказал:

— Хрусталь дробят.

Женщина сгорбилась.

«Чудаки, — девчонка подумала. — Хотя бы барынька эта. Себя ей не жалко — вместе с нами сидит, — а хрусталь жалко». Девчонка походила, повздыхала, ногти погрызла. Потом напялила на голову Витькину мушкетерскую шляпу, затянула на талии кофту вязаную.

— Я, мадам, как себе на жизнь зарабатываю. Ихние благородия после расстрелов душевные песни любят слушать. — Девчонка подошла к роялю, поколотила немного по клавишам и запела: — «Снился мне сад в подвенечном уборе. В этом саду мы сидели вдвоем...» Плачут ихние благородия под эту песню — рубашки на себе рвут. Бандитам или анархистам «Цыпленка» пою. «Цыпленок жареный, цыпленок пареный...» — Девчонка выщелкивала чечетку с оттяжкой, юбкой трясла, лягала ногами чуть ли не выше своей головы. — А вот у солдат на песнях не заработаешь. Солдаты сами петь горазды. Солдаты гадание любят, про будущую свою судьбу. — Девчонка достала затрепанную колоду карт из-под кофты, ловко стасовала их и подсела к светлоголовому парню.

— Слушай, сокол. Глаза твои прямо глядят, сердце твое горячо бьется. Рисковый ты человек, натура твоя гордая. Но бойся ночи темной, ручья проточного... А впереди тебя ждет счастье большое. Не веришь? Карты не врут, не обманывают — одну правду говорят. Большим начальником будешь. Будет у тебя дом новый, хлеб бесплатный, динама медная и сапоги со скрипом...

Парень засмеялся:

— А кто же вместо меня землю пахать станет?

— Как кто — динама. Динама и землю вспашет, и дров наколет, и воды начерпает. — Девчонка переметнула колоду, присела рядом с женщиной. Раскинула карты прямо у нее на коленях, да еще носом потянула и сладко зажмурилась, уловив аромат духов.

— Женщинам гадать тоже легко. Только вы не обижайтесь, в гадании на «ты» говорят, такой цыганский закон. Мне цыганка настоящая объясняла. Если на «вы», тогда веры не получится... Ой, горемычная, золотая, — запела она сладким голосом. — И будет тебе в скором времени письмо с черной каемочкой...

— Нет, нет, — отпрянула женщина. — Я не верю.
— Не верь, бриллиантовая, не верь. А бумага будет ошибочная. А сударь твой в казенном доме.

— Неправда, — сказала женщина. — Он в плену.

— Карты не врут — одну правду говорят. На картах плен тоже казенным домом обозначается. Позолоти ручку... А впереди у тебя небо голубое, ни одного облачка. Душа у тебя ясная, и счастье у тебя, красавица, будет со всех сторон. А эта карта указательная...

— Что это значит? — с интересом спросила женщина.

Девчонка метнула взгляд на светлоголового парня.

— Поглядывает на тебя, золотая, один сероглазый. Хороший человек, не ветреный...

— И не стыдно тебе? — засмеялась женщина.

— Так гадание же. Не соврешь — не прокормишь. — Девчонка встала, подошла к раненому красновардейцу.

— Труднее всего комиссарам гадать.

— И комиссары слушают?

— А как же, — девчонка вздохнула. — Они-то, конечно, не для веры слушают, так, больше для интереса. Я слов ученых не знаю, а то бы и они поверили... Ой, большой ты человек, выдающийся Наполеон. Твоя голова, будто колокол, гудит, как народу хорошую жизнь наладить. Глаза твои вперед глядят на тысячу верст, вглубь просматривают на сто верст. Но нет у тебя личного социального счастья. А потом будет. Большим делом будешь заведовать. Для народа стараться будешь, чтобы каждому по динаме...

— Что ты все о динамах каких-то? — спросил парень.

Девчонка вскинула на него глаза.

— А как же? Я в Саратове видела в казарме. Солдаты такую динаму крутили, по очереди. И свет от нее горел и картина шла. Динама что хочешь может, она как бы заместо коня. Только ее кормить не надо и пасти. Я думаю, лет через пятьдесят у каждого жителя будет такая динама.

— Зачем же всем по динаме? Можно и одну на всех — большую, — сказал раненый красновардеец.

— Э, не скажи. К одной-то динаме небось не все толкнуться смогут. Народу-то в России тьма. Ближние понаलिпнут, а те, что подальше, тоже попрут. Подавят друг друга. Каждому по динаме безопаснее, да и вернее, я думаю.

Наверху закрипела дверь. По лестнице спустился Витька. Не избитый, не помятый, гордый.

Девчонка медленно поднялась с колен.

— А-а... — пропела она очень ласковым голосом. — Господин гимназистик пожаловали.

— Не зови меня гимназистом. Я свой. — Витька похлопал девчонку по плечу. — Сейчас меня допрашивали. Я им все высказал. Всю правду им в глаза резал. Тебя как зовут?

— Нюшка.

— Не нужно, товарищ Нюшка, вешать нос. Мы, товарищи, на правильном пути. — Витька сделал еще один озабоченный виток по подвалу. — Сейчас для нас, товарищи, главная задача — пробиться к своим. Какие на этот счет имеются соображения? Высказывайтесь. — Витька уставился на светлоголового.

Тот руками развел.

— Никаких. Я, господин гимназист, здесь ни за что.

Витька подошел к девчонке.

— А у тебя?

Девчонка тут же промокла вся насквозь от злых слез и тут же высохла — распалась от гнева. «Ишь, контра. Меня не обманешь, я тертая, битая...»

— А у меня полно соображений, — сказала она сквозь зубы и кулаки сжала. — И о чем же вас ваши благородия допрашивали?

— Допрос по всем правилам. Перекрестный.

— И что же вы им ответили?

— Сказал как надо. Встал вот так и сказал. — Витька грудь выпятил, голову закинул.

— Ишь ты. Где же это вы так вставать научились.

— У нас. Так все встают, когда надо.

— И что же, они вас чайком угостили или какавой с макаронами?

Витька понял издевку — насупился.

— А ты все воображаешь? Я им рассказал все как есть. Я им даже будущее объяснил, если хочешь знать.

Девчонка кивнула.

— Хочу.

— Я им сказал, что в будущем все будет. И телевизоры, и атомный ледокол, и реактивные самолеты, и спутники, и панорамное кино.

— А они?

— Они спросили — министры будут?
— А вы?
— Сказал, что будут.
— А они?
— Спросили — генералы будут?
— А вы?
— Сказал, не только генералы, даже маршалы.
— Ну, а они?
— Спросили — рестораны будут?
— А вы?
— Ну, будут, сказал. «Астория», «Европейский», «Метрополь», «Универсаль». А они смеются — не поверили, паразиты. — Витька обвел глазами арестованных. «Что-то не то», — подумал он и спросил тревожно: — Вы тоже не верите?

Девчонкины глаза сузились, стали похожи на сверкающие острые лезвия. Даже подбородок у нее острым стал.

— Мы верим. — Девчонка подошла к Витьке боком. Ей очень хотелось заехать кулаком в глаз этому подлому гимназисту, но она сдержалась, раскрыла перед Витькой затрепанную колоду. — Погадаю я тебе, гимназист-голубь. Черная карта на тебя вышла. Вроде провокатор ты — подсадной гусь. Говори, они тебя к нам посадили, чтоб доносить? — Девчонка схватила Витьку за ворот. Карты полетели, рассыпались по полу.

Витька вырвался.

— Ты что? Ты что в самом деле? — он вдруг почувствовал слабость внутри, головокружение и такую тоску, словно остался один во всем мире. Витька подошел к светлоголовому парню.

— И вы не верите?

Парень засвистал что-то очень печальное.

Витька к раненому подошел. Раненый посмотрел на него тускло и отвернулся. Подошел Витька к женщине.

— И вы не верите, что я большевик?

— Я не могу судить, — сказала женщина сухо.

Витька сел на пол — завыл:

— Большевик я! Большевик!

Когда в подвальных закоулках улеглось эхо, разбуженное Витькиным криком, девчонка хмуро сказала:

— Большевиков вон как отделявают, — она кивнула на раненого и всхлипнула. — Ну зачем ты, зачем ты такой гад?

Поиграть тебе захотелось? Сидел бы дома, ел бы сдобные булочки с изюмом...

В голове у Витьки было пусто, как в квартире, из которой навсегда уехали жильцы. Только какие-то тени, как пятна на выцветших обоях. Что-то здесь было, а что?

В подвал спустились казак и поручик. Казак остановился у лестницы — винтовка к ноге. Поручик, проходя мимо, тронул Витьку за подбородок.

— Не нужно волноваться, большевичок. Как говорится, мы с вами еще гульнем в «Метрополе».

От его слов стало Витьке совсем плохо, словно его уличили в воровстве.

— Выходи на середину! — скомандовал поручик светло-головому парню. И когда парень стал перед ним, поручик еще раз скомандовал: — Скидывай сапоги!

Парень посмотрел в голубое небо за окном, повел светлыми бровями, словно отогнал какую-то мелкую мысль. Не сгибаясь, стряхнул с ноги сапог.

— Сними другой, — сказал поручик.

Парень другой сапог стряхнул. Одна нога у него была в портянку обернута в ситцевую, в цветочках. Другая нога босая.

Поручик сказал:

— Так, так, так... — расстегнул планшетку кожаную. Брезгливо, двумя пальцами вытащил из нее портянку и, поморщившись, бросил ее. Портянка легла к ногам парня. Такая же, ситцевая в цветочках. Поручик сказал: — Твоя, — и в голосе у него была задушевность. — В твоей подводе нашли под доской. А в портянке мышьячок. Что ж ты не отпираешься, сволочь?

Парень подхватил с пола ломаный стул с витыми тяжелыми ножками, но казак ударил его по руке прикладом.

— Не балуй.

— Зачем ты? Зачем? — Голос у поручика стал еще мягче. — Молодой, только жить да жить. А ты лиходейством занялся, бандит. На кого ты поднялся? На Россию! И что тебе надо? Землю? Получишь землю — сажень.

Парень молчал. Губы у него твердели, сжимались — ножом не раздвинуть.

Парень молчал, и Витька не выдержал. Витька нагнулся, подобрал с пола мушкетерскую шпагу — бросился на поручика. Он бы проткнул его, такая в нем была сила и ярость.

Но казак Круговой подхватил его, как куренка, потрянул и поставил в сторонку. Сползла с Витькиных плеч махайродова шкура, выпала из руки мушкетерская шпага.

— Такой иглой курей пугать, — сказал казак. — Не для войны оружие — для баловства.

Вокруг Витьки завилились огненные спирали, приблизились почти вплотную — чтобы подхватить его. Но Витька видел, как наливались злобой поручиковы глаза, как побледнела женщина, закусила губу. Как приподнялся на локтях раненый красногвардеец.

— Нервы, — поручик налил себе коньяку. — Как говорится, героический психоз... Круговой, веди.

Витька голову вскинул, подошел к раненому красногвардейцу, пожал ему руку и, обратясь ко всем, сказал:

— Прощайте, товарищи.

— Ишь снова бредют. — Казак Круговой легонько оттолкнул его. — Здесь не театр. Расстреливают здесь всерьез... Давай. — Он кивнул светлоголовому парню, пропустил его вперед и зашагал следом, клацая по каменным ступеням казачьими коваными сапогами.

Наверху парень оглянулся.

— Вспоминайте, кто выживет.

Казак толкнул его.

— Давай не задерживайся.

Через минуту хлопнул во дворе негромкий выстрел...

За окошком было синее небо. Летние запахи спустились в подвал, к ним был подмешан кисловатый запах пороха.

Когда случается смерть среди людей, люди прячутся в себя и какое-то время находятся не все вместе, а по отдельности.

Тихо было.

Но чуткое ухо девчонки уловило за окном какую-то перемену в звуках. Слишком быстро по улицам казачьи кони скачут. Слишком громко двери в особняке хлопают.

— Наши, — сказала девчонка.

— Чапай! — сказал раненый красногвардеец.

Далекое «ура!» растекалось по городу, шумней становилось и бурливее, словно вода прорвала запруды.

По лестнице бегут — подошвами шаркают. А во дворе уже гранаты бухнули. Уже пулемет садит вдоль улицы. Звякнув по булыжнику, воют шальные пули.

ОПЯТЬ СИНЯЯ ВОРОНА

Анна Секретарева надела самое лучшее платье, плиссированное, расчесала густую челку и, погрозив своему отражению в зеркале кулаком, пошла в больницу с серьезным ответственным поручением. Ответственное поручение она получила от своего шестого класса, но платье надевать самое нарядное шестой класс вовсе ее не просил и челку расчесывать перед зеркалом совсем не приказывал.

Пришла Анна Секретарева в приемный покой и выяснила вмиг, что к Витьке Парамонову ее не пустят, что вот уже двенадцать с половиной часов он лежит без сознания. Ни мать, ни отца, ни бабушку к нему не пустили, так как врачам не ясна его болезнь и вокруг этого дела туман еще не рассеялся, а, наоборот, все еще больше запуталось. Анна Секретарева немного пошумела насчет ответственного поручения, но эти белые холодные айсберги, именуемые медицинским персоналом, ее и слышать не слышали.

Тогда Анна Секретарева, недолго подумав, применила тактику — прочитала список больных, к которым ходить можно, выбрала среди них одного с заковыристым именем — отчеством Никодим Архипович, натерла глаза кулаками и — в регистратуру.

— Мне к дедушке — заболел наш дедушка Никодим Архипович.

— Шестая палата.

Анна Секретарева избегала по щербатым ступенькам и у всех, кто попадался ей навстречу, спрашивала:

— Где тут травматологическое отделение, палата номер два?

Ее направили в длинный коридор с кафельным полом. В конце коридора стоял медный широкоплечий бюст заслуженного академика из прошлого века. Анна Секретарева раскатилась по кафелю на кожаных подошвах, чуть не вонзилась в академика лбом и тут заметила сбоку в закутке никелированную каталку, а на каталке под простыней Витька Парамонов лежит, бледный с закрытыми глазами, нос в потолок, руки поверх простыни, вдоль тела.

— Парамонов, — строго сказала Анна Секретарева, — как тебе не стыдно, — и замигала, замигала глазами часто-часто, и голос у нее сразу сел и охрип.

С грохотом полыхали зори, сквозь красный трепещущий свет неустойчивый прорисовывалось голубое пространство.

— Каракуты кружевараы, кармадары, кармадары! — прокричала где-то ворона. Просвистела крыльями. По-над Витькой прошел синий ветер.

Витька застонал, открыл глаза.

— Стреляй же ты, белогвардеец! Стреляй! На, прицеливайся в сердце... — Витька задышал носом для суровости. — Я Витька Парамонов! Вы еще услышите...

— Кружат, кружат круглеца ламца дрица хоп ца-ца. Крови надо?

— Что? — прошептал Витька. — Чего ты просишь?

— Крови надо?

Витька скомкал на груди белую простыню.

— Не нужно крови. Хватит крови...

Свет слегка прояснился, полыхнул зарницами, розовым рассветным лучом коснулся стен и Витькиного влажного лба.

— Витька, ну, Витька же...

Витька повернулся на голос. Возле него стоит девчонка.

— Я тебе кричу, кричу. Ты что, оглох?

Витька рванулся всем телом к ней и застонал. У него все болело, и в организме происходило нечто странное, словно все внутренние органы, толкаясь, искали свои места.

Анна Секретарева выглянула в коридор — нет ли кого, потом принялась ухом отыскивать Витькино сердце, показалось ей, что у Витьки Парамонова сердца нет, правда, это давно ей казалось, иначе зачем было бы человеку так всех пугать — все вокруг в панике, а он лежит себе нос кверху.

— Не вертись ты, — сказала ему Анна Секретарева.

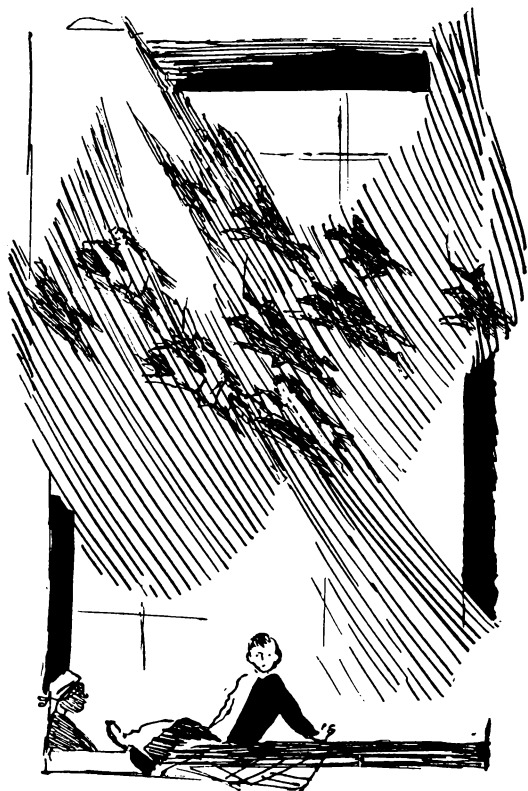
— Нюшка, хорошо, что ты пришла, — забормотал он. — Я думал — ты так и не согласишься... Какая ты нарядная сегодня. Белые из города смотались, да?

Разговорившись, Витька на каталке сел. Но Анна Секретарева уложила его и простыней прикрыла.

— Лежи, лежи. Ты меня с кем-то путаешь, Парамонов, или бредишь.

— Нет, Нюшка, правда — ты красивая сегодня. И челка у тебя. Ты на одну девчонку похожа, на нашу старосту Анну Секретареву.

Шестой класс не наказывал Анне Секретаревой плакать, но она всхлипнула тоненьким голосом.



— А я и есть Секретарева Анна.

Витька дернулся, застонал:

— Где я?

— В больнице, где еще...

— А ты Секретарева Анна?

— А кто же? Чего ты на меня так смотришь?

— Секретарева! Секретарева, можно я тебя потрогаю? Ты в самом деле — ты! Вернулся! — Витька схватил себя за ворот рубахи и прошептал: — А как же заклинание? Не говорил я заклинания. Я заклинания ведь не говорил! Я точно помню — не говорил!

Анна Секретарева терпеливо вздохнула.

— Ну, Витька. Ну до чего же тяжело с больными — сиди и слушай всякий бред... Ну, Витька, я к тебе по делу. Мне поручили. Серьезно — крови надо?

— Чего?

— Ну, крови надо?

— Зачем?

— Тебе. Переливание. Весь наш класс уже здесь, в саду, в кустах стоят. Все готовы, как один. Я первая. — Анна Секретарева вытянула руку. — Не боюсь ни капельки. Пусть берут хоть литр. — И вдруг засмеялась. — Шестой «А» тоже пришел. Ругаются: «Вы кровь сдаете, а мы что — хуже?» Мы говорим, что мы не виноваты, если ты из нашего класса. А они кричат: «Имеем право — у нас кровь лучше, поскольку выше успеваемость!»

— А что со мной произошло? Как я сюда попал?

— Как что? Кошмарный случай...

В коридоре послышались шлепающие шаги. Анна Секретарева юркнула под Витькину каталку.

К Витьке подошла старая седая санитарка.

— Очнулся, — сказала она. — Лежи, дыши воздухом. Тут воздух целебный, насквозь лекарством пропитанный. Надышишься и очухаешься.

— А что со мною было? Наверно, магнитные потоки. Или, может, когда из искривления пространства выходил в ноль времени. В этот момент нужно голову в плечи втягивать, а я ж в беспамятстве летел и не втянул. За параллаксом не следил...

Санитарка пощупала ему лоб.

— Температура нормальная. Переучился... Велено тебя в нервную палату перекатить. Травм на тебе не найдено.

— А здесь у меня что? — спросил Витька, ткнув пальцем себе в горло.

— Царапина. У вашего брата, как у кошек, вся шкура изорвана.

Витька завопил:

— А шрама-то и не было? Это от пули.

Санитарка седой головой покачала, хотела что-то сказать, но именно в этот момент из кабинета заведующего отделением вышел старый, но еще достаточно дюжий мужчина с костылем.

— Очнулся? Доложи, что ты там делал? — спросил он.

— Как что? Что надо, то и делал. Что мог. Конечно, нужно было подготовиться, подчитать кое-что, проконсультироваться. Тогда бы я еще побольше дел наделал. Я, знаете, наверно, приземлился не туда, когда летел сюда, обратно. Наверное, вонзился в дом.

— Туда ты приземлился — ко мне на плечи. Да если бы не я, ты бы в лепешку. — Мужчина поднял глаза к потолку, руки поднял. — Я ж ведь тебя поймал. Гляжу — летишь. Соображаю — лови, Степан. Подставил руки — и готово, поймал. Я, брат, и не таких ловил... — Он шлепнул себя по забинтованной ноге. — А это пустяк в деле — срастется.

Санитарка двинулась на него всей своей белоснежной массой.

— А вы тут голову ему не крутите. Голова у него и без вас слабая. Поймал! — Она перешла на ты. — Ишь ты — поймал! А я вот у заведующего спрошу, может, и тебя, старый болтун, нужно в нервное переводить. Глаза вином залил: споткнулся о мальчишку и ногу сломал, старый хвастун, болтун плешивый.

Мужчина пришел в ярость.

— Во-первых, не плешивый! Во-вторых, как ты знаешь, что я его не ловил? Ты на месте происшествия была? Не была. А кто «скорую помощь» вызвал? Я! На одной ноге скакал!

— Ишь ты, кавалерист какой выискался, — санитарка толкнула каталку никелированную, чтобы катить Витьку Парамонова в нервное отделение.

Под каталкой громко пискнула Анна Секретарева.

Санитарка на Витьку посмотрела строго.

— Пищишь? — и снова каталку тронула.

— Осторожнее. Тут человек, — сказала, вылезая, Анна Секретарева.

Санитарка открыла рот, наверно, чтобы насчет порядка объяснить. Но Анна Секретарева челку свою поправила и сказала вперед:

— Я делегация. Насчет цветов.

Из санитарки долго выходил воздух и, видимо, почти весь вышел, а именно — голос у нее стал тонким и всхлипывающим.

— Да что он сделал, чтоб ему цветы? Он подвиг, что ли, совершил?... Пошла отсюда! Я вот сейчас тебя за челку...

Анну Секретареву заслонил мужчина с костылем. Она выглянула из-за его спины и прошептала:

— Витька, спроси. Ну, Витька...

— Крови надо? — спросил Витька у санитарки.

— Я ей сейчас дам крови!

— Не имеете права! — Анна Секретарева отбежала за широкоплечий медный бюст заслуженного академика. — Мы тут всем классом. Мы кровь пришли отдать. Другие отдают, а нам нельзя?

Санитарка шлепнула Витьку по рукам, чтобы за халат не цеплялся, и уже совсем приблизилась к академику, как вдруг по коридору прошел синий ветер. Губы у академика будто бы усмехнулись. Глаза из-под медных тяжелых бровей полыхнули багряным светом. А за окном кто-то громко сказал:

— Каракуты кружевны. Крагли крагли круглокрутки. Носовертки перевертки.

Санитарка обомлела от этих слов, почувствовала в животе жжение.

Анна Секретарева повернулась к окну... Глаза ее распахнулись во все лицо. На крыше невысокого больничного флигеля сидела возле трубы ворона, глядела на Анну Секретареву синим хрустальным глазом и как будто подмигивала.

— Ворона. Синяя-синяя! — крикнула Анна Секретарева. — Витька, смотри. Ну, смотри же — синяя ворона!

А Витька Парамонов все сам видел. В одну коротенькую секунду почувствовал он в себе такое состояние, как будто он крепко выпался, хорошо искупался в прохладной воде, с аппетитом позавтракал и сейчас все его мускулы просят движения, а душа — дела.

— Ура!!! Будет много меди! — закричал Витька. — И нам на памятники хватит! — Соскочил с никелированной каталки и припустил по коридору, по холодному чистому кафелю.



ОЖИДАНИЕ

Три повести
об одном
и том же



В А С Ь К А

(Вандербуль бежит за горизонт).

ИМЯ ДЛЯ СЕБЯ

Весна пахнет арбузом. Особенно по утрам.

Земля пахнет прорастающими семенами.

Васька вышел во двор, расстегнул верхнюю пуговицу пальто и закричал:

— Вандербуль!

Расстегнул еще одну пуговицу — закричал еще громче:

— Вандербуль!

Ребятам любопытно: что человек кричит?

— Это что? — спросила девчонка в оранжевой шапке,

— Это я, — сказал Васька. — Это теперь мое новое имя.

Я его сам придумал.

Вандербуль увидал кошку. Кошка лежала на ящике, повернув к солнцу белое брюхо.

Он неслышно подкрался к ней и закричал:

— Вандербуль!

Кошка зашипела, прижала к затылку острые уши, завывала и прыгнула в чью-то форточку.

Кто первым чует весну? Кошки. Кошек не проведешь. Они ходят по скользким крышам. Таращатся в небо. Они ожидают птиц, летящих из Африки, но птицы летят высоко, рядом с мокрыми тучами. Кошки тянутся вверх, поднимают когтистые лапы. Жадно стонут, орут и кусают друг друга.

Вандербуль знал все про кошек и про весну.

Когда весна войдет в город, начинается славный шум. Грохочут железные крыши. Палят водосточные трубы. Прямо в прохожих ледяными снарядами.

Лужи вокруг. Брызги.

Когда весна пообсохнет, небо станет далеким и синим. В стеклах зажжется радуга.

Теплынь!

Вандербуль расстегнул все пуговицы на пальто. Засунул руки в карманы штанов и, грудь колесом, пошел в подворотню.

Вандербулю нравилось новое имя. Старое ему не годилось. Что в нем, в старом? Вась-ка. Словно просачивается и уходит застрявшая в раковине вода. Пусть люди сами придумывают себе имена.

Вандербуль! Словно боевой клич. Славно жить с таким именем.

По улице шли прохожие. Гурьбой. Разноцветными толпами. Весело кашляли и улыбались.

Вандербуль потолкался среди прохожих, хотел закричать свое новое имя, но передумал. Просто подошел к незнакомому гражданину, протянул руку и, радостно глядя ему в глаза, заявил:

— Вандербуль.

Гражданин растерялся, поправил клетчатый шарф.

— Гутен морген, — сказал гражданин. Отойдя шага на три, он спросил сам себя озадаченно: — Черт возьми, может, я чего перепутал?

Вандербуль зашагал дальше — грудь барабаном.

По рельсам катил трамвай. Сопели автобусы. Они неохотно лезли на мост, наверно, мечтали сойти со своих путей и удрать в незнакомые переулки.

Вандербуль помахал им рукой. Свернул с шумной улицы на Крюков канал.

В черной воде с синеватым отливом утонули белые облака.

По шершавым булыжникам бегали голуби, прыгали воробы.

Возле решетки, на щербатой гранитной плите, сидел безногий мужчина. Он был без пальто. Его кепка лежала на тротуаре. Мужчина смотрел в небо, щурился и почесывал щеку. Сидит человек — один-одинешенек. Вандербуль по-

топтался в сторонке, потом боком, по-воробыному, подошел к инвалиду.

На пиджаке у мужчины, возле лацкана, темнело пятно в форме звезды. Посередине пятна Вандербуль разглядел дырочку.

Мужчина шевельнулся, сел поудобнее, скосил на Вандербуля глаза. Вандербуль улыбнулся ему. Для храбрости хлюпнул отсыревшим носом и протянул руку:

— Вандербуль.

Мужчина одним пальцем опустил его руку.

— Подходяще. А я вот на облака люблюсь. Красота. Иные — как звери. Иные — как корабли.

Вандербуль осмелел, пододвинулся ближе.

— Такая сказка есть, — сообщил он. — Знаете? Это было давно, когда придумали самолет. Изобретатель придумал и показал королю. Тогда всё королям показывали. Королю очень понравился самолет. Он даже заерзал от радости на своем золотом стуле и закричал: «Летчиков в небо! Пускай летают над моим дворцом, составляют из облаков мое имя. Я и придворные будем любоваться с балкона».

Рассказывая, Вандербуль сел рядом с мужчиной, прямо перед кепкой, в которой желтела медь.

— Летчики погибли? — спросил мужчина.

— Погибли. Запутались в облаках и столкнулись друг с другом. Тогда самолеты были некрепкие.

Мужчина засмеялся, уставился на голубей.

— Всегда так, — сказал он. — Наверно, этот король закладывал.

— Что? — спросил Вандербуль.

— За воротник, — ответил мужчина.

Вандербуль ничего не понял, но ведь короли всегда делают странные вещи. И, чтобы не показаться глупым, Вандербуль сказал:

— Наверно, закладывал. Я у отца спрошу.

Голуби подходили близко, в сизых мундирах, в красных штанах. Толстые, важные. Воробы дрались в промоинах, крали у голубей корм и — фр-rrr! — летели над Вандербулевой головой.

Мужчина пятерней почесал ногу, обернутую штаниной выше колена. Вандербулю стало холодно вдруг. Он потрогал темное пятно у мужчины на пиджаке, которое имело форму звезды, и спросил тихо:

— Это у вас от ордена?
Мужчина посмотрел на пиджак.

— Что?

— Это у вас орден висел?

— Ну, орден.

— Вы его отвинтили?

— Я его в шкаф убрал на самую верхнюю полку и нафталином посыпал.

— Больно было?

— Что больно? — сухо спросил мужчина.

Вандербуль покраснел, ему стало стыдно, что он такой любопытный, но уж очень хотелось узнать про войну.

— Ну, когда вас ранило... — Вандербуль осторожно дотронулся до ноги в подвернутых брюках.

— А-а, — сказал мужчина. — Тебе сколько лет?

— Шесть.

— Большой мужик.

Мимо шли люди в пальто нараспашку. Вандербуль смотрел в их спокойные лица.

— Куда же вы мимо? — спросил он.

Остановился какой-то парень без кепки. Уставился на Вандербуля.

— Мы деньги просим, — объяснил ему Вандербуль.

Парень покраснел, принялся шарить в карманах.

— Мелких нету, — сказал он с тоской.

Вандербуль поднял кепку.

— Это ничего. Давайте, какие есть.

Парень покраснел еще пуще.

— У меня никаких нету, — пробормотал он и замигал от досады.

Мужчина засмеялся:

— Спасибо, братишка... Хочешь, возьми на трамвай.

— Что ты! — попятился парень. — Извините... — И быстро пошел, почти побежал.

Мужчина смотрел ему вслед. Глаза его медленно гасли.

— Пойдем, я тебя мороженым угощу или, хочешь, конфетами.

— Посидим еще. Поговорим лучше про войну. — Вандербуль положил кепку себе на колени. — Вы, наверно, были героем-танкистом.

Мужчина опустил голову, царапнул пятерней небритую щеку и, словно сделав для себя открытие, сказал удивленно:

— Вот какое слово проклятое — «был». Это не твоя мама спешит?..

По набережной бежала Вандербулева мама. Рядом с ней торопилась Людмила Тарасовна, дворник. Они бежали сквозь голубиные стаи.

Вандербуль хотел крикнуть: «Мама, мама, давай! Кто вперед?» — но мама уже схватила его, подняла на руки и так крепко стиснула, словно кто-то чужой и недобрый пытался его отнять.

Кепка упала. По гранитной плите покати́лась чужая медь.

— Разве так можно? — испуганно прошептала мама.

Мужчина приподнялся, посмотрел на маму с усмешкой.

— Подсоби, сестренка, своей трудовой монетой инвалиду, который мог бы стать героем-танкистом.

Мама круто повернулась и побежала к мосту, унося на руках Вандербуля.

— Ты зачем меня несешь? — кричал Вандербуль. — Мы хотели поесть мороженого!

Дворник Людмила Тарасовна следовала за ними со спокойным сознанием выполненного долга. Она оборачивалась, кричала мужчине:

— Бессовестный! Глаза, как у сироты, а кулаки-то, как у разбойника. Вернулся. Ишь, рожа красная. Сегодня доложу участковому, что ты опять засел тут.

Придя домой, мама посадила Вандербуля в горячую ванну. Она мылила его хвойным мылом. Терла розовой поролоновой губкой.

— Он герой! — кричал Вандербуль.

Мама молча окунала его с головой в воду. У Вандербуля изо рта вместо гневных слов вылетали мыльные пузыри.

Мама растерла его мохнатым полотенцем. А когда пришел отец, она рассказала ему тихо:

— Понимаешь, он сидел с нищим, выпрашивал деньги.

— Бывает, — сказал отец.

— Нет, ты ему объясни.

Отец пошел в другую комнату — искать своего сына под широким диваном.

А Вандербуль стоял в коридоре. Он рисовал на светлых обоях разрушенный город и танк. Танк горел. От него отползал человек. Человек не мог ползти быстро. Его ноги лежали возле горящего танка. Они были похожи на старые валенки.

— Разве это танк? — услышал он голос позади себя.
За его спиной стоял отец.

Отец взял у него карандаш и по соседству нарисовал другой танк, с могучими гусеницами и длинной пушкой. Такой танк, по мнению Вандербуля, не мог гореть. Он мог только идти вперед от победы к победе.

— Слушай, — сказал отец, — давай поговорим об этом деле.

— А если ему на войне оторвало ноги?

— Это не оправдание.

— Он на войне был героем, у него орден.

— Тем более.

Вандербуль рисовал на обоях пули. Они летели, словно осенние злые мухи.

В коридор вышла мама. Она принесла мягкую резинку, которая называется клячкой. Принялась чистить обои.

— Пусть будет, — сказал ей отец.

— Но мы не одни живем в квартире.

— Моя картина никому не мешает, — сказал Вандербуль.

Отец его поддержал:

— Все равно ее не сотрешь.

Мама увела Вандербуля спать.

Вандербуль ворочался, смотрел в потолок, расчерченный голубыми прямоугольниками.

Отец и мать говорили за дверью. Голос у мамы был беспокойный:

— Ты, кажется, не так ему объяснил. Ты бы ему сказал, что этот человек пьяница и бездельник. Что ноги он потерял... ну, попав под трамвай, что ли.

— Я этого не знаю, — ответил отец. — Ну, успокойся.

«Зачем меня мыли мылом? — думал Вандербуль. — Я ведь вчера купался». Светофор с перекрестка бросал в потолок зеленые, желтые, красные вспышки. Вандербуль смотрел на них, пока ему не стало казаться, что он идет по зеленым, желтым и красным плитам. А вокруг никого. Только жужжат пули и ранят его одна за другой.

На следующее утро мама разбудила Вандербуля, поставила завтрак на стол. Она торопилась на работу и долго прилаживала к новому платью брошку.

— Убереешь со стола и отправляйся гулять. За тобой тетя Лида закроет. Только гуляй во дворе — на улице ветер.

— Ладно, — сказал Вандербуль.

Он убрал со стола. Застегнул пальто на все пуговицы. Соседка тетя Лида осмотрела его и выпустила гулять.

Ребята играли в трехцветный мяч. Он постоял, посмотрел на игру.

— Я тоже придумала себе новое имя, — сказала ему девочка в оранжевой шапке. — Я буду Люциндра. Есть в деревне такая трава, от нее медом пахнет.

Вандербуля тянуло на улицу.

На горбатый мост, как вчера, вползали трамваи.

Ветер выстроил над домами свой белокрылый флот. Ветер проводил большие маневры. Флотилии облаков шли одна за другой, скрывались за горизонтом крыш, унылым и близким.

На набережной Крюкова канала было пустынно. Вандербуль двинулся вдоль решетки. Вскоре он вышел к Морскому собору. Почему его называют Морским? Может, за голубую с белым окраску? Соборная колокольня стояла отдельно, светила золотым шпилем, как навечно зажженная свечка.

Неподалеку от паперти сидел инвалид. Вместо пиджака на нем была синяя матросская рубаша, на ногах брюки клеш. Черные тихие старушки кидали монеты в мятую бескозырку.

— Большое вам спасибо, мамыши, от искалеченного войной моряка, — говорил инвалид.

«Может быть, одну половину войны он был танкистом, другую был моряком», — подумалось Вандербулю. Вандербуль хотел подбежать к инвалиду, поздороваться, но его опередил медленный милицкий майор.

— Ты опять за свое, — сказал майор инвалиду. — Тебя ведь выслали.

Нищий улыбнулся бесстрашно.

— Я в отпуске, гражданин начальник. Могу документ предъявить.

Майор посмотрел документы.

— Ты что же, не нашел отпуску лучшего применения?

— К старому делу тянет. — Мужчина поднялся, сунул под мышку костыль. Увидел Вандербуля. — А тебе чего надо? Чего ты за мной ходишь? Ордена ему подавай. А я во время войны был вот таким шкетом. — Сильным рывком он оттянул книзу ворот тельняшки. — Вот, вся грудь в орденах. Обхохочешься...

На заросшей груди были выколоты бабочки, и среди этих бабочек синело мешковатое сердце, проколотое стрелой.

— Нет у него орденов, — холодно сказал майор. — Идите... И прикройте пейзаж.

Нищий поправил тельняшку. Пошел не оглядываясь. Майор тоже пошел мимо черных сердитых старушек.

Вандербуль прислонился лбом к холодной решетке соборного сада и долго стоял так.

Дома Вандербуль отыскал мягкую резинку, которая называется клячкой. Резинка вобрала в себя графит, но Вандербуль рисовал так усердно и так сильно надавливал карандашом, что даже стертый рисунок был отчетливо виден. Вандербуль сбил его молотком и убрал с пола известку.

ВОЗРАСТ ВЫНОСЛИВЫХ И ТЕРПЕЛИВЫХ

Снова была весна.

С разноцветными тучами — фиолетовыми, красно-бурыми, цвета стального и цвета меди.

Город весной беззащитен. Город прикрывает прорехи афишами. А весна льет дожди. Иногда, растолкав тучи, она показывает небо, синее и блестящее. Небо пахнет холодным ветром.

Во дворе перемены. Песочником, качелями и трехцветными лакированными мячами завладели другие ребята. Гремя погремушками, колотя в барабаны, лезут они из каждой парадной. Они вытеснили Вандербуля и его ровесников. Они завладели двором.

Четыре года прошло с той весны. Генька, Лешка-Хвальба, Шурик-Простокваша, девчонка Люциндра и Вандербуль сидели на трансформаторной будке. Они морщили лбы, сосредоточиваясь на единой высокой мысли. Выпячивали подбородки, отяжелевшие от нестигаемой воли. Они говорили.

— Геракл — это сила.

— Чапаев... Чапаев тоже будь здоров.

На дверях трансформаторной будки череп и кости.

Ромул основал Рим, когда ему было всего двадцать лет.

Князь Александр в двадцать лет уже стал Александром Невским. Двадцать лет — это возраст героев. Десять лет — это возраст отважных, выносливых и терпеливых.

Генька, у которого не было клички, дергал носом и кривился.

— Асфальтом воняет, — сказал он, чихнув. — А мне вчера зуб выдрали.

Люциндра отворила рот и засунула туда палец.

— Во, и во, и во... Мне их сколько вырвали.

— Тебе молочные рвали. Молочный зуб в мясе сидит. Настоящий — прямо из кости растет. Иногда даже челюсть лопается, когда настоящий рвут. Я видел, как один военный упал в обморок, когда ему зуб дернули. Подполковник — вся грудь в ординах.

— Я бы не упал. Я еще и не такое терпел, — самозабвенно похвастал Лешка-Хвальба.

— А ты попробуй, — сказала Люциндра.

— Нашла дурака.

Вандербуль глядел в Лешкины выпуклые глаза. Что-то затвердело у него внутри. Все предметы во дворе стали вдруг мельче, отчетливее, они как будто слегка отодвинулись. И Лешка отодвинулся, и Люциндра. В глазах у Люциндры отражаются Генька и Шурик. Руки у Вандербуля стали легкими и горячими. Такими горячими, что щипало ладони.

— Я вырву, — сказал Вандербуль.

— Ты?

— А неужели ты? — сказал Вандербуль.

Он спрыгнул с трансформаторной будки и, прихрамывая, пошел к подворотне. Ребята посыпались за ним.

В подворотне Генька остановил их.

— Пусть один идет.

— Соврет, — заупрямился Лешка-Хвальба.

Шурик-Простокваша заметил:

— Как же соврет? Если зуб не вырвать, он целым останется.

— Вот попохожем, — засмеялся Лешка-Хвальба. — Выставляться перестанет. И чего выставляется?

Вандербуль шел руки за спину, как ходили герои на казнь, до боли сдвинув лопатки. Он ни о чем не думал. Шел почти не дыша, чтобы не растревожить жестокое и, наверно, очень хрупкое чувство решимости.

Когда он скрылся в уличной разноцветной толпе, Лешка-Хвальба подтянул обвислые трикотажные брюки.

— Вернется. Как увидит клещи, так и... — Лешка добавил несколько слов, из которых ясно, что делают люди в минуту страха.

Люциндра от него отодвинулась. Сказала:

— Дурак.

— Не груби, — Лешка нацелился дать Люциндре щелчка в лоб.

Генька, у которого не было клочки, встал между ними. С Генькой спорить небезопасно — Лешка повернулся к нему спиной.

— Простокваша, пойдем, я тебя обыграю во что-нибудь.

МЕЛКИЙ ДОЖДЬ

Вандербуль шагал вдоль домов. Дождь блестел у него на ресницах. Мелкий дождь не льется, он прилипает к щекам и к одежде.

Люди вежливы и болезненно самолюбивы. Всему виной деликатная мелочь — одежда. Чем дороже одежда, тем обидчивее ее хозяин: жаль себя, жаль денег, жаль надежд, возлагаемых на хороший костюм.

Вандербулю дождь нипочем. Он его даже не замечает, только губы соленые.

Девушки, странный народ, улыбаются ему. Им смешно, что идет он под мелким дождем на подвиг такой отрешенный и светлый.

— Эй!

Вандербуль споткнулся, почувствовал вкус языка.

— Смотри под ноги.

В мокром асфальте перевернутый мир. Человек в люке проверяет телефонные кабели.

И вдруг засветились пятнами лужи, мелкий дождь засверкал и растаял — на землю хлынуло солнце.

— Мороженое! Сливочное, фруктовое...

Вандербуль повернул к больнице.

В сквере пищали и радовались воробы. На мокрой ска-

мейке, подложив под себя фуражку, сидел ремесленник Аркадий из Вандербулева дома. Рядом, на Аркадиевых учебниках, сидела девчонка.

Вандербуль сел рядом.

— Аркадий, вам зубы рвали? — спросил Вандербуль.

— Зачем? У меня зубы — как шестерни. Я могу ими камень дробить.

Из открытого окна больницы вылетел крик, искореженный болью. Он спугнул воробьев и затих.

— Ой, — прошептала девчонка.

Вандербуль попробовал встать, но колени у него подогнулись.

— Чепуха, — сказал Аркадий. — Меня высоким напряжением ударило — и то ничего. Уже побежали ящик заказывать, а я взял и очухался.

Глаза у девчонки вспыхнули такой нежностью, что Вандербуль покраснел.

— Я пошел, — сказал он. Встал и, чтобы не сесть обратно, уцепился за спинку скамьи.

— Да ты не робей, — подбодрил его Аркадий. — Когда тебе зуб потянут, ты себя за ногу ущипни.

Снова начался мелкий дождь, потек по щекам, как слезы.

— Бедный, — прошептала девчонка.

* * *

Девушка в регистратуре читала книгу. Брови у нее двигались в такт с чужими переживаниями, и дергался нос.

Человеку нельзя жить и мечтать, если в десять лет он не испытал еще настоящей боли, не опознал ее полной силы.

— Тетенька! — крикнул ей Вандербуль. — Тетенька!

Девушка выплыла из тумана.

— Чего ты орешь?

— Мне зуб тащить.

— Боже, какой крик поднял. Иди в детскую поликлинику.

Вандербуль сморщился, завыл громко. Одной рукой он схватился за живот, другой за щеку. Ему казалось, что, если он перестанет выть и кричать, девушка ему не поверит и выставит за дверь.

— Не могу-у. Я сюда еле-еле добрался.

Девушка еще не умела распознавать боль по глазам. Она

недоверчиво слушала Вандербулевы вопли. Вандербуль старался изо всей мочи — с басовитым захлебом и тонкими подвываниями. Наконец девушка вздохнула, заложила книжку открыткой с надписью «Карловы Вары» и, подняв телефонную трубку, спросила служебным голосом:

— Дежурного врача... Софья Игнатьевна, примете с острой болью? — Потом она посмотрела на Вандербуля, и во взгляде ее появилось сочувствие. — Только рвать не давай, пусть лечат. Очень обидно, когда мужчина беззубый.

Вандербуль поднялся по лестнице.

На втором этаже в коридоре сидели люди на белых диванах. Молчали. Боль придавала их лицам выражение скорбной задумчивости и величия.

У дверей кабинета стоял бородатый старик в новом синем костюме, красных сандалиях и желтой клетчатой рубашке-ковбойке. Старик ежился под взглядом заносчивой санитарки.

— Поскромнее нарядиться не мог? — санитарка качнула тройным подбородком. — Не по возрасту стилинга.

Старик поклонился необычайно вежливо.

— А вы, мабуть, доктор?

Санитарка пошла волнами, казалось, она разольется сейчас по всему коридору.

— Хлеборезка ты старая. Я в медицине не хуже врачей разбираюсь. Я при кабинете тридцатый год... Очередь!

Старик вздохнул, пригладил пиджак на груди, застегнул необмятый ворот рубахи.

— Ваша, ваша, — великодушно закивали с диванов.

— Я еще побуду, — смущенно сказал старик. — Может, кто раньше торопится?

Санитарка опалила его презрением.

— Нарядился, как петух, а храбрость в бане смысл, что ли? Кто тут есть с острой болью?

— Я, — прошептал Вандербуль.

Санитарка опустила на него глаза.

— Голос потерял? Ничего, сейчас заголосишь. — Она подтолкнула его к дверям. — Проходи.

У Вандербуля свело спину, заломило в затылке.

В кабинете на столике в угрожающе точном порядке лежали блестящие инструменты. Женщина-доктор писала в карточке.

— Садитесь, — сказала она.

Кресло — как холодильник, хоть совсем не похожее. Закрыли зубы. До этого они не болели ни разу. Вандербуль жалобно посмотрел на врача.

Доктор подбадривающе улыбнулась. Нажала педаль.

Кресло поднялось бесшумно. Прожектор — триста свечей — придавил Вандербуля жестким лучом. Из желтой машины тянулись ребристые шланги, торчали переключатели. Капала вода в белый звонкий таз.

Неизвестность страшнее познания. И только героям понятно, что в слабых людях познание рождает страх, в сильных — мужество.

— Как зовут?

— Вандербуль.

— Никогда не слыхала такого имени.

Голос у доктора словно издаেকে.

— Это не имя. Имя у меня Васька. Мне зуб рвать.

Доктор взяла инструмент, сверкающе острый. Ее пальцы коснулись Вандербулева подбородка. Пальцы у докторши теплые.

— Открой рот. Какой зуб болит?

— А вот этот, — Вандербуль сунул палец в рот, нащупал зуб, который потоньше.

Герои стояли за дверью. Он слышал их сочувственное дыхание.

Докторша шурилась.

— От горячего больно?

Вандербуль согласился.

— От холодного?

Вандербуль согласился.

— Тоже.

Докторша постучала по зубу металлом. Вандербуль вздрогнул, выгнул спину дугой. Докторша по другому зубу стукнула и даже по третьему, в другой части рта.

— Нет, — Вандербуль потряс головой и еле слышно добавил: — Рвите, который крепче.

Глаза докторши приблизились. Зрачки подрагивали в них, вспыхивали черным сиянием.

— Как ты думаешь, врач имеет право выдрать больного?

— По-настоящему?

— Ну, хотя бы оттаскать за уши?

— Не надо...

Докторша выпрямилась.

— Тетя Саша, следующего, — сказала она. — А этого вон. Гоните.

Над Вандербулем нависла грозная санитарка. Она прижимала голые локти к могучим бокам.

Вандербуль отскочил к двери. И вдруг вскрикнул, и вдруг заорал:

— Это не по-советски! Мне нужно зуб рвать!

Герои смущенно кашляли где-то рядом.

Вандербуль вылетел в коридор. Санитарка поправила закатанные выше локтей рукава.

— Чтоб медицина здоровые зубы рвала? Иль здесь жи-водерня?

— А если я очень хочу? Мне очень нужно.

— Иди хотя в другом месте. Следующий.

В кабинет влетела девица с распухшей щекой.

Очередь поглядывала на Вандербуля с недоумением. Молчаливые заговорили:

— Тут сидишь, понимаешь. Время в обрез.

— Видно, драть некому.

— А еще пионер.

Вокруг плакаты. На одном — человек с зубной щеткой. Мужественно красивый. Толстые буквы вокруг него кричат басом: «Берегите зубы!» Мужественный человек на плакате улыбается белой улыбкой. Он берег свои зубы с детства.

На лестнице Вандербуля догнал старик.

— Слушай, хлопец, постой. Поздоровкаемся.

Старик посадил Вандербуля на скамейку. Вандербуль от-вернулся.

— Ух же какой ты сердитый! К чему бы тебе здоровый зуб рвать?

— Для боли.

Старик обмяк, рассмеявшись. Смеялся он хрипло, и голос у него был хриплый, глухой. Звуки, наверно, застревали в густой бороде, теряли силу.

— А вы не смейтесь! — выкрикнул Вандербуль. — Сами не понимаете, а смеетесь.

— Чего же ж не понимать? Хоть и больная зубная боль, да не дюже смертельная. — Смех скатывался со стариковой бороды, тек по новому пиджаку, словно крупные капли дождя.

Вандербуль разозлился.

— А сами боитесь! — закричал он. — Сами стоите у двери.

Старик продолжал смеяться.

— Я же ж не боюсь. Я опасаюсь. Мне докторша тот зуб дернет, а я ее крепким словом. Мне же ж неудобно. Вон какая культура вокруг. И докторша не виноватая, что у меня зуб сгнил.

— Кто вам поверит? — сказал Вандербуль. — Просто трусите и сказать не хотите.

Смех ушел из глаз старика.

— Худо, когда не поверят. — И добавил: — А боль от зуба обыкновенная.

Дверь в кабинет отворилась. В коридор вышла заплаканная девица с распухшей щекой. Медленно, со ступеньки на ступеньку, двинулась вниз.

— Очередь! — крикнула санитарка.

С белого дивана поднялся угрюмый мужчина. Старик сказал ему грустно:

— Я извиняюсь. Я теперь сам пойду. Вы уж будьте настолько любезны, посидите еще чуток.

КРУПНЫЙ ДОЖДЬ

Солнце билось в витринах и лужах. Над асфальтом стоял пар. На закоптелые крыши надвигалась мокрая туча. Солнечный свет встречал ее в лоб, становясь от этого резче и холодней.

Милиционер надел плащ с капюшоном. Женщины распахнули зонты.

Вандербуль и старик шли по улице.

Старика звали Власенко. Он ворчал:

— Худо, когда рот только для каши годен. — Отвернулся, и, когда глянул на Вандербуля, рот у него засверкал белой пластмассой.

«Наверно, вставные зубы не нужно чистить, — подумалось Вандербулю. — Наверно, их моют мочалкой».

— Год в кармане берегу, — объяснил старик, раскланиваясь с прохожими. — Тот старый пенё мешал. Я бы его на

геть вырвал, но ведь какая причина — последний. Последний зуб — не последний год, а все жалко. Нынче зимой, когда он совсем расхворался, я решил зараз: вырву. Для этой цели я и в Ленинград прибыл, оказал старому лешему последнюю почесть. У меня же ж тут в Ленинграде дочка. Анна. Аспирантуру проходит по моряцкому делу. — Старик вытащил из кармана стершийся зуб, повертел в пальцах и бросил его через парапет в речку Фонтанку.

— Ух же ж ты, старый пень. Прощай, брат... — Блеснули в грустной улыбке стариковы вставные зубы.

— Больно было? — спросил Вандербуль и посмотрел на старика с такой завистью, что старик опять рассмеялся.

— Я же ж тебе объяснял. Обыкновенная боль. Что зуб рвать, что пулей тебя прошьет, — одинаково по животу. Только мужик как устроен? Он любую боль терпит, если сопротивляется. Без сопротивления мужчина скучный. Отсюда мужику зуб рвать — хуже нет. Не ударишь ведь докторшу невиноватую. Настоящему мужику в атаку легче идти, чем к зубной докторше.

Дождь хлынул сразу. Широкой теплой метлой хлестнул по всем улицам. Загнал Вандербуля и старика в подворотню.

Сильный дождь настроения не портит. Люди отряхиваются, говорят «черт возьми», но в этих словах нет досады и злости. Тучные мужчины с портфелями, подвернув штаны, скачут по ошпаренному асфальту. Смеются над собственной резвостью.

— А вы на войне были? — спросил Вандербуль старика.

— Я-то? На империалистической окопную вошь кормил. В гражданскую за Советскую власть сражался. В Отечественную уже ж куда меня занесло. Аж в Югославию. В партизанский отряд, к командиру товарищу Вылко Иляшевичу.

Ветер шумел в подворотне, холодил мокрые спины.

— Скоро дождь кончится, — сказал Вандербуль. — Сильный дождь — короткий. А на которой войне вам всех больнее пришлось?

Старик посмотрел на Вандербуля затосковавшими вдруг глазами.

— На последней... Дуже далеко на нашу территорию немец прошел.

— Я у вас про другую боль спрашиваю, — сказал Вандербуль.

— Всякая боль — боль. Я ж тебе расскажу. Имеется у ме-

ня знакомец. Он до войны служил моряком. Имел он в себе гордость от своего моряцкого звания, от своего уже немолодого возраста, от своей силы в мускулах и от своего веселого нрава. Плавал мой знакомый товарищ шкипером на баржах. У баржи ход медленный. Зато дюже большой простор для глаз. По берегам жизнь. Лесные породы друг друга теснят. Травы зеленые в воду лезут. И под килем жизнь: лещи, окунье, букашки, — словом, разнообразное подводное царство.

А что касается людей береговых — мой знакомец для них лучший друг. Он им необходимый фабричный товар привозит, киномеханика, книжки. У них забирает картошку, хлеб, тес, постное масло, рыбу, лесную ягоду, грибы.

Те береговые люди имели на моего знакольца еще и особый вид — хотели его оженить на своей девушке. И, как говорят, окрутили. Перед самой войной случилось это веселое дело.

Жена моему сотоварищу досталась под стать — красивая. Такую и во сне не всякий увидит. Принялась она плавать с ним на барже в должности кока. И за матроса могла. А как заведет песню под вечер, — по берегам парни млеют, плачут про себя, что такая красавица мимо них по воде уплывает.

Мой знакомец и его молодая жена загадали себе на будущее двух ребятишек, ибо без ребятишек людям жить невозможно. Одни монахи без ребятишек могут. Они же ж монахи — ни богу свечка, ни черту кочерга. Они для дури живут и то маются.

Мой знакомец и его молодая жена загадали себе ребятишек — и не сбылось.

В сорок первом году, как война принялась, они вывозили из Выборга беженцев. Когда люди спасаются от беды, они в первую очередь детей хватают, чтобы не кончалась на свете жизнь. И стариков, — чтобы сохранилась на свете память.

У моего сотоварища на барже все женщины с ребятишками да старые матери-бабки.

Шли ночью. Хоть и светлая, а все ночь. Уже Кронштадт — спасение ихнее — вот он, из воды торчит. Беда на беду ложится: у моего сотоварища на барже лопнул буксирный трос. Баржу разворачивает волной. Волна та накатистая шла, гонит баржу на мелкое место. Буксиру повернуть невозможно, бо у него на гаке еще две баржи с народом. Переговорили, как положено морякам, на сигнальном

морском языке, — порешили. Пошел буксир в Кронштадт, а мой знакомец якоря бросил. Ждут люди, когда буксир за ними обратно вернется, спокойно ждут, без паники, бо тут паники не должно. Дети спят. Женщины дремлют. Бабки совсем без сна, они мало за свою жизнь спали, а к старости и совсем разучились.

Мой сотоварищ на носу был, с буксирным тросом занимался. Жена его у надстройки. Там она тент приладила ситцевый, в красную розочку, чтобы ребятишкам в тени спать, когда солнце встанет.

Замечал, когда солнце над морем еще не поднялось, — облака розовые? Будто перьями по всему небу. А вода темная.

В этот час оно и случилось. Прямо из розовых облаков спустились они со своими бомбами. За сто верст видать — груз не военный — мирные женщины с ребятишками. А они ж налетели, будто на крейсер.

Вода от взрывов, как пиво, вверх лезет.

Ребятишки в рев — какая у ребятишек защита? Жмутся под ситцевый тент и ревут.

Мой сотоварищ бросился на помощь бежать. Взрывом оторвало палубную обшивку, свернуло трубой. Запеленало его в эту трубу. Сперва сознание от него ушло, мабуть, на целую минуту. А когда возвратилось, он вокруг глянул. Баржу перерубило на две половины, и каждая половина тонет сама по себе. А между ними народ тонет.

Мой сотоварищ рвется из железных своих пеленок — рукой не шевельнуть, как в клещах. А народ тонет. Нос высоко задрался, почти свечой — большое пространство воды видно. Ребятишки тонут. Женщины прилаживают их к плавающим обломкам: может, продержатся, пока помощь поспеет, может, прибьет волной к берегу.

А не прибьет их волной к берегу: сверху их из пулеметов топят. Взрослый мужик молча старается умереть. Ребятишки — они же теснятся друг к другу и плачут, они смерти не понимают. И вот в этой беде моему сотоварищу все эти ребятишки его родными детьми показались. Он закричал. Зовет их. А что пустой крик в море?

— Такая есть боль, — когда жена, когда дети на твоих глазах тонут и их вдобавок из пулеметов бьют, а ты им помочь не умеешь.

Он кричал летчикам: «Гады вонючие, в меня цельте, вот

я!» Голову высунет из трубы, чтобы в него попало. А не попало — все в железо да в железо.

Корма с надстройкой ушла под воду быстро. Носовая часть не тонет дальше. Мабуть, на грунт встала, мабуть, воздух скопился в самом носу. Мой знакомец над водой повис. В лицо ему волна тычет.

Море опустело. Узлы, плавучие ящики, чемоданы унесло к берегу. Только тент ситцевый, под которым ребяташки прятались, плавает.

Мой знакомец долго кричал в пустое море. Плакал один. И когда его вытащили из железа матросы с «морского охотника», он кричал, ребяташек звал. Не хотел он жить.

И в госпитале кричал. Свесится с койки к полу, его же ж привязывали, и кричит — зовет ребяташек.

А никто ему не откликнется...

* * *

Дождь гудел на асфальте. Было совсем не понятно, как может небо скопить в себе столько воды. Удивленные люди уже не пытались перебежать улиц. Люди жалели милиционера, который стоял на перекрестке. Старушка в черном пальто, с плешивым усталым терьером на поводке попросила:

— Молодые люди, отнесите милиционеру мой зонт. Пожалуйста, будьте любезны.

— Спасибо, мамаша, то есть гражданка, я тут, — раздался чей-то смущенный голос. И все увидели милиционера. Он стоял под карнизом, в толпе промокших насквозь студентов.

— Боже, какая стихия! — вздохнула старушка.

Автобусы проплывали мимо, не отворяя дверей.

— Я у вас не про такую боль спрашивал, — сказал Вандербуль старику.

— Это ж она и есть, самая наитяжелая физическая боль. И воздух вокруг, а дышать нечем. И ухватиться не за что, а если и ухватишься, оно, как трухлявое дерево, под рукой сыплется. И ты будто воешь, а звуку твоего не слышно... Когда через неделю мой сотоварищ очнулся в госпитале, — узнал от главного врача, что нога у него сломана, два ребра смяты и ключица наружу, не считая нарушения внутренних органов.

«Это во мне враз заживет, — сказал он врачу. — От это-

го я не дюже страдаю. Я теперь такой человек, что и смертельную боль приму спокойно и независимо от прожитых годов».

— Может, вы про себя рассказывали? — спросил Вандербуль.

Старик усмехнулся, посмотрел на свои бурые, словно сплетенные из шнурков руки.

— У меня своя биография, у него своя. Я недавно с ним познакомился — в позапрошлом году. Он в Новороссийске сейчас проживает по инвалидности. Он же в конце войны ослеп и сейчас слепой. Он же ж какую силу в себе имеет — на кабана ходит с собакой. По шороху стреляет, по звуку.

Дождь ударил еще сильнее. Казалось, он пробивает асфальт, и земля, пропитавшись влагой, плывет под асфальтом, и мостовая рухнет сейчас. И рухнет город.

— Я у вас все равно про другое спрашивал, — сказал Вандербуль. — Такая сказка есть... Был один король, а у него — полководец. А у полководца был помощник. Король был очень знаменитый, потому что у него был полководец очень хороший. Он королю все войны выигрывал. А помощник завидовал и от зависти задумал злодейство. Король был обжора, у него от этого часто живот болел. Когда у него живот болел, у него настроение портилось и он на всех бросался. Помощник подождал, когда у короля живот заболит, и нашептал ему на ухо, что полководец готовит в войске измену. Король приказал полководца позвать и как закричит:

«Говори, пес-изменник ты или нет?!» — «Я твой верный солдат», — сказал ему полководец ровным голосом. «А чем докажешь?» — «Даю руку на отсечение».

Король выхватил свой обоюдоострый меч и отсек полководцу руку. И ни один мускул не дрогнул у полководца на лице. Вот какой был. — Вандербуль вздохнул и даже закашлялся от восторга. — Вот я про что спрашиваю. Ему руку отсекли, а у него даже брови не шевельнулись.

Старик засмеялся.

— Красивая твоя сказка. Только, думается, она не для жизни, а так — вроде бы для картинки. Для жизни она дюже красивая.

Дождь оборвался внезапно, только отдельные капли шлепали по асфальту. На улице стало шумно и оченьлюдно.

Осторожно ступая, вышла из ворот пестрая кошка. Голуби вылетели из-под карнизов.

— Славный был дождь, — сказал старик. — Хочешь, в кино пойдем, картину посмотрим? Все равно я сейчас свободный от дела.

— Спасибо, — пробормотал Вандербуль. — Я домой.

Он пожал старикову руку. Старик попридержал его.

— Тебе куда?

— Туда.

— Значит, нам в одну сторону.

Прохожие покупали сигареты с такой поспешностью, будто билеты на киносеанс, который уже начался. Старик взял пачку махорочных и коробку болгарской «Фемины».

— Для угощения, — объяснил он. — Твои родители кто?

Вандербулю стало неловко.

— Обыкновенные, — прошептал Вандербуль.

Он даже не знал, где работает его отец-инженер. Отец никогда не рассказывал о себе ничего такого, чем Вандербуль мог бы похвастать. Не отличался его отец ни силой, ни ростом, ни бойкостью в разговорах. Мать у него тоже была обыкновенная. Вандербуль вдруг почувствовал себя обворованным и униженным. Ему стало ясно, что жизнь обошла его, не одарив с рождения гордостью за родителей.

Мимо прошел пожилой моряк с широкой нашивкой. «Капитан, — подумал Вандербуль. — У этого есть чем гордиться». Он позавидовал капитанским детям и, не глядя на старика, соврал:

— Мой отец капитан. Его корабль налетел на старую мину у Курильских островов... Никто не спасся.

— Значит, ты моряцкой породы, — пробормотал старик. — А мамка что же? Снова замужем? Или вдовствует?

Люди врут, чтоб возвыситься. Ложь потащила Вандербуля в щемящую смуту, где каждый человек может увидеть себя хоть самым Прометеем.

— Она в больнице. Может быть, умерла...

— Вот как, — остановился старик.

Вандербуль смотрел в землю. Струйки грязной воды текли по асфальту.

— А я, старый леший, тебе рассказываю. Вот почему ты болью интересуешься.

— Я у тети живу, — сказал Вандербуль.

Он еще был высоко в своей лжи и чувствовал, что придуманные страдания сжимают сердце не слабее, чем настоящие. Ему даже показалось, что великие герои тесно столпились

вокруг и смотрят на него, как на равного. И он поднял голову.

За деревьями, за черными крышами торчали антенны и клювастые краны. По Межевому каналу буксир тащил баржу. Пахло корюшкой, будто свежими разрезанными огурцами.

— Я домой, — сказал Вандербуль.

На просмоленных досках дрожала радуга. Автобусы разрывали ее, но она снова смыкалась.

Старик проводил Вандербуля до самых ворот.

Дворник Людмила Тарасовна подметала асфальт.

— Что с ним? — спросила она. — Может, его машиной задело?

Старик угостил ее сигаретами — распечатал коробку «Фемины».

— Напрасно так думаете. Кто же ж такого хлопца заденет? Славный хлопец. И вы тоже славная женщина.

Старик попрощался с Вандербулем. И когда он ушел, Вандербуль почувствовал, что остался один на всем свете.

СЕРЬЕЗНАЯ МУЗЫКА

Вандербуль позвонил своему товарищу Геньке. Генька распахнул дверь и потащил Вандербуля по темному коридору.

— Хочешь, я тебе электрический граммофон заведу? — сказал Генька в комнате. — Серьезная музыка успокаивает нервы.

Вандербуль посмотрел на него пустыми глазами.

— Не нужно. Меня из больницы прогнали.

Генька остановился с пластинкой в руке.

— Жалко.

Генька все знал про боль. И никто не видел, как он плачет.

Сейчас он стоял перед Вандербулем, рассматривал граммофонную пластинку, словно она разбилась. Вандербуль тоже смотрел на эту пластинку, переминался с ноги на ногу. Генька вытер пластинку рукавом, поставил ее в проигрыва-

тель. В динамике загремели трубы, заверещали скрипки, рояль сыпал звуки, словно падала из шкафа посуда. Музыка была очень громкая, очень победная.

— Что делать? — спросил Генька тихо.

Вандербуль уже знал: нужно сделать такое, чтобы люди пооткрывали рты от восхищения и чтобы смотрели на тебя, как на чудо.

* * *

— Позовем ребят, — сказал Вандербуль.

Пришли Лешка-Хвальба, Шурик-Простокваша, девчонка Люциндра.

Сидели на кухне.

— Я опущу руку в кипящую воду, — сказал Вандербуль. — Кто будет считать до пяти?

У Лешки обвисли уши. Люциндра вцепилась пальцами в табурет. Шурик проглотил слюну.

— Ты опустишь?

— Я.

Шурик забормотал быстро-быстро.

* * *

— Давай лучше завтра. Завтра суббота.

Генька, ни на кого не глядя, зажег газ. Поставил на огонь кастрюлю с водой.

— Я буду считать, — медленно сказал Лешка-Хвальба. Он встал, прислонился к стене, прилип к ней, как переводная картинка. — Если человек хочет, пускай хоть застрелится.

Люциндра и Генька переглянулись и побледнели.

— Нетушки, — прошептала Люциндра. Она повернулась к Лешке, сказала с неожиданной злостью: — А ты молчи, молчи! Я сама буду считать. — И спрятала под табурет ищарапаннные лодыжки.

— Считай. — Лешка плюнул на чистый линолеум. — Только вслух.

Огонь под кастрюлей был похож на голубую ромашку. На дрожащих ее концах переходил в малиновый с мгновенными ярко-красными искрами.

Вандербуль пытался представить себе героев, с улыбкой

идуших на казнь. Великие герои окаменели, как памятники, занесенные снегом.

Донышко и стены кастрюли обросли пузырями. Мелкие, блестящие пузыри налипли на алюминий, словно вылезли из всех его металлических пор. Несколько пузырьков оторвались, полетели вверх и растворились, не дойдя до поверхности. Потом вдруг все пузыри дрогнули, стремительно ринулись вверх. На самом дне вода уплотнилась, заблестела серым свинцовым блеском, поднялась мягким ударом и закрутилась, сотрясая кастрюлю.

— Ты кого-нибудь ругай на чем свет стоит, — научил его Генька. — Тогда не так больно.

В кухне было тихо и очень безмолвно. Только клочкотала вода, беспощадно горячая.

— Закипела, — прошептал Шурик.

Лешка сказал, отступя от стены:

— Ну, давай.

Люциндра захлопнула рот дрожащей ладонью.

«Кого бы ругать? — подумал про себя Вандербуль. — Может быть, генерала Франко? Франко дурак. Фашист. Ну да, дурак, подлец и мерзавец!» Перед ним всплывала фигурка, похожая на котенка в пилотке. Лохматенькое существо скалило рот. Оно было смешным и жалким.

Вандербуль засучил рукава, посмотрел на ребят, онемевших от любопытства. Взял свою левую руку правой рукой, словно боялся, что она испугается.

«Франко, ты дурак! Беззубый убийца. Все равно всем вам будет конец!»

Сунул руку в кипящую воду.

«Фра-а-а!!» — закричало у него внутри. Он забыл сразу все слова и проклятья. Мохнатенькое существо оскалилось еще шире и пропало в красных кругах. Боль ударила ему в локоть, ринулась в ноги. В голову. Боль переполнила Вандербуля. Вышла наружу.

«Ба-ба-ба...» — стучало у Вандербуля в висках. Он отчетливо слышал, как ребята перестали дышать, как громыхает в кастрюле вода, как жалобно трется о форточку занавеска. Как Люциндра считает с пулеметной скоростью, почти кричит:

— Раздватричетырепять!

Он выхватил руку из кастрюли. Шагнул к раковине. Генька уже открыл кран.



Под холодной струей боль опала. Ноги перестали дрожать.

«Может быть, зря, — медленно думалось Вандербулю, — может быть, я останусь теперь без руки». Но это его не пугало.

Рука набухла на глазах. Пальцы растопырились в разные стороны.

Люциндра заплакала.

Лешка-Хвальба то открывал, то закрывал рот, словно жевал что-то горькое.

Шурик-Простокваша подошел к кастрюле, уставился в бурлящую воду. Поднял руку...

Генька оттолкнул его и выключил газ.

* * *

В больнице Люциндра кричала охрипшим голосом:

— Нам нужно без очереди! Несчастный случай случился.

Мальчишки почтительно мялись за Вандербулем. Рука у него обмотана полотенцем. Боль ударяет в локоть толчками, жжет плечо, кривит шею.

Вандербулю было спокойно, словно свалилась с него большая забота, словно он победил врага беспощадно могучей силы.

Люди провожают его взглядами, в которых сочувствие и сострадание. А он улыбается. И сострадание переходит в обиженный шепот:

— И чего улыбается? Может, ему руку отнимут...

А он улыбается.

Доктор — молодой парень — постучал карандашом по губе, попросил санитарку выйти и тогда спросил:

— Сколько держал в кипятке?

— Не знаю. Люциндра считала до пяти. Только быстро, по-моему.

— По-твоему, — доктор заложил руки назад и заходил по узкому кабинету. — Ух, — говорил доктор, сжимая за спиной чистые-чистые пальцы. — Глупость все это.

«Хорошее дело быть доктором, — думал Вандербуль. — Доктору нужно все понимать». Он улыбнулся врачу, и тот нахмурился еще больше, — наверно, застеснялся своего несолидного вида.

— Очень было больно?

— Как следует.

— Не орал, конечно.

Доктор осторожно обмыл руку жидкостью, подумал и наложил повязку.

— Без повязки лучше. Повязку я для твоей мамы делаю. Приходи, — сказал доктор.

— Спасибо, приду, — сказал Вандербуль. — А как вас зовут?

Доктор опять рассердился.

— Я тебя не в гости зову. В гости ко мне хорошие дети ходят.

Вандербуль засмеялся. Доктор покраснел и добавил, не умея сдерживать досаду:

— Будешь ходить на лечение и на перевязку. Герой.

«Я бы к вам даже в гости пришел, — подумал Вандербуль, глядя, как доктор пишет в карточку свои медицинские фразы. — Конечно, доктора должны уметь и кричать, и ругаться, но так, чтобы от этого становилось легче больным и раненым людям».

— Люциндра тоже хочет стать доктором, — сказал он, прощаясь. — Ей это дело пойдет. Она очень добрая, хоть и делает вид.

Доктор выставил Вандербуля за дверь.

Когда ребята узнали, что ожог не такой безнадежный и рука будет цела, ушло чувство подавленности. Ребята возликовали. Они кружили вокруг Вандербуля, трогали его страшную руку, заглядывали в глаза и были готовы поведать каждому встречному о мужестве и молчании.

Зависти не было. Люди завидуют лишь возможному и желаемому.

— Я думал, ты струсил, — говорил Лешка. — Гад буду, думал.

— И я думал, — бормотал Шурик.

— А я знала, что вытерпишь. Я всегда знала, — ликovala Люциндра. — Я еще тогда знала.

Генька шел впереди, рассекая прохожих.

Во дворе, развешенное на просушку, полоскалось белье. Всюду, где не было асфальта, малыши в ботах старательно ковыряли землю. Дворник Людмила Тарасовна читала роман-газету. Она сидела под своим окном на перевернутом ящике.

Вандербуль прошел мимо нее. Ему казалось, что он

окружен сладким паром. Обожженная рука держалась на марлевой петле, перекинутой через шею. Рука болела, но что значила эта боль!

Людмила Тарасовна закрыла роман-газету, скрутила ее тугой трубкой, но даже не заворчала, завороженная лицами Лешки-Хвальбы, Шурика-Простокваши, девчонки Люциндры и гордого Геньки. Они шли вокруг Вандербуля, как ликующие истребители вокруг рекордного корабля. Ей потребовалось какое-то время, чтобы прийти в себя. И она сказала одно только слово:

— Да-а...

Что это означало, никто не понял, но все почувствовали в этом слове что-то тоскливое и угрожающее.

ИСТОСКОВАВШИЕСЯ КОРАБЛИ

Вандербуль поднялся к себе на этаж. Ребята стояли рядом с ним, они были готовы принять на себя главный удар.

Мама открыла дверь и долго смотрела Вандербулю в глаза. Забинтованную руку она будто не замечала. Лицо ее было неподвижным. Только подбородок дрожал и подтягивался к нижней губе. Мама пропустила Вандербуля и закрыла дверь перед ребятами.

В комнате у стола сидел старик Власенко. Перед ним лежал пакет с серебристой рыбой.

Вандербулю показалось, что больная рука оторвалась от туловища и бьется одна, горячая и беспомощная. Он вцепился в нее правой рукой и прижал к груди.

— Что это? — спросила мама измученным голосом.

— Обжег.

— Ну вот, — сказала мама, как о чем-то давно известном и все равно горьком.

Старик поспешно поднялся.

— Я теперь пойду, — сказал он с досадой. — Извините великодушно. Старый леший, или ты от старости умом помрачнел? — бормотал старик, расправляя в руках мятую кепку. — Рыбу вы все же возьмите. Это же селедка дунай-

ская, самая первойшая рыба. Поедите за ужином, или гости придут.

Он надел кепку. Вытер лицо платком. Кепка ему мешала, он сбил ее на затылок.

— Проводи меня, сиротина, до остановки.

Мама хотела возразить, но подбородок у нее снова запрыгал, и она промолчала.

Вандербуль бросился к двери. Он выбежал на лестницу, промчался мимо друзей, которые стояли в парадном, и остановился перед Людмилой Тарасовной: она преградила ему путь метлой.

Людмила Тарасовна спросила, словно клюнула в темя:

— Куда?

— А вам что?! — закричал Вандербуль. — Что вы все лезете?

Сзади подошел старик. Крепко взял его за плечо.

— Давайте ругайте! — закричал Вандербуль. — Ну, наврал... Ну!

Старик вывел его на улицу.

Вандербуль смотрел на прохожих, но видел только серые пятна.

— Что ты сделал с рукой?

— Сунул в кипятик.

Старик прижал подбородок к ключице, отчего борода его вздыбилась.

— Сколько людей за вас жизнь отдали, а вам мало.

Старик пошел. Вандербуль глядел себе под ноги.

— А вам что?! — вдруг закричал он. — Чего вам надо?!

* * *

— Милиция? У нас убежал сын... Он ушел днем. А сейчас уже ночь... Я всех обзвонила... Нет, мы его никогда не бьем... Пожалуйста. Я на вас очень надеюсь. Я вас очень прошу... Светлая челка. Глаза темные, серые. Брюки джинсы — те-хасские штаны... Да нет же, не заграничные. Такие брюки продаются в наших магазинах. Они очень удобные для ребят, на них карманов полно. Зовут Василием. Фамилия Николаев... Особые приметы? У него забинтована левая рука... Не знаю. Кажется, обжег... Спасибо большое.

Во время этого телефонного разговора Вандербулев отец стоял у окна, смотрел в мокрую ночь. Он курил сигарету.

Мама положила трубку, и аппарат коротко звякнул.

— Кажется, все у него есть, — сказала Вандербулева мама. — Так чего ему нужно?

— Взрослеть, — ответил отец.

* * *

Ночь черная, плотная. Вокруг фонарей кипят желтые шары, тьма вокруг фонарей зеленая, а дальше, за домами, — густо-фиолетовая, как высохшие в банке чернила.

Вандербуль подошел к воротам морского порта. Взираясь ввысь красные лампочки. Они висели на подъемных кранах, далеко предостерегая идущие в ночи самолеты. В море качались, пересекались расплывчатые силуэты — одни темнее, другие чуть посветлее ночи. Мерцали неяркие блики. Вандербулю показалось на миг, что весь порт забит ржавыми грузовыми пароходами, греческими фелюгами, рыболовными шхунами, тральщиками и белотрубными океанскими лайнерами. И все эти корабли прислушиваются к скрипу схода. Ждут. Потому что давно, они уже позабыли когда, в их трюмах сидели голодные тихие зайцы. Корабли истосковались по сердцу, которое живет в самом темном углу их старательного и молчаливого тела.

Дождь мочил волосы, падал за шиворот, стекал по спине к пояснице.

Вандербуль открыл дверь вахты и сразу с порога сказал: — Згуриди Захар, с острова.

Вахтер посмотрел списки, потом пристально глянул на Вандербуля.

— Ты вроде потолще был.

Вандербуль поднял обожженную руку.

— Когда вам руку легковухой отдавят, и вы похудеете.

— Как же тебя угораздило?

— Поскользнулся. Проклятый дождь, везде скользко.

Вахтер покачал головой и уткнулся в газету.

Ветер шел с моря, качал фонари, прикрытые коническими отражателями. По бетону, позванивая, летела серебристая обертка от шоколада.

За морским каналом на острове был завод. На острове жили рабочие. На острове спал сейчас Згуриди Захар — одноклассник.

За большим пакгаузом темнота уплотнялась, становилась

черным корпусом океанского корабля. Огней на борту почти не было.

У трапа ходил пограничник.

Вандербуль спрятался под навесом, за бумажными мешками. Где-то под ложечкой сосали тоска, неуютность и чувство бесконечного одиночества. Вандербуль следил за пограничником, грудью навалился на мешки. Здоровой рукой он нащупал в тюке бананы. Бананы привозят зелеными. Вандербуль с трудом отломил один, надкусил не очистив и выплюнул. Мякоть у банана была твердая, вкусом напоминала сырую картошку, вязала рот.

Когда виноватый задумает себя оправдать, то первым делом ему покажется, будто его не понимает никто. Что вокруг только черствые, равнодушные люди. И от этого он станет себя жалеть, а из жалости есть один только выход — возвыситься.

— Я докажу, — бормотал Вандербуль. — Я таких там дел понаделаю. Вы еще обо мне услышите... — Он не знал, где это там, он был твердо уверен, что отыщет то самое место на земле, где сейчас до зарезу необходим Вандербуль. Где без него ничего не двигается, где без него царят уныние и растерянность и уже покачнулась вера в победу.

Он придет. Он поднимет флаг.

— Вы еще пожалеете... — бормотал Вандербуль.

Он сидел долго. Наверно, вздремнул.

К пограничнику подошли матросы. Они смеялись, говорили, картавя:

— Карашау.

Пограничник стал смотреть их моряцкие документы. В этот момент Вандербуль переполз пирс и повис на локтях под трапом.

Матросы смеялись, пританцовывали, шаркали остроносыми туфлями. Смех замер где-то вверх, в хлопанье дверей, в затахающей дроби шагов.

Между пирсом и кораблем, словно пойманные в западню, бились волны. Брызги, смешиваясь с дождем, долетали до Вандербуля.

Пограничник повернулся к трапу спиной, втянул голову в ворот шинели. Вандербуль здоровой рукой взялся за трап и, опираясь на локоть левой, полез, неслышно переступая с плицы на плицу. Он надолго повисал над узкой полоской

воды, зажатой между пирсом и черным корпусом корабля. Волны схлестывались друг с другом, жадно ловя отсветы бортовых огней. С трапа стекала вода. Одежда насквозь промокла.

Вандербуль лез выше и выше. Правая рука занемела, левая — больная — ныла. Боль отдавалась в плече. Вандербуль запрокидывал голову, слизывал дождевые капли с верхней губы; капли были соленые. Почти у самого борта Вандербуль с нижней стороны перелез на дорожку трапа и на четвереньках вполз на палубу.

Вахтенного на палубе не было, это Вандербуль заметил, когда лежал под навесом. Капитан, наверное, рассудил, что пограничник у трапа — охрана более надежная, чем десять вахтенных.

Вандербуль не знал, куда спрятаться. Метнулся к шлюпкам. Брезент принайтован. Вандербуль достал ножик, перерезал петлю. Залез в шлюпку. Прямо на банках лежали весла. Вандербуль устал. Он свернулся в клубок. Он хотел спать и хотел, чтобы его не будили.

Он еще не отдохнул достаточно, когда почувствовал сквозь сон мягкие толчки, но он не хотел просыпаться. Он заставлял себя спать и спал. И снова чувствовал, как падает и вздымается, будто летит. Во сне он вспомнил маленькую девочку из своего дома, которая рассказывала ему, что уже научилась приземляться. Раньше она летала во сне и всегда падала, а теперь она научилась приземляться, как птицы. Для этого нужно было очень быстро махать руками — и тогда спускаешься на ветку или куда захочешь. И висишь в воздухе, не сминая травы, не ощущая твердости и тяжести земли под ногами.

Вандербуль улыбнулся во сне и, когда почувствовал падение, быстро замахах руками. Горячая боль резанула ему по закрытым глазам.

Вандербуль сел, прижал больную руку к груди. И открыл глаза.

Он увидел море вокруг, серое и пустынное.

Возле шлюпки стояли матросы. Несколько человек. Они глядели на него, как смотрят в зоопарке на зверьков, о которых знали всегда, но увидели в первый раз.

— Бонжур, Магеллан, — вежливо сказал один из матросов.

Вандербуль втянул голову в плечи. Глянул исподлобья на

горизонт, — может быть, там осталась его земля?.. Может быть, с другой стороны. Он посмотрел в другую сторону.

Матросы засмеялись, закивали головами.

Вандербуль опустил голову, уставился на свою обмотанную бинтом руку. Ветер шлепал ему по щекам мокрой ладонью.

«Хоть бы дождик пошел, — подумал вдруг Вандербуль, — тогда можно было бы зареветь». Он знал одиночество после обид, это было трудное одиночество. Но сейчас все отступило. Сейчас было вокруг так пусто, словно сердце перестало биться и глаза перестали видеть.

НА БЕРЕГУ

Офицер-пограничник Игорь Васильевич вылез из такси и легко, по-командирски, поприветствовал Людмилу Тарасовну.

Вандербуль сонно вывалился за ним следом.

Утро. Облака над городами бело-розовые, как пастила «зефир».

Людмила Тарасовна сидела под своим окном на перевернутом ящике. Она увидела Вандербуля, вскочила и, оступившись, прислонилась к стене.

— Знаете его? — спросил пограничник.

— Еще бы.

— Ну, Магеллан, прибыли. Неохота мне с твоей мамой встречаться. Ох, представляю! Но ничего не поделаешь — пойдем.

Людмила Тарасовна остановила пограничника за руку.

— Откуда вы его? — спросила она.

— Из Калининграда, оказией.

Людмила Тарасовна заторопилась.

— Вы его мне отдайте. Я его сама отведу. Я здешний дворник. Могу под расписку. Их нету. Они рано уходят на работу.

Пограничник насупился, вынул из планшета письмо, адресованное начальником погранотряда отцу нарушителя.

— Хорошо, — сказал он. — Я днем наведуюсь... — Он вздохнул и пробормотал: — Письмо, правда, приказано

вручить лично. Приветствую вас. До свидания. — Он еще раз отдал честь Людмиле Тарасовне, сел в такси и только оттуда, опустив стекло, помахал Вандербулю: — Смотри, без эксцессов. У меня есть секретный приказ, если что...

Вандербуль улыбнулся грустно. Он знал, что Игорь Васильевич получил отпуск за хорошую пограничную службу и очень спешит к своей невесте Тамаре.

— До свидания, Магеллан! — крикнул Игорь Васильевич.

В глазах у Людмилы Тарасовны сгущалась тень. Она взяла Вандербуля за руку и медленно, зная, что он не посмеет сопротивляться, повела к себе.

Квартирка у Людмилы Тарасовны маленькая, почти пустая. Вместо украшений одна чистота. Такая просторная чистота.

Людмила Тарасовна поставила Вандербуля к стене. В глазах у нее что-то взорвалось. Она залепила Вандербулю пощечину.

— Плачь!

— Что вы, Людмила Тарасовна, — сказал Вандербуль.

— Плачь, говорю! — она бросилась к шкафу. Она рылась в нем, швыряя прямо на пол простыни, наволочки и полотенца.

— У матки нервные слезы не прекращаются, отец похудел, высох, а он целую неделю по морям плавает. А ему хоть бы что. Плачь, тебе сказано!

Наконец она нашла матросский ремень с потемневшей от времени пряжкой.

Людмила Тарасовна раскрутила ремень над головой и вдруг, отшвырнув его к паровой батарее, опустилась на пол. Она сидела посреди разбросанной одежды и всхлипывала.

— Что с вами делать? — бормотала она. — Мерзавцы. Мучители. — Она подняла на Вандербуля заплаканные глаза. — Этот-то, твой дружок, Генька с третьего этажа спрыгнул.

— Что с ним? — прошептал Вандербуль.

Людмила Тарасовна вытерла глаза углом накрахмаленной скатерти.

— Ничего с ним не сделалось. Даже коленки не поцарапал. Парашютист негодный. Паршивец. И еще хохочет. И еще рад чему-то... А ты чего радуешься?! — крикнула она Вандербулю.

Вандербуль сел на пол рядом с Людмилой Тарасовной.

Ему захотелось утешить ее. Но он не знал чем и, наверно, поэтому сказал самую нелепую и самую вечную фразу на свете:

— Извините, мы больше не будем.

* * *

На перекрестке регулировщик-милиционер махал палочкой. Он казался себе дирижером. Но на улице нет дирижеров. Улица живет сама по себе. Улица учит человека раздумью, как морские волны, как лес, как река с обрывистыми берегами. Она и похожа на реку. Фарватер ее обозначен вывесками. Вывески, безусловно, красивые и, конечно, созданы для удобства: «Гипробум», «Роскооптехснаб», «Кожгалантерея».

Вандербуль ходил по улицам уже много часов. Людмила Тарасовна отпустила его под честное слово. На Театральной площади Вандербуль столкнулся с двумя моряками. У них были широкие нашивки на рукавах и широкие полосы орденских лент. Вандербуль долго глядел, как они, разговаривая, садились в автобус.

Капитан канадского парохода сказал, сдав его пограничникам:

— Когда убегайт такое мальчишка, — это значит, что в нем вырастает храбрый мужчина. Попишите это папан, чтобы он не порол его очень.

Командир погранотряда, полковник, долго разговаривал с Вандербулем. Вандербуль боялся таких слов, как измена, предательство, но полковник расспрашивал его об отметках и всяческих пустяках. Потом он сказал:

— О родителях ты не подумал, конечно.

Вандербуль опустил голову. Обоженную руку он сунул между колен. Кровь в руке билась толчками, она словно продолжала счет, начатый Люциндрой на кухне. Только счет был сейчас очень медленный, и другая боль, посильнее ожога, росла в Вандербуле.

Он опять подошел к своему дому. Он знал на нем каждую выбоину, каждую надпись в парадных.

Из подворотни выбежала Люциндра. Вандербуль вздрогнул, спрятался за дерево. Чулки у Люциндры один длиннее, другой короче. Новые туфли велики — задники шлепают.

Люциндра постояла возле парадной и убежала обратно.

Вандербулю хотелось догнать ее, но он не сдвинулся с места.

Из проулка вышла старушка в черном пальто с побелевшими от древности швами. Она мелко шагала за лохматым терьером. Пес хрипло и часто дышал. Останавливался, скорбно смотрел на разевшихся голубей. Это был пес-астматик, старый, неумирающий пес. Вандербуль когда-то боялся его.

— Дышишь еще, — обрадованно сказал Вандербуль.

Пес ткнулся ему в ноги и, жалуясь, задрожал.

— Он уже плохо видит, — сказала старушка.

В воздухе стоял слабый запах травы. Бензиновая гарь не смешивалась с этим запахом, как жир не смешивается с чистой водой.

Вандербуль знал: мама сегодня не уснет всю ночь. Она будет ходить, поправлять на нем одеяло. А отец скажет ей:

— Ну, успокойся... Ну, все в порядке...

Вандербулю стало тоскливо от этих мыслей.

Кто-то тронул его за рукав.

Вандербуль поднял глаза. Перед ним стояли Люциндра и Генька.

— Хорошо, что мы тебя встретили первые, — сказал Генька.

Они потащили его от подворотни, пролезли сквозь дыру в заборе и, ничего не объясняя, затолкали в чужую парадную.

На площадке третьего этажа они подвели Вандербуля к окну.

На улице среди редких прохожих ходила мама. Она ходила взад и вперед.

— Говорят, матери на расстоянии чувствуют все, что творится с их детьми, — сказала Люциндра.

— Она уже неделю так ходит, — сказал Генька.

Во рту у Вандербуля стало сухо и жарко. Он смотрел на мать, похудевшую за эти дни.

Во дворе кричала маленькая девочка тонким печальным голосом:

— Мама!

И снова кричала, задев голову к нему окну:

— Мамуся!

Вандербуль побежал вниз по лестнице, слыша все время крик девочки:

— Мама!.. Мамуся!..

С Л А В К А

ЕДУТ НА КОРАБЛЕ ЛЮДИ

Если долго ехать на разном транспорте, то, конечно, в голову может прийти мысль, будто все население страны бросило жилища и пустилось в дорогу.

Кричали поезда в ночи. Их крик будил ребятишек, которые чмокали соски и, наверное, воображали, будто мир — это все, что мелькает, будто дом — это все, что трясется и мчится куда-то вперед.

Поезда бегут по синим рельсам.
Самолеты летят по синему небу.
Корабли идут по синей воде.

Славка сам придумал такие слова. Он поет шепотом, чтобы мама не слышала. Иначе она скажет, что Славка — на редкость бездарный сын. Славка был очень застенчивым. Он стеснялся даже собственной тени. Он всегда становился так, чтобы тень его не падала на других.

Славка хотел сочинить такие слова, будто есть на земле конечная станция, где сходятся все поезда, пароходы и самолеты. Ведь есть же где-то конец всех дорог.

Славка ехал в купейном вагоне. Летел на самолете АН-2, в котором двенадцать мест.

Теперь Славка ехал по широкому лиману с желтой водой. На большом пассажирском катере с птичьим названием «Ласточка».

На палубе всякие разговоры.

Толстая женщина с тремя внуками говорит:

— Куда подевались те, настоящие культурные дети? Нету теперь настоящих детей. Я взяла «Зефир» с ленинградского поезда. Теперь я имею чахотку. Эти внуки еще не научились говорить «бабушка», зато они не перестают кричать «дай»... И лучше мне никогда не выйти на пенсию, чем нянчить эти три патефона. У меня от них температура встает!.. — И тут же кидается к своим внукам и вытирает им капризные носы, и кутает их в платки, и сует им лимонад.

Мужчина в фетровой шляпе смотрит на горемычную бабушку и кивает Славкиной маме:

— Одесситка...

«Ну и что? Хорошо это или плохо?» — думает Славка. Он смотрит на одесситку. Она улыбается Славке. Славка улыбается ей. Он готов улыбнуться всем людям.

Славка не одессит, даже не москвич, даже не ленинградец, даже не норильчанин. Славка — кочевник, сын инженера-строителя.

Славкина мама ходит по катеру. Спрашивает:

— Скажите, пожалуйста, городишко, куда мы плывем, свертотчаянная дыра?

Две тетки в толстых платках лузгают семечки. Они смотрят на маму и застенчиво улыбаются:

— Ни-и... Фруктов много. Рыбы богато... Ничего городок... Очень хороший город.

Мама отворачивается. Она не довольна ответом.

По палубе через корзины, мешки и ящики лезет подвыпивший старик. В ящиках кричат петухи. В мешках визжат поросята.

На старики надето все новое. Все ему велико, будто купили навывост. Пиджак топорщится, брюки топорщатся. И рубашка, и борода, и уши у старика топорщатся. Он похож на пересохшую еловую шишку.

— А я у дочки гостил! — шумит старик. Останавливается возле теток в толстых платках и смеется: — Ух же ж вы бабы! Ух же ж вы серый народ. Ведь которые культурные, те лузгают семечки дома. А вы тут всю палубу засорили, ходить скользко.

— Это тебе от вина скользко, — ворчат бабы, но семечки прячут. Стеснительно смотрят на маму.

А Славке весело. Ветер и брызги летят в глаза. Вниз посмотришь — вода возле борта мутная, словно взбурлили красную глину. Посмотришь вдаль — вода голубая, блестящая. Плынут под водой затонувшие облака.

Катер идет мимо островов. В камышах широкие лодки-магуны. Люди высаживают из лодок телят, гонят их хворостинкой на острова, чтобы паслись они на приволье целое лето. Телята орут, замочив ноги.

Славке смешно.

— И чего улыбается, — глянув на него, проворчала мама. — Стоит и улыбается, как дурак какой.

Славка растерянно замигал.

— Рот закрой, — раздраженно сказала мама.

— И не дыши... — Это сказал мальчишка, который лежал на палубе. — И не плюй в воду, и не смотри в небо.

Мама повернулась, чтобы убить мальчишку словами. В это время загудел катер. Он приветствовал другой катер, идущий навстречу. Мамин рот открывается беззвучно и широко. Казалось, мама ловит ртом приветственный крик катеров и захлебывается. Когда гудки смолкли, у нее хватило воздуха на одно только слово:

— Хам!

— Видишь, до чего ты довел свою маму, — спокойно сказал мальчишка. Встал, накиннул на плечи голубую спортивную куртку и направился вниз по трапу. Возле корзины остался его зеленый рюкзак. Мальчишка был крепок в плечах, нетороплив в движениях.

— Боже мой, каких только гадостей не наслушаешься на этих проклятых дорогах, — сказала мама.

— Да уж... Так уж... — поддакнул мужчина в фетровой шляпе. — Дорога, она дорога и есть. Особенно дальняя.

МАЛЬЧИШКА В СПОРТИВНОЙ КУРТКЕ

У буфета, под капитанским мостиком, старик пил пиво.

— Хороша у коня шея, да и хомут неплох. — Он приглаживал свой костюм, похлопывал по тощим бокам, поскрипывал заграничными полуботинками.

Славка сошел по трапу вслед за мальчишкой в спортивной куртке.

Мальчишка смотрел на старика и улыбался и как будто подмигивал.

Старик мальчишку не замечал.

Борода у старика белая. Пивная пена теряется в ней, как снег на снегу. Старик говорит молодым, которые тоже теснятся к пиву:

— Не наседайте сзади, бо я как дам спереду! Вот скушаю полкило пива и пойду в домино гулять... Я у дочки у Анны в гостях гостил.

— Вам дочка новый костюм подарила? — спросил мальчишка.

— Ну да. Анна ж мне все дарит и дарит.

Мальчишка снова спросил:

— Где сейчас ваша дочка?

Старик скользнул взглядом по мальчишке.

— Так она ж в Новороссийске, на ответственной должности, — сказал он и встряхнул на ладони медную сдачу.

Старик хотел спрятать ее в карман, но, заметив Славку, что-то долго и грустно смотрел на него, потом вернулся к буфету:

— Р-расступися! Мне надо гостинец купить!

Он протянул Славке целлофановый кулек, в котором лежала вяленая вобла, печенье «Василек», ириски «Золотой ключик» и мармелад.

— Кушай, хлопец, пиво пить тебе еще рано. — Старик прикоснулся к Славкиной голове жесткой, как будто ржавой рукой и пошел в носовой салон, где ехали только курящие.

— А кто он такой? — спросил Славка.

Мальчишка не ответил.

Старик между тем протиснулся в самый нос, где люди в брезентовых штормовых плащах резались в домино.

— Капитаньё! — закричал он. — Допустите ж меня... Меня вам никак в домино не осилить. Меня только пожарники осилить могут. У них времени богато на тренировку.

Люди в штормовых плащах потеснились, уступая старику место. Старик глянул в окно и устало пробормотал:

— Уже, капитаньё. Прибыли.

Катер подошел к серому дебаркадеру, на котором висел большой щит в красно-белую клетку, что на морском языке означает букву «м», или «тихий ход».

Славка повернулся, чтобы идти на палубу к маме. Навстречу спускались люди. Славка едва пробился наверх.

Мама схватила тяжелые чемоданы, сумки, баул, стараясь поднять их все сразу. Она закричала на Славку:

— Где ты болтался?

Славка стоял перед ней с целлофановым пакетом, мля его и не плакал только потому, наверно, что давно разучился плакать.

Мама вырвала у него гостинец.

— А эту гадость зачем купил?

Славка представил, как блестящий пакетик полетит сейчас за борт. Хотел закричать «не смей!», но оробел под маминым взглядом и отвернулся. Он увидел мальчишку с рюкзаком за плечами. Мальчишка подошел к нему.

— В гости или на дачу? — спросил он.

— К отцу, — тихо ответил Славка.

Мальчишка поднял два самых больших чемодана, потащил к сходням.

С катера валом валил народ. Над головами плыли корзины, мешки с поросятами и очумевшие в ящиках петухи. Когда мальчишка опустил чемоданы на землю, пальцы у него не смогли сжаться в кулак. Кожа на ладонях как будто сдвинулась.

Подроспела мама. Сказала:

— Спасибо.

Мама смотрела по сторонам, нервно дергала ремешок сумки, словно торопила свою судьбу. Она поглядывала на мальчишку с беспомощной неприязнью, понимая, что для нее будет лучше, если мальчишка останется.

Мальчишка не уходил.

Когда площадь перед дебаркадером опустела, мама сказала Славке:

— Радуйся... — Потом глухо, словно в подушку, распорядилась: — Хватит. Поедем в гостиницу. — Она стала поднимать и опускать вещи, пытаясь снова взять их все сразу.

— Зачем же так надрываться, — сказал мальчишка. — Сдайте барахло в камеру хранения и шагайте себе с квитанцией. Ехать здесь не на чем.

ПОД ГОЛУБОЙ КРЫШЕЙ

Главная улица в городке чистая. Вымощена розовым камнем-булыжником. Тротуары из кирпича. Прокаленный кирпич расположен в елочку. Тень от домов, как жидкие чернила, прозрачная.

И по всему городу запах моря.

Свернули к церкви, крашенной от фундамента до крестов серебряной краской.

Вокруг церкви, за железной оградой, разложены на просушку рыбацкие сети.

Мама молчит. Лицо у мамы такое, словно ее обокрали в самый трудный час жизни.

Мальчишка в спортивной куртке идет впереди.

«Мне бы такого брата», — думает Славка. У Славки редкий характер: чужое преимущество не рождает в нем зависти. Он глазее по сторонам. Ему нравится бело-розовый город. Славка хочет спросить, как зовут мальчишку, но смелости у Славки не хватает; он только шевелит губами. Мама смотрит на него подозрительно.

В маленькой гостинице мест не было.

— Та ж понаехало командировочных, — пела дежурная. — Чего людям дома не может, так скрозь и едут, и едут...

Мама заплакала.

— Мальчонку-то я бы могла поместить, — извиняясь, проормотала дежурная. — Я бы его к этому худенькому подложила... — Она ткнула пальцем в тощего близорукого парня. — А тебя же ж мне некуда деть. Женское помещение скрозь мужиками забито...

Мама плакала, уронив голову на руки. Вокруг нее смущенно стояли командировочные в полосатых пижамах. Они утешали маму советами. Они ей сочувствовали. Только мальчишка в голубой куртке сказал прямо:

— Глупости. Было бы из-за чего слезы тратить. Сидите и никуда не трогайтесь. Я найду вам жилище.

Мама послушно кивнула.

Мальчишка подтолкнул Славку к двери.

— Пойдем к моему дядюшке. Он вас приютит.

Славка обрадовался, подумал, что вот и представился замечательный случай.

— Пойдем, — сказал он.

В проулке шагал старик, который подарил Славке гостинец. Он вытягивал шею, словно хотел вылезти из своей новой одежды. Словно она скорлупа. Старик пел:

Задула фуртуна на море.
Ой, люто задула!

Последние слова он пропел так громко, что из-за церковной ограды выскочила старуха в черной клетчатой шали.

— Куда тебя черт тащит?! — закричала она.

Старик остановился, подергал усами.

— Отскочь с моего пути! — сказал он воинственно. — Слышь, отскочь в сторону!

Старуха зашлась от злости.

— Повертывай назад! — бушевала она. — Тут храм, а ты своим винищем весь воздух позаражал!

Старик прикрыл рот рукой.

— Слушай ты, старая птица, — сказал он вдруг дружелюбно, — давай мне три рубля, я тогда обойду церковь хоть вокруг рыбзавода. А не дашь, — он двинулся на старуху, — я прямо в церковь войду и стану там моряцкие песни шуметь.

Старуха сунула ему под нос костлявый кукиш.

— На-кося! — заголосила она. — Умный! За три-то рубля я тебе сама где хочешь спою. Спляшу даже.

— Тогда отскочь, — мрачно заявил старик. — Геть! Не заслоняй мою прямую дорогу!.. — Он отстранил старуху и пошел вдоль ограды, выводя слова своей песни:

Задула фуртуна на море —
Рваные паруса...

— Старое ты будылье! — крикнула старуха. — Рыбий ты караульщик!

Славка заметил, как изменилось лицо мальчишки, дрогнули твердые мальчишкины губы. «Да что с ним?» — подумал Славка.

Мальчишка сказал:

— Беги, зови свою мамашу.

Когда Славка с мамой прибежали, мальчишка в спортивной куртке подошел к старику. Он почтительно поздоровался. Сказал погодя:

— Дед Власенко, возьмите хороших людей, — им ночевать негде.

Старик даже не обернулся. Махнул рукой, чуть не сбив с головы фуражку.

— Пускай идут... У меня же ж хата обширная. Хата моя под голубой крышей. Весь мир моя хата. Где хочу, там и прилягу.

Мама остановилась, повернула к мальчишке осунувшееся лицо.

— Идите, — сказал мальчишка. — Ну, идите же! Вас человек к себе в дом ведет.

Славка взял маму за руку, и они пошли за стариком.

БАБКА МАРИЯ

Старик шагал по шатким деревянным мосткам, мимо садов. Он громко шумел свои песни.

Толкнув локтем калитку, он вошел в небольшой сад. Под деревьями земля черно-синяя. Только возле заборов растет трава. За деревьями хата. Черепичная крыша у нее набекрень. Вокруг насыпана дорожка из мелких чистых ракушек. У дверей вместо половика старая сеть. Хата похожа на старика — веселая хата.

Старик остановился в садочке и вдруг заорал испуганным голосом:

— Бабка Мария! Чего ж вы сидите? Хата горит!

Низкая крашеная дверь распахнулась. На порог выскочила старушка в переднике. Глаза испуганные. Щурятся. Старик спрятался за дверь и захихикал:

— Шутю...

— Чтоб вас, старый козел, — беззлобно проворчала старушка.

Увидела Славку с мамой и всплеснула руками.

— Никак Анна?

— Хиба ж Анна такая? — возразил старик. — Анна покрепче будет. — Потом откашлялся, объяснил солидно: — Это мои знакомцы. Им, Мария, ночевать негде.

Старушка оглядела гостей.

— Здравствуйте, — сказала она. — Проходите, пожалуйста.

Она провела маму и Славку в большую прохладную комнату с крашеным полом.

— Мы вас в зале положим, — говорила она. Вот тут. Тут воздух свежий. Кровать мягкая, и диван новый...

Дед Власенко просунулся в комнату, похвастал:

— Анна мне такой диван бархатный справила, дочка моя.

Старушка нахмурилась.

— Не дышите тут. Людям спать, а вы вином дышите.

— А они, может, кушать хотят, — ехидно сказал старик.

— Нет, что вы, — ответила мама. — Спасибо.

Она села на стул и уставилась в угол, на большую икону, перевитую сухими цветами. Губы у мамы медленно двигались.

Старушка посмотрела на нее удивленно.

— Ты, девка, никак молишься?

Мама вздрогнула.

— Нет, — сказала она. — Что вы...

Старушка пошла к двери тихо, почти бесшумно.

— И то... Без толку молиться, без числа согрешить...

Она положила Славке на плечо мягкую руку, подтолкнула его вон из комнаты.

— Пусть мамка одна побудет. Ступай, хлопец, в кухню.

Славка сам хотел уйти. Он знал: когда у мамы шевелятся губы, — значит, она придумывает гневные фразы, которые с выражением, словно стихи, выскажет при встрече отцу. Славка подумал: «Люди очень любят говорить вслух, но еще больше любят говорить про себя. Про себя они спорят с кем хочешь и всегда побеждают».

На кухне бабка Мария сдержанно и негромко напустилась на старика:

— Василий, сгорят у вас кишки синим огнем.

— Не бухкотите, Мария, — возразил старик. — Я только один килограмм вина выпил и кружку пива. Только глаза залил, а во внутренности даже и не попало.

Старуха вздохнула.

— Глаза, им границы нету. Лучше бы вы, Василий, в домино гуляли. Старый вы теперь для вина человек.

— У меня такое мнение, будто вы меня отпеваετε. — Старик подергал сивыми бровями, спросил обиженно: — Мария, я замечаю, вам про дочку мою, Анну, узнать совсем не интересно. Как она в Новороссийске живет. А она, между

прочим, вам поклон посылала... — Старик встал из-за стола и поклонился, отведя руку в сторону.

Старуха поджала губы. Потом заговорила тоже с обидой:

— Я у вас про Анну и не желаю сейчас пытаться. Вы станете только хвастать зазря и ничего мне толком не объясните.

Старик засопел, словно ему вдруг заложило нос. Он глядел на старуху то сердито, то снисходительно. Потом глаза у него подобрели, в них появились смешливые огоньки, которые побежали по всему лицу, по всем стариковским морщинам.

Поев, старик залез на кровать и затих, выставив бороду вверх, как антенну.

Славка хлебал уху, которую старик Власенко называл щербой. Ел ватрушку, которую бабка Мария называла плачиндой. Было ему тепло и свободно. Славка думал, что больше всего на свете он теперь любит щербу и плачинду.

Бабка Мария убирала посуду.

— Ты, хлопец, не думай на деда, — тихо говорила она разморенному Славке. — Он не какой-нибудь пьяница там, мазурик. Он с шести лет рыбалит. У него аж кости от ревматизма черные. Выпьет килограмм вина для здоровья. Ему, старику, иногда можно.

— А я ведь, Мария, не пьяный, — сказал старик неожиданно ровным и грустным голосом. — Я ведь, Мария, только самую малость, для запаха. Я по другой причине хвораю... Вот ехал на пароходе. На самолете летел. Кругом люди шуршат. Бегут за своим делом. Мне, Мария, вдруг показалось, что ни к чему я уже. Умру, и никто не вздрогнет. Мабуть, Анна, да еще вот ты, Мария Андреевна... Вот я и шумел, прыткость свою показывал. Я ведь теперь, как тот «Шура»... — Старик засмеялся, будто закашлял.

— У нас на рыбзаводе такой буксир имелся. По имени «Шура». Три дня паров набирал, только чтоб загудеть. А гудок у него самый шумный на всем побережье. Как загудит «Шура», аж задрожит весь. Потом три дня набирает паров, чтобы отвалить от пирса. А как уж он по воде ходил, на какой силе, этого и сам бог в свою голову не возьмет. Теперь того «Шуры» нету, теперь он вроде как баржа. А говорят, раньше, в мирное время, лихой буксир был...

Старик повернулся к стене. Спина у него была костлявая и упрямая.

— Не приедет Анна, — грустно забормотал он. — Не-
нужный я теперь для нее.

Бабка Мария наклонилась над столом. В ее голосе тоже
была грусть.

— Не для того она и училась, чтобы без дела к нам
ездить. У нее сейчас заботы-то обо всех. Ученая, с нее и
спрос велик.

Бабка Мария смотрела в окно, за которым ничего не
было.

— Вырастают дети плохие — и думают, что родители
в том виноваты. Вырастают дети хорошие — и думают, что
родители тут ни при чем...

Славка тоже посмотрел в окно, за которым ничего не бы-
ло, и уснул. Во сне он увидел ту конечную станцию, где
сходятся все пути и дороги. Она выпирала из земли бутром,
вся утыканная домами. Топорщились небоскребы. Исаакиев-
ский собор, Кремль, Эйфелева башня — самые красивые
сооружения, которые Славке приходилось видеть на картин-
ках. Вокруг стояли поезда, пароходы, самолеты. Они гром-
ко трубили. Им не терпелось ехать куда-то дальше.

УТРОМ НА БАЗАРЕ

— Вставай, хлопец, день уже окна выламывает, а ты все
подушку сосешь.

Славка вскочил. Поплескал холодной воды в глаза.

Мама и бабка Мария пили в кухне чай.

— Отца не ищи, — наказала мама. — Пускай хоть од-
нажды он сам нас поищет.

— Пошли, хлопец, со мной на службу, — предложил
дед. — Тут женщины меж собой побеседуют, мабуть, разбе-
рутся сообща в вашем деле. Тебе дамские разговоры пони-
мать не надо.

— Иди, — коротко разрешила мама.

Городок согревало солнце. Ветер смешивал запахи пашен,
открытых хлебов и моря в один сильный и теплый запах.

Со стариком Власенко здоровались прохожие, все боль-
ше пожилые, неторопливые. Со Славкой тоже здоровались.

Славка думал о вчерашнем мальчишке в спортивной куртке. Он таращился по сторонам, надеясь на встречу. Он представлял, как протянет руку ему. Скажет: «Привет! Как дела?» И мальчишка ему ответит: «Привет! Как дела?!» Они поговорят и пойдут вместе. Славка даже сделал намек старику, спросив:

— Где же в вашем городе ребята? — Может быть, старик Василий вспомнит мальчишку и чего-нибудь скажет о нем.

— Молодые ж кто где, — объяснил старик. — Которые в море на сейнерах, которые на рыбзаводе или там на консервном. Они на работе все чисто. Утром в городе старики власть берут. — Он остановился, посмотрел в даль сквозных бело-розовых улиц. — Когда капитан Илья пригонит из Одессы флотилию, город совсем опустеет. Все побегут в Африку. Все чисто.

Дед Власенко шел на рынок.

— Это моя общественная служба, — говорил он. — Я — рыбнадзор от народа. Рыбак тоже бывает разный. Иной надергает недозволенной рыбы и подзаныр ее — продаст на базаре.

— Маломерку выловят, — и большая ловиться не будет, — рассказывал он по дороге. — Это дело везде по-разному называется. В Крыму говорят — муган. У нас — подзаныр. По закону — браконьерство. А что касается меня, то я такому рыбаку в глаза плюну.

Славка вертел головой, рассматривал город. В центре были каменные дома, трехэтажные и четырехэтажные.

В витрине «Госфото» висели подкрашенные портреты.

— Здесь мой знакомец Яша Коган работает, — уважительно похвастал дед Власенко. — Он теперь тоже старый. Уже который год на ощупь снимает.

В витрине универмага, среди пальто и велосипедов, были разостланы картины. На одной — Максим Горький в широкой шляпе, на другой — Суворов весь в орденах... На бланках, приколотых к картинам, значилось: «Наименование — «Картина Горького». Цена за один метр 15 рублей».

Метр Суворова стоил на пять рублей дороже.

Славка спросил у деда:

— Почему разница?

Дед поскреб бороду, шевельнул сивой бровью.

— Я, хлопец, в рисовании мало чего понимаю. Может,

на Суворова больше краски пошло, у него одних орденов вон сколько.

Старик Власенко с грустью подмигнул полководцу, сказал задумчиво:

— В большом возрасте был человек, а тоже вон какой бойкий... — и заспешил к рынку.

В начале лета на базарах народу мало. Что продают? Старую кукурузу продают, муку, молодых поросят.

Еще торгуют рыбой: бычками, ершами, барабулькой. Некоторые привозят из плавней судаков и лещей.

А есть и такие купцы, что держат для покупателей красивый товар под прилавком: молодую севрюжину, осетра и белугу. Специально для этих купцов каждое утро приходил на рынок дед Власенко.

Рыбой торгуют все больше женщины. Рыбаку самому торговать неудобно, да и времени жаль.

— Здорово, купчихи! — зашумел дед. — Похвастайте же вашим товаром. Очень я люблю рыбный дух нюхать.

Иные женщины почтительно здоровались со стариком, иные начинали брюзжать, обижаться. А которые помоложе — смеялись. Дед тоже смеялся, разводил руками.

— Дюже у нас девки хороши. Дюже красивые. Болгары страдают, у них завсегда невест недостача. Нехай бы к нам ехали. Или японцы... Ксанка, пошла бы за японца?

Крепкая, широкая в плечах Ксанка замахнулась судаком.

— Очумели вы совсем. Вы ж на моей свадьбе вино пили.

— Прости, девка, забыл, — извинился дед. — Вы для меня теперь все друг на друга похожие... А ну, покажи товар.

Ксанка сняла с корзины кусок сети.

— Ровная рыба, — похвалил дед. — Сердечный рыбак ловил. Мужик твой?

— Батька, — ответила Ксанка, вздохнув. — Чи у вас память помутилась, дед Власенко, чи вы насмехаетесь? Я уж давно как вдова...

— Извини, девка... — Старик сокрушенно почмокал, покачал головой и полез дальше по ряду. Остановился он перед высокой старухой в черной клетчатой шали, с которой скандалил возле церковной ограды.

Старуха прикрыла глаза и принялась вздыхать, бормоча:

— Чи ты белужий родственник или тот водяной черт?

— И когда у тебя язык сотрется? — рассердился дед Власенко. — Я у тебя осетров отымал?

— Так не моя же та рыба, — громче заворчала старуха. — Просят люди продать — я продаю. Ее ж ведь в море не выбросишь, все одно она уже дохлая... А моя рыба вот — бычки... Свежие бычки и ерши! — заголосила старуха на весь базар, расхваливая свою рыбу. — Красивые ерши...

Она толкнула пальцем в старика и добавила:

— Ось такие, как он, страхолюды.

— Арестую я тебя, Ольга, за твои вредные действия, — пригрозил старик.

Старуха сунула руки в карманы передника. Втянула воздух в себя, словно целый день не дышала, и принялась честить старика Власенко со всех сторон.

— Злыдень ты окаянный! — кричала она. — Сам рыбалить не можешь, потому и лазаешь по базару из зависти. Нахлебник ты для государства и тараканий пастух. Другой бы на твоём месте хоть удочкой промышлял. Смотреть на тебя даже тоскливо. С души воротит... Марию, горючую вдову, ты хитростью к себе заманил и на себя работать заставил. Чтоб тебе, бездельнику старому, пусто было! И чтобы на том свете рыбаки тебя в свою компанию не приняли! — Старуха вдруг подбоченилась и сказала: — Я же знаю, зачем ты на базар ходишь. На меня смотреть. Ты же ж ведь, старый пень, в меня всю жизнь влюбленный. А мне на тебя — тьфу! Ты ж для меня пустое пространство...

Девки и молодухи хохотали. Даже некоторые пожилые не сдерживали улыбок. Но Славка заметил, что в смехе рыбаков не было одобрения.

— Мозгов бы тебе поболее, — сказал старухе дед Власенко. — Душа твоя медная.

МОРЕ НА ГОРИЗОНТЕ

Старик шел насупясь. Лохматые брови, как козырек, прикрывали ему пол-лица.

— Каждый день с нею воюю, — сказал он, стараясь придать своему голосу ровность, — До чего же темная баба. Брешет и брешет...

Вышли на берег.

Море горело на горизонте нестерпимым огнем.

— Разве вам бабушка Мария не жена? — спросил Славка. — Она вас на «вы» называет.

Старик насупился еще больше.

— Нет... Мария — вдова моего сотоварища. Мой сотоварищ Егор погиб, когда большая фургуна была — шторм дюже сильный. Он с сыном пошел ставной невод спасать... Море их вместе забрало. Обоих... — Старик замолчал, засопел в усы.

— А ейный сын Митя, старший, тот в Севастополе смерть нашел. Митино имя там на камне написано... Не может Мария в своей хате жить. Плачет она там дюже.

Грустно стало Славке. Потому что не мог он в этом деле оказать помощь. Да в таких делах никто уж помочь не может.

— Та вредная старуха Ольга — она же ж моею невестой была. — Старик хлопнул себя рукой по боку.

— Какой я дурак был... Пела она, Ольга, дюже красиво. Голос у нее такой замечательный, изнутри... — И все еще сердито, но уже тише, добавил: — Меня Серафина от нее отвела... Вот это ж была девка, моя Серафина...

На берегу двое бородатых рыбаков толкали в море смоляную лодку. Они замахали старику. Закричали:

— Дед Власенко, кончай сторожбу! Пошли крющья ставить. И хлопца бери. Бригаду организуем.

На шеях у рыбаков — женские косынки. Брюки подпоясаны обрывками сети. На ногах — брезентовые чулки до колен и кожаные постолы.

Старик отвернулся, стал кашлять от дыма.

— Может быть, сходим, дед Власенко, — вдруг сказал Славка. — Может, поймает, чтобы та старуха язык прикусила.

Дед прохрипел:

— Куда тебе, хлопец. Ты для этого дюже хрупкий, как камышина... Видишь? — он кивнул в море на рыбаков. — Рыбаки же чисто разбойники. Рожи от комаров пораспухли, все в смоле, только усищи топорщатся... Да и я тоже. Какой я нынче рыбак... — Он показал руки с искривленными, раздутыми в суставах пальцами. — Сейчас, хлопец, техника... — Старик усмехнулся вдруг. Покачал головой.

— В молодости я белугу в четыреста килограммов один на один взял. Одной икры восемьдесят кило. И сейчас еще об этом старики говорят. Потому что не всякому рыбаку так случается... Рыбак в одиночку взять рыбину в сто килограммов может, а если больше — уже вдвоем.

Они подошли к затону.

Старик ушел со своим сменщиком, таким же старым, в книге расписываться. Пока они в сторожке курили, Славка смотрел в море. В горячее сверкание солнца, в даль, которая кончается на горизонте для глаз, словно прячет свою обширную тайну от всех неподвижных и нелюбопытных.

На свае, неподалеку от берега, сидела девчонка с удочкой. На ней были мальчишеские вельветовые штаны, белая косынка с голубым горохом и красная кофта. Она сидела как раз на дорожке, проложенной по воде солнцем.

Славка устроился на скамейке возле ворот. Старик Власенко вылез из сторожки, тоже принялся смотреть в море.

Они долго молчали и, наверно, думали об одном, потому что старик отвернулся, словно его подслушали, когда Славка сказал:

— Дед, а мы не будем большую ловить. Наловим маленькой. Удочками.

— Чи я курортник какой? — засопел старик. — Меня рыбаки с той тросточкой увидят, по всему морю смех побежит, аж до Турции... Удочкой... — ворчал старик. Он сердился и сам себя распалял. — Чи мне колхоз пайка не дает? Чи я другого чего не могу? Я, может, в колхозе главным консультантом сейчас значусь. И общественную должность справляю. И затон сторожу... — Он вдруг закричал, широко раскрывая усатый рот: — Не слухай ты старую ведьму! Ольгу! Я для государства рыбы наловил поболее, чем она воздуху надышала!

Старик долго шевелил губами. Бросал на Славку сердитые взгляды.

— Расстроил ты меня. Я ж в прошлом годе пробовал. Ловил... Кабы та Ольга про это дело прослышала, она бы меня своим языком в горех раскатала.

«КРАСНАЯ РЫБА»

— В прошлом году приехал к нам художник один из столицы. Чистый такой гражданин. Не старый еще — годов пятьдесят. Все рыбаков рисовал для картины. И все восхищался. И меня рисовал. Очень хотел он поймать белугу. Только все неудача случалась. Осень. У нас по осени белуга худо берет.

Тогда он ко мне.

— Василий Тимофеевич, — говорит, — окажи помощь. — Он уже и на сейнерах ходил и на тральщике. — Теперь, — говорит, — мне очень нужна борьба. Чтобы рыбак показал себя в чистой своей красоте.

Я его посылал к молодым. Объяснял: не могу, мол, от ревматизма страдаю дюже. Руки не владеют.

Тогда он мне говорит, мол, на всех картинах сейчас молодежь. Но я, говорит, мечтаю показать стариков, самый корень. Этим, говорит, я гордость утешу. И будет это правда.

— А вы, — говорит, — Василий Тимофеевич, поймаете вашу последнюю рыбу. Потому что, — говорит, — человек должен уходить из общей рабочей жизни через последний свой подвиг. И будет это красиво...

Я цельную ночь не спал, все думал над его словами. Потом пошел к председателю, попросил снасть — крючья на красную рыбу. Тысячу штук.

Поставили мы те крючья с тем художником в одном ловком месте, напротив шпиля, мысочка такого. Там взорванные германские баржи на дне. Белуга любит об эти баржи бока тереть.

Я думаю: не ошибиться бы. И тут же думаю: если бы старики не ошибались, молодым бы правды не знать.

Ночь переждали. Художник меня карандашом в блокнот зарисовал. Как я курю, как я портянку переобуваю, снаряжаюсь. Еще не развиднелось, пошли проверять крючья. Он на байбаках сидит — на веслах, по-вашему. Я снасть выбираю. Уже боле пятисот крючков проверил, две камбалы снял, осетришку — с локоть — выпустил. Море как постный суп — ни пятна на поверхности. Говорю художнику:

— Поймали мы с тобой на сей раз бугая.

Бугая поймать — это значит пустым воротиться. Вдруг чую — ведет.

— Ага, — говорю, — сидит, родимая. Мабуть, килограммов на двести.

Я с ней вожусь, подтягиваю потихоньку. Деликатно. Бо с нею грубости не должно. Ее крючьями порвать можно, а это значит, — брак и второй сорт.

Белугу, ее как берут? Темляком. Багорчик такой на веревке. Потом ее чикушить надо. Чикушка такая есть, как бучка — дубинка, что ль. Оглушишь чикушкой, веревку ей в рот и под жабры.

Она от меня уходит. Я ее отпускаю — иди... Ведь сколько часов с иной рыбой проводишься, пока притомится. А художник так взволновался, елозит по скамейке туда-сюда. Побледнел от азарту.

Говорит:

— Давай, дед, я в воду прыгну, подведу рыбу к лодке. Я ему:

— Чи вы дите малое? Она ж вас потрет. У нее шипы на боках. Вы ж говорю, человек ученый.

Тут рыба сама подошла. Близенько так.

Художник схватил скамейку. Ударил, да локтем о борт. Скамейка в воздух.

Я рыбу захватил темляком. Кричу:

— Гребите!

А он где? Локоть чешет.

Рыба как даст коловерт хвостом, хвост у нее что твой винт пароходный, и вглыбь. Я не успел выпустить темляк, руки-то теперь не враз сгибаются, и за борт. Вода будто лед. И тут мне боль в спину. Я чуть в воде деву Марию не закричал. Рыба стряхнула с себя темляк, а он, железака, прямо мне в спину впился. Рыба здоровая... Веревка от темляка обмоталась вокруг ейного хвоста. Она меня треплет и топит.

Думаю: «Отрыбалил ты, старый хрен. Показал свою гордость». Это я и взаправду подумал. Но извернулся, вырвал темляк. Всплыл на поверхность.

Лодка перевернутая. Художник сидит верхом на киле, ноги под себя забрал, опасается, как бы рыбина их не потеряла. На поверхности его карандаши и альбомы с портретами плавают и скамейка.

Я ему гукнул:

— Тут я... полезай ко мне!

Не лезет!

— Полезай! — кричу. — Не то я тебя вдарю этой скамейкой.

Вдвоем подтянули лодку к отмели. Перевернули на киль. Воду вычерпали. И домой.

Художник сел в кормочку. Замерзает. Я ему клеенку дал. А он просит:

— Ради бога, Василий, голубчик, греби побыстрее.

Кабы я быстрее мог. У меня кусок мяса выворочен и кровь по спине плывет. На каждом гребке деву Марию кричу...

Еще до берега не дошли, а тот художник как схватился по мелкой воде бежать...

СНОВА МАЛЬЧИШКА В СПОРТИВНОЙ КУРТКЕ

Старик и Славка долгое время сидели молча. Старик иногда поднимался к воротам, чтобы открыть их, выпустить в затон грузовик. Славка смотрел в море.

Море слепило глаза. Черные сваи словно висели в воздухе на сверкающих нитях. На сваях еще совсем недавно сидела девчонка, а сейчас никого...

* Старик подтолкнул Славку локтем. Сказал:

— Слухай...

Славка прислушался. Разные звуки полезли ему в уши: и шорох волны по песку, и гудок далекого парохода, и заглушенный стук машин. Какие-то крики долетали до него со стороны города.

Старик Власенко поднялся.

— Вот скаженна трава... Я ж говорю, нет у них совести и не вырастет... — И побежал в затон.

— Геть! — зашумел он там. — Нешто вам слов мало? Я же вас каждый день выгоняю!

Славка вскочил, хотел бежать к воротам на помощь деду. Но тут из-под забора показалась девчонка, голова в белой косынке с голубым горохом.

— Эй, — сказала девчонка. — Прими-ка... Ну, бери, чего рот раскрыл.

Девчонка протянула Славке короткую удочку. Славка растерялся. Взял удочку и стоит.

— Споймаю! — шумел за забором дед Власенко. — Или вам моря мало? Или вы не понимаете запрещенную территорию?!

Девчонка с трудом проползла под забором. Разорвала на спине красную кофту.

— И чего шумит? — проворчала она, отряхиваясь. — Строгость наводит... Кофту из-за него порвала...

— Ничего, — утешил ее Славка. — Это зашить можно.

Из ворот выскочил запыхавшийся дед.

— Держи! — крикнул он и почти упал на скамейку. — Сердце зашло... Задышка... Совсем бегать отвык... Держи ее! Славка растерянно улыбнулся.

Девчонка вырвала у него удочку, отошла на шаг и сказала деду:

— Чтoб он меня задержал? Вы, дед, чи слепые теперь совсем, чи вам голову напекло. Я ж вашего хлопца на наживку раздергаю, как ту зеленуху.

Дед нахмурился, оглядел девчонку и спросил недовольно:

— Ты кто есть?

— Де, — засмеялась девчонка. — Вы ж меня знаете. Варька я, механика Пётра дочка, который с «Двадцатки». Мы ж у вас жили, когда батка хату спалил.

Славка переминался с ноги на ногу. Девчонка ему очень нравилась. Была она года на три старше его и в плечах пошире. И одета была по-особенному.

— Слухай сюда, — сказал дед. — Значит, это я про тебя думал. Гадаю, что за человек на сваях прирос. Каждый день тягает бычков, будто на работу приходит. Куда тебе такое количество рыбы?

Девочка насупилась.

— Дед, а зачем вам чужие заботы?

— Без забот жизнь скучная, — сказал дед. — Ответь, зачем в брюках ходишь?

— Так платья же тонкие, враз рвутся.

Дед прислушался, наострив ухо. Вскочил, чтобы ловить нового нарушителя. Но ловить не пришлось.

Из затона вышел вчерашний мальчишка. Славка едва узнал его. Узнав, крикнул:

— Ой! — И обрадовался.

Мальчишка был в одних трусах. Весь загорелый. «Когда успел загореть? — подумал Славка. — Наверно, в апреле лазал на крышу, лежал на железе за трубами».

Старик открыл широкий, усатый, как у ерша, рот. С минуты в нем клокотала и хрипела досада.

— Я ж тебя, чертячий хвост, через милицию упеку. Откуда ты заявился?

— Оттуда, — сказал мальчишка.

— Вот ведь народ какой: в дверь выгонишь, они в окна влезут. Вы и на самолет с воздуха заскочите, как те микробы. Должность у вас такая. Десантники вы, блошиное племя.

Мальчишка подмигнул Славке, как закадычному другу. Потом повернулся к девчонке.

— Здравствуй, Сонета. — Он протянул ей руку.

Девчонка руки не взяла.

— Чисто дикарь, — проворчала она. — Срам смотреть.

Старик Власенко замахал руками:

— Ответь, стрючок черномазый, что в затоне делал?

— Вас разыскивал, — улыбнулся мальчишка.

— А чего меня искать? Вот я.

Мальчишка подошел ближе.

— Дед Власенко, неужели не узнаете? Я ж Васька.

Стариковы глаза ухватили мальчишку, сощурились.

— Вроде не врешь. — Старик приоткрыл рот и весь засветился в улыбке. — Васька! Ну, стрючок, до чего вырос. А я сгадываю, чего ты не едешь, может, куда в другое место надумал... — Старик взял мальчишку за плечи. Провел по волосам. — А ты вот приехал...

Мальчишка застенчиво улыбался, трогал дедову руку своей рукой.

У Славки защемило в носу. Ему вдруг очень захотелось, чтобы старик посмотрел на него. Но дед Власенко повернулся к нему спиной. Девчонка кривила губы в усмешке.

— Глупые, как телята, — сказала она.

Старик сел на скамейку. Вскочил тут же, подтолкнул мальчишку к воротам, пустил на запретную территорию, откуда с таким старанием изгонял ребят.

Славка смотрел на пустую скамейку.

— Может, он ему внук? — спросил Славка.

Девчонка сказала:

— Нет у него внуков. Этот Васька капитана Ильи племянник. Каждое лето сюда приезжает из Ленинграда. Нахал.

НЕМНОГО О ВАСЬКЕ

Вчера, пристроив Славку и его мамашу, Васька побежал к дядюшке. Дядюшка сообщил в письме, что получил новую квартиру у рыбзавода.

Он отыскал дядин дом. Трехэтажный. Стандартный. Шиферная белесая крыша. Ржавые потеки вдоль водосточных труб. На балконах вялится рыба.

Васька поднялся по лестнице, позвонил в шестую квартиру: здравствуйте, дядя, я ваш племянник...

Позвонил еще раз — за дверью ни звука. На площадке крашеный пол. Чистый-чистый. Коричнево-красный. Васька хотел позвонить еще, но распахнулась дверь соседней квартиры. Крутоплечая и широкая, появилась на пороге женщина.

— А-а, вы приехали, — пропела она, как любимому родственнику. Обернулась, крикнула: — Нинка, посади Николая на горшок. Неси ключ с комода! — И опять Ваське: — Может, покушаете у нас? Илья Константинович-то в Одессе.

Вышла Нинка. Ростом не достает до дверной ручки. Лицо — сплошная забота, словно она главная в доме труженица.

— У нас борщ с салом и пирог с судаком, — заявила Нинка.

Васька проглотил слюну и соврал по привычке:

— Спасибо, я недавно обедал.

Нинка дернула хитрым носом.

— Ой, врет, — сказала она.

Женщина проводила Ваську в квартиру. От ее босых ног на полу, подернутом пылью, оставались следы. Пол крашен блестящей краской, следы от этого кажутся влажными.

— Илья Константинович вам все в письме написал, — говорила соседка. — А вот это вам деньги. А вон там кран в кухне и полотенце. Когда умоетесь, приходите борща покушать.

Она ушла, унеся с собой нестерпимо вкусные запахи.

«...Я пробуду в Одессе долго, — писал дядя. — Поживешь один. Питайся в столовой — привыкай. Не хватит денег, — пойдешь на элеватор к начальнику стройки Александру Степановичу. Короче, побывай у него сразу. Дядя».

На кухне протекает кран. Пустая квартира наполнена этим звуком.

За окном беспредельное небо. Оно утончается к горизонту, словно льется туда, за изгиб земли.

Васька плюнул. Это противоестественно — пустая квартира! Он распахнул окно. Шумно сел на диван.

— Здравствуйте, дядя, я приехал.

«Приехал?» — спросила квартира.

— Ага, — сказал Васька.

«Ага», — сказала квартира.

* * *

...Васька растянулся на диване, задрал ногу на ногу.

В дверях появилась соседская Нинка. Она держала сиреневатую сиамскую кошку с голубыми глазами. У кошки были черные уши и черные кончики лап.

Нинке не понравилась Васькина поза.

— Мужики все такие, — сказала она. — Мужики порядка не ценят. Им бы скорее ноги задрать... Идите борщ кушать. — Нинка подтащила Васькин рюкзак в угол. — Я тут за порядком смотрю. Дома ж нельзя — Николай сразу нарушит... Сейчас по всей квартире на горшке ездит.

Кошка полезла с Нинкиных рук на диван.

— У нее есть котята? — спросил Васька.

— Нету, она кусачая. У кусачих кошек котят не бывает... Ее курортники летошним годом у нас оставили. Она ихнюю тетю царапала. Как увидит, так и царапает. Совсем была дурочка.

Ваське не хотелось вставать. Ему хотелось поговорить с Нинкой.

— Не знаешь, скоро дядя приедет?

— Ни-и... — помотала головой Нинка. — Чего ж скоро. Он там флотилию получает. Сколько добра погрузить нужно: и снасти, и бочки, и соль, и продукты для плавания, и всякого другого запаса. Пригонят сюда корабли, наберут команды и в Африку побегут за тунцом. И мой батька побежит. И капитан Кузнец. — Нинка уставилась в текучее небо, в темнеющую глубину. — Мужики, они ж не сидят дома. Они же ж морем заговоренные. — Она вздохнула вдруг, прижала кошку к себе. — У нас тут все морем заговоренные... Идемте борща кушать. Остыл, поди.

Отяжелев от борща, Васька пошел в город. Город за

зиму не изменился, лишь на главной улице вырос еще один каменный дом — клуб рыбзавода.

На улицах свободно шумели люди. Парни гордились перед девушками — нарядные, в твердых мичманках. Старухи шли под деревьями — темные, в белых платках. Старики курили возле своих калиток — костявые, грубошерстные. От девчат распространялся в воздухе запах духов. От парней сигаретами пахнет, дешевым вином. От старух тянет кухней. У стариков самый крепкий дух — смолистый, махорочный, злой. Добродушно посматривают старики. И от всех им почтенье.

Вдоль улиц гулял сладкий ветер. Он приникал в садах к завязям и цветам, как старательный шмель, напиваясь нектаром и, охмелевший, толкался по городу.

В темных окнах школы отражается небо. Кажется, что не окна это совсем, а сквозные дыры. Только два окна в первом этаже освещенные. Кто-то играет там на рояле, наверно, Сонета.

Васька уцепился руками за выступ стены, стал на цокоть и, подтянувшись, взобрался на подоконник. В пустом классе за роялем сидела Варька. Коса у нее стала еще толще — в руку не заберешь. Варька играла, закусив губу.

— Не получал еще? — сказала она, увидев Ваську. — Тогда проваливай колобком. Зритель нашелся.

— Позлись, позлись, я послушаю, — ответил ей Васька. — Ведь целую зиму не виделись.

Варька встала.

— И до чего же люди говорить любят. — Подошла и резко захлопнула окно.

Васька упал на землю.

— Не ушиблись? — услышал он тихий вопрос.

На дороге стояла Нинка.

— Не знаете, почему Варьку Сонетой зовут? — спросила она. В ее голосе были неодобрение и зависть. — И еще Скарпеной — такая рыба у нас ядовитая. — Нинка пошла вперед, потряхивая косичкой. — Бабка у Сонеты — ведьма. — Нинка остановилась, посмотрела на Ваську как старшая. — Вы не вздумайте в Варьку влюбиться. Она же ж и не заметит.

Васька взял Нинку за плечи.

— Беги домой. Я на элеватор схожу...

Нинка отошла чуть. Глянула на него исподлобья.

— Влюбилась?

— Да иди ты, — сказал Васька.

Нинка прыгнула через канаву. Васька смотрел, как пляшет и тает в сумерках ее светлое платье.

Он вышел к лиману. Из темноты от бугров бегут разноцветные тропки. Волна дробит их, выносит на берег искрящимся щебнем. Темно.

У деревянного пирса толпятся холодные катера, дубки и фелюги. На рейде колышутся рефрижератор, танкер, самоходная баржа. Отражения сигнальных огней тонут в лимане. Кажется, будто стоят корабли на светящихся тонких столбах, желтых, зеленых и красных...

ВСТРЕТИЛИСЬ МАМА И ПАПА

Славкин отец, Александр Степанович, появился в своей семье вечером. Мама встретила его в большой комнате, которую бабка Мария называет залой. Мама оделась в новое платье. Помада на ее губах бледно-лиловая, с восковым блеском. Глаза скошены к вискам подрисовкой. Причесана мама, словно собралась в театр. Своим видом мама хочет внушить отцу, что она не намерена отказываться от своих привычек. Пусть увидит отец, как странно выглядит она в этом доме, в этом городе, потому что и дом этот и город не для нее.

Вместо приветствия, мама сказала:

— Ну?

— Рад тебя видеть, — сказал отец.

— Почему ты не встретил нас?

— Я не знал.

— Я тебе дала телеграмму на твой домашний адрес.

Лицо у отца затвердело.

— Я просил писать на работу.

Они стояли один против другого.

— У всех порядочных умных людей должен быть дом и домашний адрес. Я никогда, слышишь, никогда не буду писать тебе на работу!

— К сожалению, дома я редко бываю. Дел много, — спокойно сказал отец.

Славка подумал: «Стоило ехать в такую даль, чтобы ругаться по пустякам?»

Он забился в угол дивана, чтобы стать маленьким и незаметным.

— Ты не хочешь сопротивляться слепой судьбе, — говорила мама скорее задумчиво, чем сердито. — Ты не хочешь противопоставить ей свою волю. Это бесхребетный эгоцентризм... Тебе, в конце концов, глубоко наплевать на меня и ребенка.

Отец стоял против большой иконы, заложив руки за спину.

— Интересная штука, — сказал он. — Старая.

— Я, кажется, с тобой разговариваю? — крикнула мама.

— Это только кажется, — ответил отец. — По-моему, ты разговариваешь сама с собой. Когда разговаривают с другими, стараются говорить понятно...

— Так... — Мама вспыхнула и заходила по комнате. Она закурила московскую сигарету с фильтром.

— Ты очень похож на лошадь, — снова заговорила она. — Куда тебя гонят, туда ты и идешь...

Отец усмехнулся.

— Угадала. Кстати, мне по душе эта дорога, по которой меня гонят... И этот воз, который мне приходится тащить.

— Славка, выйди вон! — сказала мама.

— Ма... — начал было Славка, но мама круто повернулась к нему и, вскинув руку, как полководец, произнесла властно:

— Выйди. Это тебя не касается.

«Как не касается?» — подумал Славка.

Мама очень часто говорит: «Это тебя не касается». После таких слов Славке всегда одиноко. Хочется умереть или заболеть серьезной болезнью. Тогда мама станет другой. Тогда все станут другими.

Славка вышел в коридор. Он стоял в темноте. Он не хотел слушать, о чем говорит мама с отцом. Но она говорила громко:

— Где мы будем жить?

— В комнате на элеваторе. Квартиру дадут через месяца два... Комната вполне... Квадратная...

— Жить черт знает где! Жить черт знает как!.. И даже без какой-нибудь мало-мальской мечты... Тыстроишь пять элеваторов, десять, пятнадцать. Ну, а дальше?

Отец промолчал.

— А люди вокруг мечтают, стремятся.

— Мечтатели, — проворчал отец.

— Да, мечтатели! Я понимаю, если бы ты строил ракеты, решал бы проблемы термоядерной энергетики. А ты... Ты амбары строишь!

Отец молчал. Мама тоже замолчала, только дышала громко и возмущенно. Славка знал, что она курит сейчас свои сигареты, глубоко и часто затягивается. Мама щурится и смотрит в потолок.

— Ты элементарен и узок, — наконец сказала она. — Славка, поди сюда! Собирайся. Едем в Москву.

Отец пошел в кухню. Славка проводил его взглядом. Лицо у отца было упрямо-спокойным.

— Зачем собираться? — пробормотал Славка.

— Я сказала, едем в Москву...

— Мы ведь и не распаковывались...

Мама как будто опомнилась.

— Да, — сказала она. — Тем лучше. Сейчас и отправимся, не будем терять времени.

В комнату вошла бабка Мария.

— Чаю пить будете?

Мама сказала:

— Нет, нет. Мы сейчас едем.

— Куда? — Бабка покачала головой. — Самолет улетел. Только завтра если. А завтра самолетом не надо. Завтра теплоход придет до Одессы, «Белинский» называется.

— Славка! — крикнул из кухни отец.

Славка бросился в кухню.

Отец и старик Власенко сидели за столом. Старик прихлебывал чай. Отец подбрасывал чайную ложку.

— Жена молодая, — рассказывал о своем старик. — Не способная к рыбацкой жизни. Я ушел рыбалить. Три дня пропадал. Приехал: «Чего, жена, наварила?» — «Да вот, супчик». Я поел. Поехал рыбалить. Дней через десять приехал: «Чего, жена, наварила?» — «Да вот, супчик». Я как хватил тот супчик об угол. С тех пор она всегда мне борщи готовила. Потому, от борща в рыбаке сила и еще от щербы, от ухи, значит...

Отец бросил ложку в стакан. Повернулся к Славке.

— Едешь?

— Не знаю... — пробормотал Славка.

Отец долго смотрел на него. Славка ежился и краснел.
— Не пойму я тебя. Ты как яичница всмятку. Не знаю, с чем к тебе подступиться: то ли с ложкой, то ли с вилкой, то ли пить через край...

Славка стоял потный, словно в пару.

— Славка! — крикнула из комнаты мама.

Славка бросился в комнату.

Мама перебирала вещи.

— Мужик всегда сам с собой, — говорила ей бабка. — Его понять легко, если у тебя сердце от корысти свободно.

— Вы что думаете, мне его зарплата нужна? — резко спросила мама. Она сунула Славке альбом и коротко приказала:

— Перебери!

Старуха смотрела на маму с досадой.

— Я не о деньгах, — сказала она.

Мама снисходительно пожала плечами и пошла к зеркалу. Причесалась.

Славка раскладывал карточки. Мамины он оставлял в альбоме, отцовские записывал в черный конверт из-под фотобумаги. В альбоме были и его, Славкины, карточки. Несколько штук. Он долго не решался, куда их положить — в альбом или в пакет. Наконец он разделил их, положил туда и туда поровну.

— Славка! — крикнул из кухни отец.

Славка побежал в кухню.

— Ну? Решил? С мамой поедешь или останешься?

— Не знаю... — Славка покраснел, быстро зашевелил пальцами. Ему показалось, что пол уходит откосом, проваливается.

Тихо, только позвякивает чайная ложка.

— Можно, я лучше в детский дом запишусь? — прошептал Славка.

Чайная ложка упала на пол. Славка вздрогнул.

Дед Власенко поднялся из-за стола.

— Пойдем, хлопец, — сказал он. — Посидим возле хаты. В саду сейчас дюже пахнет. Пойдем, ароматом подышим...

В саду метался ветер, теплый и неустойчивый. Небо, побелевшее от звезд, опустилось низко и словно кружилось.

Славке вдруг показалось, что он стоит ногами на двух лодках и лодки эти расходятся в разные стороны. А ноги

у Славки слабые — не удержать. Сейчас грохнется в холодную воду.

Славка жался к старику. Он позабыл свою утреннюю обиду, потому что обида была мелкой.

— В наших местах болгары живут, — заговорил старик. — Моя жена болгарка была. Степовая она, я ее из степи увез, прямо с поля. Посадил на коня — гайда... Мне один цыган помог. Потом меня ее родичи убивать приезжали. Они, вишь, болгары, мусульманской религии, гугуазы, по-нашему. Прострелили мне плечо из обреза. А я взял жену свою Серафину — и в море... Потом обошлось... Я тогда видный был парень.

Отворились двери. Из хаты вышел Славкин отец. Не оборачиваясь, он пошел через сад. Наверно, направлялся ночевать к себе на элеватор, в свою только что побеленную комнату.

— Ученый твой батька-то, — вздохнул старик. — А я, вишь, ничего, кроме рыбы, не знал... И Серафина, жена, тоже. Ох, как я ее любил, хлопец. Бывало, хожу за ней по пятам, а на рыбалке снами про нее брежу...

Старик держал свои руки на коленях. Они лежали спокойно, не вздрагивали, не шевелились. Бурые, в узлах и морщинах, словно сплетенные из грубых, рваных шнуров.

— Почему у вас руки такие? — спросил Славка. Хотелось ему сказать: некрасивые...

Стариковы руки двинулись по линиялым штанам и уползли в карманы.

— Некрасивые? — сказал старик. — Так мне же ж не на портрет их снимать, а для себя и такие сгодятся.

ЕЩЕ РАССКАЗ СТАРИКА ВЛАСЕНКО

— ...Словили меня в гражданскую гайдамаки. Обработали, конечно, кулаками по ребрам. И я ж не стоял. Я ж одному в рукомоийник, другому в ухо. Третьему под дых. Пока мне руки не скрутили... Бросили у подсолнухов, кто бы им кости смял, и пошли самогон пить.

Я лежу. Подсолнух надо мной и черное семя в нем.

Прилетела птица, такая рябенькая. Подсолнух качнулся, птица щелк, щелк по семени клювом. Семечко выпало. Прилипло к моей щеке. Я шевельнуться боюсь — хочу семечко языком достать, и так мне смешно от этого.

Гайдамаки из хаты высочили. Пьяные, аж гогочут. Им в голову ударило у меня секреты выпытывать. Говорят: «Как же: мы его били, а секретов не выспросили». Лягнули меня для начала ногами. Все норовили в мягкое. Я одного за икру зубами схватил. Потом ему в морду плюнул. На тебе, вошь, захлебнись. Он синий стал, как тот баклажан. Сломал подсолнух и меня тем подсолнухом по глазам. Потом побегал в хату. Винтовку тащит. «Ух, — орет, — сейчас я тебя насквозь прошью! От затылка до самой...» Кхе...

Старик кашлянул смущенно. Глянул на Славку и подмигнул.

— Приятели его затолкали. Кричат: «Ты, мол, его ухлопаешь, а нам секреты пытаться надо!»

— Пытали? — выдохнул Славка.

Старик спокойно кивнул.

— А чего им, скаженным. Разложили костерчик. Сели вокруг него, будто турки. Калят в огне шомпола и прикладывают к моим пяткам. Самогон дуют. Спрашивают, мол, где отряд? Сколько ружей? Какие у отряда планы на будущее?

Я думаю: «Дуры вы безголовые. Если я вам даже правду открою, вы все равно по пьяному делу ее позабудете. Воины, — думаю, — вы сиволапые. Башколомы». Это я про себя так смеюсь. А вслух ору благим матом: «Бандиты вы! Шкуры! Предатели! Чтоб вас куриная моль заела». Я, конечно, и другие слова кричал, только тебе их слышать совсем не надо. Сопrotивлялся словесно. А все отчего? Чтобы боль сбить. Они мне раскаленный шомпол к ногам приложат, боль как сквозанет по всему телу — до самой маковки. Я ору: «Люциферы! Прислужники! Петлюровские собаки! Все одно вам конец!»

Тот, которому я ногу прокусил, все за винтовку хватается. Требует: «Дайте ж мне, я его враз кончу».

Не дали. Ихний старший сказал: «Не торопись. Пускай до утра валяется. К утру он готовый будет для допроса. Боль его за ночь тихим сделает и послушным. А с утра мы его за ноги к журавлю приважем. Макнем несколько раз головой в колодец, чтоб у него в голове просвежело».

Полезли в хату. Все трое. Тот, которого я за ногу кусил,

высунулся из окошка с винтовкой и давай палить по подсолнухам. Мне свою сноровку показал. «Ну, — думаю, — Василий, выбросят завтра твой партизанский труп за околицу. Закопают тебя в степи прохожие люди. Вырастет на том месте виноградная лоза с красными ягодами». Это я тогда размечтался. Ночь надо мной. Звезды. И так густо, словно раскололись они по кускам и каждый кусочек мне на прощание светит.

Я слова геройские подбираю, чтобы они, значит, поняли, как принимает кончину красный боец. И от этих мыслей скоро устал. Соображаю, как-то даже смешно мне сейчас умирать. Вроде ни к чему. Невесту я той весной подсмотрел. Серафину — степовую болгарку. И так мне жить захотелось, до слез.

Руки и ноги у меня веревками скручены. Занемели. Костерчик, в котором эти кабаны шомпола грели, светится угольями, бросает мне на щеку тепло.

«Эх, — думаю, — Василий, была не была. Самое тебе испытание пришло — боль принять, и беззвучно. Накричался ты досыта. А сейчас помолчи».

Подвинулся я к костру спиной. Сунул в него руки, чтобы веревка перегорела. Крик у меня в горле бьется. Я его зубами держу.

Сколько это продолжалось? Долго. Веревка подалась. Я ее разорвал. Повернулся на живот. Мне сунуть руки в холодную воду хотелось. Горели руки. А воды не было.

Кони петлюровские пустили лужу. Я в нее сунул руки. Больше этой боли я ничего не испытывал. Аж судорога всего меня смяла.словно в нутро кипятку влили. Я тогда потерял сознание.

Очнулся, стал ноги развязывать. Пальцы обгорели, врасстыпырку стоят. Никак веревку не ухватить. На плетне серп висел, которым у нас камыш бьют. Я его взял. Веревку перерезал. Пополз. Идти не могу — подошвы шомполами сожженные. Ползу на коленях да на локтях. Хорошо, тогда сушь была. Земля твердая, никаких следов.

К лиману ползу. Думаю, отвяжу лодку — и в плавни. Раза три по дороге падал. За крайними хатами меня утро настигло. Я забился под чей-то камыш. У нас на палево западают, печки топить. И уснул...

Проснулся враз, будто меня толкнули. Проковырял в камыше дырочку. Смотрю.

Идет по песку Егор, мой сосед. Сонный. А за ним гайдамак. Тоже сонный.

Подошел Егор, поднял охапку камыша, увидел меня. Я на него тоже смотрю и «Деву Марию» читаю: «Прими, пресвятая богородица, душу раба своего...»

Куда ж я на сожженных ногах да с обгорелыми-то руками? И даже не страшно мне. Пусто так. Волна недалеко плещет. А он, Егор, бросил камыш обратно. Выругался, как положено по-рыбацки, говорит гайдамаку:

— Прелый камыш. Негодный на палево. От него дух в хате тяжелый. И борща на нем сварить невозможно, бо от него только вонь. Он огня не дает. Пойдем, — говорит, — дальше.

Гайдамак хотел идти к другой куче, да лень его, наверно, взяла. Командует:

— Нехай. И на этом камыше твоя баба нам борща сварит. А когда не сварит, мы...

Старик смигнул с глаз что-то.

— Да ладно... Я тогда вроде в себя пришел. Серп у меня на груди лежал, я его, когда уползал, с собой захватил. Сжал я тогда серп. Руки горят — я боли не чувствую. «Ну, — думаю, — воткну я тебе, гайдамак, этот серп в глотку».

Гайдамак пнул ногой камыш, говорит Егору:

— Бери.

Егор нагнулся. Лицо спокойное, только в глазах тень. Вдруг поворотился он круто. Ударил гайдамака снизу... Пришил он того гайдамака штыком. Камышом его забросал. А меня взял на руки и отнес в лодку.

— Гребь, — говорит, — Василий, в плавни. Я туда тоже прибуду и Марию с собой приведу. Жену свою.

Вот какие последние слова я от него слышал.

Вечером Мария в плавни одна подгребла. Меня гукает. Я спрашиваю:

— Егор где?

Молчит. Только плачет. У нее тогда первенец ожидался.

— Егора гайдамаки схватили. Крепко пытали, а покончить с ним не успели: красная конница их на геть вышибла — товарищ Котовский.

Егору гайдамаки язык вырвали за то, что молчал.

И вот, подумай, потом Егор пел. Выйдет в море снасть на белугу ставить и поет:

— Аа-ааа. А-аааа-аа. Ааа-а...

Будто ветер над плавнями. Не гляди, что без слов.

И меня любил. Иногда смотрит в глаза, смотрит... Мы с ним одноклассники, с Егором.

СЛАВКА, ИДИ СПАТЬ!

Старик замолчал, и Славке послышалось, что в темноте на лимане кто-то поет, тихо, едва от тишины отличимо.

Славка теснее придвинулся к старику, посмотрел на свои руки. Они были слабые и пугливые.

— Славка, иди спать! — приказала из окна мама.

Славка пошел.

Он видел во сне, как старик скачет на белом коне, держа в окровавленных руках ясную саблю, похожую на серп. Славка видел отца, молчаливого и сосредоточенного. Отец смотрел на часы и считал: пять, четыре, три, два, один... НОЛЬ! И под элеваторами взрывалось горячее, и серые башни одна за другой отрывались от земли и уходили в небо.

КОЕ-ЧТО О СЛАВКЕ И ЕГО РОДИТЕЛЯХ

Некоторые утверждают, что детям недоступны заботы взрослых. Неверно это. Славка понимал очень многое. Одно-го лишь он не мог понять: почему его мама и его отец поженились.

Славкин отец уважал в людях способность работать без усталости. Иногда, заработавшись, он терял счет дням, и тогда неделя сжималась у него как бы в один длинный день. Время он мерил по сделанному. Сделанное никогда не удовлетворяло его, потому что к концу строительства у него накапливалось столько новых идей, что хоть заново все переделывай. И, может, поэтому он с большой охотой ехал на новую стройку.

Отец никогда не бросал грустных взглядов на дом, который покидал. Никогда не тратил на сборы больше часа. И всегда говорил:

— Человека можно разгадать по тому, как он собирается в путь.

Когда Славка с мамой приезжали на новое место к отцу, мама заметно старилась. Глаза у нее тускнели, как тускнеют монеты. Платья теряли нарядность. Прическа становилась нелепой.

— Тебе нужна сутолока, — говорил отец.

— Мне нужна Москва, — говорила мама.

Днем, когда отца не было, мама сжимала руки под подбородком и часами ходила по комнате. Она совершала медленные круги. Круги все сужались. Наконец мама останавливалась посреди комнаты, как будто упершись во что-то невидимое. Ее глаза были широко открыты, но они были словно повернуты назад, словно смотрели внутрь. Она что-то шептала в такие минуты.

Потом мама замечала Славку. Она щурилась, говорила смущенно:

— Ну, что ты уставился?.. Закрой рот.

Эти два слова преследовали Славку всю жизнь. В классе ребята над ним смеялись. Придумывали ему разные клички: «Полоротый лягушонок», «Цып-цып»... У него была даже такая странная кличка — «Двадцать восемь».

Били его редко. А впрочем, кому интересно бить человека, который не дает сдачи, только улыбается и даже не плачет.

**СЛАВКА,
ЗАКРОЙ РОТ!**

Утром мама сказала Славке:

— Ты останешься здесь, с отцом. Пока я в Москве устроюсь. Ты здесь загорай, поправляйся... Да закрой же ты рот наконец! — крикнула она.

Дед Власенко хотел проводить маму. Он все суетился, старался, чтоб веселее. Принес фотокарточки, начал хвастать.

— Анна, дочка моя. В Новороссийске живет. Тоже по моряцкому делу. Строит в новороссийском порту большой пирс. Пятнадцать судов к этому пирсу враз станут... Вот смотри ж ты: девка, а такое дело справляет. Она в Ленинграде специальную аспирантуру изучала.

Приехал отец на машине. Забрал мамины вещи и отвез их на пристань.

— Я тебе Славку оставляю, — сказала ему мама. — Только живите, пожалуйста, здесь. Мария Андреевна за Славкой посмотрит.

Бабка Мария вздыхала и украдкой вытирала глаза. Славка уже заметил — всегда жалко тех, которые уезжают. Хотя это и не всегда правильно.

У мамы в Москве родители, братья и сестры. У отца нигде никого. А дед Власенко все ходит вокруг Славкиной мамы, подсовывает ей молоко и ватрушки и говорит без конца, словно хочет маму утешить.

Когда шли на пристань, дед нес мамину сумку.

Возле пристани старик подошел к маме поближе и сказал ей почти на ухо:

— Только неправду ты говоришь, девка. Ведь дело можно тогда делом назвать, когда оно с сердцем делается. Я всю жизнь рыбу ловил. И если бы мне дали еще столько лет жить, я бы снова рыбу ловил... Сгадаваю, эти ученые, которые ракету строят, любят и хлеба поесть, и мяса, и рыбу. Ишь, может, они только словом питаются? — Старик подмигнул маме и обнял ее.

У пирса стоял теплоход «Белинский». Белый и очень стройный.

На теплоходе играла музыка.

Мама поцеловала Славку. Пожала руку старику Власенко. Обняла бабку и попросила ее:

— Тетя Мария, последите за Славкой. Не давайте ему обростать грязью... Пусть молоко по утрам пьет.

Отцу мама сказала короткое слово:

— Прощай.

— Прощай, — ответил отец. Повернулся и, крупно шагая, пошел к своему элеватору.

Мама побежала по трапу на теплоход.

Славка, бабка Мария и дед Власенко махали ей долго.

Теплоход ушел по блестящей серебряной дороге. Скрылся на горизонте.

Мокрый ветер пересолил Славкины глаза до горькой речи.

— Не робей, хлопец, — сказал старик Власенко. — В мире, что в море, всяких полно чудес...

Славка хотел сказать, что это море наслепило ему глаза своим блеском. Обернулся. Возле старика стоит Васька. Стоит себе, руки в карманы, не то чтобы безразличный, а какой-то нетерпеливый. Глядя на него, Славка почувствовал свое одиночество с удвоенной силой. Он отступил на шаг, но старик Власенко взял его за плечо.

— Пойдем, хлопец, с нами куты копать.

Славка дернул плечо из-под пальцев. Прошептал:

— Не пойду я с вами. Я один буду.

ЛЮБИШЬ — НЕ ЛЮБИШЬ

Отец пришел поздно. Принес из своей комнаты на элеваторе чемодан и приемник. Приемник он поставил в угол к окну. Повесил на гвоздь антенну.

Славка сидел на диване, ждал, — он хотел поговорить с отцом. Ему хотелось сказать отцу что-нибудь взрослое. Спросить, например, что такое эгоцентризм. Но когда отец повернулся, Славка пошлепал губами и вдруг жалобно спросил:

— Скажи честно, ты меня любишь?

Отец оторопел от такого вопроса. Потом рассердился:

— Еще новый номер! Может быть, прикажешь целовать тебя по утрам?

— Нет, — прошептал Славка. — Я просто спросил... Я не знаю...

Отец принялся ходить, бросая на Славку хмурые взгляды. Уселся к столу и забарабанил пальцами по салфетке.

— Хорошо, — сказал он. — Давай выясним отношения... Я не могу сказать, что люблю человека только за то, что он мой родной сын. Это, понимаешь, еще не заслуга... Все?

— Все, — кивнул Славка.

Отец сел к приемнику и принялся настраивать его. Из репродуктора неслись чужие иностранные голоса, музыка и

далекий шум, похожий на отголоски грез и океанских прибоев. Отец вертел ручку настройки. Он все время сбивал устойчивую волну и искал новые, едва слышные волны, словно торопился найти чей-то голос, очень нужный ему сейчас.

— Ты ужинать будешь? — спросил его Славка.

— Нет, — ответил отец.

Славка лег на диван в ботинках, повернулся к стене и закрыл глаза.

СЛАВКА ИЩЕТ ТОВАРИЩА

Если глянуть на город сверху, может показаться, что опустился он на дно зеленого озера. Еле-еле видятся сквозь толщу зеленой воды красные черепичные крыши хат.

Жарко.

Степь раскалила ветры, пригнала их в город. Ветры привыкли к деревьям и травам. Медленно гибнут травы от жаркой жажды, сухие и ломкие.

Славка каждый день приходил на сваи. Садился возле Варьки, девчонки в вельветовых брюках. Она ловила бычков и ершей. Варька не прогоняла, но и не радовалась ему. Уходила домой не прощаясь.

Славка не обижался. Ему нравилось смотреть, как блестит на воде солнце. Если долго смотреть, море и небо станут сверкающей сетью. Она заколышется возле глаз. Тогда перестанешь различать горизонт, цвет воды и прозрачность неба. Только светлые нити, от которых кружится голова. И нужно ухватиться за сваю, чтобы не упасть в воду.

Девчонки никогда не обращали на Славку внимания. Он не навязывался, хотя понимал, что они щедрее мальчишек. Когда двое дерутся, — мальчишки на стороне победителя. А у девчонок хватает восторгов для победителя и участия для побежденного.

Славка все ждал, чтобы Варька что-нибудь сказала ему. И конечно, Варька сказала:

— Слышь ты, сбегай-ка за водой... Что-то пить захотелось.

И Славка помчался. Он сбегал домой за бидоном, принес

Варьке холодной воды из колодца. Он завернул бидон в лопуховые листья, чтобы вода не нагрелась.

— Тебя только за смертью и посылать, — сказала Варька, напившись.

Славка улыбнулся.

— В следующий раз я быстрее сбегаю.

Варька поймала рыбу с зелеными переливчатыми боками. «Красивая рыба, — подумал Славка. — У Варьки глаза такого же цвета. Красивые глаза».

А Варька сказала:

— Слышишь, раздергай-ка зеленуху...

Славка не понял.

— Чего?

— Ну, раздергай в клочки. У меня наживки сегодня мало...

Рот у Славки слегка приоткрылся.

— Эх ты, горе... — Варька переломила красивую рыбу пополам, разорвала пальцами на куски и бросила в банку. Славка сжал губы, зажмурился.

— Несъедобная рыба, пустая... — сказала Варька чуть мягче обычного.

ПЕРЕСТАНЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА

Двое мальчишек в пестрых ковбойках наскakивали на Варьку с двух сторон. Они били умело и с удовольствием. Они словно клевали ее и отскакивали. Варька стояла бесстрашно, не прятала лицо, не сгибалась. Она поворачивалась в нужный момент и... сверху вниз по затылку — р-раз! И еще. В отличие от мальчишек, Варька молчала. Из носа у нее текла кровь.

Славка подходил медленно, ноги его увязали в песке. Заметив его, Варька бровью не повела. И, конечно, не позвала его на помощь, словно он был посторонний зритель.

Славка сжался, поднес руку ко рту.

— Что же вы делаете?.. — зашептал он. — Зачем вы ее бьете?..

Ноги у Славки стали слабые. Задрожали пальцы.

Один из мальчишек сбил Варьку на землю.

— Ой! — вскрикнул Славка. — Перестаньте!

Мальчишка прыгнул на Варьку. Варька выставила руки, и не успел Славка крикнуть еще раз, как она изогнулась дугой и, свалив мальчишку, навалилась ему на грудь.

«Ура!» — хотел крикнуть Славка. Почему-то он вдруг подумал о Ваське, на один только миг подумал о нем, как о спасении, и тут же забыл.

Другой мальчишка с криком: «Куда ты, дура!» — бросился на Варьку сзади. Он схватил ее за волосы и оттянул ее голову на спину. Шея у Варьки напряглась.

Славке стало невыносимо тоскливо — такое чувство, будто тошнит. Он зажмурил глаза, и вдруг у него что-то лопнуло, тесное и неудобное. Он закричал пронзительно:

— Я ж тебя сейчас застрелю, гайдамак паршивый!

И бросился на врага.

Славка свалил верхнего мальчишку на землю. Он бил его по лицу. Царапал. Он укусил его даже в плечо.

Глаза у мальчишки стали круглыми, белыми от испуга. Он отползал от Славки, пятясь спиной. Он даже не сопротивлялся. Потом вскочил, отбежал в сторону и закричал:

— Не подходи ко мне, сумасшедший!

У Славки тряслись руки. Он схватил с земли круглый камень, готовый бить всех, кто бросится на него и на Варьку. Но бить было некого. Варька стояла и удивленно смотрела на него. Ее враг отряхивался в сторонке.

Варька утерла ладонью разбитый нос.

— Еще поддать? Или хватит?

Мальчишки переглянулись.

— Ты убери этого психа, — сказал исцарапанный Славкой.

Славка сощурился, сжал в руке круглый камень. За спиной кто-то весело засмеялся. Славка повернулся круто. Позади них стоял Васька. Почти голый, в одних узких трусиках.

— Я хотел вам помочь, — сказал он. — Но это хорошо, что я опоздал.

— Чего же тут хорошего? — спросил Славка.

— Хорошо, что вы сами справились... — Васька наклонился, поднял затоптанную в песок косынку и подал Варьке. Варька вырвала косынку из его рук.

— И тебя, если нужно, отлупим, — сказала она.

Славка знал, что этого Ваську они отлупить не смогли бы. Потому даже, что он не позволил бы себе драться с ними. Но все-таки крикнул воинственно:

— Проваливай к своему деду! Мы тут без всех обойдемся. Вдвоем!

— Ладно, — сказал Васька доброжелательно, — справляйтесь. — И убежал в затон.

Славка заметил, что весь он перепачкан в мазуте. Даже волосы, даже щеки в лиловых мазутных пятнах. Васькино доброжелательство и эти мазутные пятна разозлили Славку до слез.

— Отлупим! — закричал он. — Вот увидишь, отлупим!

Когда они с Варькой брели по мелкой воде к сваям, он спросил:

— Ты за что их?..

Варька вздохнула, потеряла ушибленный нос и заговорила, как с равным:

— Так они ж меня с этой сваи спихнули. Курортники окаянные.

И только тут Славка заметил, что Варька мокрая с головы до ног.

— Ты сними одежду и повесь сушить, — сказал он.

Варька повела плечом.

— Ты не стесняйся, я отвернусь, — простодушно предложил Славка.

— Да нешто я тебя застесняюсь. Просто не люблю я в голом виде сидеть. У меня на плечах пузыри бывают от солнца.

Варька все же разделась. Разложила сушить свои брюки и кофту. А косынку выстирала. В трусах она совсем была похожа на мальчишку. Только щеки у нее более плавно сходили к подбородку да толстая коса на спине.

— Ты чего такой, каждый день как моченый? — спросила она.

— У меня мать уехала, — сказал Славка. — Насовсем...

Варька уставилась на поплавок. Лицо у нее стало строгим. Славка разглядел, что ресницы у нее мохнатые и от них по глазам тень.

Варькин поплавок то и дело тонул. Она дергала бычков и ершей с громадными ртами, сажала их на кукан и молчала.

— А ты не вникай, — вдруг сказала она. — Пусть они

сами в своем разбираются. Ты им не судья, и тебя ихнее дело не должно касаться.

Варька посмотрела поверх Славкиной головы. Тряхнула косой, словно прогоняя неприятную думу.

— Кто их там разберет, — пробормотала она. — Они же чисто дети малые. По каждому пустяку у них раздражение. Даже смешно, до чего у них жизнь нервная...

— А у тебя спокойная? — спросил Славка.

Варька ответила уклончиво:

— Мне одно нужно. Чтобы не мешали. А дальше я сама разберусь. Закончу образование. Я знаю, кем стану...

Домой они шли через весь город. Несли вдвоем ведро рыбы.

Варькиной бабушкой оказалась та самая злая старуха Ольга. Она долго разглядывала Славку и что-то ворчала.

Славка думал: как странно, несколько дней назад не было для него на земле человека злее старухи Ольги, а сейчас он глядит на нее и пытается улыбнуться ей. И не потому, что старуха стала добрее и лучше, а потому лишь, что Варька — старухина внучка.

КОГДА НАЧИНАЕТСЯ БИОГРАФИЯ

Вечером, дождавшись отца, Славка похвастал:

— Сегодня я дрался.

— Заслуга какая, — ответил отец. — В твоём возрасте я каждый день дрался...

Беседовать на эту тему дальше Славке не захотелось. После ужина, когда Славка помогал бабке Марии мыть возле хаты посуду, он услышал разговор отца с дедом Власенко. Он не видел их, но слышал голоса из окна:

— Нешто тебе, парень, мальчонку не жаль? Он же один среди всех. Какая у него биография — всю жизнь как зерно между жерновов. И трете вы его, и трете. Так человека в муку растереть можно.

— Какая там биография. Нет у него еще биографии. Биография начинается с поступка, а не с факта рождения.

— Ему же годов, что тому куренку...

— Я в его возрасте в немецкую полковую кухню дохлых крыс кидал. Постромки у лошадей ножиком резал. А годом старше — грузовик со снарядами сжег. И в том же году я с простреленным животом по земле полз...

— Ты не равняй, парень...

— А чего ж не равнять?.. Я, дед, знаю и таких тоже, которые в тридцать лет женятся, и это в их жизни единственный поступок, больше до смерти и вспомнить нечего.

— Он еще не заиграл от солнца, не почувствовал силы, — раздумчиво сказал дед. — Он стоит, как тот малек, и не знает, что из него вырастет и что ему придется кушать. Он еще всех боится...

Бабка Мария захлопнула окна.

— Не вникай, — сказала она.

Бабка Мария обтирала тарелки. Славка заметил на ее глазах слезы! Наверно, вспомнила она своих сыновей и мужа, которые ушли из жизни до срока.

СЪЕДОБНАЯ ЗЕМЛЯ

Утром в окно постучала Варька.

— Пойдем, что ли, — сказала она. — Я тебе, смотри, удочку наладила, чтобы ты так зазря не сидел, не глядел в воду.

На сваях Славка сказал ей:

— Давай из затона катер угоним.

— Не гляди в воду, — пробурчала Варька. — В воду глядеть опасно.

Славка смотрит.

Море набегает на него с трех сторон, громадное. Тихонько качает его, приподняв, и летит Славка, окруженный стремительным блеском. Славка думает о красоте. Есть на земле такая красота, что, глядя на нее, хочется плакать нестыдными слезами. Он думает: вот бы жизнь так прожить, чтобы, когда умер, все плакали — и знакомые и незнакомые люди. Весь мир. Вся земля.

Славка смотрит на Варьку.

— Давай убежим на Азорские острова.

- Смешно, — говорит Варька.
— Не так уж смешно. На Азорских островах есть съедобная земля.
— А тебе что, котлет не хватает?
Славке хватает котлет и компота, ватрушек и жареной рыбы.
— Опять смотришь в воду, — говорит ему Варька.
На следующий день она принесла из дома широкополую шляпу-бриль.
— Надень. Тебе нельзя на солнце без шляпы, у тебя голова слабая.

МЕЛОЧИ ЖИЗНИ

Несколько дней подряд Славка дрался. Ходил по улицам и воевал с каждым встречным мальчишкой. Приходил домой битым, но сильным.

Бабка Мария ставила ему кислые примочки, дотошно смазывала царапины йодом. Говорила:

— Дюже красиво ты себя, Славка, разрисовал. Красивее, чем вчера. — И смеялась.

И Славка смеялся.

Он прыгнул в воду с самой высокой вышки на городском пляже. Когда он вынырнул, к нему подошла лодка-каюк. Три рыбака смотрели на Славку.

— Живой? — спросил один.

— Так и пропасть недолго, — сказал другой.

— Лихой парнишка, — сказал третий.

Пересиливая боль — горело все: руки, ноги, плечи, живот, — Славка поплыл к берегу.

— Ничего, — бормотал он, — я еще не с такой вышки спрыгну.

Почти каждый день Славка встречал Ваську. Проходил мимо него, задрав подбородок: ведь, как ни кинь, отношения между людьми определяются положением подбородка. Васька смеялся при встрече и говорил:

— Жми, Славка.

— А тебя не касается, — отвечал ему гордый Славка, но

чем дальше, тем больше чувствовал, что не перебороть ему Ваську такими приемами. С самой высокой вышки на пляже Васька прыгал как хочешь: и спиной вперед, и ласточкой, и вертел сальто. Прыгнет и уплывет в море. Вылезет на берег где-нибудь в дальнем месте и спокойно уйдет по своим делам.

К Варьке Васька подходил тоже без церемоний. Подойдет, постоит рядом. Скажет что-нибудь и уйдет, не дожидаясь ответа. Он принес ей ведро хорошей плавневой рыбы. Сказал:

— Отдай бабушке. Мне не нужна, я в столовой питаюсь. Жалко, если пропадет рыба.

Варька не взяла. Прогнала. Васька ушел, но рыбу оставил. Варька и Славка не стерпели, чтобы заяла такая прекрасная рыба. Они продали ее на базаре.

Иногда Васька появлялся у них дома, и Славка начинал громко ходить, разговаривал, как оглохший. Пел. Его отец любил беседовать с Васькой.

Из-за этого Васьки Славка чуть окончательно не поссорился со стариком. Он залез в затон, чтобы поймать Варьке толстых непуганых бычков и ершей. Старик подошел к нему и еще не успел открыть рта, как Славка уже закричал, подгоняемый жадой справедливого возмущения.

— А что! — кричал Славка. — Вашему Ваське можно, а мне нельзя! И Варьке нельзя. И никому нельзя. Это не по советски.

Старик смотрел, жалея его глазами. Потом сказал:

— Славка, Славка... Васька сюда не для баловства ходит. Он с Голощекиным, с машинистом, старый движок оживляет. Людей же ведь мало, чтобы старым движком заниматься. — И ушел к себе в проходную. Только ушел старик, Славка прыгнул в воду и уплыл на сваи. Варька спросила:

— Прогнал?

— Нет, — сказал Славка. — Я сам. Скучно мне стало. Я там один был.

Мама прислала ему из Москвы письмо. И еще две открытки.

Из них было понятно, что ей хорошо, даже как-то слиш-ком уж хорошо.

Отец к маминым письмам не притрагивался. Он спрашивал у Славки:

— Ну, что мама?

— Здорова, — отвечал Славка.

— А ты?

— Я тоже здоров.

— Вот и славно, — говорил отец. — Очень радостно слышать.

Один раз Славка спросил у него:

— Ну, а ты как?

— Я тоже здоров, — ответил отец, усмехнувшись. — Здоров и весел.

Отец всегда был здоров, по крайней мере он всегда утверждал это. Ну, а насчет веселья, на этот предмет у всех своя точка зрения. Отец, например, пел песни только тогда, когда ему было плохо. Тогда он ходил и пел без конца. И всем действовал на нервы. Особенно маме. Смеялся он, когда читал книжки. Он так и говорил:

— Посмеяться охота, — и принимался читать.

Смеялся хрипло. Бормотал:

— Ох, умора, — и размахивал книгой.

Мама сердилась. Говорила:

— Ну кто так смеется?

— Я, — отвечал отец.

Еще чаще отец смеялся над теми книжками, которые мама называла модными и современными. Тогда он просто хотел.

Мама в таких случаях возмущенно доказывала ему, что он примитивен.

— Ох-хо-хо, — отвечал ей отец.

А Славка не знал, не мог понять, весело ему в такие минуты или, наоборот, грустно.

Мама переходила на крик. Сыпала словами: мещанство, протест, интеллектуальный герой, пошлость.

Отец барабанил пальцами по столу:

— Да, да. Как же, как же...

— С тобой невозможно разговаривать!

Мама хлопала дверями и убегала.

— Постыдно! Убого! — бормотала она, словно отец совершил преступление.

Славка спрашивал у отца:

— Что с мамой?

— Ничего страшного, — не меняя позы, отвечал отец. — У мамы растут зубы мудрости.

Славка никогда не мог разобраться, кого он любит

больше, отца или маму. И любит ли их вообще. Ему казалось, что они все трое живут порознь, каждый сам по себе. Но когда отец уезжал на новое место, Славка начинал скучать и думать о нем. Когда уезжала мама, Славка вдруг замечал, что она ему очень нужна.

Когда Славка кого-нибудь провожал или уезжал сам, ему казалось, что вся жизнь склеена из сплошных потерь, что он вечно теряет кого-то. Когда Славка встречал новых людей, приезжал в новые города, ему начинало казаться, что он все время находит.

Работа на элеваторе шла полным ходом. Рядом с восемнадцатью башнями уже вырастали восемнадцать новых.

От старика Власенко Славка узнал, что элеватор старинный, много раз перестроенный. Элеватор взрывали и строили заново. Строили его и англичане, и румыны, и немцы. Они же взрывали, когда им спешно приходилось удирать с этой земли.

Славкин отец не только расширял элеватор. Он делал его автоматом.

Четыре человека будут обслуживать всю громадину.

И когда заработают механизмы, отец поедет в другое место, где нужно построить какое-нибудь новое, уникальное сооружение из бетона.

Отец всегда приходил поздно. Иногда он останавливался возле дивана, на котором спал Славка, простаивал там по несколько минут. Славка ежился под простыней. Славка начал думать, что он отцу в тягость. Что он для отца обуза. Славка даже написал маме письмо: мол, хочу в Москву, забирай меня побыстрее. Письмо прочитал отец. Случайно.

Он сел к столу. Но не надолго. Вскочил и принялся ходить, и запел.

Бабка Мария позвала отца на кухню.

— Хочешь, я на картах раскину? — сказала бабка. — Расскажу, как она там в Москве живет.

— Кто? — спросил отец.

Бабка раскинула карты.

— Живет она худо, — сказала бабка. — Ты бы ей, парень, денег послал...

Отец сел возле бабки, опустил голову.

— Не возьмет, — сказал он.

— А ты подумай, — сказала бабка. — Может, и придумаешь, как это сделать.

Отец засопел грустно. Вдохнул.

— А вы, тетя Мария, карты раскиньте. Может быть, карты скажут.

— Этого карты не могут.

Славка ушел на берег. Он ходил по песчаным дюнам. Слушал тихое бормотание волн и думал: не уехать ему от отца.

Поздно вечером, когда Славка пришел домой, он застал отца за таким занятием: отец сидел у стола, читал открытки, которые мама прислала Славке. Он разложил их, как игральные карты, и прочитывал одну за другой.

Славка вышел из хаты. Душистый вечер дремал под деревьями. По ерику плыли белые утки. Верхом на собственном отражении. Славке захотелось спугнуть уток, закричать громко и весело. Утки загогочут, захлопают крыльями, как в ладоши. Поднимется шум и гам. Залают собаки.

Славка не успел закричать. В ерик вошла черная лодка — каюк. Дед Власенко гнал ее шестом. На корме стоял Васька. Лодка коснулась берега. Он выпрыгнул, привязал ее к бревну-лежаку. Старик передал Ваське ведро рыбы.

Славка спрятался за деревьями. Он смотрел, как дед с Васькой пришли к хате. Услышал, как старик сказал:

— Васька, надень одежду. Мария тебя любит, конечно, но...

Они засмеялись оба. Старик подтолкнул Ваську и, пока тот залезал в брюки, держал перед ним его клетчатую рубашку.

Славка отвернулся. Стал смотреть в воду. Легкая волна с одной стороны была темно-зеленой, с другой светилась багряным блеском. Плыли по этим волнам белые утки.

ЕЩЕ НЕМНОГО О ВАСЬКЕ

Камыш-ш.. Камыш-ш...

Шуршит, поднимается тонкими стеблями, колышется над головой.

Тихо. Редко аукнет птица, ударит крылом по воде и замрет, испугавшись своего шума.

Грузнет багор. Лодка движется медленно. Все темнее, все гуще камыш. И вдруг резанет по глазам ослепительным светом. Круглый плес. Вода неподвижная, жаркая. Солнце выжгло в плавнях куты — круглые маленькие озера.

Уже сколько дней старик с Васькой бьют камыш кривыми серпами, прорубают просеки от кута к куту.

Старик дежурил в затоне через сутки. Сутки дежурит, на другие отправляется с Васькой в плавни. В просеках, пробитых серпами, роют они канавы, соединяют куты, чтобы рыбный малек смог пробиться к свежим волнам, не то весь погибнет. Старик ругает глупую рыбу за то, что лезет она по весне в плавни метать икру, не заботясь о своем горемычном потомстве. Спадет вода, малек вылупится в мелких кутах, побегает, пока маленький, и задохнется. Так и не повидает моря, так и не вырастет в сильную рыбу.

— Рыбак же копать не будет, — говорит старик. — У рыбака сейчас самый лов — часа пустого нету. Вот я и копаю. Уже который год. Пробовал я на это дело народ скликать. Школьников одно лето послали, да тут же и сняли. Перевели в степные колхозы на виноград.

Старик раздвигался в плавнях, снимал рубаху с усохшего тела. Тогда обгорелые кости становились особенно некрасивыми. Темные, они были словно приращены к белым рукам грубой сапожной дратвой. Плечо у старика прострелено. Шрамы с обеих сторон втянулись внутрь, будто связанные короткой жилой. И на ногах у старика шрамы, и на спине.

Старик работал подолгу. Он зари до заката. Когда в канавах оседала грязь и становились видными шустрые мальки, бегущие друг другу навстречу, в стариковых глазах загоралась веселая радость. Было похоже, будто сажает он в своем саду яблони и они тут же цветут легким цветом.

Каждому мальку у старика кличка. Он их вытряхивает из вентера в воду и ругает, как ребятишек: репейными шишками, окомолками, башколомами — и сам над собой смеется. Говорит:

— Старый — что малый. Стариков жизнь толкает на печку, вас, ребятишек, тоже не подпускает к делу по малости лет. Выходит, что в жизни мы на меже, а не в поле. Вас, ребятишек, такое положение клонит к играм и к баловству, бо энергия у вас не растрачена. Нас, стариков, пихает в такую вот самостоятельность: плетень поправить, садок насадить...

— Ну, не такой уж вы старый, — возражает ему Васька.

— Старый не старый, а к большому делу не горазд. Я же ж на этом море и тралмастером плавал, и капитаном, и даже председателем сидел сразу после войны. Тогда у нас не колхоз был, а трофейный музей. На каких только диковинных кораблях не рыбалили! Даже на румынском торпедном катере. Сейчас наш колхоз океанскую флотилию приобрел. Первым с Черного моря в Африку побегит. — Старик замирал с лопатой, смотрел в камышовую тень, должно быть, вспоминал свои дальние плавания. Варька смеялась над Васькой. Кричала:

— Лягушачий герой!

Красивая Варька девчонка.

Соседская Нинка, поливая ему горячую воду, ворчала:

— Вы б отдыхали. Чего вам? Другие курортники в белых рубашках, а вы всегда грязный.

— Некрасивый? — спрашивал Васька.

Нинка мяла губы в стеснении, потом говорила с хитростью:

— Рабочая грязь красоты не портит... Но ведь зачем вам?

— Да смеха, — отвечал Васька. — Чтобы смешнее...

— Да ну вас, — сердилась Нинка. — Не хотите со мной разговаривать, тогда и не смейтесь.

Васька жил в Ленинграде. Его отец работал на заводе инженером. Но Васька ни разу не был там. Мама тоже работала на заводе, и Васька много раз пытался представить ее цех и все думал, почему в больших городах труд человеческий спрятан за такие высокие стены.

Ваське нравился этот чистый старательный городок, у которого, в отличие от больших городов, все дела и заботы наружу. Даже нелюбопытные в этом смысле курортники знали, чем болеют на консервном заводе или в рыбацком колхозе. Когда лампочки в домах тлели красным накалом, все говорили и сетовали на то, что у паровой турбины подтерся подпятник — пора бы его заменить. Все знали, что консервный завод отобрал у рыбколхоза катера, которые он давал в аренду, чтобы посылать их в береговые колхозы за вишней и ранними фруктами. Ваське нравилось встречать занятых делом людей.

Здесь не было праздногоуляющих. Курортники — те не в счет, они не принадлежат к этому городу, они лишь временно пользуются его гостеприимством.

Взрослые в этом городе называли его Василий.

Ребята говорили — Вася.

И только Варька-Сонета не называла его по имени. Варька всегда отворачивалась, когда он бежал мимо свай.

СЛАВКА РАЗГОВАРИВАЕТ С ОТЦОМ НА СЕРЬЕЗНЫЕ ТЕМЫ

Славка лежал на диване. Сон к нему не шел, гулял за темными окнами.

Отец пришел поздно.

Славка слышал, как бабка Мария кормила его ужином в кухне.

Слышал, как отец вошел в комнату, тихо и осторожно ступая. Скрипнул стул — значит, сел работать.

Отец долго чертил за своим столом, считал на линейке и кусал карандаш. Иногда он крутил настройку приемника, ловил тихую музыку и снова принимался чертить.

Славка сидел на диване, укутавшись в одеяло. Он понимал, что взрослый, занятый человек может быть одиноким и что одиночество это во много раз тяжелее, чем его, Славкино.

Так они и сидели, два одиноких человека. И оба очень хотели, чтобы это упрямое одиночество кто-нибудь из них нарушил. И оба не решались это сделать.

Славка уснул сидя. Отец разбудил его.

— Хватит нам играть в эту нелепую игру. Давай поговорим немного.

— Давай, — сказал Славка.

— Знаешь, — сказал отец, — все это чепуха... Давай поговорим о деле. Ты думаешь, элеватор — обыкновенное сооружение для хранения зерна? Большой амбар? Зря ты так думаешь...

Славка вылез из одеяла. Во-первых, потому, что он никогда так не думал, во-вторых, потому, что отец никогда не разговаривал с ним на такие серьезные темы.

— Гляди, — отец вытащил из кармана завалявшееся зерно пшеницы. — А оно живое. Живет и дышит. Его нужно защитить от всяких врагов — паразитов. И оно долго бу-

дет жить. Сто лет и пятьсот лет. Потом его можно посадить, и оно прорастет и даст колос. И даст новую жизнь...

Отец махнул рукой, скинул туфли и лег на свою кровать, лицом к стене.

Славка тоже лег. Он все удивлялся и радовался этому разговору. И вдруг он подумал, что, вероятно, отец не раз пытался говорить с мамой о своей работе и, наверно, вот так же махал рукой под конец, не увидев в маминых сонных глазах интереса. Славка соскочил с дивана и полез к отцу на кровать.

— Знаешь рыбзавод? — спросил он.

— Ну, знаю.

— На этот завод селедку из Мурманска присылают, чтобы коптить... Почему?

— Наверно, своей рыбы мало, — ответил отец.

Славка потряс головой.

— Правильно. У колхоза плавучих средств не хватает.

Славка слышал отцовское дыхание. Чувствовал его тепло и запах табака.

— Кто тебе сказал? — спросил отец.

— Дед сказал... А когда новая флотилия прибудет, у завода все равно с сырьем окажется недостача, — помолчав, заговорил Славка. — Слишком большой завод для этого места построили. Не подумали.

— А это тебе кто сказал? — спросил отец.

— Дед, кто...

Отец легонько спихнул Славку с кровати.

— Ладно, — сказал он. — Иди. Спи.

НАВЕРХУ, ГДЕ ВЕТЕР

На следующий день отец повел Славку на элеватор. Он показал ему все: силосные помещения, где хранится зерно, те самые серые башни, и пространства между башнями — звездочки, в которых тоже хранят зерно, транспортеры, которые пересыпают зерно из силоса в силос. Зерно летело по трубам, поднималось в ковшах. Лежало тихо. И его сторожили чуткие автоматы, которые построил отец. Они

свели, чтобы зерно не задохлось или, наоборот, не стало дышать слишком сильно.

Отец показал бетонные козырьки-навесы. Они были похожи на крылья. Под эти крылья могло заехать машин пятьдесят с одной стороны и пятьдесят — с другой. Они висели в воздухе без колонн и подпорок.

— Напряженная сбалансированная конструкция, — объяснял отец. — Она как бы сама себя держит. Обжимает несущее сооружение, словно вцепляется в него... — Рассказывая, отец краснел и смущался. И ему даже как будто не хватало воздуха, чтобы дышать. Может быть, поэтому он повел Славку на самый верх, на крышу, где парной воздух сгущался и уходил к морю, подхваченный степными полынными ветрами.

— Смотри, — сказал отец, — какая красота вокруг. — Он добавил тихо: — И все-таки тебе нужно поехать к маме.

Славка не успел ответить, он вдруг увидел проклятого черного, облупленного Ваську, который стоял у перил и скалил нахальные зубы.

— Ты как сюда попал? — строго спросил отец.

— Я вас искал, — ответил ему Васька. — Мне рабочие сказали, что вы по элеватору со Славкой ходите. Я подумал, что уж сюда-то вы обязательно придете.

— Кто тебя пустил? — еще строже спросил отец.

— Если честно говорить, — никто. У меня же к вам серьезное дело.

— По делу я принимаю в конторе!

Васька захлопнул свой дурацкий рот и опустил голову. Но отец не дал Славке насладиться Васькиным конфузом. Все еще недовольно, но уже мягче, он сказал ему:

— Давай.

Васька вытащил из кармана тетрадку. Подал ее отцу.

— «Скромный труженик», — прочитал отец. — Тебе самому не смешно от такого названия?

Васька покраснел.

Отец посмотрел на него, облокотился на перила и принялся читать.

— Плохо, — говорил он. — Глупо. Ну это же курам на смех!

Васька стоял возле него темно-малиновый. Он вытирал пот со лба, шевелил губами, проклиная, должно быть, благие порывы.

Славка покусывал губы. В его ушах отцовские слова «плохо», «отвратительно» звучали как «хорошо» и «прекрасно», потому что были в этих словах понимание и теплота.

Славка смотрел на город, распростертый вниз, на далекую степь, на лиман, желто-зеленый, будто растворивший в себе знойные соки земли. За лиманом темно море. Оно соприкасалось с землей и враждовало с ней. «Убегу! — думал Славка. — Ото всех убегу».

У своих ног он заметил лестницу, которая вела с вышки на плоскую крышу силосов-башен. Он спустился по этой лестнице. Ему хотелось глянуть с крыши на землю, с самого края, или свалиться вниз, чтобы отец подбежал к нему, распростертому, и закричал дико: «Славка!»

Он шлепал по бетону сандалиями, — может быть, сейчас крикнет? Остановился. «Ну! Крикни!..»

Тихо. Отец даже не видит его. Отец считает его слабым, ни на что не пригодным.

Славка подполз на животе к краю крыши. Глянул вниз. Воздух обтекает горячие стены. Видно, как он колеблется, свиваясь в узорчатую духоту. Внизу рабочие. Движения их странны, очертания расплывчаты. Славка представил, как он медленно, с открытым ртом, падает вниз. Опускается в цементный ил... Славка вцепился в ноздреватый бетонный карниз. Отполз на животе подальше от края.

Над крышей торчит металлический штырь. Он опускается вниз вдоль бетонной стены. Держат его железные костыли, забитые в стену. Расстояние между ними три метра. Высота элеватора — тридцать...

ГРОМООТВОД

— Журналиста из тебя не выйдет, — сказал Ваське Александру Степанович. — Ты стыдливый... — Он спрятал тетрадку в карман. — Вот как я сделаю: pošлю это сочинение твоему дяде в Одессу, пусть он покажет его в газете. Если им нужно, они пришлют своего корреспондента.

— Но... — хотел возразить Васька.

Александр Степанович засмеялся:

— Лучше уж я pošлю. Тебе неудобно. Я еще от себя напишу пару слов...

— Наверно, так лучше, — сказал Васька. — Если вы... — Он оборвал фразу. Он увидел на крыше башен-силосов Славку. Славка сидел на самом краю. Вцепился руками в громоотвод. Перекинул ноги вниз...

— Славка! — закричал Васька. Толкнул Александра Степановича, потому что тот стоял на дороге. Скатился по железной лестнице на плоскость крыши и бросился к громоотводу.

— Славка! — кричал сзади Александр Степанович.

Славки уже не было видно. Васька подбежал к громоотводу. Славка стоял метрах в трех внизу на крепежном костыле, вбитом в стену.

— Славка! — крикнул Васька. Славка не поднял головы. Подбежал Александр Степанович.

— Веревку, — прошептал он.

— Держись, — бормотал Васька. — Держись! — крикнул он. Александра Степановича уже не было рядом. Он метался в чердачных отсеках...

Славка казался совсем маленьким и спокойным. Он зажал громоотводную штангу подошвами сандалий и, мелко перебирая руками, заскользил вниз к следующему крепежному костылю.

Если бы это канат или шест, тогда ладно. Ржавая стальная штанга с зазубренными гранями! Она разорвет, разьест Славкины ладони... Васька уцепился за штырь громоотвода, перевесился через карниз и, зажимая штангу ногами, полез к Славке. Он торопился. Он хотел догнать Славку. Но и Славка, увидев такое, полез быстрее.

— Стой!.. Обожди! — кричал ему Васька сверху.

На земле, под громоотводом, собирались рабочие. Они махали руками, словно подбрасывали свой крик, чтобы он долетел к двум мальчишкам, похожим на мух, что ползут по высокой стене.

— Славка, дурачок... — бормотал Васька. — Ну не беги... Ну полезем вместе. Вместе же веселей. — Васька знал эту яростную необходимость самоутверждения, которая толкала его самого на дурацкие с виду поступки. Он вдруг понял, что любит этого худоплечего Славку. Васька соскользнул еще на один марш. Теперь их отделяли только три метра. Славка не убегал, стоял на крепёжном костыле, прижимался животом к штанге. Он стоял между стеной и громоотводом. Васька посмотрел, хватит ли ему места на костыле, чтобы

поставить ногу. Места хватало. Он спустился ниже. Над Славкиной головой ему пришлось разжать ноги и спускаться на одних руках. Славка смотрел в сторону. Ресницы у него были мокрыми. Он отчаянно мигал, чтобы стряхнуть липкие глупые слезы. Из-под Славкиных пальцев, сжимавших ржавую штангу, текла кровь. Рот у него был наглухо стиснут. Наверно, чем шире открываются глаза у людей, тем плотнее закрывается рот. Васька услышал окрик сверху. Поднял голову. Александр Степанович спускал им веревку.

— На веревке я не полезу, — сказал Славка, все еще не глядя на Ваську.

— Не полезешь, — ответил ему Васька. — Она короткая.

Он не знал, что Славка сейчас радуется ему, как другу, пропавшему некогда и найденному в момент крайней нужды.

Веревка висела метрах в двух над ними. Веревка дергалась, извивалась, словно силась вытянуться. Держась за штангу одной рукой, Васька расстегнул рубашку, скинул ее и, ни слова не говоря, привязал Славку к штанге. Потом он полез вверх к веревке, которая все вздрагивала. Он лез в обхват, как по шести. Штанга жгла ему живот, ноги, плечо. Он поднялся на верхний костыль, поймал веревку.

— Бросайте!.. — крикнул он, обмотав веревку вокруг штанги, чтобы она не вырвалась из его рассеченных ладоней.

— Держитесь, я сейчас к вам спущусь! — послышалось сверху.

Васька задрал голову.

— Не надо! — крикнул он. — Здесь троим никак! Я справлюсь...

Он спустился к Славке. Обмотал Славкины руки рубашкой. Стравливая потихоньку веревку, он опускал Славку все ниже, с костыля на костыль. Спускался сам и опять опускал Славку. Ладони и пальцы сочились. Колени, икры были разодраны.

Снизу кричали советы. Но он не слушал или не понимал. Внизу он увидел Варьку. Она стояла, притиснув руки к губам. Васька сползал по штанге, прильнув к ней всем телом. Когда Славка был уже на заждавшихся руках отца, когда Ваське крикнули: «Прыгай!» — он все равно полз, изо всех сил прижимаясь разодранным животом к железу. Даже когда его ноги коснулись земли, он не решился выпустить штангу из рук.

МОРЕ СЛЕПИТ ГЛАЗА

Славка и Васька сидели на пирсе. Руки у обоих забинтованы. У Васьки забинтовано колено, остальные поцарапанные места закрашены медицинской зеленкой. Красив Васька, как павлин.

Славка спросил:

— Почему ты за мной полез?

— А ты почему полез?

Васька усмехнулся; наверно, не только из страха отвечают люди на вопрос вопросом, наверно, не только из желания уколоть и не потому только, что не хотят быть искренними с первым встречным, не только из ложной скромности. Иногда они это делают, чтобы не обидеть другого правдой. Ему было приятно смотреть на Славку, и он смущался, словно пересматривал картинки, нарисованные им в раннем детстве.

Его взгляд как бы охватывал Славку со всех сторон, проникал внутрь. В Славке бродили еще отголоски обиды, обжечь которую он бы не смог даже в минуту самой глубокой откровенности. Славка отводил глаза, растерянно комкал лоб и белесые брови.

— Ты на моего младшего брата похож, — сказал Васька. — Он у меня такой же чужак.

Славка подумал: «Плеть мне на твоего брата. Подумаешь — брат. Ни на кого я не похож. Я сам на себя похож... Столкнуться бы этого Ваську в воду. Только он сильный, черт».

— Не такой уж ты и большой, — сказал Славка.

— Наверно.

— Я думаю, Варька-Сонета посильнее тебя.

— Может быть.

Славке хотелось реветь. Что-то уходило из него, и он сдавался проклятому Ваське. Славка спросил:

— Кем ты хочешь быть?

— Не знаю еще.

— Тебе четырнадцать, и ты все не знаешь? Ты что, глупый? — Славка сам испугался своего нахальства — даст сейчас по башке. Но Васька спокойно растянулся на досках и уставился в воду.

— Жми, — сказал он.

«Врет этот Васька. Уж он-то, наверное, знает, кем хочет



быть. Просто скрывает, чтобы меня не обидеть. А может быть, он себе секретное дело выбрал...»

Славка тоже уставился в воду. Течет вода. Почему люди подолгу вглядываются в ее световую игру? Они видят в ней свои мысли. Видит Славка себя стоящим на междупутье. Рот у него открыт. Мимо проносятся поезда. В разные стороны. Кричат и криком отрывают людей от земли. Славку треплет горячий вихрь — ветроворот. Славка стискивает зубы до боли в челюстях... Поворачивается на спину. Смотрит в небо.

На пирсе шумят рыбаки. Они выгружают из сейнера рыбу, требуют у председателя новые сети.

— А на что я куплю, — отвечает им председатель. — Капитан Илья пригонит флотилию, там все новое, нарыбалились вдосталь.

И рыбаки умолкают. Они ждут флотилию. Весь город ждет флотилию.

Славка снова поворачивается на живот, смотрит неуловимое движение воды.

«Убегу, — думает Славка. — Придет флотилия, я залезу на главный корабль и уйду с ними в Африку».

«Убежит, — глядя на Славку, думает Васька. — Убежит, как я убегал, как до меня убегали миллионы мальчишек. Где-нибудь в Дарданеллах Славку обнаружат матросы, отругают, не жалеючи его слабого возраста, и отправят на встречном судне обратно к отцу».

Славка поднимает голову от зачарованной солнцем воды, смотрит на горизонт. Горизонт растворяется перед ним. Оттуда, из-за земной округлости, появляется флот. Флот заслоняет весь горизонт белыми парусами. Сколько их? Тысяча. Впереди главный корабль с крутым и бесстрашным форштевнем.

— Убегу, — шепчет Славка.

ВАРЬКА

ЖАРА

Солнце приглушило звуки, погасило краски, солнце захватило власть над землей.

Давно не было шторма. Рыба ушла из лимана в море, к свежим волнам. Только бобошка — несмышленная мелочь — шныряет у берегов. А вместо чаек над отмелью выются вороны. Они широко открывают клювы. Они храпят:

«Хар-рр...»

Хрип этот глохнет, словно падает в пепел.

Вода в лимане густая. Горькая. Дно затянула морская трава. На ней пузыри и улитки. Иной пузырь оживет вдруг, всплывет на поверхность и лопнет.

Воздуха почти нет. Воздух поднялся ввысь.

Неподвижный лиман вспыхивает справа, слева. Будто искры в ровном огне побегут, побегут и рассыплются. Иногда в глубине вспыхнет. Варька попробовала на каждую вспышку положить голос:

— А... А-а... А-а-а... А...

Ожило море, заговорило. Звуки, никому не слышные, кроме Варьки, обступили ее, закружились. Вонзились в нее иголками. Звук у горящего моря как тысяча колокольцев.

Они бегут, догоняют друг друга, рассыпаются в разные стороны, замолкают и снова бегут. Вокруг громадного темного колокола. Колокол раскачивается, спрятанный в искрах. Грозное било ударит сейчас о металл, и взревет море...

А может, самой зареветь во весь голос...

ВАРЬКА ДУМАЕТ ОБ ИЗМЕНЕ

— Изменник ты, Славка. Телячья душа. Слабый ты и пустой, как та камышинка, как та солома. Мне моя бабка давно говорила: «Сторожись, Варька, слабых людей. Они на все способны, если их жизнь пихнет».

«Самое синее в мире, Черное море мое...» — запела она, словно радуясь одиночеству.

Раскрутила удилище над головой, хлестнула леской по воде. Бычки-недоростки бросились из морской травы под камень. Но тут же кончилась радость, уступила место печали.

Славка ушел с Васькой!

Варька помнит тот день. Ладони у Васьки были изодраны. В открытые ссадины въелась ржавчина. Кровь была у него на животе, на ногах. Варька вскрикнула прямо ему в лицо. Но он ее не заметил.

Вот за это, за свою слабость и унижение она презирает сейчас Славку. Прогнала его, когда он пришел на свай.

— Проваливай! Верхолаз.

Славка потупился.

— Варька, мой отец в Москву собирается. Как думаешь, может, они помирятся с мамой?

— А мне плевать! На тебя и на твоего Ваську. Урод он сушеный, моллюск в тапочках.

Славка ушел.

Жара пухнет в Варькиной голове, озлобляет Варькины мысли. Хоть бы завывли ветры, закружились со свистом.

Выдернула бычка. Вороны ринулись на рыбешку.

— Геть, стервюги! Туда же, нахальничают!

Рыбу Варька терпеть не может. Рыба беззвучная, глухая. Варька сдавила бычка в кулаке — хоть бы крикнул! Швырнула воронам.

— Жрите!

Вороны заметались в солнечных бликах.

Да что он такое, что он из себя представляет? Приезжает, как к себе домой. Ходит по городу как хозяин, с капитанами здоровается за руку. Приезжали сюда курортники — куда ему. На собственных автомобилях, с собственными катерами. Они не вызывали в Варьке никаких чувств, кроме смеха. Они словно из другого государства. И ходят не так — прогибают ноги, как журавли перед взлетом, да не летят. Говорят иначе, да смешно слушать. Песни поют другие, да голосов нет. Смотрят на всех сквозь темные очки, словно всю жизнь прожили в сырых подземельях и теперь боятся, что обожжет солнцем их слабое зрение. Бабка вежлива с ними на рынке до издевательства. Девчонок называет любезными барышнями, мальчишек — кавалерами, женщин — непременно мадам.

Варька иногда садилась на берегу поближе к курортникам и, словно уйдя с головой в рыбную ловлю, напевала вполголоса. Забывалась как будто, пела громче и громче.

Курортники окружали ее кольцом, бросив свои забавы. Стояли тихо. Они просили ее спеть еще, но она собирала дочки и уходила. С ней здоровались, говорили: «Позвольте, мы вас сфотографируем на память».

— Гони их всех чисто! — набрасывалась на нее бабка. — Рано тебе ухажерничать. Я из твоих кавалеров все ухажерство вышибу. — Бабка гонялась за мальчишками. Они разбегались, как гуси.

Варька слезла со сваи. Мелким шагом направилась к берегу. Забралась под перевернутую лодку-каюк. Принялась разгребать сыпучий песок до прохладных слоев. Сняла кофту, брюки и легла, чтобы чуть остудиться.

Бабку Варька любит, хоть и стыдится ее иногда. Чувствует Варька в ней непонятную силу, яркую и безалаберную.

Бабка смеялась над всеми. Никому не позволяла смеяться над собой. Этому и Варьку учила. Бабке на все плевать. У нее только две страсти: базар да ненависть к старику Влащенко.

Базар для бабки важнее молитвы, хоть и крестилась она, грохнув на колени под закопченной иконой. Хоть и бегала она в церковь, крашенную сплошняком, от крестов до фундамента, серебряной краской. Варьке казалось всегда, что обращенные к спасителю сухие бабкины губы шепчут:

— Господи, фунт, он, известно, фунт, но его еще взвесить нужно.

На базаре бабка чувствует себя важной птицей. Она на базаре — как в битве.

Когда бабке нечем было торговать, она будто ссыхалась. Руки у нее болтались, словно пришитые, голова опускалась на грудь, и бабкины глаза, черные, с ломким блеском, тлели, угасая без дела.

У бабки до старости сохранился красивый голос. Она запевала старинные песни, и Варькино сердце сжималось от удивления.

— Ох же ж, я девкой певала, — хвастала бабка. — Я ж была, как та царица, красивая. И грудь, и плечи... Только у меня голос был лучше. И ходили за мной хлопцы, как дикие кони.. И этот чертов старик Власенко тоже по мне сох и сокрушался. Чтоб у него ребро выскочило не в ту сторону. Чтоб он окривел. Чтобы бороду его мошь съела.

Завалив уничтожающими словами старика Власенко, бабка упирала взгляд в одну точку, в гвоздь, например, или выключатель. Она принималась бормотать равномерно и скоро, словно насаживала на нитку стручки жгучего перца.

— Я, Варька, не по главной струе пошла. Куда-то в сторону черт занес, прости меня, господи...

Кабы я в главной струе шла, я и за сто человек тащила бы с радостью, я ж очень дюжая, не то что этот рыбацкий пастух — старик Власенко. Я бы, может, с министрами зналась. Сидела бы сейчас в меховой горжетке да на бархатном кресле. Читала бы книжку-роман на иностранном языке и серебряной ложечкой кушала бы заварной крем с розетки.

Варька спросила однажды у бабки про коммунизм. Бабка пригорюнилась, посмотрела на свои руки.

— Это же по потребности... Какая у меня потребность? За вами белье стирать да на базар бегать — душу свою тешить. По этой потребности я и получу в коммунизме то же самое. Только, может, базары тогда будут бесплатные. Ну, да мне все равно. А вот если бы я была, к примеру, знаменитой певицей, и потребность бы у меня была другая. Рояль обязательно. Квартира в столице и с лифтом. Автомобиль, чтобы не простужаться. Дача для отдыха... Поняла, что ль?

В бабкиной философии Варьке всегда чудилась зависть и еще что-то похожее на обиду.

В доме бабушка вершила власть. Варькин отец, человек слабый, не то чтобы боялся ее, но стушевывался перед ней, как осенний день перед бурей.

Раньше отец работал судовым механиком. Пашка и Петька, братья-погодки, были совсем малыши. Пашка совал в рот свою ногу, Петьку только что принесла безыменного. Две беды случились тогда. В роддоме умерла мама. Напившись с горя, отец спалил бабкину хату. Он получил много денег. Варька видела несколько пачек. Уснул на кухне. И никто не знает, как он поджег хату. Варька проснулась от кашля. В ушах звенело, словно залезли туда ядовитые комары. Прижимаясь к земляному полу, она поползла к двери. У дверей ее подхватила бабушка. Она уже вытащила малышей в сад. Бабушка оставила их в саду, пошла за отцом. Выволокла его из кухни, когда на нем уже тлела одежда.

Хата горела странно. Огня не было. Только дым и красные змейки в лопнувших стенах. На чистом воздухе отец пришел в себя, закричал дико, побежал обратно в хату за деньгами. Но она занялась вдруг, треснула и обрушилась, рассыпав по всему саду тусклые искры.

Бабка сказала отцу:

— Я на тебя, Петро, зла не держу. Плохо тебе не сделаю — у тебя ребятишки...

Старик Власенко взял их к себе.

Бабка к нему не пошла.

Бабка пришла на похороны. Своей умершей дочке Раисе повесила тяжелые золотые серьги с камнями.

— Откуда такие? — спросил отец.

— Я участок свой продала. И с садом.

— Зачем же мамке такие серьги? — заревела Варька. — Она же их не увидит.

— Чтобы ты видела. Чтобы мамку не забывала... Чтобы все вы мою Раису помнили! — Она оглядела с вызовом всех пришедших на кладбище. Остановила горячие глаза на старике Власенко.

— А ты зачем здесь? — спросила. — Радуетесь?.. Не радуйся, у меня внуки остались, а у тебя никого.

— Это место не для раздоров, — ответил старик.

Когда опустили гроб, бабка первая бросила горсть земли в могилу и, не дожидаясь, пока закопают, пошла.

Вечером она появилась во дворе старика Власенко. Вызвала отца.

— Если ты здесь жить надумал, — сказала она, — живи. Только я тебя прокляну и ноги моей у тебя не будет. Не хочу, чтобы Васька, этот вот старый ирод, — она ткнула пальцем в деда, — над моими последышами власть имел.

Старик Власенко вывел бабку на улицу. Сказал ей:

— Ты, Ольга, совсем застывела. Иди, не рви Петру сердца, оно и без того горем схвачено...

Ожесточенные души не слышат правды — бабка ушла жить на пепелище. Она ничего не откапывала, ничего не искала в золе. Ветер зачернил ее сажей. Бесприютные долгие ночи сделали ее неподвижной, похожей на обгоревшее дерево.

Завхозу сельскохозяйственной школы по должности полагался дом. Хороший дом, кирпичный, с высокой шиферной крышей, с голубыми наличниками. Две комнаты в доме, кухня, прихожая и кладовка. Полы в доме крашеные. Стены белые — ни пятна на них, ни царапины.

Батяка привел Варьку сюда, распахнул перед ней дверь.

— Прощай, море, — бормотал батяка. — Новый дом, кирпичный. Я, Варька, видишь, какой дом добыл...

Варька, как вошла, легла на пол и заорала:

— Здесь будем жить. Никуда не пойду отсюда.

Батяка засуетился, воспрянул:

— Здесь, дочка, здесь... Крикни громче. Слышишь, как откликается. Признал, значит.

Первые дни за ребятами ходила соседка Ксанка. У нее в том году муж погиб в море. Петька тянулся к ее груди, и Ксанка редела. И Петька ревел. А Варька кричала:

— Заткнитесь вы! Вот уже бабка придет. Она с вами сладит.

Бабка пришла. Как ни в чем не бывало принялась мыть полы. Потом взяла Пашку и Петьку, понесла в Горсовет.

— Колыхали мы Черное море! — кричала бабка у председателя. — И тебя колыхнем. Не будет тебе моего голоса!

— От вашего голоса у меня уши заложило! — кричал на нее председатель. — Не нужен он мне, ваш голос... Не понимаю, почему крик?

— Как почему? Помещай ребят в ясли.

— Пожалуйста, — сказал председатель. — У нас в ясли — пожалуйста, была бы охота.

Пашку и Петьку поместили в ясли рыбзавода. Ксанка — соседка — кричала на всю улицу:

— Ведьма старая, не жаль тебе ребятишек?! Паучиха!

Бабка сидела у окна, посмеивалась:

— А чего их жалеть? Нешто им в яслях худо? Медицина со всех сторон. Единственно — штаны мочить будут да говорить начнут поздно. А оно и лучше — меньше глупостей наболтают.

Ксанка не терпит Варькину бабушку. Говорят люди, что Ксанка имеет свою цель — хочет за Варькиного отца замуж выйти. Она Варькиного отца жалеет. Это их дело. Варька не против. Ксанка — женщина добрая.

Варькин отец работал через силу. Когда накатывала на него грусть, он ворчал:

— Что я с той должности вижу? Одно унижение. Дела не делаю, а руками махаю. Такая, видать, моя доля.

Иногда отец распалялся, чтобы хоть словом подбодрить свое самолюбие.

— Или я мужик, или я просто так?.. Я это разом порешу! — кричал он и принимался подтверждать свое достоинство.

Шел на базар первым делом. Бабка говорила: «Под колесо». Он и правда возвращался помятым, словно ездил по нему на телегах. Разносил Варьку, Пашку и Петьку «за старое и на месяц вперед». После этого писал заявление об уходе с работы. Все свои заявления он заканчивал фразой: «Рожденный плавать — пахать не может».

Ставил три восклицательных знака и засыпал за столом.

Бабка говорила:

— Герой. Тебе такие дела не по рылу. — Она рвала отцовские заявления.

Отец шел на работу. На него сразу наваливались дела. В суете, в виноватости, он на долгое время забывал свою гордость.

Недавно пришла Варькина бабка с базара, принесла одесскую газету. Закричала:

— Смотри, этот рыбий пастух и сюда пролез. Ох, я бы ему в очи плюнула за его жадность. И чего всюду лезет?

В газете был помещен портрет старика Власенко. По бокам — Васька и Славка. Статья называлась: «Простой, скромный труженик».

— Был бы скромный, лежал бы на печке. Уже ж ведь давно на пенсию вышел. Нет, он желает выше всех стать!

Ишь орденов нацеплял, тараканий полковник. По базару ходит, как губернатор. Тьфу!

— И куда ему столько богатства? — горячилась бабка. — Пенсию получает, за сторожку зарплата идет, дочка каждый месяц шлет переводы. И от рыбнадзора ему какой-нибудь куш есть, иначе зачем по базару шныряет? Канавы в плавнях роет зачем? Он там, проклятый, рыбу ловит и подзаныр продает. Он и есть непойманный браконьер.

Бабка нашарила карандаш, пририсовала, послунив, старику Власенко рога.

— Вылитый черт, — сказала она.

Варька взяла у нее карандаш, пририсовала Ваське усы и ослиные уши. Ей было грустно и тошно.

ВАСЬКА ДУМАЕТ О ВАРЬКЕ

Рано утром, чуть свет, старик Власенко, Васька и Славка погрузились в каюк — пошли в плавни исполнять работу, которая иным кажется придурью от безделья.

Чуть шипит вода у бортов. Мальчишки гребут — не плещут, их старик научил. Вода от зари будто радуга. Кажется, даже на вкус разная. Где розовый цвет, там она сладкая. Где желтый — кислая. Где зоря воды не коснулась, — вода темная, ее вкус горько-соленый. Воздух дрожит в ожидании солнца.

Славка толкнул Ваську локтем.

— Жаль, что Варька с нами не хочет... Тебе она нравится, или ты выше?

— Выше! — заорал Васька.

Славка посмотрел на него грустно. Сказал:

— Не ори...

Он промахнулся веслом. В брызгах над лодкой вспыхнуло семицветие.

— Красота, — прошептал Славка.

На нежных заревых красках они увидели отражение землечерпалки. Землечерпалка стояла в широком водном канале, который уже успела прорыть минувшим днем.

Старик Власенко велел мальчишкам гнать лодку быстрее.

Он суетился на корме, вставал, чтобы взглядом поспеть вперед.

На носу землечерпалки стоял мастер в трусах и домашних шлепанцах с часами «победа» на волосистом запястье. Он уставился на старика непробужденными глазами.

— Здравствуйте, — поклонился ему старик. — Извините, для какого же дела вы сюда в камыш забились?

— Канавы копаем для рыбных мальков... — Мастер втянул носом розовый утренний воздух, сморщился, как от крепкого нашатырного спирта, выгнал блаженным чохом остатки сна и конфузливо улыбнулся. Он узнал старика по картинке в газете, сказал «здрассте» и выпалил, словно ему поручили сообщить деду радостное постановление:

— Вы, дядя, теперь ступайте обратно на печку. Продолжайте, товарищ, свой заслуженный отдых. Мы тут колыхнем это дело враз.

Мастер объяснил уважительно, что землечерпалку нарядили сюда из рыбного треста после статьи в одесской газете, потому что много пришло от народа писем. Они постояли, покуривая и покашливая, чтобы израсходовать время вежливости и приняться за свои прямые дела. Пожав руку мастеру землечерпалки, похвалив начальство, которое подумало, наконец, о рыбьем приплоде, старик сел в лодку и пустился в обратный путь.

Всю дорогу домой дед молчал, сидел к мальчишкам спиной. Он как будто не радовался за мальков, которые надышатся теперь от морской волны, наберутся сил, чтобы жить.

Дома старик улегся на печку, выставил бороду вверх, неподвижный и молчаливый. Потом пугливо вскочил и пошел в сад. Он бесполезно топтал комковатую землю под шатровыми яблонями, отозревшими легкими вишнями, под ветвями пахучей айвы, которую в этих местах называют гутулей. Бабка Мария тоже гуляла в саду — делала вид, будто сердится на сорняк — траву, проросшую под деревьями. Она дергала дикие стебли, складывала их на руку снопом.

— И чего вы сегодня ходите? — говорила она деду. — Вы бы легли на диван.

Старик глядел в засохшее небо.

— Не лягу я на диван... Я теперь, Мария, навсегда лягу. Вот здесь, в небесную тень под забором... Мария, готовьте мое снаряжение. Пора мне бежать к сотоварищам.

— Может, вам для такой цели новый костюм надеть и штиблеты?

— Не смейтесь, Мария. Я перед сотоварищами во всем рыбацком предстану.

Бабка отряхивала корни травы. Старик смотрел на нее долгим сердитым взглядом.

— Какая у меня перед людьми должность? На базаре даже эта глупая Ольга подзаныром торговать перестала. В затоне на судах вахтенные дежурят. А я, выходит, забор стерегу. Говорят, по традиции. А уж какая это традиция — забор охранять... Была от меня польза рыбным малькам, чтоб не гибли. Сколько я за три года канав накопал, столько землечерпалка за три дня нарабатывает.

Мальчишки сидели возле дверей на скамейке, опустив грузные от сочувствия головы.

— Все из-за твоей газеты, — прошептал Славка.

— Мелешь, — ответил ему Васька тоже шепотом.

ВАРЬКИНА БАБУШКА ГНЕТ СВОЮ ЛИНИЮ

Варька шла домой. Чтобы не думать ни о чем, она пела. Возле Варькиного дома куры ныряли в горячую пыль. Пашка и Петька боролись в обхват. Варька брызнула на братьев водой из ведра. Братья воинственно зашумели ногами.

— Вы, самоеды, бабушка где? — спросила Варька.

Братья переглянулись. Встали рядом, подтянули штаны повыше, к самому горлу.

— Батька бушует, — сообщил Пашка.

— Он тебя драть будет, — сказал младший, Петька, жалостливо оттопырив губу. — Нас уже драл.

Варька поставила рыбу на крыльцо. Батька дерет не шибко, он больше ярится и делает вид, что страшен. Придется побегать. По такой жаре!

На крыльцо выскочила бабка. Босиком. Закричала на братьев:

— Я вам чего велела? А вы чем занялись?

Братья трусцой побежали к забору, к большой куче бу-

дылья. Набрали по охапке и направились в дом. Впереди Пашка, позади Петька, выпятив животы барабаном.

Бабушка увидела ведро с рыбой. Схватила его, заметалась по двору.

«Окатить бы себя водой из колодца», — подумала Варька. Бабка спрятала рыбу.

— Бушует, — сказала она. — Ты уж, Варька, не возражай.

Бабушка подтолкнула Варьку в дом, впереди себя. Загосилась с порога:

— Да нешто я думала!.. Упаси бог, я по дурости!

Бабушкин голос стал пустым, визгливым — словно скребли по железу.

Отец прицеплял возле зеркала галстук. Ворот полосатой рубашки был смят.

— Варька, — сказал он, — попроси мою тещу, твою разлюбезную бабушку, пускай она смолкнет.

Отец заправил рубашку, стянул брюки ремнем туго, так что слова у него стали прерываться и хрипеть. Ворот рубашки не слушался — торчал вперед.

— Я вам кто?! — закричал отец, подскочив к бабушке. — Вы чего добиваетесь? Чтобы я сам себе в лицо наплевал? Чтобы я потерял о себе последнее представление?

Бабка собирала на стол тарелки. Она вздыхала, с раскаянием закатывала глаза.

— Я же ж сослепу. Не шуми, свою крупицу и воробей тянет.

Пашка и Петька деловито толкались у плиты. Пихали в топку будылье. Разговор с ними уже был закончен. Они чувствовали себя в полной безопасности. Они теперь были зрители и с нетерпением ждали, когда отец примется за свою старшую дочку. Варька погрозила им кулаком. Братья безжалостно ухмыльнулись.

Бабка нарезала хлеб.

— Ты хоть поешь, — сказала она отцу.

— Не буду... — Отец накинул суконный пиджак. — Варька, скажи моей теще, пусть не заботится. Я знаю, где я поем.

Размашисто перекрестясь, бабка крикнула:

— Господи!

«Ужас, — подумала Варька, — такая моя семья. Бабка только и говорит о гордости, а у самой ее ни на грош —

одна хитрость. Батька? Он и на мужика-то похож, только когда небритый. Разве отец этого ненавистного Васьки стал бы так вести себя? Наверное, когда входит он в свою коммунальную квартиру, все встают, даже если и не видят его». Коммунальная квартира представлялась Варьке просторной, в коврах, с зеркалами и креслами. Варька стала возле дверей, придала себе гордую, независимую осанку.

Братья вскочили из-за плиты. Им уже надоело ждать. Они жаждали справедливости.

— Папка, Варьку забыл, — сказал Пашка.

Петька ткнул в Варьку пальцем.

— Варька-то, вот она, дожидается.

Отец повернулся к Варьке. В его глазах не было злости. Он не тарасил их, как бывало, чтобы напугать. В отцовских глазах Варька заметила тоску и обиду.

— Эх ты, — сказал он. И, скорее по привычке, потянулся к ремню.

— За что? — Варька попятилась к двери.

«Дура, чего стояла?»

Отец выдернул ремень с треском.

— И говорить мне с тобой неохота, торговка. — Он топнул ногой, как бы подав сигнал к началу.

Братья замерли в восторженном ожидании. А Варьке что ждать — дверь открыта.

Батька драл Варьку за соответствие. Он говорил: «Если ты на рояле играешь, нечего тебе на базаре делать. И вообще».

Батька никогда не договаривал своих мыслей, считал: если родитель дерет, — стало быть, учит.

Крыльцо... Сарай... Колодец...

Возле сарая вильнуть — отец непременно споткнется о старые оглобли, заросшие травой. Он об них всегда спотыкается... Варька вильнула, обернулась и спросила:

— За что?

— Знаешь, — пропыхтел отец. — Сговорилась с бабкой меня позорить. А за побег тебе будет прибавка. — Он поднялся, отряхнул штаны. — За ловушку тоже. Я колено ушиб.

Отец замахнулся, и вдруг ремень выскочил у него из кулака, словно зацепился за ветку. Отец пробежал немного по инерции. Обернулся. На заборе сидел мальчишка. Держал в руке ремень и вежливо улыбался.

— Извините. Я не нарочно...

— Ладно, — без злобы сказал отец. Он взял у мальчишки ремень, затянул его туго поверх брюк. — Не люблю, когда люди на заборах сидят. Слезай с забора.

Варькой овладел испуг более сильный, чем страх перед батюшкой. «Откуда он появился? — думала она, глядя на Ваську. — Если ему уж так нужно прийти, пусть бы пришел потом».

Варька шмыгнула за сарай.

Из плохо обмазанной стены сарая торчали камышины. Слышно было, как возится, похрюкивая, поросенок.

«Этому только жрать», — с неприязнью подумала Варька. Она села на жестяную траву. Прижалась спиной и затылком к стене. Тень от сарая не прикрывала колен.

Прямо перед Варькой подсолнухи. Целое поле. Будто сто тысяч лиц уставились на нее. Варьке стало не по себе.

— Бесстыжие, — прошептала она.

Подсолнухи словно ждут чего-то. Наверно, ветра. Тогда они заговорят, заволнуются. Станут хлопать шершавыми листьями. У Варьки такое чувство, словно она чего-то ждет, и даже знает чего, да только ей от этого одно унижение.

Подсолнухи уже не похожи на лица, они похожи на равнодушные черные затылки в желтых венках. Значит, толпа повернулась к Варьке спиной — презирает.

Зашуршала трава. Варька не повернулась на звук, только подобрала под себя ноги, сжалась вся. «Если он усядется рядом, повернусь и влеплю ему кулаком со всего маху».

Он уселся рядом.

— Варька, твой отец сюда идет. Может, тебе лучше удрать?

Варька не успела решить, что ей лучше, как из-за сарая вышел отец. Он посмотрел на нее, вздохнул и, поправив галстук, зашагал вдоль поля к двухэтажному зданию сельскохозяйственной школы.

— Он у тебя всегда такой? — спросил Васька.

— Нет. Не всегда. По вторникам... — прошептала она.

— Сегодня четверг, — сказал Васька.

Варька прикусила губу. «Если он меня тронет, повернусь и... скажу, чтоб проваливал».

— Ты не огорчайся, Варька, — заговорил он. — Первые беды самые горькие, но не самые большие...

«Конечно, — думает Варька, — тебя, наверное, никогда не лупили родители. Тебе легко умничать».

Варька не слушала Ваську и только думала: «Зачем он все говорит? Может быть, замолчать боится?»

Васька взял ее за плечо.

— Варька, бабка тебя околпачивает. Она же все для себя старается.

Варька обернулась. Сказала:

— Какой ты умный.

Она думала, он замолчит. Но он отмахнулся. Тогда Варька сказала еще:

— Откуда у тебя такое нахальство — приходите и учить?

Он смутился, забормотал:

— Я же с добрыми намерениями...

— А если другому неинтересны твои добрые намерения?

Он сник сразу. Прошептал:

— Да?.. Ты так думаешь?

«Уйдет, — подумала Варька, — пусть бы уж говорил...»

— Варька, — слышался сухой бабкин шепот. Бабка вышла со двора. Огляделась.

— Куда пошел батька?

— В школу.

Бабка подобрала губы.

Грудь у нее стала подниматься.

Руки легли на пояс.

Варька покосилась на Ваську и покраснела.

— Хиба ж я со зла? — начала бабка негромким голосом. — А может, я по ошибке. Глаза ж у меня теперь старые... А кто мою хату спалил?! — вдруг закричала она. Махнула кулаком в сторону сельскохозяйственной школы. Ударила себя по бедру. — Кабы знала, какой ты есть человек, ни за что бы Раисе не позволила за тебя замуж идти. На порог бы легла.

У бабки кончился воздух. Она деловито отдышалась. Хотела набрать новую порцию, но тут ее взгляд упал на мальчишку.

— А это что за огарок?

— Спроси, — прошептала Варька.

Бабка подошла ближе. Вцепилась в Ваську глазами.

— Чи ты дикарь, чи у тебя штанов нету?

— Есть, — сказал Васька. — Труссы...

— Отворотись, — скомандовала бабка. — Мне на тебя смотреть совестно.

Васька засмеялся.

— Какая разница, если я отвернусь? — сказал он. — Лучше уж вы отвернитесь...

— Какие нынче дети растут! — заговорила бабка на одной скучной ноте. — У вас на плечах головы? А может, печные трубы без вьюшек? А если я тебя по твоей голой коже крапивой нашпарю? Ты сюда зачем заявился?.. — Бабка перешла на залихватый крик: — Репейные шишки! Крапивное семя! Весь город испоганили своим мерзким видом. Курортники! Водохлебы!.. Варька, гони его в шею!

Варька не шелохнулась. Она сидела закусив губу. Смотрела на подсолнухи, и в глазах у нее были слезы. Они не катились по щекам, не сыпались градом, они светились узкой тоскливой полоской по нижнему веку.

Бабка глянула на нее, сообразила что-то мгновенно и повернулась к Ваське, распустив улыбку по всем морщинам.

— Ты, хлопец, меня извини. У меня же ж характер шумный. Ты приходи в дом. Варька ж мне не открыла, что у нее такой славный дружок заимелся. А я все сгадываю, аж сомнела от мыслей...

Слезы у Варьки высохли. Она уставилась на свою бабку в недоумении.

Бабка умолкла вдруг и, путаясь в юбке, побежала к дому.

— Что с ней? — спросил Васька.

— Не знаю, — сказала Варька. — Я и сама не пойму, что тут сегодня творится...

От сельскохозяйственной школы шли трое: Варькин отец, директор и главный агроном. Отец шел впереди. Он казался усталым.

Варькой завладела тревога, ей вдруг стало мучительно жаль отца.

— Уходи, а? — сказала она.

Васька кивнул. Поднялся и торопливо пошел.

— Совсем уходи! — крикнула Варька, не желая, чтобы он послушался ее, и боясь, что он все-таки послушается.

Директор и агроном открывали сарай. Лица у них были сосредоточенные и угрюмые.

Во дворе вертелась Пашка и Петька. Бабка стояла на крыльце безразличная.

Когда мужчины скрылись в большом сарае с шиферной крышей, бабка вытащила рыбу из-под кадушки. Поспешно прикрыла ее полосатым передником.

— Пойду колыхну базар, — сказала она.

Варька сморщилась.

— Не вороти нос, — зашипела бабка. — Лишний рубль и судье не помеха... Для кого я стараюсь?

Из сарая вышел отец.

— Стыд, — сказал он. — Чем отдавать?

Бабка спрятала ведро за широкую юбку. Подбоченилась.

— Если ты у меня пытаешь, я лучше в тюрьму пойду. Продай, если надо, свой новый костюм, и штиблеты продай. На тебе они все одно, что на вешалке — без пользы трутся. Я Варьке инструмент купила.

Варька поймала усталый, униженный взгляд отца. Ей хотелось крикнуть: «Не хочу я ничего, оставьте меня в покое!» Но отец опередил ее.

— Варька, — попросил он, — скажи моей теще, чтобы она мне нервы не портила. Другая бы на ее месте онемела совсем или охрипла, по крайности... И вот еще. Чтобы на базаре я ее больше не видел. Это мое последнее слово.

Бабка показала ему ведро с рыбой.

— Страсти господни, поди, как я испугалась. Ты для меня что та головешка — огня нет, только чад да угар.

— Вы мне за хату мстите? — тихо спросил отец.

Бабка посмотрела на него с сожалением.

— Мстят сильному, над такими смеются. — И, втянув голову в костлявые плечи, пошла со двора.

Пашка и Петька глядели на Варьку блестящими глазами.

— Ну, что вы ликуете?

Братья ответили один за другим:

— Бабка проворовалась. — Им было до смерти интересно.

Бабка проворовалась! Она продавала на базаре удобрения, сортовые семена, даже рукомойник, принадлежавшие сельскохозяйственной школе.

— Это из-за тебя, Сонета, — сказали они.

— Почему из-за меня? Разве я больше ем?

Братья сконфуженно глянули на свои животы.

— А зачем бабке рыбу ловишь? — пробормотали они. — На пианину? Ксанка говорит, пианино-то стоит дороже хаты.

Варька пошла к калитке и остановилась: испугалась, что столкнется с Васькой.

Она толкнула ногой, вышла на улицу. На улице пусто. Только куры ныряют в горячую пыль.

ВАСЬКА РАЗГОВАРИВАЕТ С ВАРЬКИНОЙ БАБКОЙ

Земля жесткая, окостеневшая от жары. Все белесое, даже небо, словно на нем лежит толстый слой пыли.

— Нельзя допустить, — бормочет про себя Васька. — Нужно за нее заступиться.

Со двора выскочила Варькина бабка с ведром рыбы. Прошла мимо него сосредоточенная.

Это она заставляет Варьку ловить проклятых бычков!

Васька догнал бабку. Забежал вперед, заговорил:

— Извините. Я хочу вам сказать. Вы не имеете права! Вы эгоистка!

Он ожидал, что бабка сейчас заголосит, примется поносить его, как она поносит всех, кто ей попадется под руку. Но бабка слегка пригнула седую голову, спросила радушно:

— Слухай, хлопец, ты, что ли, дурак или тебе голову напекло? А может, ты слишком умный и поэтому дураком кажешься?

Он оторопел от такого.

— Конечно, — сказал, — может быть, я выгляжу... Но вы губите Варькин талант!

Бабка шлепнула его по спине насквозь протруженной шершавой ладошкой.

— Ох же ж ты, бесова бородавка, ох же ж ты, невежа паршивый, я тебя давно приметил. Все думаю: что это за огарок бегаёт? Так, говоришь, у Варьки талант?

— Да, — сказал Васька.

Бабка вздохнула.

— Она же ж в меня голосом удалась. А вот характер у нее слабоватый, в дочку мою, в Раису. Но ничего, я ее в люди вытолкну... Она мне откроет ту дверь, что в парадную с лифтом.

Глаза бабкины сделались пронзительно узкими. Бабка подхватила ведро. Сказала:

— А ты поди все-таки надень штаны для приличия.

Васька кинулся к забору. В этот момент отворилась калитка. Со двора выскочила Варька и пустилась бежать вдоль улицы. На Ваську глядели Варькины братья.

— Куда она побежала? — спросил он.

— А кто ж ее знает, — ответили братья. — Она же ж вся в бабку, — что хочет, то и творит.

Васька пустился за Варькой... По раскаленному розовому булыжнику, по тротуарам из темно-красного кирпича, уложенного красивой елочкой. По деревянным шатким мосткам. Мимо щедрых июльских садов.

БАЗАР В ИЮЛЬСКИЙ ДЕНЬ

Над базаром гомон:

— Цыбуля ядрена! На пять метров слезу вышибает!

— А вот чеснок! Кому чеснок? От простуды и от мигрени нюхать. И в колбасу и в борщ. И огурцы солить и с салом кушать.

— Ряженка... Берите, дядька, ряженку...

Что еще будет, когда подойдут главные фрукты. Сейчас скороспелка — сорта слабые.

Девушка-колхозница, золотистая, крепкая, как товар на прилавке, крикнула Ваське:

— Человек, покупай мои яблоки! — Подала ему луковицу.

Парень в мичманке, смотревший на нее через головы покупателей, подошел и раскланялся.

— Уберите ваш продукт, — сказал. — Он для этого гражданина горьковат. Гражданин пока сласти любит.

Колхозница коснулась парня смешливым взглядом.

— Он и для вас еще горьковат, — сказала.

Васька проталкивался вдоль овощных прилавков к рыбному ряду.

Кто-то взял его за руку — рука маленькая. Он посмотрел вниз — Нинка. В белом платице, коса на затылке кренделем. В руке держит бочонок с медной ручкой.

— Здрасте. — Нинка стоит криво, боится поставить бочонок на землю. — Сегодня праздник будет, я уже третий раз за вином прибегаю.

— Больше пойти некому? — спросил Васька.

— А кто же пойдет? Mamka пироги замесила, батька речь пишет. Говорю, праздник.

Васька взял у Нинки бочонок.

— Мелешь. Какой еще праздник?

Нинкины глаза заполнены тайной. Они у нее на лице от-дельно.

— Секрет. Я знаю, кого вы ищете. Вы свою Варьку ищите... Влюбились.

— Помолчи. Понимала бы, тоже.

Нинка потянула бочонок к себе.

— А я понимаю. Отдавайте вино. Идите к своей Сонете... Она скарпена.

— Замолчи, щелчка дам.

— Скарпена.

Васька щелкнул Нинку по затылку.

— Скарпена!

Еще раз щелкнул.

— Скарпена!

Он тянул ее за собой. Оборачивался, чтобы щелкнуть по затылку. И на каждый щелчок Нинка выкрикивала упрямо:

— Скарпена! — Потом она заревела. Спросила: — Зачем вы меня щелкаете, я ж не резиновая?

Он все шел. Мимо овощных рядов, мимо фруктов. Мимо молока и мяса. Мимо вина и пшеницы. Мимо цветов.

Варька пробилась сквозь толпу к столам, где торгуют рыбой. Бабкин голос был слышен издали:

— Рыба-бычок, голова пятачок, туловище и хвост бесплатно. А вот ерш — морской казак, усы, как у Тараса Бульбы. Жарить, парить, уху варить... Лещи!.. Судаки!

Варьку она не видит. Кланяется знакомым покупателям.

— Свежих бычков не желаете? Только из волны. Еще пена не пообсохла... Гривенник кучка. — Бабка поливает рыбу водой. Прикрывает ее капустными листьями.

— Вы пятачок кричали, — торгуются покупатели.

— Пятачок для песни. Для складности слов. А как продать — гривенник.

Варька тронула ее за рукав. Бабка повернула голову.

— Ах, чтоб тебя! Марш с базару! Чтобы мне, старой, срам через тебя иметь. Опять Ксанка скажет, что я тебя торговать приучаю. Тебя батька за что драл?

Варька дернула бабкину руку к себе, спросила:

— Как жить будем?

— Худо, — сказала бабка. — Отец заявление подал. Уходит с должности.

«Ну и хорошо», — подумала Варька.

Бабка повторила свое:

— Худо... Жилье отберут.

— Перебьемся.

— А деньги? Бухгалтер сказал: пока деньги не внесет, не получит расчета.

Варька подняла на бабку глаза.

— Отдай ему деньги, бабушка. Возьми со своей сберкнижки.

Бабка вздрогнула, задвигалась вся.

— Что ты плетешь? Я же пианину купила, да боюсь в дом везти, пока батька не успокоится... Побегни, глянь, какая она блестящая... Ты молчи... — И закричала, чтобы прекратить разговор: — Бычки! Покупайте бычки!

— Перестань! — крикнула Варька. Обеими руками сгребла рыбу и сбросила ее со стола. Прямо в пыль.

— Господи, дела твои, — сразу охрипнув, прошептала бабка. Губы у нее стали пухнуть книзу, словно ужаленные. Она замахнулась на Варьку. Варька отскочила.

— Отдай, бабушка, деньги. Сдай пианино обратно. Его сразу купят... Отдай деньги!

Старухины глаза налились гневом.

— Дура. Это я для кого? Для тебя, думаешь? Накось... — Она сунула под нос Варьке сухой кулак. — И не подумала бы. Это для таланта твоего. Ты же не знаешь, как загубленную силу в себе носить. Она постучит, она потом с тебя спросит. Она из тебя всю радость высосет... Иди, иди...

— Отдай! — зашлась Варька. Душа у нее словно оглохла от этого крика.

Бабка надвинулась на нее:

— Ори... Вон курортник, твой ухажер, тож говорит, что у тебя талант есть. Ты бы его послушала, если меня не хочешь. — Бабка кивнула через плечо. Отстранилась. Варька увидела Ваську.

Жаркая сила толкнулась ей в голову.

— А ты чего ходишь? — прошептала она. — Чего ты ходишь за мной? Шимпанзе! Моллюск! Подсматриваешь? Смешно, да? — Она подняла с земли камень-ракушечник и, размахнувшись по-мальчишески, метнула его в Ваську.

НАДЕНЬ СВОИ ОРДЕНА

Нинка вела Ваську по улице. Ей казалось, что сам он идти не может, не найдет к дому дорогу. Иногда она забегала вперед и вклипывала, шлепая добрыми девчоночьими губами. Она промыла ему ранку виноградным вином из бочонка, прилепила к ней лист.

— Теперь сами видите, какая Сонета, теперь не будете меня щелкать.

— Буду, — сказал Васька.

Нинка остановилась, долго смотрела на него исподлобья.

— Вы ей не отомстите, не вздуете ее со всей силы?

— За что? — спросил Васька.

Нинка отвернулась.

— Так и будут вас все обижать, а вы станете улыбаться.

Нинка подошла, отобрала бочонок и, волоча его по земле, побрела в одиночестве к своему дому.

«Нужно ей куклу купить, — подумал Васька. — На память...»

Нинка поднялась на мост, собранный из редких жердин. Коса ее расплелась, прикрыла щеку.

Васька направился к старику Власенко.

Дед бойко ходил в саду. Дергал сорняк-траву, швырял ее в разные стороны. Из открытого окна кухни слышался стук скалки, тянуло парным запахом печеного теста и творога. Бабка Мария пекла большую плачинду в честь Славкиного отца, который только что прилетел из Москвы, и еще плюшки и вареники с вишней готовила.

— Наверное, спит с дороги? — спросил Васька.

— Ни-и, на элеватор усвистал, он же ж бессонный, — ответил старик.

Васька сел на скамейку под хатой. Ранка на лбу саднила. Между деревьями в отдалении был виден лиман. Васька уставился на темную строчку, что отделила море от неба. Святящиеся шары вспыхивали на поверхности и уходили ввысь, разорвав горизонт.

Старик подошел к нему. Поправил лист.

— Может, йодом замазать?

Васька покачал головой. Старик сел на скамейку, прижал его к своему сухому ребристому боку.

— Сегодня дядюшку повидашь. Прибегали ко мне из

правления. Просили, чтобы я оделся по форме. Должно, речь говорить придется. Флотилия на подходе. — Старик заволновался, притащил свои фотографии, грамоты, благодарности и ордена. Он показывал фотографии и хвастал, какой он был дюжий, какой молодой. В его гордых словах чувствовалось сомнение, тревога и горечь. — Был, — бормотал он. — Был. Видишь, каким я был. Не могу я этого слова терпеть. Оно будто колокол по покойнику, — сказал он наконец то, что хотел сказать. Спросил: — Как думаешь, возьмет меня капитан Илья на флотилию, не погнушается моим возрастом? Не побоится, что я умру в океане?.. Ну, привяжет мне железяку к ногам — и в воду. И все заботы... — Старик засопел, распрямляя упрямые свои плечи под линялой, редкой от долгой носки рубахой. Ударил задеревеневшими от работы руками по острым коленям. — Я же ж не буду проситься к нему тралмастером. Хоть засольщиком, хоть на разделку иль бондарем... — Старик повернулся к Ваське. — Васька, ты не укоряй меня. Я ему в ноги паду. Думаю, он уважит.

Васька почувствовал жжение в носу. Он обхватил деда, сунулся ему в грудь разбитым горячим лбом.

— Не проси, дед. Он тебя так возьмет. Это он должен тебя просить. Ты надень все свои ордена. Он обязан тебе первому руку подавать и пропускать тебя по трапу впереди себя.

Старик похлопал его по плечу. Притиснул к себе, засмелся негромко.

— Вот так, мой Васька. Чего ты разволновался? Я ж не за славу болею. Слава, как песенка, скоро кончается. Поставят меня на трибуне, поведут на корабль. Я речь скажу, пожелаю им доброго плавания, а сам на печку по дряхлости. Если доживу в тоске до их возвращения, выведут меня под руки. Вот и вся моя слава. Нету такого закона — стариков на флотилию брать. И если возьмет Илья, то возьмет сверх закона, по велению сердца, по уважению и по вере, что смогу пользу оказать в его деле. В этом и состоит она, настоящая слава.

— Все равно, — сказал Васька. — Надень свои ордена.

Старик встал, распрямился неторопливо.

— Чего ж, я своих орденов не стесняюсь. Я от народа их заработал, народу приятно меня в орденах видеть. Орден только на работе мешают да в бане.

Бабка Мария высунулась из окна.

— Василий, — сказала она. — Сходи к Наталье за постным маслом. — Бабка увидела лист на Васькином лбу. Соскребла со своих ловких пальцев приставшее тесто. — Иди, я тебя бинтом завяжу.

Васька лежал на той же скамейке под хатой. Смотрел в потемневшее небо и задремал. Его растолкал Славка.

— Слушай, — сказал он. — Не знаешь, куда Варька делась? Я ее всюду искал. На сваях нет, дома нет. Нигде нет. Флотилия на подходе.

— Как нет? — вскочил Васька.

— Нету, — сказал Славка. — Пропала.

Васька побежал к калитке, выскочил на улицу и помчался, не зная куда. Он хотел бы помчаться во все стороны сразу. Но человеку не обнять необъятного, и оттого, желая отыскать друг друга, люди чаще всего бегут в разные стороны.

ВАРЬКИНА

ПЕСНЯ

Варька ходила в степи. Шевелила ногой травяную крупу. Та крупа устилала землю, как град. Варька цедила семена трав сквозь кулак. Играла, как дети играют в сыпучий песок.

Переменчива степь и всегда неумолчна.

Солнце в степи встает рано. Зреет на горизонте, наливаясь соком. Вот, вот... и лопнет оно от натуги, прожжет землю жгучими красными каплями. Небо за спиной темно-синее, густое, бархатистое даже. А где солнце, там словно цветные реки сливаются: оранжевые, розовые, ярко-зеленые и голубые. Выше их яркая звездочка сторожит над миром громадную тишину.

Солнце сотрет все созвездия. А эта утренняя звездочка становится ярче.

Солнце взойдет с нею вровень, и она растает, как снежинка от живого дыхания.

В дальних деревнях задымят трубы. Закричат ошалевшие от радости петухи. Зазвенит колокольцами неторопливое стадо.

...Варька шла по краю пшеничного поля. Поле сверкало, как лиман на закате. Звенело, отсчитывало время до того срока, когда загрохочет степь горячим металлом. Запах бензина пересилит все запахи, даже запах моря и запах рыбы. Стада распаленных машин ворвутся из степи в город. Они сгрудятся возле элеватора. Шоферы скупят в магазинах души, чтобы задобрить приемщиц.

Варька будет мотаться по улицам, как шальная, улыбаясь незнакомым людям с обветренными лицами, с пересохшими от жары губами. Будет падать с ног от усталости. Урожай позовет на помощь к себе школьников, солдат, стариков и старух, потому что мало людей в городе, и люди те — рыбаки, у них свое дело.

У Варьки такое чувство, будто не она разбила голову Ваське, будто от его руки трещит ее, Варькина, голова.

Что они знают о нашем городе! Знают, как по холоду, в ноябре, в декабре, идет хамса с моря? Она заливает город ночным серебром. Ей нельзя лежать даже лишнего часа.

Знают они, курортники, как со всех сторон, из степных колхозов, идут фрукты и овощи на консервный завод? Их все больше и больше. Их не успевают перерабатывать, сортировать. А потом — р-раз! — навалится свекла с полей. Крепостными валами ляжет вокруг сахарного завода. А эти курортники будут ходить в театры. Варька не заметила, как ее ненависть к Ваське распространилась на весь род людской и угасла, как разбросанный в поле костер. Варька вспыхнула.

Мимо нее в город промчалась машина-трехтонка.

Едут в кузове случайные пассажиры, шоферской милостью подобранные на дороге. Поет парень. Встречный ветер срывает песню прямо у него с губ. Люди, у которых нет слуха, любят петь громко. Горланит парень во всю глотку. Весело ему и печально.

Да разве так поют. Послушал бы он, как поет Варька, — застыдился бы своей песни. Смеются люди над тем, что Варька присохла к сваям, ловит бычков без конца. А кто бы спросил: зачем?

...Только в новый дом переехали, повела бабушка Варьку на кладбище.

Варька подошла к воротам, глянула на кресты и ударилась в рев.

— Ты не бойся, — сказала бабка. — Они смирные. Они упокойники.

Варька заревела еще громче:

— Вдруг они мамкины серьги отняли?

Бабка засмеялась.

— Помнишь... Ну, сиди тут... И то, чего тебе между могил шататься.

Варька села у ворот. И, чтобы не скучно, запела песню, выводит тонкие звуки.

Варька не заметила, как подошла бабка, села рядом. Бабка начала вторить. Когда кончили песню, бабка сказала:

— Варька, слухай сюда. Я потеряла, ты, Варька, нашла. Но если ты, стерва, разбазаришь свое, я закона не побоюсь, я тебя убью.

— Чего разбазарю? — спросила Варька.

— Песню. Тебе голос от бога дан, от природы.

Бабка сидела обмякшая, виноватая и такая грустная, какой Варька ее еще ни разу не видала. Ни когда умерла мама, ни когда хата сгорела.

С этого дня бабка начала Варьку учить песням. Как верха брать, как паузу сделать в неожиданном месте, как вторить, как выводить первый голос, опережая и в нужном месте поджидая других.

Варька слушала по радио знаменитых певцов. Они ей казались не живыми людьми, а каким-то вымыслом, чудом. Бабка водила Варьку к священнику, черному старику в длинном платье. Священник ставил пластинки на электропроигрыватель.

Иногда в город приезжали артисты. Варька пробиралась в переполненный рыбацкий клуб. Слушала певцов. Певцы держались важно — пели плохо.

Варька пела все время, даже когда молчала. Просыпалась ночью, залезала на подушку — и давай выводить песню.

Батяка ее шлепал за это. Она ему мешала спать.

Когда пошла Варька в школу, петь застеснялась. Все поют про елки, про гусей, про другое — детское. Варька стоит, молчит. Ей стыдно, — нет в этих песнях ничего: ни щемящей тоски, ни ликующей радости — ничего нет, только звуки пустые, как погремушки.

Ставили Варьке двойку. Варька молчала. Переправляли на тройку. С тем и переходила во второй, в третий класс.

В третьем классе учительница пения Сима Борисовна услышала, как Варька пела на улице.

На уроке она спросила Варьку:

— Ты умеешь петь, а почему не поешь?

— Не хочу я петь о зубных щетках, — сказала она, отворачившись угрюмо.

— Да?.. — Учительница постучала карандашом по роялю. Спросила, почти не разжав губ: — Что же ты хочешь петь?

— Играйте, — сказала Варька. Уставилась на учительницу темными глазами, заполненными острым блеском.

Варька запела сильно:

— Взвейтесь кострами, синие ночи, мы, пионеры, — дети рабочих!..

А когда кончила петь, сказала:

— Эту я петь согласна.

— А еще? — спросила учительница, покусывая полные губы.

— Про степь... Или вот эту. — Варька хлебнула воздух. — Исходила младшенька все луга и покосы...

Класс сидел тихо. Учительница подыграла Варьке одной рукой.

Несколько следующих уроков учительница с Варькой не разговаривала. Варька, чтобы не обижать ее, пела вместе со всеми вполголоса. Учительница больше рассказывала ребятам о музыке и играла сама.

Как-то она оставила Варьку после уроков. Проиграла ей несложную мелодию. Варька села к роялю и повторила ее после учительницы. Она схватила ее прямо с пальцев.

— Ты училась? — спросила учительница.

— Не-е...

По щекам учительницы пошла тень, сгустилась на скулах в красные пятна.

— Позови мне родителей сейчас же, — сказала она.

Варька заревела, побежала домой. Она была портфелем по деревьям и по заборам. Дома была бабушка. Пашка и Петька дудели под столом и колотили снизу по столешнице палкой; они болели.

— Тебя в школу зовут, — сказала Варька бабушке.

— Нехай, — отмахнулась бабка. — Чи у меня своего дела нет? Мне вон белье стирать надо.

— Нет, ты поди, — Варька вцепилась в старуху, потянула ее за юбку. — Зачем она говорит, что я вру.

Бабка поглядела в заплаканные Варькины глаза. Пстом надела свое самое нарядное платье с оборками. Покрыла голову толстой клетчатой шалью и, выпятив грудь и поводя локтями, направилась в школу.

В классе пения она без спросу уселась на стул, расправила широченную юбку и только после этого посмотрела на учительницу.

— Говори, милая не тяни. Мне еще белее стирать надо.

— Ваша внучка училась музыке? — спросила учительница как можно сдержаннее.

— И-и, милая, — протянула бабка. — На какие такие деньги мы ей рояль купим? У нее одна музыка: Варька, туда! Варька, сюда! Варька, побегги. Варька, носы малым вытри. Вот и все ее ноты.

Учительница молчала, глядела в черный рояльный лак на свое отражение. Бабка уселась поудобнее, тронула учительницу за плечо.

— Слышь, девка, сыграй. Мы тебе с Варькой споем в два голоса.

— Что сыграть? — тихо спросила учительница.

— Про фуртуну.

Учительница слабо улыбнулась.

— Я не знаю... Вы пойте, я подберу.

Бабка откашлялась. Сделала несколько вдохов, словно разогревалась, и повела низом:

— Задула фуртуна на море...

— Ой, люто задула, — подхватила Варька высоко и пугливо. Они пели о двух рыбаках, об отце и сыне, погибших во время шторма. О старой матери и молодой жене с малым ребенком. Как молодая жена проклинает море и долю рыбацкую. И убеждает старуха невестку: «Если замуж пойдешь второй раз, только за рыбака иди. Рыбак твоего сына не обидит, станет любить его, как родного. Иначе нельзя рыбаку — фуртуна задует, погибнет рыбак, останутся его дети, и другие рыбаки станут любить их и жалеть, как родных».

Учительница даже к клавишам не притронулась. Когда бабка и Варька закончили песню, глаза у нее были влажные, в красных обводах.

— И вы не учились, — пробормотала она.

Бабка шумно сморкнулась в большущий, словно наволочка, платок.

— Если бы училась, я бы сейчас в Москве проживала, в самом высоком доме. На лифте бы ездила...

Учительница повернулась к Варьке. Сказала:

— Каждый день будешь оставаться после уроков.

— За что?

Учительница подперла руками голову.

— Вот именно, за что?... — И добавила: — Буду учить тебя музыке.

Варька училась легко. Пальцы у нее были гибкие, сильные. Учительница показывала упражнения и уходила, оставив ее одну в пустой школе. Ноты роились в Варькиных глазах, как пчелы возле летка. Из месяца в месяц она постигала их строй и музыку песен.

В пятом классе весной учительница сказала Варьке:

— Скоро в рыбацком клубе концерт. Ты сыграешь.

— Не буду, — сказала Варька. — Я для себя играю.

— И песни поешь для себя?

Учительница села к роялю.

— Варька, — сказала она, — я все время думаю о тебе. Мне не хочется тебе говорить, но я должна. Ты пойми, Варька, талант обязывает служить людям. Тогда он похож на родник. Тогда у него смогут напиться многие. Тогда они смогут унести его в своем сердце. И это будет счастьем для тебя и радостью для других.

Варька уловила в ее словах горечь.

— Смешная вы. Плюньте, и все тут.

— Не понимаешь ты, Варька, — ответила ей учительница.

— А мне наплевать! — Варька поднялась, пошла к двери. — Я на сцене-то онемею, как рыба, а может, зареву. Народ ведь от скуки в клуб ходит. Нешто я их веселить стану.

Когда Варька уходила, обернулась в дверях. Учительница плакала, уронив голову.

Она не перестала учить Варьку, но больше уже не заговаривала с ней ни о таланте, ни о выступлениях в рыбацком клубе.

Зато бабка с тех пор обезумела словно. Она принялась копить деньги на это проклятое пианино. И хвастает на базаре.

— Вы, — говорит, — все тут село, селом и останетесь. Когда Варька моя артисткой станет, я к вам на самолете прилетать буду, чтобы смеяться.



ВАРЬКА РЕВЕТ БЕЗ СТЫДА

Когда Варька пришла домой, на крыльце ее встретили Пашка и Петька. Они посмотрели на нее с испугом.

— Тебя ж ведь не драли, чего ж ты ревела? — спросил Пашка. — У тебя все лицо полосатое. Иди холодной водой умойся.

Петька смотрел на нее и мигал.

— Я знаю, от кого ты плакала. Ты от себя плакала.

Пашка поливал ей из кружки. Петька держал мыло и полотенце. Губы у Варьки были горькими.

— Батька с бабушкой чуть не подрались, — сообщил Пашка. — В школе какой-то отчет, и деньги нужно выплатить завтра, иначе на батьку в суд подадут.

Отец гладил брюки. Встряхивал их, сбивал пальцем пылинки. На стуле висел его новый выходной костюм. На полу стояли новые сапоги.

— Продавать понесу, — сказал отец. Сказал не зло, с облегчением.

— Где жить станем? — спросила Варька.

— Перебьемся, — сказал отец. — Самоеды большие уже, в детский сад бегают. Я, Варька, на «Двадцатку» пойду.

— Там механик есть.

— Тогда на другой сейнер пойду. Сегодня капитан Илья флот пригонит, обязательно станет матросов и механиков брать.

Варька чувствовала в отцовских словах уверенность.

Бабка бегала по дому. Хваталась что-то делать. Выскакивала во двор. Лицо у нее двигалось, брови, и уши, и нос, и подбородок, и щеки зажили отдельно, толкались и спорили между собой.

Бабка посмотрела на Варьку с испуганным вздохом.

— Отдай! — крикнула Варька.

Бабка убежала на улицу, но вскоре вернулась спокойная.

— Брось, Петро, — сказала она. — Нешто я допущу, чтобы ты оборванцем ходил. Побудь тут. Принесу тебе деньги. В долг возьму. Отдадим помаленьку.

— Не нужно, — сказал отец. — Перебьемся.

— Мне лучше знать! — закричала старуха. — Ты, может, в одних исподних с Ксанкой по улице прогуливаться пой-

дешь? Хлопцы подросли, теперь тебя и оженить можно. — Бабка наинула на плечи толстый клетчатый платок. Подошла к зеркалу. — Варька, со мной пойдешь, — приказала она.

Бабка стала будто осанистей. Движения ее плавные и упругие. Голову она откинула назад.

— Пойдем.

Они прошли через весь город. Варька боялась спросить, к кому они направляются. Она не могла представить себе человека, который бы одолжил бабке денег. У нее не было друзей в городе.

И когда бабка вошла в распахнутую настежь калитку, Варька остановилась. Пробормотала:

— Ты не сюда, бабушка... Ты что?

— Сюда, — сказала старуха и, приподняв плечи, словно ей стало холодно вдруг, пошла к хате старика Власенко.

Варька остановилась у дверей — заробела. Ей не хотелось видеть, как высмеет бабку старик. Она побрела вокруг дома по дорожке из чистых ракушек. Ракушки эти добывают не в море. Их добывают в степи, в оврагах, в обнаженных пластах. Может, и неумолчна степь потому, что хранит она шум древних морских прибоев. А ракушками посыпают вокруг хат, чтобы пресные дождевые брызги не пачкали белых стен.

И вдруг Варька сообразила, что здесь она может столкнуться лицом к лицу с Васькой. Она похолодела вся, прижалась спиной к хате.

— Я у нее не был.

— Почему? — услышала она разговор.

Голоса принадлежали Славке и его отцу. Варька стояла под окном. Ей было неловко, — вдруг выглянет Славкин отец. Посмотрит будто сквозь нее, не сразу соберет ее в зрении, потому что думает постоянно о чем-то своем. А когда поймет, что перед ним Варька, скажет:

— Здравствуй, девочка в брюках.

Варька отодвинулась от окна, стараясь, чтобы меньше хрустели ракушки. Ей захотелось уйти, убежать. Но она боялась двинуться с места, боялась, что встретит за углом Ваську.

В комнате за открытым окном молчали. Послышался треск, хрипение. Славкин отец настраивал приемник. Он ловил отголоски остывших гроз. Они врываются со свистом

в комнату. И, наверно, Славкиному отцу они были сейчас нужнее самой прекрасной музыки.

Он сказал:

— Ты, Славка, не пойми плохо. Я очень хотел зайти к маме. Но есть в людях нечто такое, что мешает им делать простые поступки. Бывают такие обстоятельства. Я говорил с нею по телефону.

— Она не хочет, чтобы ты помогал ей, и не приедет.

— Да, — ответил Славкин отец и, словно спохватившись, принялся оправдывать маму. Он говорил: — Когда мы злы, люди кажутся нам хуже, чем они на самом деле. На все нужно время...

Варька уловила в его словах недосказанность. Он не договаривал из боязни причинить Славке боль. Славка, наверно, тоже почувствовал это. Он сказал тихо:

— Мы на нее не в обиде... Нам ведь с тобой хорошо.

— Да... — ответил отец.

Варька пошла по хрустящим ракушкам. Села на скамейку у двери.

— А я дура душой, — шептала она.

Дверь отворилась, скрипнув. Старик Власенко пропустил мимо себя Варькину бабушку.

— Мы уже старые, Ольга.

На порог вышла бабка Мария, медленная и задумчивая, как течение лесной реки. Варька всегда робела перед этой старухой.

— У тебя ребятишки, — сказала бабка Мария. — Им жить нужно. В мою хату ступайте. Петро ее подлатает, руки у него ловкие.

Варька почувствовала, что не нужны сейчас бабке ее независимая осанка и гордость. Бабке нужно именно то, что сейчас происходит. Бабка хочет добра и прощения. Но по упрямой привычке бабкины плечи были откинuty назад. Подбородок приподнят, но он дрожал.

— До свидания, — сказала она. — Дай вам бог...

Варька испугалась, что бабка обмякнет сейчас, что кончатся у нее силы. Она подошла, коснулась плечом бабкиной руки.

Только на другой улице бабка закачалась на ослабевших ногах. Голова упала на грудь. Плечи опустились, ссутулилась сухая спина, в пояснице надломилась. Бабка почти упала на придорожную траву. Она вытащила из кармана

деньги. Выронила на колени. Посмотрела на Варьку пустыми, как высохшие колодцы, глазами.

— Я в него из обрезка стреляла, — прошептала она. — Когда он Серафину из степи привез. Насмерть хотела.

Варька сидела рядом с бабкой, кусала травину.

— Из обрезка стреляла, — шептала она вслед за бабкой. Она видела мучительно близко перед глазами Васькин лоб, рассеченный камнем, и широкий, настезь растворенный взгляд.

Бабка бормотала:

— Я же чувствовала, как сила из меня уходит, будто кровь из раны течет. Я ж оправдаться перед собой хотела. Как оправдаться? Себя обвинять? Нет. Проще всех презирать. Только я, мол, одна человек.

Варька посмотрела на свои потертые, пропыленные вельветовые брюки. «Что ли, платье надеть?» — подумала она, покраснев.

Из бабкиных глаз текли слезы. Они оросили шершавые бабкины щеки. Пробрались на шею.

— Я, Варька, была... — Бабка поймала слезу губами, растерла ее, соленую, на губах. Сказала, захлебнувшись поздним отчаянием: — Стерва я была, Варька. Раскричала я свою жизнь. Прогорланила, проплясала с кем хочешь. Я, Варька, и в Румынию уходила. И с гайдамаками...

Бабка подалась вперед,хватила Варькины руки и принялась целовать их, вымаливая прощение за грехи, которых Варька не знала и не желала знать.

Она понимала: бабка говорит правду, но запоздалая правда ранит людей хуже лжи. Варька взяла бабку за плечи, заставляла встать. И вдруг побежала, словно боясь, что бабкины цепкие руки снова подомнут ее под себя.

Варька бежала домой. Со всех улиц ей навстречу бежали люди. Варька ловила обрывки радостных разговоров:

— Флотилия на подходе... Митинг будет.

— Николa, ты негритянок видел? Не горюй, повидaeшь.

— Смoтpи, сколько народу вaлит... Флo-ти-или-я!..

Булыжник на улицах белый, словно луженый. Тень от деревьев — как черная топь.

Варька прибежала домой — отца нет, наверно, сидит у соседки Ксанки, обсуждает свою дальнейшую долю. Он всегда ходит к ней, чтоб набраться характера. А может быть, побежал со всеми на берег. Пашка и Петька сладко дыша-

ли, прижавшись друг к другу лбами. Ветер гнет большие деревья, ломает даже, а эта трава дышит себе и толстеет. Варька закрыла их простыней, прижалась щекой к их крутым лбам. На них были тесные, насквозь постиранные рубахи. Наверно, у всех ребят одежда либо велика, либо тесна, потому что очень короткий срок, когда она бывает им впору.

Варька надела платье с цветочками, которое батяка купил ей на день рождения. Вышла на улицу и побежала на берег, куда все бежали. Кто-то преградил ей дорогу. Варька уткнулась с разбегу в прохладный душистый шелк. Подняла голову. Ей улыбалась учительница Сима Борисовна.

— Варька, — сказала она, — я только что из Одессы. Я тебя поздравляю... Тебе нужно ехать в Одессу... Куда ты бежишь?

— Я ищу Василия. Я ему голову камнем пробила. — Варька отодвинулась от Симы Борисовны.

— Варька, тебе нужно в Одессу ехать! — крикнула Сима Борисовна. — В музыкальное училище. Я даже насчет интерната договорилась.

Ее слова глухо проникали в Варькино сознание.

«Зачем мне теперь пианино, — подумала Варька, — в училище, наверно, их сколько хочешь».

ЭПИЛОГ

Люди бежали на берег. Их становилось все больше и больше. Ступив на прибрежный песок, девушки снимали туфли с острыми каблуками.

У самой воды, давая сухой камышовый плавник, ходили мальчишки. Они говорили: «Аф-фрика». В этом слове была вся их несчастная доля — ждать и взрослеть. Девчонки сидели на пирсе. И без конца повторяли: «Омары, ом-мары», — осязая у себя на ладонях теплый жемчуг и красные нити коралловых бус.

Из колхоза пришел грузовик, обтянутый кумачом. В кузове стояли председатель и старик Власенко — грудь в орденах.

Васька помахал старику рукой. Дед не заметил его. Он смотрел в море. Уже было известно, что он заступит капитаном на сейнер «Двадцатку», поскольку все молодые уйдут в африканские воды. Васька уселся на перевернутую лодку-каюк.

Рядом с ним кто-то сел осторожно. Васька обернулся — Варька. Веки у нее вздрагивают. Она все время пытается сунуть руки в карманы, для безразличия. Но карманов нет — на Варьке шелковое с цветочками платье.

— Я в Одессу поеду, — сказала она.



Васька не ответил. Варька облизала губы.

— Я в Одессу поеду, — повторила она. — В музыкальную школу. Буду жить в интернате...

Васька спросил быстро:

— Мне напишешь письмо? — и уставился в землю. — Я тебе адрес дам.

Прибежал Славка. Заорал:

— Ура! Флотилия!.. — Сел между Варькой и Васькой. Посмотрел на обоих по очереди и тихонько слез. Отошел к воде.

— Вы тоже хотите в Африку убежать? — услышал он вопрос.

Проворчал:

— А тебе что?

— А у нас все мальчишки хотят убежать. Сухарей насушили. — Голос был грустный и мудрый. Славка посмотрел. На песке сидела девчонка Нинка.

— Только все не поместятся, — вздохнула она.

По берегу у самой воды ходили мальчишки. Может быть, триста мальчишек. Может быть, больше.

— Ну и убегу, — сказал Славка. И подумал с обидой: «Ну и пускай они вместе сидят. Пускай обнимаются. Я один буду. Спрячусь на корабле, в самую глубину, и все».

Но Славка знает, что не залезет он на корабль, потому что для него сейчас эта затея пустая. Нет в рыбацкой флотилии Славкиного корабля. Но он придет, придет обязательно, нужно только знать его имя и не ждать, открыв рот, а изо всех сил топать ему навстречу.

Флотилия двигалась от горизонта. Она была небольшая. Того, кто ожидал увидеть море, забитое парусами, постигло разочарование. Только на один миг. Рыбацкие новые корабли шли фронтом.

Корабли бросали свет на воду: красный, зеленый, желтый. Отражения огней тонули и поднимались со дна живыми гибкими стеблями. Море проросло невиданным лесом.

СОДЕРЖАНИЕ

КИРПИЧНЫЕ ОСТРОВА

Рассказы про Кешку и его друзей

Как я с ним познакомился	5
Кто нагрел море	7
Неприятностей не оберешься	9
Снежинка	11
Пират	16
Чижи	21
Просто история	26
Взрыв	29
День рождения	36
Копилка	42
Сима из четвертого номера	57
Кирпичные острова	66
Последний рассказ	71

РАССКАЗЫ О ВЕСЕЛЫХ ЛЮДЯХ И ХОРОШЕЙ ПОГОДЕ

Тишина	87
Мы сказали клятву	109
Время говорит — пора	129
Алфред	148
Сколько стоит долг	165
Дубравка	192
Март	222

ШАГ С КРЫШИ

Синяя ворона	241
Анука	246
Анетта	270
Нюшка	301
Опять синяя ворона	321

ОЖИДАНИЕ

Три повести об одном и том же

ВАСЬКА

Имя для себя	329
Возраст выносливых и терпеливых	336
Мелкий дождь	338
Крупный дождь	343
Серьезная музыка	350
Истосковавшиеся корабли	356
На берегу	361

СЛАВКА

Едут на корабле люди	365
Мальчишка в спортивной куртке	367
Под голубой крышей	370
Бабка Мария	372
Утром на базаре	375
Море на горизонте	378
Красная рыба	381
Снова мальчишка в спортивной куртке	383
Немного о Ваське	386
Встретились мама и папа	389
Еще рассказ старика Власенко	393
Славка, иди спать!	397
Кое-что о Славке и его родителях	397
Славка, закрой рот!	398
Любишь — не любишь	400
Славка ищет товарища	401
Перестаньте, пожалуйста	402
Когда начинается биография	405
Съедобная земля	406
Мелочи жизни	407
Еще немного о Ваське	411
Славка разговаривает с отцом на серьезные темы	414
Наверху, где ветер	415
Громоотвод	417
Море спит глаза	420

ВАРЬКА

Жара	423
Варька думает об измене	424
Васька думает о Варьке	430
Варькина бабушка гнет свою линию	432
Васька разговаривает с Варькиной бабкой	439
Базар в июльский день	440
Надень свои ордена	443
Варькина песня	445
Варька ревет без стыда	452
ЭПИЛОГ	457

ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Погодин Радий Петрович
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Ответственный редактор *К. И. Курбатов.*
Художественный редактор *В. В. Куприянов.*
Технический редактор *Т. Д. Раткевич.*
Корректор *К. Д. Немковская.*

Сдано в набор 29/XI 1973 г. Подписано к печати 23/V 1974 г. Формат 60×84¹/₁₆. Бумага офсетная № 2. Печ. л. 29. Усл. печ. л. 25,41. Уч.-изд. л. 27. Тираж 100 000 экз. Заказ № 784. Цена 95 коп. Ленинградское отделение ордена Трудового Красного Знамени издательства «Детская литература». Ленинград, 192187, наб. Кутузова, 6. Калининский полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата СМ РСФСР, Калинин, пр. 50-летия Октября, 46.

Погодин Р. П.

П43 Повести и рассказы. Переиздание. Рис. С. Спицына. Л., «Дет. лит.», 1974.

462 с, с ил.

Хорошо известные произведения писателя о детях и взрослых: «Кирпичные острова», «Рассказы о веселых людях и хорошей погоде», «Шаг с крыши», «Ожидание».



